

Нам - 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

9/2024



В номере:

Анна Иоановна по дороге в царствие небесное

По дороге на черноморский курорт маститый столичный литератор вместе с женой останавливаются у её брата в кубанской станице. И тут оказывается, что местный люд мастера слова и воспевателя земли русской не то что не читал — слыхом о нём не слыхивал. В довершение этого ужаса хозяйский петух набрасывается на него с сатанинским криком. Инженер человеческих душ сначала кричит «на помощь!», а потом, смертельно обидевшись и на петуха, и на хлебосольных станичников, не нуждающихся в его рассуждениях о роли культуры в их жизни, вынашивает план мести. Однако повесть Евгения КАМИНСКОГО «Поросёнок, петушок и весь этот ужас» вовсе не о том. Она о совестливости, о невольном предательстве, об ответственности — да хотя бы перед домашней скотинкой, «взятой для души» и во спасение от одиночества.

«Непостижимой жизни знаки»

Поэт Андрей ФАМИЦКИЙ, находясь как бы «в предбаннике вечности», пишет о болевых точках современности и сострадании — «когда случись какой-нибудь теракт/ и сердце соскребаешь со стены». В подборке Игоря КАСЬКО тоже тревога за будущее человечества, но и надежда, что, может, завтра «погаснет чёрная звезда./ И свет вернётся. Мир воскреснет». Лирика Варвары ЗАБОРЦЕВОЙ посвящена Русскому Северу, с которым крепко связана духовным и кровным родством. Стихи Айгерим ТАЖИ из Казахстана о любви к родной Алматы и о детстве: «Бабушка читает сказку,/ Вплетая нас, как бусины,/ Вискусное полотно».

«Любая страна — это, конечно, люди»

Путевые заметки, пусть даже о коротком путешествии на отдых, читать интересно, если путешествующий автор — человек наблюдательный, думающий и к тому же ироничный. Такова Диана СВЕТЛИЧНАЯ, автор эссе «Страна фей и драконов».

«Остались только первые слова»

«Нам уже не быть “простыми”, теми дорогими детьми природы, которые держат жизнь. Почему и войны стали так легки, “посторонни сознанию”, вроде политических представлений, словно и люди гибнут не впервой и кровь льётся не настоящая. Вообще жизнь как-то выходит “на поверхность” и делается “легче”, пустее. От этого всё чаще чувствуешь странную усталость и необъяснимое отчаяние». В рубрике «Жизнь в литературе» — «Двадцать пять бумажных писем» Валентина КУРБАТОВА Дмитрию ШЕВАРОВУ.

Воздух. Время. Высохший океан...

...Молитва. Игра. Свечи. Полёт бабочки. Деревце вишни в цвету. Скрежет ржавого железа. Звуки скрипки. Зеркало, в котором отражаются тени убитого мира... «Планета Земля — это шар, покрытый пеплом и обломками» после атомных взрывов. Те, кто выжил, устраивают подземный город в фундаменте небоскрёбов. «Одно из заветных желаний молодёжи — это подняться на восьмидесятый этаж и с высоты последней площадки посмотреть на закат солнца». Маленький шедевр Тонино ГУЭРРЫ «Пепел» — цепочка миниатюр: древний эпос, стихи и кино, уложившиеся во вдох и выдох. Остерегающее послание из 90-х нам сегодняшним. «Золотые страницы “ДН”».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.07.2024.
Подписано в печать 20.08.2024.
Формат бумаги 70 x 108¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрей ФАМИЦКИЙ. Грязное белое. <i>Стихи</i>	3
Евгений КАМИНСКИЙ. Поросёнок, петушок и весь этот ужас. <i>Повесть</i>	6
Варвара ЗАБОРЦЕВА. За красными гаражами. <i>Стихи</i>	39
Алексей ИВАНОВ. Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора. <i>Роман. Окончание</i>	42
Иван МАКАРОВ. Остановка каравана. <i>Стихи</i>	123
Николай КОНОНОВ. Простодушный балет, или Счастливая Люда. <i>Рассказы</i> ...	126
Игорь КАСЬКО. Мир воскреснет. <i>Стихи</i>	152
Макс НЕВОЛОШИН. Ты или я. <i>Рассказ</i>	155
Айгерим ТАЖИ. Раздвигая материю. <i>Стихи</i>	166
Артемий ЛЕОНТЬЕВ. Рассказы	170
Дильяра ЮСУПОВА. Три оттенка красного. <i>Триплет рассказов</i>	178
Михаил МАЛЫШЕВ. Заказ. <i>Рассказ</i>	186
«Свой обретая взмах». Участники Мастерской АСПИР в Нижневартовске (2024) на страницах «ДН»: Максим СЕРГЕЕВ, Екатерина КАЛУГИНА, Мария АЛЕКСАНДРОВА. <i>Стихи</i>	194

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Тонино ГУЭРРА. Пепел. <i>С итальянского. Перевод Алёны Панфиловой</i>	199
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Мухамметгулы АМАНСАХАТОВ. Единение со Вселенной	209
---	-----

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Речь о поэте (<i>Владимир Салимон</i>)	214
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Страна фей и драконов	216
---	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Двадцать пять бумажных писем. <i>Валентин КУРБАТОВ — Дмитрию ШЕВАРОВУ</i> 223	223
---	-----

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Разведчики безнадежности	248
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. <i>Ens philosophans (Р.Пирси. «Чтение как философская практика»; М.Эпштейн. «Память тела: рассказы о любви»; М.Эпштейн, С.Юрьенен. «Кульминация: О превратности жизни»)</i>	259
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Похороны режиссёра	268
--	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Репродукции картин, посвящённых 300-летию Магтымгулы Пырагы (Махтумкули)	
--	--

Андрей Фащицкий

Грязное белое

* * *

здесь, в предбаннике вечности,
только пыль по углам,
вещества человечности
ни на гран, ни на грамм.

но пока на вселенную
не брошен платок,
в дверь души тяжеленную
бьёт поэзии ток.

* * *

в гробу, обёрнутом рогожей,
мы не сокровище везли
в день сумеречный, непогожий,
по мёрзлым пустошам земли.

шуршала весело солома,
но сердце с нею не в ладу,
и всё, от заступа до лома,
долбило лежище во льду.

когда-то нежился в овечьем
пуху с красавицей женой,
а вот — когда укрыться нечем —
ты укрываешься землёй.

стенанием не осквернили,
молчанием не вознесли.
под толщей снега и земли
мы Пушкина похоронили.

Фащицкий Андрей Олегович — поэт, переводчик. Родился в 1989 году в Минске. Главный редактор литературного портала Textura, сооснователь издательства «Синяя гора». Автор четырёх поэтических книг, среди них — «minimum» (М., 2020) и «Руины башни из слоновой кости» (М., 2024). Живёт в Москве.

* * *

грязный белый, лежащий
под ногами у всех,
или чистый, ближайший,
неоправданный снег,

или чёрное что-то —
спрятать боли пласты,
и застенки без счёта,
и кресты, и кресты.

* * *

соль земли, которую вымывает
и уносит ветер её потом, —
мой народ безвременно вымирает,
вот и я щербатым стою столпом
и смотрюсь — кривой соляной огрызок —
в океан со всей его глубиной,
всею силой держа, кто безмерно близок,
по крупице теряя, что было мной.

* * *

мне осталось несколько урожаев,
как сказал виноградарь, мой старый друг.
в этом возрасте горестный Полежаев,
став поэтом, не смог победить недуг.

что поэзия? что-то сродни чахотке,
да и жизнью, как розгами, битый весь.
если рифмы дрянь и слова нечётки,
ты вином чернила уравновесь.

виноградных лоз я люблю прапамять,
а ползущие строки лозе сродни,
здесь подрезать, там — подвязать, поправить,
а вино и с истиной не сравни.

* * *

эпохи русского модерна
качалось кресло, и поэт,
сидящий несколько модельно,
прожжённый жизнь, прожёт и плед.

попробуй доберись до кожи!
но к дуновенью ветерка

прибавилась внезапно всё же
и масскультура матерка.

и попугай в огромной клетке
увидел, как от сих словес
к поэту милые музетки
вотще спускаются с небес.

амфора

менады пляшут с этой стороны
но что нам в обнажённых их телах
когда случись какой-нибудь терракт
и сердце соскребаешь со стены

учёные собрали черепки
и склеили как будто но взгляни
на сторону которая в тени
так я смотрю в свои черновики

* * *

художник далее холста,
но гробовщик — не дальше гроба:
ему застлала красота
того, на что он смотрит в оба.

он тоже взят на карандаш
тем, кто сокрыт за свой треножник,
и кровь течёт, а не гуашь.
а ты живописуй, художник.

* * *

Ф. Чечик

Толстой тачает сапоги
а Фет изнашивает падла
сегодня встал не с той ноги
но сочиняет складно правда

*а уж от неба до земли
качаясь движется завеса
и будто в золотой пыли
стоит за ней опушка леса*

заблещет солнце он опять
на полдороге до сарая
начнёт по кругу топотать
искать слова каблук стирая

потом приходит старый чёрт
каблук исчез подошва стёрта
но в рифму истину речёт
(ты тоже накропал до чёрта)

лишь смерть а не Шеншин лишит
стихов и прочих несуразиц
но и Толстой не лыком шит
уж он прочтёт ему рассказец

Евгений Каминский

Поросёнок, петушок и весь этот ужас

Повесть

Анна Иоанновна впервые за два месяца проснулась в своей постели. Ох и намучилась же она по чужим домам, ох и натерпелась! Ночью на станции — будь что будет, и денег не жалко, всё равно всех не заработаешь — взяла такси, чтобы не сидеть до первого автобуса в обществе подозрительных личностей, которые если не беспрестанно кашляли в зале ожидания, то яростно чесались, и от них тянуло чем-то тошнотворным.

Таксист, выбранный ею из нескольких, трущихся на вокзальной площади, караулящих клиента с ночного поезда — не толстый и не тонкий, не большой и не маленький, с печёной картофелиной вместо лица, с золотыми зубами и ухмылкой ушкуйника, — сделал рожу, когда Анна Иоанновна, поджав губы, скостила треть от запрашиваемой им цены, но согласно мотнул головой, поскольку остальные ушкуйники, столь же золотозубые и сплошь с картофельными физиономиями, могли и за такую плёвую сумму перехватить у него бабу-клиента. Лениво махнув Анне Иоанновне на заднее сиденье, он запустил двигатель и, проревев всю округу дырявым глушителем, повёз к дому. А по дороге не убил её и даже не ограбил.

Слава Богу за всё!

Почему, собственно, Анна Иоанновна, а не просто Анна Иванна? Что это за фокусы от одинокой простой женщины?!

Ну да, была такая Анна Иоанновна, российская императрица, в восемнадцатом веке, черноволосая, в теле, немного на рыбу похожая, если, конечно, верить кисти Луи Каравака. Жила какое-то время (считанные денёчки!), семнадцатилетняя, со своим владетельным супругом, герцогом Курляндии и Семигалии, Фридрихом Вильгельмом в качестве *вашего высочества покорнейшей служанницы*. Однако герцог дал дуба с похмелья на пути в Курляндию. Накануне курляндский Фридрих соревновался с русским Петром Первым в *искусстве питья*. Мол, кто тут на самом деле первый. Но что русскому хорошо, то немцу смерть, и против этого не попрёшь...

Но где русская императрица, а где Аня, в девичестве Коровкина?!

Каминский Евгений Юрьевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году. Автор нескольких поэтических сборников и книг прозы. Лауреат премии Гоголя (2007) и множества литературных конкурсов. Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 7.

Нет, императрица тут ни при чём. Просто Анна Иоанновна как однажды воцерковилась, так и стала, опустив глаза, требовать от окружающих впредь звать её только по-христиански — Анна Иоанновна. К тому же очень ей нравился апостол любви Иоанн Богослов на иконах; вроде бы и в летах, а ещё не старый и какой-то нежный. Эх, если б только жила она в те времена, что и апостол, и была иудейкой, то непременно посвятила бы свою жизнь этому Иоанну: стирала бы ему, шила и штопала, готовила и прибиралась в келье. А если б, скажем, была самаритянкой, то и тогда посвятила бы ему жизнь, хоть и не без трудностей в силу ограничений, чинимых ревностными иудеями. Не очень-то иудеи жаловали самаритян, хотя, конечно, так просто, за здорово живёшь, камнями никого из них не побивали. Только за дело, чтобы впредь неповадно было.

Все эти новые для себя мысли Анна Иоанновна вынесла из чтения Священного Писания и проповедей молоденького отца Виталия.

Наконец-то всё в жизни Анны Иоанновны было так, как она привыкла. Во-первых, она вновь находилась в своей комнате с низким потолком и упорно лезущим из всех щелей запахом прошлого счастья, с массивным, как сторожевая башня, шкафом, когда-то при перестановке застрявшем в одном из углов комнаты да с тех пор так и стоящим там насмерть, с дубовым столом, пропитанным пролитыми борщами, тремя венскими стульями с манерно изогнутыми ножками, диссонировавшими со строгой обстановкой христианского жилища, но так уж пожелала сама Анна Иоанновна: их изящное кокетство было необходимо этому дому, чтобы тот не походил на казарму. Здесь всё-таки жила женщина со вкусом, а не какой-то старший прапорщик. Во-вторых, всё тот же лунный свет лился в комнату из мутноватого окна. В-третьих, те же звуки, бог весть каким тварям принадлежащие, прокрадывались в дом со двора, наполняя сердце Анны Иоанновны трепетом и надеждой на то, что жизнь, может, уже сегодня навсегда изменится к лучшему.

Но чего-то Анне Иоанновне не хватало сейчас. Чего-то существенного, давно укоренившегося. Анна Иоанновна пошмыгала носом, поморгала, стряхивая слёзы с ресниц и вспоминая, что было вчера и что должно быть сегодня, и наконец поняла: не хватает забот по хозяйству, о которых она думала последнее время и к которым, как ни странно, ехала в поезде ночь, день и ещё часть ночи, торопя время и наполняясь предвкушением. Поняла и испугалась, что своим, по сути, преступным бездействием может загубить невинные души. Однако тут же успокоилась, поскольку вспомнила: эти души сейчас под присмотром соседей.

Хотя какие могут быть души у домашней птицы и поросёнка?!

На том, что у животных нет души, настаивал отец Виталий, молодой человек из Москвы, богатырь, красавец и умник.

Да как же нет души, как же нет, когда всякая тварь, и особенно поросёнок, смотрит на тебя порой так разумно, что плакать хочется?!

Тут отец Виталий, конечно же, важничал, говоря по-городскому, богословствовал, полагая, что паству следует подучить уму-разуму. Мол, иначе кто таких дураков после их кончины возьмёт в Царствие Небесное на веки вечные, пусть даже все эти люди — сплошь святой жизни?! С ними же стыда там не оберёшься!

С головы до пят городской, образованный, с хорошенькой матушкой, на шее у которой под шёлковым платочком Анна Иоанновна как-то разглядела ящерку — невинную наколку, которую матушка, видимо, по просьбе своего дражайшего супруга прятала от прихожан, боясь их осуждения, он, разумеется, ошибался насчёт животных.

Особенно насчёт свиней.

«Не знает он нашей христианской жизни и наших забот не ведаёт! — оправдывала непримиримую твёрдость своей позиции Анна Иоанновна. — Есть душа у всякой твари Божьей. И у свиньи есть, и у петушка есть. Как же не быть?! Не может не быть. Просто душа животного не той породы и немного меньше человеческой...»

Ещё в конце июля Анна Иоанновна вместе с поросёнком копала раннюю картошку у себя в огороде. Анна Иоанновна лопатой, а поросёнок пяточком и копытцами. Такой труженик оказался! И ведь поровну накопили — по два ведра каждый. Розовый и упругий — Анна Иоанновна всегда уточняла: «ухоженный» — поросёнок, похрюкивая, выталкивал из земли спелые клубни и подкатывал их пяточком к общей куче. При этом поглядывал на Анну Иоанновну: вот, мол, какой у тебя работник! И та нарадоваться не могла на своего работника. Потом поросёнок веселил Анну Иоанновну уже в доме: прытко разогнался в коридорчике и влетал в комнату, скользя на своих копытцах, как на коньках, и молодецкато глядя на Анну Иоанновну, мол, как тебе, Анна Иоанновна, такой номер? И та, растроганная, сгребала поросёнка в охапку, прижимала его, визжащего от радости, к своей обширной груди и плакала, благодарная Богу за то, что Тот послал ей сего утешителя.

Однако именно в те дни душевной радости и умиления жизнь и судьба выдвинули Анне Иоанновне ультиматум и поставили перед выбором, как поступить с живностью: продать на мясо или же отдать на сохранение, поскольку самой Анне Иоанновне надо было срочно ехать на окраину Москвы на выручку дочери, где та уже несколько месяцев мыкалась по съёмным квартирам в попытках зацепиться за цивилизацию. И, используя для этого своё молодое крепкое тело, доиспользовалась.

Теперь беременная дочь лежала в больнице с переломами лучевых костей, кусала локти и сигнализировала матери о катастрофе. Анна Иоанновна, собираясь к дочери, не представляла, сколько пробудет на окраине Москвы — может, месяц, а может, год. Если месяц, то живность стоит сдать под чей-то присмотр.

А если год или больше?

Решение пришло к ней вместе с соседом Виктором, явившимся купить у Анны Иоанновны по скромной деревенской цене куриных яиц в дополнение к тем, что уже прикупил у владельцев ближайших хозяйств для продажи в областном центре по уже вполне городским ценам. И Анна Иоанновна вместе с яйцами передала соседу на постой всю свою живность с заверениями забрать её назад, если только вернётся от дочери в обозримом будущем. Ну, а если обстоятельства не позволят, то тогда, конечно...

Да что об этом говорить? И так ясно.

Платой за постой птицы будут снесённые курочками яйца.

— Сам видишь, какие у меня несушки! В яйцах по два желтка! А петушок — просто зверь! Ну, в этом самом смысле, — заявила она и неожиданно для себя подмигнула Виктору.

Правда, поросёнок яйцности не мог, к тому же ел за троих. Потому Анна Иоанновна обязалась заплатить соседу по возвращении живыми деньгами за привес поросёнка.

— И, конечно, в городских ценах. Не обижу! — добавила она после того, как сосед, взвесив поросёнка, принялся говорить ей о какой-то «упущенной выгоде».

Кур Анна Иоанновна завела давно, сразу после смерти мужа, чтобы заполнить бездну одиночества громадьём неотложных дел, а поросёнка — аккурат после отъезда дочери за личным счастьем в Москву. Всем говорила, что берёт «борьку» на мясо, а сама взяла его для души. И пока поросёнок был маленький, визгливый, с нежнейшим пяточком, ходила за ним как за собственным младенцем.

После того, как на таких христианских условиях определила свою живность на постой, Анна Иоанновна сдала свою бухгалтерию директрисе, взяла расчёт и покатила на окраину Москвы с неподъёмными сумками, набитыми копчениями да соленьями.

При прощании с Анной Иоанновной ни куры, ни глазастенький петушок, всегда восхищавший хозяйку своими производственными показателями, не проявили ничего душевного, хотя та погладила каждую курочку, а петушка ещё и приголубила, стиснув горячими ладонями и прижав к сердцу. Птицам было не до неё — при обстоятельствах непреодолимой силы они вливались в шумный пернатый коллектив, и каждый вливавшийся был обеспокоен вполне реальной перспективой оказаться на задворках и сосать лапу у разбитого корыта.

Поросёнок же, напротив, очень сердечно распрощался с Анной Иоанновной. Дал ей обнять себя и посмотрел в глаза с лёгким упрёком: мол, что ж ты, Анна Иоанновна, бросаешь *свою дружка*? И ещё что-то было в поросячьих глазах, что-то тревожное, и Анна Иоанновна даже засомневалась: не грех ли оставлять милого друга чужим людям?

Сосед от души смеялся, наблюдая, как Анна Иоанновна, словно с сыном-солдатом, прощается с поросёнком. При этом сосед (настоящий хозяин!) не мог не прикидывать, сколько десятков яиц сможет получать от птицы Анны Иоанновны ежемесячно, и как быстро будет тучнеть её боров.

Жизнь Анны Иоанновны на окраине Москвы текла хлопотно и нервно и по-человечески не складывалась. Почти всё жизненное пространство здесь заполняли громкоговорящие на тарабарском языке азиаты, словно пришельцы из космоса, живущие параллельной, неопрятной и не понятной Анне Иоанновне жизнью, да наглая молодёжь обоих полов, вечно лакающая что-то из банок и сквернословящая хуже пьяной деревенщины.

С переломанными костями беременная дочь Анны Иоанновны желала по выздоровлении непременно сделать аборт, чтобы отомстить и равнодушной Москве, и всему белому свету за боль и унижения, доставшиеся ей вместо комфорта и удовольствий. В общем, убить в зародыше дитя азиата, который использовал её по мере надобности, а потом взял да и переломал ей кости за какие-то прегрешения против Всевышнего. Полиция искала её ухажора, но без энтузиазма: мол, объявлен в розыск, но наверняка сейчас где-то там, в чайхане возле арыка, громко рыгая, ест руками плов.

Дочь Анны Иоанновны мстительно нацеливала своё чрево на аборт, и Анна Иоанновна не могла понять, в результате чего из её кровиночки, в отрочестве не выходявшей из церкви, с сердечным жаром помогавшей там мамочке мыть полы, получилась вполне современная стерва с наколками по всему телу и чёрной завистью к чужому счастью. Вот именно стерва, для которой комфорт важнее Бога.

Анна Иоанновна перебирала, как чётки, этапы своей жизни, пытаясь вычислить переломный момент, когда ангел переродился в чертовку. И вычислила: как-то в чистый четверг та вдруг отказалась красить вместе с матерью яйца и накрасила себе губы...

Да что теперь убиваться! Былого не вернёшь, настоящее не переделаешь, и надо только молиться о том, чтобы дочь не сделала аборт. А родится ребёнок, взять себе и растить его христианином.

При расставании Анна Иоанновна молча протянула дочери довольно значительную сумму подъёмных. И дочь тут же сменила свой брызгливый тон на вполне офисный, предельно лицемерный, словно говорила не с матерью,

а с потенциальным клиентом. Она принялась убеждать мамочку в том, что передумала делать аборт (боялась, что, если не скажет этого, мать отберёт деньги), а народившегося азиата — так и быть — передаст Анне Иоанновне. Мол, пусть та *расхлёбывает*, то есть выращивает из потенциального мусульманина истинного христианина. А ей, дочери, надобно во что бы то ни стало устроиться на окраине Москвы, а потом непременно перебраться ближе к центру, чтобы там, ближе к центру, наконец начать жить так, как живут все нормальные люди, — вкушая плоды цивилизации. Дочь успокаивала мать, говоря, что теперь ни за что не свяжется с азиатом. И с кавказцем не свяжется. Теперь она непременно найдёт себе христианина (так она заявила Анне Иоанновне, понимая, что для той это важнее всего) и построит с ним свои отношения.

Последнее Анне Иоанновне не понравилось.

Да и не понимала она, как это — «строить отношения», хотя и многократно слышала это словосочетание от накрашенных губастых баб из телевизора.

Сама Анна Иоанновна ничего никогда в этом плане не строила, просто вышла замуж за учителя местной школы, у которого умерла жена. Учитель был вдвое старше, утром молча уходил в школу, после школы молча возвращался домой, тяжёло вздыхал и пил водку. Правда, без скандалов с соседями.

«Анька, он же никакой! Ни рыба, ни мясо!» — говорили Анне Иоанновне, тогда просто Аньке, её товарки.

Такого же мнения придерживался Иван Лопата, считавший Аню своей невестой. Он, бывший её одноклассник, отслуживший срочную, закончивший физкультурный техникум, посидевший в тюрьме и вернувшийся оттуда за примерное поведение раньше срока, деятельный и рачительный хозяин, терпящий в доме придурочного отца и поддерживающий ослепшую мать, был известным во всей округе резником — забойщиком скота. Забивая скот, Лопата не суетился, несмотря на отчаянный визг свиней или трагическое мычание вышедших на пенсию бурёнок. И если являлся из сарая после *дела* залитым с ног до головы кровью, то всегда с виноватой улыбкой, мол, нечисто сработал, дал маху. При этом Лопата никогда не настаивал на привеске к куску убоины, который полагался резнику за смертоубийство, или на дополнительной плате за эту кровь на своих руках и на брезентовой куртке. Получая заранее оговорённый кусок или деньги, он всегда говорил заказчику «благодарствую!» и шёл на двор смывать с себя кровь и продолжать прерванную хозяйственную деятельность.

Можно сказать, забойщиком Лопата был прирождённым: бесстрастным, расчётливым в движениях. Стал он им ещё в юношестве, когда его отец, тоже забойщик скота, потерял квалификацию по причине алкоголизма. В общем, сын резво подхватил кроваво-красное знамя, выпавшее из рук отца, так что селяне, разводящие на своих подворьях живность на мясо, даже не успели озабоченно почесать свои затылки.

Испытывал ли Лопата жалость к забиваемой скотине? Ну, или угрызения совести, когда, скажем, смотрел только что убитому быку в глаза, затмеваемые кровавой пленой?

Едва ли.

Иван Лопата знал твёрдо: Бог определил домашнюю скотину в работники человеку. А того из этих работников, кто отработал своё, и вовсе — в пищу. По крайней мере, Господь однажды сообщил об этом апостолу Петру. И последний стал мясоедом.

И вот при всей своей славе забойщика, при всём своём непревзойдённому умению, Лопата безнадежно любил Анну Иоанновну. Поначалу, в старших классах школы, — явно, но как-то робко, а потом, когда все их одноклассники переженились и даже

успели развестись, — тайно. Хотя кому интересно, любит ли Иван Лопата какую-то Анну Иоанновну, или же та ему до лампочки?!

Одним словом, всю сознательную жизнь Лопата упорно думал об Анне Иоанновне, даже тогда думал, когда сидел в тюрьме или забивал скот, обливаясь невинной кровью. Потому-то и не обзавёлся собственной хозяйкой. А вовсе не потому, что, как поговаривали злые языки, бабы бегут от него, как чёрт от ладана.

Одно время (сразу после окончания средней школы) Аня была не прочь стать Ваниной женой. Правда, её тогда отталкивала его фамилия, которую ей придётся принять вместе с брачными узами. Анна Иоанновна не желала ни при каких обстоятельствах быть до смерти Лопатой. Конечно, выйдя замуж за Лопату, она вполне могла оставить и девичью фамилию — Коровкина. Но её общие с Ваней дети всё равно стали бы Лопатами. Нет, этого Анна Иоанновна позволить себе не могла. И потому на поставленный однажды перед ней вопрос о женитьбе не ответила ни да, ни нет, а только улыбнулась Лопате.

Было ещё одно обстоятельство, ставшее, как оказалось впоследствии, серьёзной преградой. Анина одноклассница как-то оговорила Лопату, а может, не оговорила, а выдала с головой: мол, Ванька считает, что у тебя зад низковат и словно лопатой приплюснут. «Какой зад?» — не поняла Аня. «Жопа!» — бросила Ане одноклассница и, задрав подбородок, пошла прочь: отомстила Аньке за что-то, вероятно, никому, кроме неё, не ведомое.

«И что из того, что низковат и приплюснут? — проплакала тогда всю ночь Аня, терзаясь этим нелепым вопросом. — Разве зад главное в человеке?»

Проплакала и вычеркнула Лопату из женихов из-за таких тяжких обвинений.

«Что значит ни рыба, ни мясо?» — хмурила брови Аня, строго глядя на товарок, пытавшихся отговорить её от брака с учителем. «Ледащий он! Нет в нём жизни, одна видимость. К тому же борода сивая! Сивый мерин он, Анька!» — настаивали товарки, не боясь после таких заявлений потерять верную дружбу.

Анна Иоанновна тогда развернулась и пошла прочь, злая на подруг, посмеявших так низко высказаться об учителе, который ничего не имел против зада Анны Иоанновны и не позволял себе в подобном духе высказываний.

Примерно то же самое об учителе, правда, другими словами, пытался донести до Анны Иоанновны Иван Лопата, но она, поджав губы (помня его мнение о своём заде), не пожелала выслушать его до конца.

И, возможно, назло всем, Анна Иоанновна вышла замуж за сивого мерина, который был вдвое её старше. И взяла его фамилию, и стала к своей радости Анной Иоанновной Сазанской.

Учитель имел хилое тело и костистую голову на жёлтой жилистой шее. А вот лицо у него было хорошее, с тонкими, как у апостола, чертами и сквозняком страдания в больших глазах. Не то что у окружающих Анну Иоанновну всевозможных начальников и ответственных работников, с которыми ей приходилось иметь дело. И у вороватых коллег Анны Иоанновны по торговому цеху, и у скрывающихся от исполнения своих обязанностей руководителей администрации, и у представителей политических партий, заглядывавших в их края обещать молочные реки с кисельными берегами, и у членов областных комиссий, приезжавших в район отменять что-то необходимое и учреждать что-то бесполезное, лица были, как правило, широкими, набрякшими чем-то значительным, но совсем не нужным в Царствии Небесном, а глаза — маленькими, и либо бессмысленными, либо бесстыжими. И если уж продолжать об этом, то вот ещё что: Анна Иоанновна всегда терялась, чувствуя себя в чём-то да виноватой,

когда входила в контакт с полицейскими или с прокурором, надзиравшим за беспределом, творимым этими полицейскими. А однажды даже не сдержалась: «И у него такие же бесстыжие глаза!» Это произошло на судебном процессе, где она выступала свидетелем, и как раз в тот момент, когда её взгляд упал на судью областного суда. Лицо у судьи, по мнению Анны Иоанновны, было вообще не лицо, а посмертная маска.

Кстати, на этом процессе все его участники говорили правильные слова: и прокурор, и адвокат, и судья. Под этими словами могла бы подписаться и сама Анна Иоанновна. Но в них не было чего-то важного. И после приговора, зачитанного судьёй скороговоркой, Анна Иоанновна поняла, чего именно ей не хватило. Божьей правды ей не хватило. Той самой, что выше законов и правил.

И сколько она ни пыталась заглянуть в глаза судье, чтобы разглядеть в них эту самую правду, ей это не удалось. Глаза судьи ускользали, словно карманники в толпе, и Анна Иоанновна, красная от стыда, чувствовала какую-то неясную вину перед судьёй. Словно она лично виновата в том, что в судье не нашлось места для правды.

Начальница Анны Иоанновны, которую как раз судили, тогда отделалась условным сроком за вполне конкретные прегрешения, и прямо в зале суда, уже освобождённая, пожаловалась Аньке, что откупиться ей обошлось в сумму чуть ли не вдвое большую той, что ей вменяло следствие по этому делу.

Через год после скромной, без поцелуев взасос и пьяных драк свадьбы Анне Иоанновне и учителю каким-то образом удалось родить вполне здоровую девочку и некоторое время совместно её воспитывать. Учитель в воспитании дочери налегал на адаптированные для детей рассказы из жизни античных богов и прочих безбожных героев, а Анна Иоанновна учила с дочерью наизусть Отче наш и Символ веры. Учитель довольно рано умер, не дав Анне Иоанновне натешиться положением мужней жены. Как подозревала Анна Иоанновна, учитель сбежал от неё на небеса к своей покойной жене, которую, вероятно, любил больше всего на свете, несмотря даже на то, что та, с молодости большая-пребольшая, не родила ему никого.

Что ж, Анна Иоанновна понимала, что такое любовь, и ухаживала за могилами обоих — и своего мужа, и первой жены своего мужа, — уважая любовь как дар Божий. Это помимо заботы о родительских могилах.

Сегодня Анна Иоанновна намеревалась забрать у соседа Виктора свою живность. Соскучилась.

Бойкий петушок... Каким он стал?

Милый поросёнок... Наверняка уже не бегает сломя голову по участку, не копает пяточком картошку. Да и как ему копать картошку, если нет рядом с ним Анны Иоанновны?

Деньги на предполагаемый привес поросёнка были у неё отложены с гаком.

Предвкушая встречу, которая вернула бы Анне Иоанновне не только привычный образ жизни, но и в какой-то мере смысл её теперешнего существования, она занялась уборкой дома, которому та как раз и не требовалась — разве что стереть пыль. Наведаться рано утром к соседу с этими хлопотами было неудобно. Тот в своём праве мог ещё похрапывать в супружеской постели, а не горбатиться по дому, как его хозяйка. Анне Иоанновне не хотелось гневить соседа, ведь тому пришлось бы с утра пораньше тащить к весам поросёнка, который наверняка упирался бы всем своим поросёньим существом, стремясь припасть к груди Анны Иоанновны. К тому же Анна Иоанновна

должна была прежде решить, что рассказать соседям о своей поездке к дочери, а о чём лучше умолчать.

И тут только Анна Иоанновна вспомнила, что ей приснилось сегодня перед самым пробуждением. Ей приснился её поросёнок.

Поросёнок подошёл к ней вплотную, заглянул в глаза и покачал головой, мол, эх ты, Анна Иоанновна, Анна Иоанновна. Она вгляделась в поросёнка — что-то её насторожило — и к своему удивлению разглядела в нём покойного мужа, давным-давно сбежавшего от неё на небеса. Тот проступил в поросёнке своим скорбным ликом, который так удручал Анну Иоанновну, когда она ходила за ним, уже смертельно больным.

Разглядела и тут же проснулась.

В доме соседа, однако, хозяева с раннего утра трудились.

На кухне уже несколько часов варили, парили и жарили всё самое-самое, чтобы подать это на стол дорогим гостям из столицы.

Дорогие гости — Павел Борисыч, матёрый литератор (критик и эссеист), по пятницам появлявшийся в телевизоре по самым разнообразным и не всегда культурным поводам, яростный полемист и обличитель человеческих пороков. Такой, мимо которого мышшь не проскользнёт и муха не пролетит без последствий для себя. И с ним его жена Виктория, настоящая столичная штучка, старшая сестра Виктора и кандидат искусствоведения, недавно по счастливому стечению обстоятельств побывавшая в Венеции, чтобы оценить живопись, созданную там каким-то русским стипендиатом в девятнадцатом веке, а потом сфотографироваться под итальянским солнцем с тамошними искусствоведами. Побывавшая, кстати, вместо ведущего научного сотрудника института, породистой белокожей женщины, отказавшейся оставаться любовницей директора института по причине своего отбытия с законным мужем на ПМЖ в Америку.

После той своей командировки в Венецию Виктория довольно продолжительное время с замиранием сердца ждала от директора приглашения на пустующее после отъезда породистой женщины *свято место* (а иначе зачем он послал в Венецию именно её?). Появлялась в институте то в белом, закрытом под горло, то в красном с глубоким вырезом на груди костюме, с шикарной причёской, всегда новой и неожиданной для коллег, и в течение всего рабочего дня то и дело входила в кабинет директора с каким-то неотложным делом. А то, будто невзначай, проходила мимо него, семенящего по коридору в буфет. Вся такая растерянная, но при этом аппетитная. Или же, предельно собранная, словно внутрь себя глядящая горящими глазами, где, понятное дело, рождалось новое слово искусствоведческой науки. И непременно с приоткрытыми, густо, как у девки из варьете, накрашенными губами. Она шла и упорно не замечала идущего ей навстречу директора, с одобряющей и немного раздевающей улыбкой её разглядывающего. Однако директор всякий раз проходил мимо Виктории без последствий для неё.

И вот перед самым отъездом в очередной отпуск Виктории открылась вероятная причина такого равнодушия: новенькая библиотекарьша, свежая, как июньский огурчик, улыбочивая дура, кажется, на всё готовая без предварительных условий. Всё было настолько очевидно, что Виктория даже не сжала от злости кулаки, а только открыла от удивления рот. Однако при этом не отказала себе в намерении непременно отомстить библиотечной дуре за такую наглую кражу, а директору — за такое подлое

вероломство. Несмотря на то, что последний ей ничего не обещал, даже намёков не делал. Ну, отправил в командировку в Венецию. И что из того?

Как что?! Как что, люди добрые?! Да абсолютно всё.

Неужели непонятно?

В этом году Павел Борисыч пребывал на пике славы. Иными словами — парил над современностью, расправив шестиметровые крылья архангела. В конце прошлого года возглавивший жюри одной престижной литературной премии, а совсем недавно вручивший эту премию новому лауреату и сказавший при этом бесконечно длинную речь о русской литературе, он до сих пор (по инерции некогда обделённой вниманием творческой натуры) надувал щёки. И при всяком удобном случае вворачивал в разговор напоминалочку о том, что именно он возглавлял жюри премии, где назначил (этот глагол он использовал специально, чтобы всем было ясно, кто определяет вектор современной литературы вымысла) её лауреата, поскольку без него назначили бы другого, наверняка недостойного, и тогда русская литература погибла бы.

На церемонии вручения он в расстёгнутой на горле рубашке небесно-голубого цвета и мешковатых, но столь же голубых джинсах, выжатый как лимон своим пламенным выступлением, расслабленно улыбающийся присутствующим (мол, вот он я, восхищайтесь мной, но только издалека, поскольку на всех вас, страстно жаждущих успеха, славы, ещё недавно зависящих от моего расположения, у меня нет ни минуты, ведь я на службе у эпохи, на работе у времени, и вообще на мне ответственность за чуть ли не за Россию-матушку), встретился со своим бывшим литературным сподвижником, с которым лет десять как разошёлся идеологически при обстоятельствах, о которых вспоминать Павлу Борисычу не хотелось. Ну да, разошлись пути-дорожки заединщиков, что бывает сплошь и рядом в судьбах штучных людей эпохи, что, можно сказать, предписано свыше всякому сложному характеру и пытливой душе для воспитания чувств и формирования биографии. И оказались заединщики в разных лагерях. Павел Борисович, совершенно неожиданно для себя, — в патриотическом, хотя его эстетические предпочтения, его политические воззрения и, главное, любовь к комфорту, казалось, этому всячески препятствовали. А тот, другой, — в либеральном. Хотя его боевые награды, его босоногое детство в сибирском городке, его прямой взгляд на вещи к этому никак не вели. Но так уж распорядилась судьба. И вот тот, кому, следуя зову своих предприимчивых предков, надлежало до конца своих дней пребывать в стане интеллектуалов, категорически протестующих против того, что деньги портят людей и что за правду можно и нужно жизнь отдавать, примкнул к квасным патриотам, а тот, который только по факту своего происхождения и соответствующего этому происхождению воспитания должен был всю сознательную жизнь если не гнать рыночников да западников, как шведов под Полтавой, то хотя бы выводить этих лицемеров на чистую воду, стал своим среди людей с тонким вкусом, придерживающихся общеевропейских ценностей и время от времени отправляющихся за кордон в свободный мир заявлять о своём несогласии. И, разумеется, тусоваться там в компании хорошо одетых и умеренно пьющих товарищей.

И каждый из бывших заединщиков вмиг сделался в своей стае особенным. В каждого из них единомышленники всегда могли ткнуть пальцем, вопрошая идеологического противника: «А такого вы видели? Ага! Ну что, съели? Так что не смейте больше говорить, что мы закрыты для чужих!»

Обоих всегда приглашали в президиум писательских съездов, литературных совещаний и читательских конференций. И обоих выслушивали, едва речь заходила

о проклятых вопросах России, и обоих потом цитировали. А процитировав, качали головами: «Вот видите! А вы говорите...»

В общем, на той церемонии вручения премии оба они, весьма заметные в своих сплочённых стаях, впервые за десять лет встретились.

И тот, прямой в своих убеждениях, как корабельная мачта, уроженец сибирского городка, обитавший в лагере людей с тонким вкусом, не получивший эту самую премию (а ведь *свои* его убеждали в том, что премия у него уже в кармане) за роман не то о свободе выбора, не то о выборе свободы (ибо только об этом и должен писать рукопожатный человек), не получивший, как он считал, по вине председателя жюри (отдавшего её, вожделенную, какому-то писаке, придерживающемуся в своих опусах патриотических воззрений), залепил звонкую, услышанную всеми участниками церемонии, пощёчину Павлу Борисычу. Влепил, конечно, после того, как крепко выпил на фуршете и предсказуемо потерял над собой контроль. Однако не настолько потерял, чтобы по-сибирски врезать в рыло идеологическому врагу и потом растоптать его, как падаль. Если бы орденосец врезал Павлу Борисычу, Павел Борисыч тут же помчался бы в поликлинику фиксировать побои, а оттуда — в полицию — писать на бывшего друга-товарища заявление, и если не упрятать последнего в тюрьму, то измучить судебными исками и разорить тратами на судебные издержки. Орденосец оказался не так прост (чему-то полезному воспитанные люди с тонким вкусом его всё же обучили) и залепил своему бывшему товарищу лишь пощёчину, которую, конечно, в поликлинике не засвидетельствуешь и в полиции не предъявишь.

Кандидат искусствоведения, присутствующая на этом в каком-то смысле историческом для неё событии в качестве примадонны и, казалось бы, наконец-то начавшая вкушать плоды своего замужества (пришедшие на церемонию бабы — литературные и околотитулярные — с завистью взирали на жену вершителя литературных судеб), едва не взвыла от ненависти, став свидетельницей этой пощёчины. Да только не к сибирскому орденосцу, а к собственному мужу, который от этой пощёчины повалился на стену и согнулся пополам, закрывая лицо, вместо того, чтобы ответить хаму, дать ему в морду или хотя бы плюнуть в лицо.

Павел Борисыч, как пасхальный агнец, покорно ждал смертоубийства, и многие из присутствующих в зале, не пряча мстительных улыбок, наслаждались этой картиной. Однако хам, кажется, напрочь забыв о предъявляемых Павлу Борисычу претензиях, а, возможно, и о самом Павле Борисыче, направился к столу с недопитыми бутылками, чтобы ещё добавить, а Павел Борисыч неожиданно распрямылся, оторвал ладони от лица и улыбнулся так, словно эта пощёчина была лишь невинной шуткой. И до конца вечера делал вид, что ничего особенного не произошло.

Павел Борисыч решил тогда не заострять внимания на пощёчине, а назавтра и вовсе сказать, что её не было. И если кто-нибудь ему намекнёт, заявить с убеждённой уверенностью, что такого просто не могло быть, а если было, то он, в тот момент смертельно пьяный, ничего не помнит.

И действительно, в конце церемонии всем приглашённым стало наплевать на эту пощёчину, поскольку нужно было расходиться по домам, а между тем на дорогах и станциях метро их уже поджидали полицейские, умеющие разглядеть даже в литераторе нарушителя общественного порядка и взять его, тёпленького, под белые руки.

Итак, всем стало наплевать и на пощёчину, и на Павла Борисыча. Но только не Виктории, которая уже не пила вино, а только ненавидела мужа и размышляла о том, что зря не вышла замуж в своё время за сибиряка-орденосца. Когда-то, намереваясь посвятить жизнь искусству, она выбирала между ним и Павлом Борисычем, весьма

неохотно склоняясь к тому, чтобы всё же выйти замуж за последнего, который казался ей более перспективным. Хотя спала она тогда с обоими поровну и к обоим испытывала чувство, правда, несколько разнящееся на вкус.

Прямая, словно аршин проглотившая, Виктория тогда подошла к пьяному орденоносцу, сверкая глазами и раздувая ноздри, как игуана, не зная, что сейчас сделает: засветит ему пощёчину или же предложит ему взять себя замуж. Но орденоносец был уже никакой: устался на неё как баран на новые ворота, потом криво ухмыльнулся и схватил за руку.

— Мы, кажется, где-то с вами, ну, это самое? — едва справляясь с сопротивляющимся мысли языком, изрёк орденоносец.

И тут же, видимо, что-то важное для себя вспомнив, забыл о ней.

Так они и простояли с минуту рядом: он, по-бараньи напрягая развинтившиеся извилины, и она, пылая лицом и кусая губы. То-то натешились литературные и околотитературные дамы, наблюдая эту немую сцену.

Павел Борисыч пробудился и трусливо посмотрел на жену.

Та беззлобно посапывала, и Павел Борисыч подумал, что, возможно, вчерашнее недоразумение возле курятника ею забыто и она не станет колоть ему глаза при каждом удобном случае.

Вчера, по пути на черноморское побережье в отель с туалетом в номере и полотенцем на пляже, они завернули в гости к Викиному брату, где их встретили криками радости и горящими от восхищения глазами.

А как ещё вести себя людям, в гости к которым пожаловал сам Павел Борисыч из телевизора?!

Тогда же в честь гостей было намечено грандиозное застолье. Всё же не каждый день к вам в гости приезжают писатель земли русской в паре с кандидатом искусствоведения!

Но проклятый петух чуть не испортил праздник, набросившись на Павла Борисыча.

«Он что, телевизор не смотрит?» — с горькой иронией вопрошал себя Павел Борисыч, рассматривая раны, нанесённые ему вчера птицей. Они до сих пор саднили.

Напавшим на Павла Борисыча петухом оказался тот самый, милый сердцу Анны Иоанновны, глазастик. Но что же произошло с этим петушком за время отсутствия Анны Иоанновны? В чём дело? А в том, что с тех самых пор, как Анна Иоанновна покинула родные пенаты, петушок, оставленный без её попечения, как иногда говорят решительные люди нашего времени, потерял берега. Теперь он ощущал себя и в птичнике, и на дворе верховным главнокомандующим, помазанником и сюзереном. Ощущение это развилось в петушке, вероятно, в отсутствие должного человеческого внимания: поглаживаний, похлопываний, прижиманий к груди и прочих нежностей. И всё то хорошее, что некогда будила Анна Иоанновна своей любовью в петушке, пришло в упадок. Теперь петушок, например, начинал рвать глотку ещё до пяти утра, тогда как при Анне Иоанновне позволял себе подобное буйство не раньше шести. К тому же использовал свои производительные силы в производственных отношениях с курами довольно беспорядочно, то и дело пытаясь овладеть хозяйским петухом. Было за ним ещё много чего, возможно, малозаметного, но так же возмутительного.

Да что тут говорить! Подобное и с нами сплошь и рядом.

Например, жил-был мальчуган под пристальным бабушкиным присмотром, щекастый, румяный, стриженный бобриком в парикмахерской. Прилежно выполнял школьные домашние задания, ходил в кружок мягкой игрушки и в булочную за половинкой чёрного хлеба и батоном, а по воскресеньям получал от бабушки петушка на палочке. Но умерла бабушка (как же ей не умереть, если медицина смотрит на всякую бабушку как на досадную помеху в жизни государства?!), и остался мальчуган наедине с выпивающей мамочкой, которую когда-то бросил папочка. И попал прежде послушный бабушкин внук в зазеркалье, где тебе и мамочкины пьяные объяснения в любви к своему сыночку, и тут же её проклятия в его адрес, и какие-то криворотые дяди толи и дяди коли, приходящие с бутылкой водки в кармане к мамочке для случки. Пригляделся мальчик к зазеркалью и примерил его на себя, и оно ему понравилось. И зажил мальчуган с тех пор по-новому, забыв про домашние задания, кружок мягкой игрушки, батоны и петушка на палочке. И, разумеется, со временем в парке или на бульваре кого-то укукошил из-за бобровой шапки, а то и просто из удали, которая так и прёт из созревающего тела. И сел мальчуган в тюрьму надолго, разумеется, чтобы уже всерьёз, напряжением всех сил и средств, знакомиться с той жизнью, которая противопоказана всякому живому на этой земле — и конному, и пешему безлошадному...

Вполне можно предположить, что окрестный мир, на взгляд петушка Анны Иоанновны, оказался не так устроенным, как надо. Без учёта ведущей роли в нём петушка. И взялся петушок за передел неправильного мира со всей возможной энергичностью. И наводимый им на окрестности ужас стал его любимой игрой, козырной картой с дешёвым куражом и элементами запугивания. В птичнике Виктора он безоговорочно властвовал, хотя имелся там свой петушок, правда, довольно квёлый, при первой же стычке выбросивший белый флаг и забившийся в тёмный угол.

Вот и правил петушок Анны Иоанновны в курятнике Виктора. Покорял, подавлял, устраивал то взбучку, то разнос несогласным. Разумеется, с летящими в стороны пухом и перьями. Обыкновенно, в пять утра, а то и раньше — в то самое время, когда сон, наконец, посещает измученные людские души, — промывал он мозги всей округе сатанинским криком. Анна Иоанновна, конечно же, нашла бы способ заставить молчать петушка в такую рань, уговорила бы гластенького не будить её на заре, всю ночь обнимавшую подушку вместо школьного учителя.

Однако власть петушка не была безграничной. Ахиллесовой пятой в системе миропорядка, где петушок являлся центром притяжения и объектом подобострастного внимания, являлись его новые хозяева. Они определяли границы его пребывания, кормили его и поили, а могли ведь не кормить и не поить, терпели его сумасбродные выходки, а очень даже могли и запустить в него чем-нибудь тяжёлым и опасным для жизни. Их преимущество перед ним заключалось не столько в грубой физической силе, сколько в единой внешней по отношению к нему политике, стерегущей мирное сосуществование на тропе вооружённого нейтралитета. Обычно, со своими мирными инициативами (кормом и питьём) они приходили вооружёнными до зубов. И петушок, оскорблённый их превосходством в физической силе, подкреплённой штыковой лопатой в руках, раздражённо помалкивал. Но только в том случае, если они со своими инициативами заставляли его в одиночестве. Если же при этом акте доброй воли с их стороны присутствовали наложницы петушка или сторонний наблюдатель, тупо сидящий на цепи, петушок, выпятив грудь и выкатив зенки, пытался взять хозяев на понт: кидался на них, как на амбразуру, сохраняя при этом безопасную для себя дистанцию. Когда же хозяева, озабоченно качая головами, уходили к себе, он, задетый за живое, отыгрывался на наложницах. Колотясь, как в припадке, разрывая себе горло

криком, он топтал, топтал, топтал всё живое, попадавшееся ему. Да так топтал, что у селянина, по какой-то надобности зашедшего в этот момент к Виктору, душа леденела от ужаса.

Частенько в отчаянном прыжке миновав заграждение с нейтральной полосой в виде зелёной травки перед птичником, петушок оказывался на чужой территории и коршуном накидывался на зашедшего к хозяевам гостя. Ошарашенный неожиданным наскоком, гость превращался в соляной столб, а петушок налетал на него то справа, то слева с лютостью уркагана и ждал, когда тот бросится наутёк. На шум являлись хозяева, и петушок возвращался к месту постоянной дислокации: неспешно, если хозяева были без штыковой лопаты, или же стремительно, если в руках у них имелся какой-нибудь весомый аргумент.

Прогнав петушка, хозяева уверяли ошарашенного таким приёмом гостя в смехотворности претензий, которые тот предъявлял своему обидчику. Ссылались на то, что у последнего, согласно науке, отсутствуют ум и совесть.

— Да будь ты умнее! — говорили они соседу. — Он же полный идиот!

Идиот, однако, был себе на уме. И всегда знал, кого, когда и как можно, а кого нельзя ни в коем случае.

Поросянок Анны Иоанновны, по всей видимости, не одобрял подобного поведения петушка. Когда они сталкивались во дворе, поросёнок опускал голову и мутно смотрел на петушка, раздувая бока, а петушок подпрыгивал на месте, словно собирался напасть на поросёнка. Но не нападал. Что-то его останавливало. Возможно, память о прежнем доме, где они с поросёнком вполне мирно сосуществовали. Тогда петушок ещё не знал себе цену, не понимал, что этот мир существует только ради него. Хотя, возможно, был тут и трезвый расчёт: поросёнок, если бы вдруг обиделся, мог задавить насмерть. Петушок бы даже не хрюкнул от неожиданности.

Примерно так, появившись в птичнике Виктора и осознав себя неординарной личностью, петушок Анны Иоанновны отвоёвывал территорию на дворе и забирал власть в курятнике. Его отношения с хозяевами, которые вынуждены были терпеть, чтобы вернуть петушка Анне Иоанновне целым и невредимым, были уже настолько натянутыми, что грозили треснуть по швам и залить поле брани кровью.

Власть, добытая петушком, наливалась беспримерной лютостью, как постельный клоп человеческой кровью. Авторитет петушка поднимался на невиданную среди домашней птицы высоту. Возможно, скоро ему было бы достаточно одного взгляда, чтобы какая-нибудь зойка или сонька из курятника, даже не побегав от него для приличия, тут же припала к земле, угодливо предлагая ему своё тело. И он неторопливо восходил бы на этот трепещущий пьедестал. Казалось, ещё немного и положение петушка станет столь же незыблемым, сколь синеющие на горизонте Кавказские горы. Он уже мог позволить себе то, что было непозволительно никому из смертных на дворе. Например, несколько дней назад петушок подстерёг хозяйского мальчугана, всегда державшегося от него подальше и с дистанции обстреливавшего его паданцами «белого налива» и «славы победителя», и напал на него. На крик поверженного петушком врага во двор выскочила хозяйка. Петушку надо было делать ноги, не теряя ни секунды на обычные в подобных случаях телодвижения. И он, не забывая о том, как выглядит в глазах наложниц и стороннего наблюдателя на цепи, бросился прочь, чувствуя, как сзади на него накатывает тяжёлое дыхание смерти.

Топор просвистел у него над головой и прочно застрял в ботве, а петушок, перемахнув через ограду, забился вглубь своего жилища, прикрываясь телами притихших наложниц. Снаружи до него доносилась ругань хозяйки, но его сердце радостно пело.

Несколько суток петушок прятался в курятнике. И только вчера, ближе к вечеру, озираясь по сторонам, готовый в любое мгновение броситься назад, выбрался из укрытия и уже через пять минут как ни в чём не бывало тряс бордовой бородой и покрикивал на свой гарем, вновь прибирая власть в округе.

Тут-то на дворе и появились очередные хозяйские гости, и в глазах петушка зажглись огоньки безумия. Гостей было двое. Один из них показался подходящим для нападения: дебелий, совсем не похожий на крепкое местное мужичьё. И петушок на него прыгнул. И, конечно же, всадил в него свои шпоры. Гость от неожиданности повалился на землю, закрывая лицо ладонями и в панике зовя на помощь, а петушок помчался прочь, прислушиваясь к матерной брани в свой адрес...

Павел Борисыч улыбнулся проснувшейся жене, готовый ответить на любые её упрёки имевшимся у него в арсенале искромётным юмором. Или огрызнуться, если юмор не сработает.

А что ему ещё оставалось после вчерашнего инцидента с петухом?!

Виктория хотела было сказать Павлу Борисычу что-то привычное, утреннее, насмешливо-ободряющее, но, вспомнив вчерашнее, сморщилась, словно разжевала вместе с вишней древесного клопа.

До завтрака Виктория не разговаривала с мужем, искоса поглядывая на него. Но после того, как пропустила первую рюмку пахнущего дрожжами напитка, который упорно расхваливал её брат, раздухарилась и, словно забыв о сидящем рядом муже, принялась вспоминать венецианских искусствоведов, их игривый нрав, их глазамаслины, их длинные носы, дорогие пиджаки, гастрономические пристрастия и... Тут она всё же вспомнила о сидящем рядом муже, повернула к нему удивлённое лицо и с неудовольствием прикусила язык.

Стол был накрыт во дворе в ажурной тени виноградника, на лёгком южном сквознячке. Хозяйка то и дело входила в дом проверить, как там её сыночек, в кои-то веки оставленный родителями в покое, сходит с ума в интернете. И заодно выносила из дома всё новые яства: колбасы, пласты ветчины, наструганные с висящего в кухне на кожаном шнурке окорока, кусочки жареной свинины на ивовых прутьях с проступающими поверх капельками крови, запечённый с чесноком картофель...

Гости тут же пустили сок: всё было очень вредным, заставляющим блестеть от удовольствия лица едоков, а самих едоков тяжело отдуваться. Виктория после короткой внутренней борьбы забыла о том, что следит за своей фигурой (она ещё надеялась однажды оказаться под боком у директора института) и жадно, совсем как в детстве, навалилась на свинину и картофель. Не забывая о багровых помидорах, лопавшихся от спелости ещё на грядке, а теперь пускавших по этому поводу слезу, об огурцах, высунувших глянцево-розовые носы из эмалированного таза, ещё в начале завтрака установленного хозяйкой на середину стола — вот, мол, вам!

Павел Борисыч порывисто жевал и глотал, порой не прожевывая как следует, словно боялся, что завтрак закончится прежде, чем он заморит своего червяка. Червяк Павла Борисыча, однако, оказался весьма внушительных размеров. Павел Борисыч ел и не мог заморить его настолько, чтобы отвалиться на спинку стула и, уронив голову на грудь, задуматься о судьбах русской литературы. При этом он нет-нет да косил глазом в сторону птичника, откуда мог появиться вчерашний террорист.

Хозяин, видя такое пристальное внимание Павла Борисыча к птичнику, светясь простоватой улыбкой, то и дело подходил к дорогому гостю, чтобы уверить его в том, что петушок теперь под замком, потому не появится во дворе ни под каким видом.

Завтрак набирал силу и не думал заканчиваться, плавно переходя в обед и, кажется, намереваясь закончиться торжественным ужином.

В какой-то момент вяло залаял кобель на цепи, и возле стола появилась женщина, скромным голосом истинной христианки заявившая:

— А я к вам прямо из Москвы, дорогие мои.

Павел Борисыч вздрогнул и пригляделся. На ум ему пришла шальная мысль о том, что гостьей может оказаться какая-нибудь литературная баба по его душу. Вот именно, какая-нибудь московская литераторша с неутолёнными амбициями и слезами отчаяния, готовыми хлынуть на грудь Павлу Борисычу, каким-то образом узнавшая, что в этом доме остановился её литературный идол, совсем как Пушкин по дороге на Кавказ. Именно так — литературный идол (правда, слово «идол» Павел Борисыч произносил с оттенком самоиронии) обычно рекомендовал он себя литературным бабам, чтобы те смогли сразу понять его масштаб и значение в их безнадежном деле. Оттенок же самоиронии, слышавшийся в интонации Павла Борисыча, не позволял этим самым литературным бабам, как правило, получавшим от него отлуп, обвинить его в фанатерии. Однако ж мысль эта пронеслась в его голове фантомом, вспышкой немислимого. И тут же на ум Павлу Борисычу пришло отрезвляющее: «Не все же бабы в Москве литературные! Есть ведь и просто бабы...»

Женщина хотела что-то сказать хозяину на ухо, но тот отстранился и, как показалось Павлу Борисычу, немного смутился. Однако тут же взял себя в руки и представил её гостям:

— Это наша соседка Анна Ивановна Коровкина!

— Анна Иоанновна Сазанская по мужу, — скромно улыбаясь, поправила Виктора Анна Иоанновна.

— Пусть так, так даже лучше, — согласился Виктор и делано рассмеялся: — Все дела после, дорогая Анна Иоанновна, после. А сейчас за стол.

Усадив смущённую Анну Иоанновну против себя, он представил ей гостей — сестру и её мужа. И Павел Борисыч, не получив после этого представления ожидаемой им от Анны Иоанновны волны восхищения в свой адрес, сначала озадачился, а потом и озлобился.

«Ведь смотрит же телевизор эта баба, смотрит, как все, просто не может не смотреть. И, значит, видела меня, не могла не видеть, да только не хочет признаться в этом. Цену себе набивает!»

— Виктор, — обратилась успевшая выпить рюмочку и вмиг порозовевшая Анна Иоанновна к хозяину, — а я ведь к тебе за своими. Соскучилась за ними в Москве. Как там мой глазастенький? А поросёнок картошку у вас ещё не копал? — тут она засмеялась. — Шучу, шучу. Хочу сегодня забрать их у тебя. Хотя бы поросёнка. Деньги у меня с собой!

— Потом, Анна Иоанновна, потом о делах, ведь у нас сегодня такой праздник. — Произнося это, Виктор почему-то не смотрел на Анну Иоанновну; его глаза бегали по лицам сидящих за столом, как у двоичника, ищущего спасительную подсказку. — Поглядите, какие гости к нам пожаловали. И тоже, как вы, из Москвы! Давайте-ка, друзья, выпьем за всё хорошее.

Тут же чья-то рука, сжимающая горло бутылки, нависла над рюмкой Анны Иоанновны. Принялись чокаться и говорить милые необязательные глупости, потом опрокинули свои рюмки с чем-то определённо спиртным, но всё же до конца не понятным, хотя, как клялся хозяин стола, абсолютно безопасным для человека.

В голове у Анны Иоанновны гулко зашумело и закачалось, словно там поселился черноморский пляж с отдыхающими. Она представила, как, расплатившись с соседом, ведёт поросёнка домой, подбадривая его ласковыми взглядами, лёгкими шлепками и вкрадчивыми словечками. Ведёт в уже приготовленный для него хлевик, вспоминая о тех умильных мгновениях, когда они вместе копали картошку и накопили по два ведра каждый.

Тем временем Павел Борисыч поднялся с места и предложил выпить за русский народ. Все удивлённо пожали плечами, однако выпили.

Московский гость и не думал садиться. Неожиданно он завёл разговор об устройстве домохозяйства на Руси. Павел Борисыч говорил так уверенно и с таким напором, что людям, несведущим в народном быте и устройстве домохозяйства в средние века, могло показаться, что они слушают лектора Общества «Знание». После короткого экскурса в историю Павел Борисыч бросил свой просвещённый взгляд в день нынешний, заострив внимание слушающих на разведении домашних животных.

Анна Иоанновна, не вникавшая в разглагольствования московского гостя, невольно прислушалась: речь пошла о домашней птице, в частности о петухах, об их непредсказуемом нраве, дерзких проделках и вообще о непозволительном для птицы поведении. При этом и хозяин, и хозяйка, сидевшие за столом напротив Анны Иоанновны, то и дело бросали на неё взгляды, полные непонятого Анне Иоанновне осуждения. Бросали и тут же с досадой отводили глаза в сторону.

Что за ахинею вдруг понёс этот совсем не глупый литератор из Москвы?!

При чём здесь домашний уклад земли русской?

Это же просто смешно!

Нет, ей-богу, никогда до конца не знаешь, чего ждать от нынешних писателей.

Однако всё было не так банально, как могло показаться на первый взгляд.

Когда Павел Борисыч, наконец, заморил червячка и откинулся на спинку стула, неизвестно чему улыбаясь, он благородно забыл о своих претензиях к напавшему на него вчера петуху. И это было вполне естественно. Но когда он нечаянно бросил взор на жену и та в ответ посмотрела на него не столько насмешливо, сколько холодно и с оттенком презрения, Павел Борисыч вспомнил своего вчерашнего обидчика. А следом — и сибирского орденосца, от которого получил ни чем не мотивированную пощёчину. Вспомнил и понял, что должен спасти свою репутацию. На этой-то мысли Павла Борисыча и переключило, как переключило бы всякого гордеца, выпившего стакан водки. Подумайте только: талантливый человек отдаёт всего себя служению родной литературе, можно сказать, спасает отечественную словесность от всяких тлетворных влияний, а тут какой-то сибирский хам закатывает ему пощёчину?! За здорово живёшь закатывает. А потом ещё какой-то петух, обыкновенная тварь, вгоняет в него свои шпоры! И всем на это наплевать, все смеются или же прячут свой смех в кулак.

Над кем смеются? Над пророком смеются!

Примерно так работала мысль Павла Борисыча, возможно, оперируя совсем другими словами и образами, но именно в этом направлении. И доработалась до того, что Павел Борисыч на полном серьёзе решил отомстить... петуху. Он бы сейчас с удовольствием отомстил и сибиряку, если бы только тот находился поблизости. Но сибиряк по последним сведениям рубил сейчас правду матку на каком-то свободолобивом конгрессе за кордоном. Павел Борисыч так увлёкся мыслью об отмщении, что уже не мог остановиться, не мог, хлопнув по ляжкам, рассмеяться

и сказать себе: «Да что такое, Паша, на тебя нашло? Это же не идеологический враг, а обыкновенный петух! Не будь смешным, Павел Борисович!»

Да как же не быть, как не быть, когда твоя жена вменяет тебе в вину вероломное нападение на тебя какого-то петуха?!

Нет, Павел Борисыч не позволит марать свою репутацию. Вот именно репутацию. Репутацию спасителя земли русской. И ни за что не сделается посмешищем в глазах окружающих. Но что ещё важнее — в глазах жены.

Анна Иоанновна прислушалась к тому, что изрекал большой писатель, и почему-то подумала о том, что речь идёт не о каком-то постороннем петухе, а о её собственном, том самом, ненасытном до жизни, с блестящими глазами-пуговками. Подумала и забеспокоилась.

Тему московского гостя неожиданно подхватила хозяйка, уже хорошо выпившая жена Виктора, завуч местной школы. Завуч говорила хрипловато, не выпуская сигареты изо рта, то и дело подпуская в речь обороты ненормативной лексики, нисколько не стесняясь ни снисходительно улыбающихся московских гостей, ни болезненно морщившейся при каждом таком обороте Анны Иоанновны. Совсем как пьяная десятиклассница, делящаяся непосильной личной жизнью с подругами-отгорвами.

Этот самый петух («Глазастенький!» — мертвея от ужаса, думала Анна Иоанновна) недавно напал на сына хозяев, младшего школьника, и если б только она, метнув топор в петуха, не промахнулась, последний получил бы по заслугам. Однако он, безнаказанный, до сих пор живёт. Да ещё безраздельно властвует и в птичнике, и во дворе, пересматривая некоторые законы природы.

Какие такие законы?

— Сегодня утром зашла к курам, а там этот агрессор уже не кур, а петуха топчет, представляете? — с какой-то затаённой обидой заявила она, бросив огненный взгляд в сторону Анны Иоанновны. — Это же Содом и Гоморра, так, Анна Иоанновна? — воскликнула она, и Анна Иоанновна вспыхнула даже сквозь алкогольный румянец. — Я ему: ты что удумал, гадёныш? А он знай своё — топчет. Тогда я тому, обиженному, петуху говорю: А ты что терпишь, терпила этакий?

— И что терпила? — злорадно ухмыльнулся Павел Борисыч. Завуч не ответила и только коротко выругалась и покачала головой. — Этак, он и вас топтать начнёт, — съязвил Павел Борисыч и опрокинул в рот полную рюмку.

— Уже вчера начал, — подтвердила Виктория, хохотнув. — С моего Павла Борисыча. Все за столом, кроме Анны Иоанновны, рассмеялись.

Уязвлённый Павел Борисыч хотел было проглотить эти слова жены, воспринять их как шутку и рассмеяться вместе со всеми, громко и заливисто, как ребёнок, — это была бы беспроницаемая реакция на подлый укол жены, но воспалённое памятью недавних событий и хозяйским напитком самолюбие не позволило ему этого.

Изобразив на лице оскорблённую добродетель, он отрывисто изрёк:

— Да как ты смеешь так...

Однако фразу не закончил, подумав, что если договорит до конца, то останется в памяти людей, с которыми завтра расстанется и наверняка никогда больше не встретится, не писателем земли русской, а ничтожеством. И потеряет лицо в глазах этих, может, и безразличных ему людей, но всё же говорящих на одном с ним языке. А другого лица у него в запасе не имеется. Лица, с которым ему можно было бы жить, извлекая из жизни дивиденды.

Павел Борисыч поджал губы, размышляя о том, что сейчас лучше — надуться от обиды или...

Сидящие рядом с ним между тем весело ржали, кажется, ничего не имея лично против Павла Борисыча. И Павел Борисыч, уже начавший потихоньку ненавидеть хозяев за их простодушие, счёл этот смех не настолько обидным, чтобы дать волю своему праведному гневу.

Что толку обижаться на лающих собак?

Ему даже захотелось посчитать этот смех вполне дружеским (так было сейчас выгоднее всего). И потому он для начала через силу улыбнулся. А потом уж и рассмеялся, пытаясь попасть в ноты всех хохочущих за столом.

Опять залаял сторонний наблюдатель на цепи, и вытирающий слёзы хозяин отправился отпирать калитку. Открыв, Виктор затеял с кем-то приглушённый разговор, потом вошёл в дом, потом вышел из дома.

И неожиданно возле стола появился широкий в кости и весь какой-то нестигаемый мужчина в коричневом костюме прошлого века, в растерзанной на широкой груди белой сорочке, с большим пакетом памперсов под мышкой и с увесистым свёртком в руке. Этот свёрток передал ему Виктор.

Это был забойщик Иван Лопата. Когда Лопата собрался уходить, Виктор ударил себя по лбу и потащил его к столу знакомить с московским гостем.

Суровый Иван Лопата довольно равнодушно воззрился на присутствующих за столом, выбирая себе место. Однако, увидев Анну Иоанновну, по-детски улыбнулся ей и разволновался. По крайней мере, так показалось Анне Иоанновне.

Лопату представили Павлу Борисычу. Павел Борисыч вздрогнул, когда Лопата сжал его вялую ладонь. Виктория помнила Лопату ещё по школе. Этот старшекласник был высоким, ладным и непобедимым в драках, а Вика ещё только сопли по щекам размазывала в начальных классах.

Иван Лопата выглядел слегка смущённым. И смущён он был не столько присутствием здесь московского литератора — того самого, из телевизора по пятницам, — сколько сидящей рядом Анной Иоанновной.

— Ты, Аня, когда приехала? — спросил он её, не заметив при этом протянутой ему для рукопожатия ладони Павла Борисыча, в нерешительности дрожавшей сейчас возле Лопаты. — Мы уж решили, что ты в Москве навсегда осталась.

— Ночью, Ваня, — сказала Анна Иоанновна и приложила к глазам уголок платочка.

Ей было и больно, и обидно, и стыдно за своего Глазастенького.

Как она теперь будет смотреть в глаза добрым людям? Как оправдается за безобразное поведение своего петуха перед теми, кто приютил её живность?

Лопата сидел за столом между Анной Иоанновной и Викторией.

Внимание последней, едва рядом с ней оказался импозантный Лопата, тут же на него и переключилось. Она забыла о законном Павле Борисыче, без стеснения снизу вверх рассматривая холодноватое, грубоватое и немного каменное лицо Лопаты, его большие руки с широкими ладонями и длинными сильными пальцами.

Павел Борисыч косился на жену и пыхтел. Несколько раз с рюмкой в руке он пробовал брать слово, чтобы поговорить о русской литературе и о месте, которое он, Павел Борисыч, занимает в ней сегодня. Но его никто не слушал, сколько бы он ни просил, ни требовал «минуточку внимания». Никто уже не смотрел на него, стоящего с рюмкой в руке и подбирающего слова, соответствующие глубине мысли, которую он собирался изречь.

Сказав несколько фраз, тонуших то в перекрёстных разговорах за столом, то в чьём-то глуповатом смехе, он, всякий раз недослушанный, словно оплёванный, сидел и выпивал свою рюмку, ни с кем не чокаясь.

Неожиданно Иван Лопата решительно поднялся из-за стола.

— Ты куда, Ваня? — обратилась к нему хозяйка.

— Надо посмотреть, как там мои старики. С утра дома не был. Вот, ездил в город за этим добром, — кивком головы он указал на памперсы.

— А не хочешь ли прежде на петуха взглянуть, что вчера Павла Борисыча покалечил? Похоже, этот петух — твой клиент! — произнесла хозяйка и, не вынимая изо рта сигареты, кивнула в сторону курятника.

«Хорошо, что просто “покалечил”, а не “опустил”», — подумал Павел Борисыч, благодарный за такую невиданную здесь деликатность.

Павлу Борисычу до сих пор казалось, что все разговоры за столом, к которым он изво всех сил не прислушивался, боясь огрести что-то оскорбительное в свой адрес, крутятся исключительно вокруг его вчерашнего позора. И ему отчаянно захотелось встать и пойти отсюда куда глаза глядят. Уже смеркалось, а глаза у Павла Борисыча плохо видели в сумерках.

К тому же куда он мог пойти? В поля люцерны или подсолнухов?

Можно было, конечно, пойти спать. Но стоило ему сейчас лечь, и слова Виктории в его адрес, эти злые, безжалостные слова, начали бы его есть поедом, и если бы он не заснул в течение пяти минут, непременно съели бы его с потрохами.

И Павел Борисыч остался на месте, мстительно наблюдая за тем, как его Виктория, держась за большую руку Лопаты, следует к птичнику.

— Ох, и топтал же он вчера Пашу! — достаточно громко для того, чтобы её слышали все сидящие за столом, говорила Виктория, с восторгом вглядываясь в каменные черты Лопаты.

Петушок, помнивший свой вчерашний триумф, топтался в курятнике возле двери, наблюдая сквозь щель за передвижениями противника.

На горизонте показались двое, и один из них выделялся тяжёлой поступью и устрашающими формами. Окрылённый вчерашней удачей и вдохновлённый безнаказанностью, петушок был готов повторить недавний подвиг.

Однако гость, на которого петушок, едва открылась дверь, набросился, тут же ловко намотал его шею на свой указательный палец и, посчитав до трёх, отбросил петушка, словно мокрую тряпку. Другой бы на этом завершил свой земной путь, но Глазастенький невероятным усилием организма удержал в себе жизнь. Удержал и уполз вместе с ней, ещё теплящейся, в дальний угол, влез на жёрдочку и на время отключился.

— Ловко это у тебя, Ваня, получилось: раз и готово! — восхитилась Виктория, взяв Лопату за руку и поглядев ему в глаза долго и масляно. — А Паша вчера на помощь звал, а сегодня всё утро свои раны вылизывал.

— Дело привычное, — ответил Лопата. — А ты, значит, экскурсоводом в Москве?

— Искусствоведом. Но это почти одно и то же. А Павел Борисович — знаменитый литератор! — она криво усмехнулась.

— Он что, правда, по телевизору выступает каждую неделю? Что-нибудь о здоровье? Или...

— Или. Обо всём. Клеймит да ругается со всеми...

— И за это деньги платят? — не поверил Лопата.

— Пока нет. Но он надеется, что скоро начнут.

— Выходит, пока бесплатно ругается. На что ж вы живёте? Искусствоведом ведь много не заработаешь. А в Москве большие деньги нужны, чтобы жить.

— Его квартиру в центре сдаём за хорошие деньги, а сами на разницу плохую на окраине снимаем. Да и зарплата у меня, хоть и небольшая, а всё же... Я ведь не последний человек в искусствоведении.

Тут Виктория вспомнила о разбившихся о смешливую библиотекаршу планах занять подобающее своим способностям и стараниям место в институте и получить если не солидную прибавку к зарплате, то хотя бы возможность влиять на кадровую политику института.

Тем временем у стола появилась завуч с новой порцией жареной свинины и литровой бутылкой спиртного. Она разбудила мужа, уже давно опустившего свою буйную голову на стол рядом с тарелкой, и предложила Павлу Борисычу ещё свинины с пылу с жару.

И тот, искренне удивляясь себе, не отказался. Раздавая жаркое, хозяйка поведала о том, что петушок, тот самый агрессор, только что напал на Лопату, и Лопата сделал с петушком нечто такое, после чего не живут. Однако петушок остался жив, поскольку на своих двоих убрался к себе на жёрдочку.

Анна Иоанновна выслушала это сообщение, прижав дрожащие ладони к лицу.

Потом хозяйка, с каким-то особенным интересом взглянув на Павла Борисыча, произнесла сидящий у последнего в печенках трюизм о том, что капля однажды переполняет бочку и что приходит конец любому, даже христианскому терпению. Сказав это, воззрилась на Анну Иоанновну, а Павел Борисыч, удовлетворённый подобным высказыванием в контексте текущих событий, согласно мотнул головой.

Анна Иоанновна уткнулась в тарелку, а очнувшийся хозяин принялся комментировать последнее заявление хозяйки, почему-то используя военные термины, словно сидели они не за праздничным столом, а на совете в Филях.

Анна Иоанновна сгорала от стыда.

Из услышанного выходило, что уже чуть ли не вся округа пострадала от беспредела её петуха, что всякий окрестный житель унижен или оскорблён им.

Анна Иоанновна более всего боялась, что Виктор сейчас встанет и укажет на неё пальцем — мол, это Анна Иоанновна вырастила и всучила ему сего преступного петуха. И тогда российская знаменитость Павел Борисыч в одну из пятниц поведаёт по телевизору всей стране о ней и преступлениях её петуха.

Разговор за столом сделался на два тона выше: перебивая друг друга, хозяева припоминали преступления Глазастенького, обвиняя последнего во всех смертных грехах. И особенно напирала на то, что он, содомит хвостатый, топчет местного петуха. И как-то так вышло, что единогласно (за исключением, разумеется, Анны Иоанновны) сидящие за столом решили: повинен смерти! Даже Павел Борисыч, как ни сопротивлялся внутри себя этому нелепому судилищу, громко и внятно прохрипел: «Повинен!»

— Иван, ты ещё здесь? Ты нам нужен! — закричала хозяйка в сторону курятника, откуда через минуту появились Иван Лопата и Виктория, глаза которой были словно намазаны сливочным маслом, а на губах блуждала неконтролируемая улыбка.

С интересом взглянув на сестру, затем на Лопату и уже потом на Павла Борисыча, хозяин, усмехнувшись, изложил суть просьбы общества к знаменитому резнику.

— Ну, раз надо, так надо, — сказал Иван Лопата. — А ты, Аня, что молчишь? Твой же петух! — обратился он к Анне Иоанновне.

— Я, конечно, виновата, что оставила его без присмотра (она хотела добавить «чужим людям», но подумала, что «чужие люди» обидят хозяев), и он стал таким... нечестивцем. Простите меня, но у меня дочь в Москве, просто ужас какой-то.

С извиняющейся улыбкой, которая была адресована Анне Иоанновне, Лопата отправился к курятнику. И все, кроме Анны Иоанновны, потянулись за ним.

Помрачённое в схватке с Лопатой сознание петушка довольно быстро прояснилось. Рядом хлопотали наложницы, полные восхищения и благоговейного трепета, чуть поодаль проявлял внимание сторонний наблюдатель на цепи. Да, петушок проиграл сражение, но — с честью, не сделав ни шагу назад.

Логика развития событий вынуждала петушка, глядящего на приближающегося Лопату, пойти на попятный — хотя бы для видимости сделаться шёлковым, тем самым сохранив и полноценный рацион, и бесценное здоровье. Вокруг были его подданные, хоть и прятавшие глаза в землю, однако ждавшие его решительных действий.

И петушок бросился на Лопату.

И всадил тому, не ожидавшему такой прыти, свои заточки в ногу.

Петушок бы непременно развил успех и, возможно, даже обратил врага в бегство, если бы только не возникшая после первого контакта с Лопатой слабость в его теле. Потому-то петушок лишь метался по двору, собираясь с силами и каким-то чудом ускользая от Лопаты.

Лопата, получивший от петуха кровавые пробоины, был бледен, но не менее, чем прежде, решителен. Дело запахло керосином. Палач действовал методично, отрезая жертве пути к отступлению. Глядя на капли собственной крови, появившиеся на брюках, он и не думал отступаться от задуманного.

И вот, когда приговорённый в очередной раз попытался прошмыгнуть у Лопаты между ног, тот своим огромным сапогом прижал его к забору. Бледное лицо Лопаты вплотную приблизилось к петушку, и мир вдруг яркими красками брызнул из глаз последнего.

— Получайте! — крикнул Лопата, швырнув обезглавленное тело Глазастенького под ноги Павлу Борисычу, ну, и остальным униженным и оскорблённым, собравшимся возле крыльца.

И лишь на Анну Иоанновну Лопата посмотрел с извиняющейся улыбкой.

— Нечестивец! — шёпотом возопила Анна Иоанновна, не понимая, что такое на неё сейчас нашло (она действительно чувствовала себя причастной к злодеяниям, которые творил Глазастенький, пока её не было). Никто из присутствующих не понял, к кому именно относится это: к петушку или же к Лопате. — Так тебе и надо, — на два тона ниже шепнула она, скорей, для того, чтобы убедить себя в том, что её петушок заслуживает подобной участи. И, кажется, убедив, заплакала.

— Так ему и надо, — по очереди согласились с Анной Иоанновной и остальные, униженные и оскорблённые.

— Давайте, что ли, выпьем? — осторожно улыбнулся Виктор.

И все, кроме Анны Иоанновны, выпили по рюмке, потом ещё по одной, потом ещё, и ещё, и ещё.

Анна Иоанновна никак не могла успокоиться и всё думала о том, как из жёлтого пухового шарика с блестящими глазками, с любопытством взиравшими на мир, вылупился матёрый негодяй. Вот именно негодяй с горящими, как у татя в ночи, глазами, с истеричным криком лагерного шестёрки, пытающегося выглядеть лагерным авторитетом, непременно прущего поперёк рожна, непреклонного, безжалостного и безбашенного?

«Да так же, как из твоей милой дочурки выросла стерва, собравшаяся сделать аборт!» — кричала внутри Анны Иоанновны какая-то невоспитанная баба срывающимся голосом.

Нет. В самом деле, откуда всё это лютое, непримиримое и отчасти противоестественное взялось в твари Божьей, предназначенной Творцом разве что человеку в пищу? Кто на всё это её надоумил? Какой такой змей? Неужели же всё это, несовместимое с котлетой по-киевски, крылышками барбекю и цыплёнком табака, с рождения жило в том жёлтом пуховом шарике с глазами, полными радостного удивления, до времени таилось в сопле со спичечными ножками и с тонюсенькой шеей пролетарских вождей?

Вот именно! Всё это уже было в Глазастеньком с рождения, зрело раковой опухолью, пока малыш наедал себе грудку, укреплял крылья, обрастал пухом и перьями. И когда это вместилище греха, наконец, созрело и лучшим для всех живущих на свете было свернуть ему шею, чтобы хотя бы потешить бульоном с потрошками деток, прикативших из столицы на каникулы пить на завалинке портвейн, а потом жениться с веснушчатými девками в сарае, этого почему-то не сделали. Возможно, по бесхребетности либерального взгляда на домашнюю птицу. Вы только посмотрите, как он — такой энергичный и яркий, топчет курочек! То-то будут яички.

Анна Иоанновна совсем расклеилась и снова расплакалась, когда вынесли очередную порцию жареной свинины. Но расплакалась совсем тихо и словно по какому-то другому трагическому поводу. Все, конечно, тут же обратили к ней взоры и сделались из вежливости удручёнными, принялись нежно утешать Анну Иоанновну и выведывать причину её внезапного расстройства. Но она только махнула рукой, мол, простите старую дуру, это я не к месту из своей жизни нечто вспомнила.

Прошло полчаса, а может, и больше в шуме и гаме. Застолье качалось, как круизный лайнер. Анна Иоанновна уже улыбалась и довольно бодро, не без женского изящества, тянула свою тарелку хозяйке, державшей в руках блюдо с новой порцией жаркого. На блюде оказалась не свинина, на нём покоился расчленённый и зажаренный петушок. Анна Иоанновна, отдёрнула руку.

Все взяли по кусочку преступного петушка: кто ножку, кто крылышко, а кто и грудку. Разумеется, кроме Анны Иоанновны, чувствующей себя чуть ли не соучастницей всех преступлений пернатого негодяя.

— Не мясо, а суцая резина! — попробовав, воскликнул уже достаточно пьяный Павел Борисыч.

— Точно! — подтвердил хозяин. — Эй, христиане, — возопил он, почему-то скосив весёлый взгляд на пристыжённую Анну Иоанновну, — давайте-ка его сюда, потомим в фольге. Всё равно он от нас не уйдёт!

Ещё добрый час томили казнённого преступника в фольге, опорожняя запасы спиртного.

И опять раздали петушка на пробу.

— Всё равно резина! — констатировал теперь уже Виктор, на губах которого взамен лукавой улыбки, ещё недавно адресованной Анне Иоанновне, поселилась вполне саркастическая ядовитая усмешка, неизвестно кому адресованная. — Будто и не жарили, не томили. Нет, не разбойник он был, а авторитет лагерный. Пахан! Даже после смерти не дался. Бросайте-ка всё — в ведро, пойду кобелю отдам. Может, он его осилит... Мать! — весело обратился Виктор к хозяйке, — неси-ка ещё свинину. Надо же чем-то закусывать.

И у расстроенной, опустошённой скорбным поисшествием Анны Иоанновны больно кольнуло сердце. Ни с того ни с сего.

За столом она уже ничему не сопротивлялась: ни кускам свинины, ложившимся в её тарелку, ни полным рюмкам хозяйского напитка, за который тот ручался, хотя и без прежней горячей уверенности. Анна Иоанновна слушала разговоры за столом и ничего не слышала, в какой уже раз перебирая в памяти поведанные ей преступления её Глазастенького.

Как же она проглядела такого безбожного подлеца?!

И словно стремясь убежать этих раздумий, её сердце всё сильнее рвалось к поросёнку, можно сказать, к единственному другу и родственной душе.

Павел Борисыч был весьма удовлетворён. Раздувая ноздри, он то и дело коротко смеялся чему-то своему, внутреннему, никому не ведомому. Думаете, потому смеялся, что удовлетворил, наконец, жажду мести? Тоже скажете! Совсем не поэтому. Павел Борисыч всё же не какой-то дешёвый литератор, а совесть земли русской.

Уже смеркалось — затянувшийся завтрак давным-давно перетёк в торжественный ужин. То и дело хватаясь за углы и предметы, широко расставляя ноги, словно моряк в качку, Виктор отправлялся в дом за новой бутылкой, нахваливая свой напиток.

Из чего он его изготовлял? Это являлось тайной даже для его жены.

«Омерзительная сивуха. Но ведь я пока жив, так что не всё так страшно, — мутно рассуждал Павел Борисыч, ухмыляясь в рюмку. — Лишь бы только не добавлял он в своё пойло для крепости куриный помёт или табак. Здесь подобное — сплошь и рядом...»

Тем временем жена Виктора рассказывала, кто был ещё в состоянии с вежливой улыбкой держать глаза открытыми, о жизни завуча средней школы. О том, каково день и ночь находиться под прицелом родителей, вечно недовольных школьными преподавателями. Оправдываться перед компетентными органами, реагирующими на их сигналы.

Она самым естественным образом перешла на язык своих подопечных и была весьма убедительна с этими своими трехэтажными и пятиярусными оборотами.

Павел Борисыч слушал с искренним восхищением («Вот она, глубинная Россия-матушка!»), особо не вникая в эти школьные тяготы. Он давно утвердился во мнении, что гораздо приятней слышать отборный мат из уст сельской учительницы, нежели пороссячи визги из уст московских поэтесс.

Анна Иоанновна решительно поднялась с места. Более оставаться за столом не имело смысла: спиртное в неё не лезло, а всё съестное было почти съедено. Конечно же, она сидела за этим столом вовсе не для того, чтобы после фаст-фудной Москвы порадоваться домашней пище. Все это время она всего лишь ожидала окончания застолья, которое никак не кончалось. Сегодня Анна Иоанновна должна непременно забрать у Виктора своего поросёнка. За курами она бы зашла завтра утром, когда Виктор с хозяйкой соберут яйца. Не хотела оставлять в душе Виктора неприятный осадок.

Теперь никакие резоны не могли её оставить за этим столом.

— Виктор, пойдём до хлева, взвесим дружочка, и я с тобой рассчитаюсь. А птицу заберу завтра, — сказала она так, словно и не числился за ней только что скормленный хозяйскому кобелю петух. Сказала, полагая, что эта её жертва будет принята рачительным хозяином с благодарностью.

Виктор едва держался на ногах.

— А чего ходить-то? — удивился он. И, ухмыльнувшись, добавил: — И взвешивать не треба.

— Почему это? — Анна Иоанновна испуганно воззрилась на раззявившего скользкий рот Виктора. — Где мой... поросёнок? — спросила она уже шёпотом.

— А вот он, гы-гы-гы, — Виктор ткнул пальцем в тарелку с уже слегка заветрившейся свининой, на которой сидела жирная муха, видимо, размышляя, что ей теперь делать со своей добычей.

Анна Иоанновна лишилась чувств, хотя и осталась на ногах. Виктор же, едва ворочая уставшим языком, нудно ссылаясь на то, что должен был хорошенько угостить своих гостей, чтобы не ударить лицом в грязь. Что у него просто не было выхода и что поросёнка Анна Иоанновна всё равно растила на убой. И если б не он его пустил под нож, то она сама непременно бы... Ну и так далее.

А деньги за поросёнка, только того, поступившего к нему ещё тогда, не откормленного как надо, он, конечно, вернёт Анне Иоанновне. Правда, лишь после того, как продаст оставшуюся часть туши в городе.

«Часть туши!» — эти слова резанули Анну Иоанновну больней всего.

И всё же её, находящуюся сейчас в полуобморочном состоянии, так и подмывало спросить, по какой, собственно, цене он вернёт ей деньги за поросёнка — по сельской или по городской?

С таким чудовищным применительно к данной ситуации вопросом в голове и пошла Анна Иоанновна прочь со двора, уже на улице разрыдавшись в голос и шатаясь, как пьяная, хотя и пьяна-то была совсем ничего.

По пути к дому Анну Иоанновну нагнал Иван Лопата.

Какое-то время они шли рядом молча. Лопата собирался с духом, чтобы покаяться в убийстве поросёнка и, возможно, тем самым сохранить с ней хоть какие-то отношения на будущее. Странно, но забойщик Лопата в них всё ещё нуждался.

Однако в чём было каяться Лопате, не считавшему себя виновным в смерти поросёнка Анны Иоанновны?! Разве Господь не определил всякую живность в пищу человеку?

И он нарушил молчание. Хотя и совсем по другому поводу.

— Когда твой поросёнок был маленький, ты ведь брала его к себе на ночь... в постель?

— А ты откуда знаешь? — испугалась Анна Иоанновна, перестав всхлипывать. Однако тут же успокоилась: поросёнок не мог рассказать Лопате об этом перед смертью.

— Да так, — пожал плечами Лопата. — Не убивайся, Аня! Сама же его на мясо растила, и через месяц-другой меня пригласила бы. Что ж тут такого ужасного?

— Ваня, я ведь уже и забыла, что рощу поросёнка на мясо. Он был мне, ну, как тебе сказать... Так что нет, не стала б я тебя приглашать, не смогла бы. Хотя ты прав, я во всём сама виновата. Больше никогда никого не возьму на откорм. — Она остановилась, подняла глаза на Лопату и, понизив голос, хрипловато спросила: — Когда ты к нему вошёл, как он тебя... — она замолкла, не в силах до конца сформулировать вопрос.

Лопата понял.

И хотел уже сказать: «Да обыкновенно как. Как все они перед смертью». Однако не сказал. Лишь посмотрел мимо Анны Иоанновны на гороховое поле и вздохнул.

Они шли к дому Анны Иоанновны.

— У меня мать парализовало. Ей сиделка нужна. Вчера была ещё ничего, а сегодня ночью под себя сходила. Отец пока не под себя, но ругается и стены своим дерьмом мажет или в меня им бросается. Не справлюсь я с ними. Аня, может, выйдешь за меня?

Анна Иоанновна вздрогнула.

— А где ты был раньше? — с чувством произнесла Анна Иоанновна и представила на мгновение слепую мать Лопаты, ходящую под себя, и отца, мажущего стены дерьмом. — Как же ты, Ваня, — Анна Иоанновна хотела сказать «терпишь весь этот ужас», однако ей показалось, что глагол «терпишь» не подходит ко «всему этому ужасу», а другого подходящего глагола внутри себя она не нашла и потому после неловкой заминки договорилась фразу без глагола, — весь этот ужас?

— Почему ужас? — улыбнулся Лопата, несколько озадаченный фразой Анны Иоанновны. — Не ужас, а жизнь. Она такая и есть. Мне вот советуют сдать отца в сумасшедший дом, а мать — в богадельню, чтобы жить спокойно. Но разве это жизнь, когда слепая мать в богадельне, а живой отец — в психушке?

— Но ведь твой отец стены... этим мажет, — шёпотом произнесла она, не глядя на Лопату.

— Это потому, что он кровь забиваемой скотины пил всю жизнь. И меня, мальчика, учил, даже требовал, говоря: в крови животных вся сила. Но я потихоньку выливал свою кружку куда-нибудь в угол, чтоб он думал, что я выпил, и меня не трогал. Вот купил памперсы для матери и для него тоже. С ним всё же попроще, он мужик. А как с матерью быть? Она скоро понимать перестанет. Как я ей памперсы эти надевать буду? Она ведь женщина и к тому же — моя мать! — в этих словах Анна Иоанновна услышала нотки отчаяния. — Без тебя, Аня, мне не справиться, приходи жить, — глухо закончил Иван Лопата.

Анна Иоанновна увидела, как у Лопаты дрогнули губы, а в глазах, прежде неподвижных, с ледком олимпийского спокойствия, поселилась растерянность.

Нет-нет, это было пока не страдание измученной души, столь ценное Анной Иоанновной, а лишь растущее беспокойство потерявшего себя человека: прямая и несокрушимая, как броненосец «Потёмкин», жизнь Лопаты сбилась с заданного курса и плыла неизвестно куда, как в тумане.

Лопата поднял глаза на Анну Иоанновну. Та кусала губы, не зная, как поступить.

И на ум пришло спасительное:

— Хорошо, Ваня, приду, если ты больше не будешь убивать животных, — твёрдо сказала она.

— А кто ж тогда будет? — удивлённо вскинул густые брови Лопата.

— Ваня, что у тебя в этом свёртке? — набравшись мужества, спросила Анна Иоанновна.

— Памперсы для стариков, — ответил Лопата, может быть, впервые в жизни отведя глаза под чужим взглядом.

— Да нет, я о другом, — указала Анна Иоанновна на тяжёлый пакет, прекрасно понимая, что именно там у Лопаты.

— Но я ж не знал, Аня, что это он, — вздохнул Лопата.

Лопата хотел сказать ещё что-то, но Анна Иоанновна развернулась и быстро пошла прочь, к своему дому, то и дело оборачиваясь посмотреть, не идёт ли Лопата следом.

Чтобы, если идёт, броситься от него наутёк.

Она думала о том, что никто, ни один мужчина, кроме её отца, никогда не прижимал её к себе с нежностью. Даже покойный учитель, которого, скорей, прижимала она к себе изо всех сил, когда тот уже был никакой, ни рыба ни мясо, ни живой и ни мёртвый. И только поросёнок, когда она его прижимала, тут же лез в лицо своим пяточком, повизгивая от чувств. И вот теперь тот, кто убил её поросёнка, тот самый забойщик (да какой забойщик?! убийца!) приглашает её к себе в дом жить. То есть, в первую очередь, конечно же, убирать из-под его родителей, а уж во вторую — всё остальное, связанное с этим «жить вместе». Но ведь зовёт-то ещё и потому, что не понимает, как можно своих родителей отвезти умирать в казённый дом! Зовёт её к себе потому, что самому ему с ними не справиться. А потом ещё весь этот ужас называет жизнью, которая только и была всегда на земле для всех без исключения. Потому что красивая, беззаботная жизнь, которую принято желать себе и близким, о которой слышишь из каждого утюга, выдумана бесчестными людьми. И сколько ни верь этой выдумке, твоя собственная жизнь никогда не станет такой же беззаботной, как там. А тот, кто выдумал красивую жизнь, не боится Бога, потому и подбивает человечество жить несбыточными мечтами, жить не всерьёз, а понарошку. И когда на обманутого человека вдруг наваливается своей невыносимой тяжестью настоящая жизнь, человек кричит в панике: «Помогите! Я не могу так жить, потому что это — не жизнь!», а эти безбожные выдумщики весело хохочут, держась за животы...

Иван Лопата, убивший поросёнка Анны Иоанновны, конечно же, сделал это не со зла, а по необходимости.

«Выходит, Ваня... не виноват?» — неожиданно спросила себя Анна Иоанновна, и тут же камень свалился с её души.

И ей стало ясно, что она, конечно же, пойдёт жить к Ивану Лопате. И забудет его оскорбительные слова в свой адрес, когда-то переданные её одноклассницей (хотя какое это теперь имеет значение?!). И будет убирать из-под его матери и из-под его отца. И последний, пока не умрёт, будет пытаться измазать её своим дерьмом, а она будет терпеть.

Она пойдёт жить к Ивану Лопате, потому что Иван Лопата не меньше неё христианин, хотя и не знает об этом. Нет, даже больше христианин, хотя и не постится и работает по воскресеньям вместо того, чтобы стоять в отглаженном костюме и белой рубашке на литургии. Больше, — потому что весь этот ужас он воспринимает как должное, как свой законный крест, не кричит в панике «спасите!», а всего лишь просит помочь ему там, где по природе своей ничего сделать не может, да и не должен делать.

Что ж, Анна Иоанновна пойдёт к Лопате жить ради Христа.

И будет жить с Лопатой ради Христа.

«Пойду, даже если у меня низкий зад», — почему-то подумала в заключение Анна Иоанновна.

Вчера на рассвете, когда заря только наливалась кровью грядущего дня, Иван Лопата с инструментом, даже не скрипнув дверью, зашёл к борову Анны Иоанновны. Двух других боровов (своих) Виктор ещё поздним вечером вывел из хлева и запер в сарае, чтобы не травмировать их раньше времени ужасом смертоубийства.

Когда Лопата зашёл к борову, петушок Анны Иоанновны — а это был именно он — закричал, как недорезанная свинья, в кровь раздирая себе глотку.

Боров поднял на Лопату голову, прищурился, словно пытаясь разглядеть получше, потом подошёл к Лопате, доверчиво ткнул ему в колено чутким пяточком и тут же, кажется, почувствовав, зачем здесь Лопата, отодвинулся от него.

«Анна жила вот с ним, а не со мной. Даже когда её учитель ласты склеил, она меня видеть не желала. А что плохого я ей сделал?» — трагически размышлял Лопата, оглядывая борова и холодно прикидывая, с какой стороны к нему подступиться, чтобы было поменьше визгу.

Виктор попросил Лопату убивать потише. По возможности вообще не делать шума, поскольку у него в доме спал гость из Москвы, человек весьма известный и потому, как водится, ранимый. И ещё Виктор сказал Лопате, что муж его сестры, москвич из телевизора, вчера вечером долго разглагольствовал о том, что де станичники народ расчётливый да прижимистый, что хоть и есть в них широта, свойственная русской душе, да только они эту широту наружу не пускают из-за собственной прижимистости и тяге к индивидуализму. У русских, мол, всегда было так: зашёл к тебе калика перекатный, ты его к столу зови и всё лучшее на стол подавай...

В этих словах Павла Борисыча Виктор не почувствовал иронии (не врубился, лошара), не понял, что столичный интеллигент комедию ломает, чтобы подкусить. Да только не Виктора, а его сестру Викторину, то бишь свою собственную жену. И вот ещё что Виктору показалось. Когда Павел Борисыч всё это изрекал, он время от времени бросал взгляд на борова, бродящего по двору в поисках яблочных падалок. Того самого борова, что первоначально принадлежал Анне Иоанновне, укотившей в Москву к дочери, но от которой давным-давно ни слуху ни духу и которая, возможно, решила безвозвратно стать москвичкой. Но если борова всё равно забивать, то отчего ж не сделать это сегодня? Отчего ж не доставить московскому гостю приятность в виде жареной свинины?!

Боров стоял против Лопаты в задумчивости, то и дело негромко всхрюкивая, словно о чём-то рассуждая. Возможно, пытался успокоить себя какими-нибудь жизнеутверждающими аргументами. Лопата был спокоен и дышал ровно: дело предстояло хоть и кровавое, но привычное. Перед тем, как забить борова, казалось, уже проникшего в замысел Лопаты, Лопата думал о том, как его возлюбленная носилась с этим поросёнком, словно с малым дитём, кормила его с рук, а то и укладывала, предварительно намытого в тазике и насухо вытертого вафельным полотенцем, к себе в постель. «Могло такое быть? Могло! Уж очень Анька нежная женщина». Лопата смотрел на борова, глядевшего на него исподлобья, и всё ещё медлил, всё ещё сомневался.

«С ним спала, а со мной нет?» — вдруг разобрало Лопату.

И все его сомнения улетучились, развязав Лопате руки.

Но в чём, собственно, состояла вина Лопаты перед Анной Иоанновной?

В том, что он зарезал её борова? Но ведь должен же кто-то, ей-богу, резать свиней, чтобы даже праведная Анна Иоанновна после длинного поста разговелась свиной рулькой и впервые за многие недели сыто заулыбалась? Ну кто, кто из добрых людей после того, как наголодался в филлиповку, откажется от холодца на Рождество? Не отменили для христианина ни окорок, ни лопатку, ни шею. Вот именно! Вот то-то и оно! А ведь и холодец на Рождество, и рулька на Пасху, и даже обычные пельмени по субботам — это сплошь чьи-то поросята и боровы, возможно, такие же смышлёные и дружелюбные, как боров Анны Иоанновны.

Нет, не чувствовал на себе вины Лопата. Разве что — кровь поросёнка Анны Иоанновны. И эта кровь была теперь на нём по гроб жизни. Но опять же: кто-то ж должен обагрять себя кровью невинного ягнёнка, чтобы за праздничным столом все были радостны и дружелюбны и произносили тосты за любовь, за мир во всём мире и, особенно, за женщин, которые, кстати, едят мясо по праздникам не хуже, чем их вечно голодные мужчины.

Павел Борисыч сидел на сырой земле, подтянув колени к подбородку, привалившись спиной к стене дома и глядя на чёрное южное небо с крупными звёздами, налившимися нездешним светом. Сидел и пересчитывал свои обиды. Удивительное дело: он, певец Земли русской, заметный деятель культуры из Москвы, уже столько месяцев не вылезавший из телевизора по пятницам, приехал в российскую глубинку, где его, казалось, должны носить на руках от одного праздничного стола к другому, ловить каждое его слово, как золотую монету, набираясь ума-разума, оказывается, не нужен здесь ни одной собаке. Его не то что не слушают, над ним потешаются, едва он, собравшись с мыслями и устремив свой взгляд в вечность, пробует изречь что-то спасительное для этих дураков в частности и для России в целом. В него тычут пальцем и при этом хохочут, словно он шут гороховый, а не пророк. Конечно, пророков то и дело побивали камнями и гнали отовсюду, боясь услышать от них нелицеприятную правду. Однако их всё же нет-нет да слушали и потом посыпали свои головы пеплом раскаяния. А тут даже какой-то отморозенный петух, и тот считает себя вправе уколоть пророка. Мало того, что петух проткнул Павлу Борисычу ляжку, так ещё и заставил последнего на глазах у жены звать на помощь. И все при этом веселились вместо того, чтобы ужаснуться.

Тут Павел Борисыч вспомнил о том, что другой его обидчик, тот самый орденосец, в настоящее время находится на одном из культурных мероприятий в Европе по приглашению какого-то свободолюбивого фонда. И наверняка клеймит там режим, а заодно и Павла Борисыча как продавшегося этому режиму и раздающего такие важные (в плане денежных сумм) литературные премии всяким дешёвым литераторам. Ох, как же это скверно, как скверно!

Что скверно?

А то, что теперь Павлу Борисычу уже не перекинуться на ту сторону — в противоборствующий литературный лагерь. Кто ж его теперь туда пустит? А ведь орденосец скоро станет никому не нужен со своей сермяжной прямоотой. Поскольку сделал своё дело и должен отмереть как атавизм и перестать клевать зёрна с ладоней хорошо одетых и умеренно пьющих людей, которым он, наверняка, всегда был неприятен и своим происхождением, и своей прямоотой, и своими искренними заблуждениями. И вот, казалось бы, шанс для Павла Борисыча: освобождается хлебное место, и если немедленно предпринять необходимые действия, можно его занять. Как занять? Громко и внятно (через свободную прессу) отречься от прежних заблуждений насчёт патриотической влюблённости в существующую действительность и поискать пути в компанию малопьющих и хорошо одетых европейских интеллектуалов. Вот ведь и оранжевый свитер, привезённый *оттуда* кем-то Павлу Борисычу в подарок, до поры до времени ждёт его дома в шифоньере...

Увы, теперь это всего лишь несбыточные грёзы. Никто его, некогда яростного обличителя человеческих пороков, беззаветно преданного родине, там не простит. Сам виноват.

Однако Павел Борисыч всё же представил себе такой маловероятный поворот судьбы: чёрный от разочарования, как отработанное масло, орденоносец возвращается к своим корням, чтобы бить себя в грудь кулаком и пить горькую, а Павел Борисыч неожиданно для всех занимает место орденоносца на каком-то европейском форуме. Ну и говорит там о родине то, чего прежде не говорил, говорит без утайки, так сказать, открывает глаза тамошним людям доброй воли на...

На что?

«А ведь придётся кривить душой. Как пить дать придётся, — вяло рассуждал он. — Возможно, и про русскую бабу говорить всякие гадости. А ведь нет ничего слаще русской бабы, особенно когда знаешь, что больше её никогда не увидишь!»

И тут в памяти Павла Борисыча всплыли его творческие командировки в русскую глубинку на всевозможные литературные фестивали и чтения. Он — в расшитой косоворотке, в чесучовом костюме, в соломенной шляпе на затылке а-ля Горький на Капри, в сандалиях на босу ногу. Хлеб-соль от шеренги аутентичных русских баб, наряженных то простыми крестьянками, то столбовыми дворянками, а то и владычицами морскими; их зычные или же протяжные песни, их искреннее восхищение Павлом Борисычем, таким убедительным в роли плакальщика всяя Руси, пропагандиста русской культуры и воспевателя русской женщины. Вот именно плакальщика, пропагандиста и воспевателя, который хорошо знает и весьма убедительно рассказывает, кому на Руси жить хорошо. Жить несмотря ни на что.

В одной из первых таких поездок в российскую глубинку прикрепленный к Павлу Борисычу местной писательской организацией человек, встречавший его прямо на перроне русскими народными песнями в сопровождении гармониста, наряженного не то лавочником, не то трактирным половым, сразу после рукопожатия предложил Павлу Борисычу... девушку на всё время его творческой командировки. И попросил лишь уточнить, какая именно девушка устроит Павла Борисыча — поэтесса или же та, что пишет прозу, извинившись за то, что девушек, пишущих критику, в их писательской организации не нашлось. Вытаращив глаза, Павел Борисыч тогда испуганно отказался от неожиданного предложения, но уже вечером, после ужина с красной и белой рыбой, икрой и водкой, пожалел, что отказался. На этом ужине, помимо прикрепленного к Павлу Борисычу куратора и полового с гармонью, были и молодые литераторши местной организации. И наверняка те самые, что предназначались Павлу Борисычу. И все эти молодые литераторши показались Павлу Борисычу весьма привлекательными, даже желанными. И он, достаточно осмелевший после выпитого, подошёл к своему куратору, чтобы сообщить ему об изменении своей позиции в отношении девушек. То есть отозвать своё утреннее заявление насчет того, что ни юная поэтесса, ни другая, балующаяся прозой девица, ему здесь не понадобятся. Очень даже понадобятся! Однако куратор был на хорошем взводе: Павла Борисыча не слышал, а слушал, жадно горя глазами, как раз голубоглазую поэтессу. Слушал и при этом преступно жулькал ладонью за все филейные части.

«Но ведь это я должен её сейчас, а не он!» — тихо возмутился тогда расстроенный Павел Борисыч.

И пришлось ему всю творческую командировку обходиться без внимания юной литераторши, и он об этом потом долго жалел, полагая, что если б не отказался на перроне вокзала от такой радости, то имел бы реальную возможность поближе познакомиться с простым русским народом. И это только пошло бы на пользу и его творчеству, и его гражданской позиции.

И всё же, если на чистоту, то в русской глубинке ему было хорошо: сытно, привольно, счастливо.

А там, за нейтральной полосой, каково бы ему было?

«Небось, бесплатно девку не предложили бы! За всё пришлось бы платить самому...»

— Представьте себе, голубчик, меня здесь даже выслушать не захотели. Оплевали и выбросили за ненадобностью, как использованный презерватив, — криво улыбаясь, изрёк Павел Борисыч и повернул своё страдальчески улыбающееся лицо к сидящему рядом хозяйскому кобелю, спущенному на ночь с цепи.

Кобель, объевшийся с праздничного стола, лишь сочувственно вздохнул и продолжил переваривать пищу.

— Виктория, это не твой там, на дворе, с кобелём разговаривает? — спросила жену Павла Борисыча завуч средней школы из-за двери.

— Наверное, мой, — усмехнувшись, ответила Виктория с кровати.

— А что он там сидит-то? Ночь ведь уже!

— Думаю, жалуется вашему псу. На меня, на тебя, на Витю. Ну и на петуха, естественно. Как, мол, тот посмел напасть на знаменитого человека. Ведь все вокруг ему должны, но никто этого не понимает.

— А мы-то с Витей чем перед ним провинились? — спросила завуч в приоткрытую дверь комнаты.

— Тем, что не дали ему сказать, какой он великий, как много он делает для России и каждого из нас. И ещё, что без его стараний мы бы давно стали насмешкой природы.

Павел Борисыч всё ещё изливал кобелю свою израненную душу, а может, уже спал, свесив голову на грудь, а его жена никак не могла заснуть. Вспоминала минуты, проведённые наедине с Лопатой.

Ох уж этот Иван Лопата!

Какие у него сильные руки, какие широкие плечи, какие холодные, блестящие глаза! Когда она неожиданно для себя самой там, у курятника, вдруг взяла его за руку и прижалась к нему с фирменной своей полуулыбкой на приоткрытых губах, он не облапал её, не впился в её губы своими, но и не оттолкнул от себя. Он лишь спокойно дал ей заглянуть себе в глаза. И Виктория увидела в глазах Лопаты такое, от чего даже у неприступных римских матрон подкашиваются ноги, а молоденькие девушки теряют голову настолько, что забывают себе цену.

То, что кандидат искусствоведения там рассмотрела, нельзя было забыть. Если бы хозяйка тогда не позвала их к столу, они с Лопатой так и остались бы возле курятника навсегда.

Закинув руки за голову, Виктория с ужасом, трепетом и восторгом представляла Лопату, так и сяк крутя его широкоформатный образ в своём воображении. И выходило, что с какой стороны ни глянь, Лопата и желанен, и соблазнителен. Во-первых, по-мужички хорош собой; во-вторых, умён в необходимую для семейной жизни меру; в-третьих, работающ, как вол (об этом говорили саженная ширина и несгибаемая прямизна Лопаты). Такой не станет плакаться бабе в подол, ища утешения, понимания и сочувствия, а просто напьётся. Такой свою бабу будет любить всю ночь, да так, что кровать, если только та не железная с панцирной сеткой, непременно развалится, а у бабы этой аж до первых петухов душа будет уходить в пятки. И ещё. Такой, может, и не станет носить свою бабу на руках, зато, когда её вдруг унесёт шальным ветром налево, если не пришибёт как муху, сразу, то непременно потом

отдерёт вожжами на конюшне как сидорову козу. И она, вразумлённая, только крепче любить его станет.

Одним словом, Лопата, на взгляд Виктории, был из тех редких мужчин, рядом с которыми женщина, даже красивая и себе на уме, не помнит себя. И какого бы нрава, какого бы темперамента ни была эта женщина, рядом с Лопатой она всегда будет улыбаться чему-то внутри себя, чему-то самому для неё драгоценному, но абсолютно не понятному людям. И на всю жизнь останется женщиной Ивана Лопаты (другие мужчины перестанут для неё существовать). И умрёт вместе с ним, если только он соберётся умирать. И умрёт за него, если только это от неё потребуется. Поскольку без него ей и жизни-то не нужно. Поскольку без него нет для неё жизни.

Хотя, пожалуй, найдутся и такие редкие экземпляры, что убегут от Ивана Лопаты без объяснения причин, не оставив своего адреса. Убегут хоть в тундру, хоть в тайгу, хоть в Биробиджан. В общем, туда, где Иван Лопата не подумает их искать. А если и подумает, то не сможет найти, чтобы вернуть. И будут там жить на птичьих правах и мыкаться по съёмным углам, и дрожать от холода, лишь бы только не жить под Иваном Лопатой, тая, как свеча, от близости. Поскольку с первой встречи почувствовали в нём то опасное, в чём невозможно разобраться. А если всё же возможно, то всё равно нельзя предупредить. То, рядом с чем нельзя шевелиться, чтобы не разбудить этого в Лопате. Ведь если это всё же разбудить в Лопате, то Лопата перестанет за себя отвечать.

Ночью Анна Иоанновна проснулась с мыслью о том, что её несчастный поросёнок вчера наверняка наблюдал с Небес, как его поедают люди добрые. Но кто ему были те едоки, тяжёлые от сытости, для которых он был лишь домашним животным, существом без роду и племени? Да никто. А вот Анна Иоанновна, некогда объяснявшаяся ему в любви, которую он и впрямь любил как родную мать (Анна Иоанновна очень на это рассчитывала), была ему очень даже кто. Она припомнила момент вчерашнего застолья, когда уже, казалось, сытая и выпившая изрядно (рождественский-то пост когда ещё, так что тут она в своём праве!), вдруг попросила у хозяйки ещё кусочек свинины, и ей отвалили целую тарелку, и она с энтузиазмом жевала, и капельки пота проступили на её красных от удовольствия щеках.

Это ведь ужас какой-то, наказание Божье!

Но за что?

А за то, что оставила своих чужим.

А чужие, известно, жалости к несвоим не имеют.

«Им бы только купить по деревенским ценам, а потом продать по городским!» — с болью подумала она.

Ближе к утру Анна Иоанновна всё же заснула, убеждённая в том, что беспощадным отношением к себе искупила вину за мученическую кончину поросёнка. Анна Иоанновна надеялась, что совесть теперь перестанет есть её поедом. И, действительно, совесть смолкла, и Анна Иоанновна спала спокойно. Но перед пробуждением явился её миленький дружок собственной персоной, встал немым укором, уставил свои пуговики глаз. И опять в поросёнке проступил покойный муж. Анна Иоанновна говорила с ним о школе, о домашних заданиях, хотя ей хотелось спросить о том, как тому живётся на Небесах. Однако она стеснялась расспросить. Потом они вдруг оказались в школе, и муж вызвал её к доске. Анна Иоанновна, вполне сознавая, что она давным-давно взрослая женщина, окончившая и школу, и торговый техникум, к тому же вдова, ни как не могла понять, зачем ей надо решать задачу

по алгебре. Ведь муж был учителем истории и мало что смыслил в математике... Потом они шли к дому, и муж (он же учитель, он же поросёнок) сказал, что у него *там* всё нормально. Даже очень хорошо. Тогда она спросила, понимая, что он ещё и её любимый поросёнок: «А наш петушок тоже там?» И поросёнок сказал, что *там* его пока нет, но поскольку петушок был сумасшедшим, то не виноват в своих злодеяниях. И значит, его ещё можно вымолить. И тогда все они будут *там* навсегда вместе. И когда поросёнок говорил это, обнадеживая, она понимала, что именно поросёнок, то есть покойный муж, имеет в виду под этим *там*.

Хорошо ещё, что Анна Иоанновна тут же проснулась, а не осталась в этом сне навеки, без возможности вымалывать сумасшедшего петушка.

Прижав к губам носовой платочек, Анна Иоанновна ждала своей очереди исповедаться отцу Виталию. Комкала платочек, то и дело прикладывая его к глазам. Вчерашние ужас и отчаяние вновь владели ею. Как рассказать о том, что произошло вчера? Как открыться? Но ведь она хочет поведать весь этот ужас вовсе не отцу Виталию, а самому Господу! А отец Виталий лишь свидетель есть, и *еще что скроеши от Него, сугуб грех имаши...*

Едва Анна Иоанновна встала перед аналоем, как её прорвало, словно плотину, и понесло, словно щепку. Говорила она быстро, сбивчиво, пропуская целые фрагменты подготовленного к исповеди повествования, захлёбываясь от избытка чувств и уверенности в собственной вине. Многое она опускала или проглатывала, как ей казалось, за ненужностью, — мешавшее исторгнуть из себя накопившиеся боль и отчаяние.

— Ещё в июле мы с ним поровну, по два ведра картошки накопили. Я плакала от радости... — Отец Виталий улыбался Анне Иоанновне и кивал, мол, хорошо, что поровну, по два ведра. — Я вчера ночью приехала, ближе к утру, днём к соседу зашла, а там гости, застолье, мне шашлык в тарелку, мол, угощайся, Анна Иоанновна. Ну, я же не знала, что да как, и угостилась, дура такая, потом ещё попросила, а после узнала, что это был он. Что это я его ем. И все за столом тоже его ели...

Отец Виталий переменялся в лице, пригнулся к склонённой голове Анны Иоанновны, потом накинул на неё епитрахиль и отодвинул аналой вместе с Анной Иоанновной подальше от желающих исповедоваться прихожан. Отодвинул, полагая, что тем самым не позволит услышать любопытствующим из близкой очереди то страшное, что собирался услышать от Анны Иоанновны.

После этой стремительной рокировки отец Виталий принялся выпытывать, кого именно Анна Иоанновна съела вчера. И когда, наконец, до него дошло, облегчённо выдохнул: «Фу ты!», распрямился, вытер пот со лба и сказал, что Анна Иоанновна не сможет сегодня причаститься, поскольку вчера вкушала скоромную пищу.

Отец Виталий уже собирался отпустить Анне Иоанновне её грех, разрешить её от горькой вины, однако Анна Иоанновна, просветлев, как небо после летнего дождя, спросила отца Виталия, попал ли её поросёнок после всего, что пережил перед кончиной, в Царствие Небесное? Да-да, после своего мученичества (ведь зарезал же его Лопата) и её предательства (ведь отдала же она его на смерть чужим людям).

Взопревший отец Виталий собрался не на шутку рассердиться. Много чего слышал он тут от прихожан, но свидетелем такого вопиющего невежества стал впервые. Однако, заглянув в сияющие детской надеждой глаза Анны Иоанновны, ответил чуть приглушённо и немного сквозь зубы (не дай Бог услышит кто-то и донесёт правящему архиерею), что да, несомненно попал. По совокупности всех

перенесённых страданий. Правда, сообщил он это, пряча глаза и болезненно искривив брови, словно до конца не веря в то, что он, отец Виталий, изрёк сейчас сие перед Богом.

Едва Анна Иоанновна отошла от отца Виталия, как вспомнила, в чём забыла исповедаться. Она ничего не рассказала о петушке, которого также вчера убили и съели. И, конечно же, грех ей не рассказать о петушке на исповеди, поскольку противные природе наклонности последнего нуждаются в церковном порицании. И тогда на душе у Анны Иоанновны будет не так скверно, когда она возьмётся за молитвенный подвиг ради спасения заблудшего петушка. Слава Богу, к нему, жареному, она вчера не притронулась. Да и гости глодали его без энтузиазма. А вот кобель — Анна Иоанновна исподтишка следила за ним — не стал жеманничать и хрустел куриными костями до тех пор, пока от петушка ничего не осталось.

Как раз в то время, когда Анна Иоанновна комкала влажный от слёз платочек в очереди на исповедь к отцу Виталию, петух, тот самый, топтанный глазастеньким Анны Иоанновны и, кажется, уже списанный со счетов и вычеркнутый из списков обстоятельствами непреодолимой силы, осторожно вышел на двор из курятника. И, не обнаружив тирана, шествовал гоголем перед унылыми несушками. Приободрённый таким поворотом, он попытался было присвоить упавшую к его ногам власть и начать топтать наложниц, однако ни зойки, ни соньки не воспринимали его теперь в таком качестве. И оказали ему ожесточённое сопротивление, загнав несчастного в собачью будку, рядом с которой сидел удивлённый сторонний наблюдатель.

Этот *обиженный* петух, однажды уравненный с несушками в правах, потерял на них право. И вечером того же дня Виктор отрубил ему голову. За ненадобностью.

Ранним утром по ещё свободному, влажному от росы шоссе в сторону областного центра мчался красный японский мотоцикл, управляемый статным, затянутым в чёрную скрипучую кожу мотоциклистом. На голове у него был непроницаемый для встречного ветра и посторонних глаз шлем. За спиной — сидел так же одетый в кожу и шлем пассажир. Судя по соблазнительным изгибам спины и бёдер — молодая женщина, подруга мотоциклиста или даже больше, чем подруга. Уж очень крепко она его обнимала, уж очень сильно прижималась грудью к его широкой спине.

Они ехали из глубинки в сторону цивилизации развеяться, посетить кое-каких знакомых, узнать последние городские новости, ну, и, разумеется, купить что-нибудь красивое, пусть и бесполезное в хозяйстве.

На переезде перед шлагбаумом они остановились, переговариваясь между собой. Где-то совсем близко повизгивал тепловоз.

— ...А она вдруг и говорит, что не знала, кого ест. Что если б знала, то ни за что не притронулась бы к нему. Ну, думаю...

В этот момент закричал тепловоз, и слова мотоциклиста и, возможно, его жизнерадостный смех потонули в этом отчаянном крике.

Варвара Заборцева

За красными гаражами

* * *

Белое поле и чёрные лошади,
Брошены лошади старым хозяином,
Скоро покроются лошади инеем,
Будет сложнее найти.
Ходят и ходят огромные лошади,
Поле, конечно же, тоже огромное,
Места хватает, а зелени мало им,
Только под снегом искать.
Ищут на поле траву прошлогоднюю,
Снятся мне лошади, белое поле их.

Было не поле то, речка замёрзшая.
Снится, как лёд понесло,
А лошади больше не снятся.

* * *

Аману Рахметову

Я раньше не знала
Что в мире есть иной горизонт
Водоносный
Он лежит себе под землёй
И лежал бы долго лежал
Только он говорят падает
Ниже и ниже
Воде не так-то легко
Схватиться за корни

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик, искусствовед. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Санкт-Петербургскую Академию художеств имени И.Репина. Публиковалась в журналах «Звезда», «Урал», «Новый мир» и других. Лауреат премии «Лицей» (2023). Участница семинаров фонда СЭИП и мастерских АСПИР. Лауреат премии журнала «Дружба народов» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Если совсем упадёт
Родники пересохнут
И где полоскать бельё
Мыть яблоки
Пить с ладони

Я стала носить ведро
Снеговой воды
Каждый апрель
К ближнему роднику
Набираю руками
За красными гаражами
С линии горизонта
Который ещё не падает

Чёрные валенки

Где были сосны, поля и родник,
Намертво в землю вращает гранит.
Видится не обречённость,
Это, скорей, обретённость
Места в своём лесу.
Пускай земляки несут
По свежему снегу в апреле.
Валенки только чернели:
Тёти и дяди, сёстры и братья.
Шествие наше сильнее объятий.
Утром по разным вокзалам.
Бабушка тихо сказала:
«Чёрные валенки ты сохрани,
Вам ещё вместе отцов хоронить».
Зимы бессрочные, лето неточное,
Бьётся о сосны апрельское солнце.
Валенкам место в сарае найдётся.

* * *

Не книга, а труха в обложке:
Поля и буквы нараспашку,
И вдруг — засохшая ромашка,
Белёсая, жива.

Ищу ромашки полевые,
И крошатся в руках страницы,
Им, кажется, не сохраниться
И слово не сберечь.

Скорей бы в поле, чтобы книгу
Забить засохшими ромашками,
Пускай вращают вверх тормашками
И лепестками вверх.

* * *

Мама с коляской идёт по мосточкам.
Дочка в одной руке.
Кажется, Света вернулась в посёлок.
Вернулась, пока налегке:
— *Здесь хорошо мне, родители, речка.*
Не знаю, пока проживём.
Коляска застряла в дырявых мосточках.
Быстро достали вдвоём.

За разговорами *печки, охапки,*
Надо оно или нет.
Каждому встречному разве расскажешь
Маму в родном окне.

Света с коляской ушла по мосточкам,
Дочка в одной руке.
А я с пустыми руками
По тем же мосточкам —
К маме.

Алексей Иванов

Крестословица, или Прогулки с тенью диктатора

Роман

Глава 19

— А тут и думать нечего, — Елагин с Гором сидели на тёплой веранде и пили чай с мёдом, — не зря Анна Андреевна сказала про судилище: «Делают рыжему биографию!» — Гор хрустел любимыми подсолёнными сухариками. — Так ведь?

Он повернулся к жене, Наталье Акимовне. Та стояла возле плиты, сцепив руки на животе.

— Нам Толя Найман рассказывал, — подтвердила она. — Зашёл денег занять, сидел вот так, как вы, всё на улицу поглядывал.

— Толя боялся, что за ним следят! — пояснил Гор.

— И действительно следили?

Елагин покосился в окошко. В него была видна почти вся дачная улочка.

— Не знаю, — пожал плечами Гор. — Кому они нужны были?

— Следили, следили, — перебила Наталья Акимовна. — Они как раз собирались к Иосифу на Север ехать. А денег-то нет! Вот он к нам и пришёл.

— С девицей, — засмеялся Гор. — Он, может, и выглядывал в окно, — не ушла ли она? А потом придумал насчёт слежки!

— Он и верно, придумать мог, — поддержала Наталья Акимовна. — Но что следили — это точно!

— Мне даже Женька Воеводин жаловался, — снова хихикнул Гор, — что за ним тоже кто-то ходит! И тоже за деньгами приходил. — Гор забавно скривился. — Может, видения ему были? Померещилось? Всю жизнь, сколько знаю, пьёт. Сначала с отцом своим на пару...

— Тот до белой горячки допился, — вставила Наталья Акимовна. — А уж после отца Женька и вовсе без удержу... — Она долила жидкого мёда в розетки, с удовольствием облила ложку. — Но деньги всегда отдаёт, это верно.

— Теперь жену спаивает. — Гор, жмурясь, пил горячий, как он любил, чай.

— Та и сама не дура выпить. — Наталья Акимовна присела бочком к столу. — Помнишь, она к нам приходила ещё до Женьки до всякого, а от рюмки

не отказывалась. — Я тогда на рябине настаивала, — кивнула она Елагину, — вкусно получалось!

Речь шла о Евгении Воеводине. Точнее — о процессе, суде над Бродским, на котором Воеводин выступал обвинителем со стороны Союза писателей. Воеводин утверждал, что его подставил Гранин.

— Вот он здесь, на месте Гдалика, сидел, — Наталья Акимовна, служившая когда-то домработницей у родителей Гора, называла его по-прежнему Гдалик, — всё плакался! Проходу, говорил, нету! Гранин вовремя соскочил, а Женька по дурусти попался!

— Гранин тогда секретарём Союза был. По молодёжи, — пояснил Гор. — И Женька попался вовсе не по дурусти, — он посерьёзней, что бывало с ним не часто. — По подлости своей попался. Хотел услужить...

— Гранину, что ли? — с вызовом спросила Наталья Акимовна.

— Молоху! И Гранину в том числе! Женька в секретари Союза лез, сам мне говорил, — поморщился Гор, — вроде советовался, — он помолчал. — Я ему прямо сказал: ты, Женя, советоваться пришёл не по адресу. Я в начальники не лез и никогда не полезу. Не для писателей это...

— А зачем рекомендацию ему в Союз давал? — съязвила Наталья Акимовна.

— Пишет он не хуже и не лучше других, — задумчиво ответил Гор. — Таланта нет особого, а рука есть. Таких, как он, писателей — пруд пруди. Возьми Глеба Горышина, Вильяма Козлова, не к ночи будь помянут, да хоть и Гранина. Ум есть, — он усмехнулся, — рука тоже, а таланта Бог недодал. Пожалел!

— Он талант свой на хитрожопость променял! — брякнула Наталья Акимовна. — Что ты хмуришься? Или я не права?

— Не нам судить. — Потянулся за мёдом, капнул жёлтую каплю себе на грудь и принялся тереть её салфеткой. — Но в этой, как Наталья Акимовна сказала, хитрожопости он, и верно, преуспел. Тут Гранин чемпион! — Гор вдруг засмеялся.

— Что смешного-то? — не поняла Наталья Акимовна.

— Я представил вдруг соревнования по хитрожопости! — Он вытер салфеткой глаза. — Забег, как у спортсменов!

— И все с голыми жопами! — поддержала мужа Наталья Акимовна.

— Это как в тридцать каком-то году было, — хитро заулыбался Гор. — Вы Ивана Уксусова знаете, Костя?

— Да, конечно! Иван Ильич! Он мне показывал разворот «Комсомолки», кажется, или даже «Правды», я на фото не рассмотрел, там дискуссия: «Уксусов или Золя? Роман “XX век”!»

— Да, — кивнул Гор, — помню я эту дискуссию. Шум тогда подняли невероятный! Уксусов в героях ходил, костюмчик сменил, пальто драповое завёл, кепи по моде! Роман перевели на датский язык, на немецкий, сам Андерсен-Нексе предисловие написал!

— Андерсен-Нексе? — удивился Елагин.

— Ну да, — подтвердил Гор. — А что вы удивляетесь? Он же основатель ихней датской коммунистической партии! Зато Ваня Уксусов денег кучу заработал, — Гор вздохнул. — Но не в коня корм. Ваня — человек... — задумался Гор, — человек страстный. Он тут же начал, через переводчиков, конечно, ни одного языка не знает...

— И русского тоже! — вставила Наталья Акимовна.

— Начал Ваня переписываться с иностранцами. Помню, я его письмо Анне Зегерс переводил, — Гор засмеялся. — А после он пришёл с письмом Майклу Голду, американцу, — Гор, похоже, развеселился по-настоящему. — Я ему говорю: не знаю, мол, английского, плохо знаю. А он пристал...

— Не хотел переводчикам платить! — прокомментировала Наталья Акимовна. — Гор-то всё за бесплатно делал!

— Да, это верно. — Они, как всегда, говорили на два голоса. — Но я ему в шутку, конечно, говорю: могу ему на идише написать! А Ваня Уксусов первейший антисемит! Тот: как на идише? Я: Майкл Голд — это псевдоним, а на самом деле он Ицик Гранич. Он просто обалдел!

— Его переводчики-то и подвели, настучали! — Наталья Акимовна извлекла из духовки ватрушки и поставила на стол.

— Да, — закивал Гор, — вlepили ему статью! Что-то года на три его упекли. — Он задумался. — А тогда никому меньше десятки не давали.

— Так он же ихний был, свой, мне жена писателя Финна говорила, он тоже с этими, — Наталья Акимовна махнула рукой куда-то вверх-вбок, — связан был.

— Не знаю насчёт этого, не знаю, — покивал Гор. — Но вышел скоро, это точно. Да и там, говорят, не бедствовал, — сказал Гор и занялся ватрушками.

— Не любит Геннадий Самойлыч про те времена вспоминать, — сказала Наталья Акимовна, поглаживая мужа по седому ёжику. — Его ведь и самого-то чуть не... того... — она говорила про мужа, словно его не было.

— Мы с чего начали, — Гор вздохнул, отбрасывая тяжёлые воспоминания, — с Женьки Воеводина. Он ко мне пришёл, письмо знаменитое принёс, что-то вроде характеристики на Бродского. Смотрите, говорит, вот оно, всё исчерпанное правками. Гранина руку узнаёте? Я посмотрел, вижу, — Данилы правки. Я-то уж его почерк отличу!

— Данила-то после всё на Женьку переложил! Будто бы он письмо это, характеристику, и не писал.

— Да-а, — подтвердил Гор. — И на заседание суда не приехал. Женьку послал.

— Не послал, — не удержалась Наталья Акимовна, — а сказал, мол, ты поезжай, я позже приеду. Женька-то всё его ждал, дурак! — Она салфеткой утёрла губы мужу. Тот покорно сидел, по-детски зажмурившись. — Уже суд идёт, Женька сам рассказывал, сидел вот тут, вроде тебя, Костя, на гостевом стуле, — Наталья Акимовна положила тяжёлые руки на плечи Гору. — Суд, рассказывает, идёт, а я всё на двери смотрю, Гранина жду. А судья говорит: кто из Союза писателей обвинение представляет? Женька тут и вскочил: я! — Она горестно, по-бабьи, покачала головой. — Зачитайте, это судья говорит, характеристику! Вот он и вляпался! Получилось, что характеристику-то будто бы Женька один писал, без Гранина, без комиссии...

— Да уж, вляпался так вляпался, на всю жизнь! Теперь как Иосифа вспоминают, все сразу: «А, это когда Воеводин на процессе обвинителем был!» — Он повернул голову и прижался на секунду к руке жены. — Был какой-никакой писатель, а по дурусти да подлости стал обвинителем! — Гор помолчал и потихоньку заулыбался. — Это как с Ванькой Уксусовым. Только с тем перемен побольше было. Сейчас-то кто его роман «XX век» вспомнит? Все помнят только фразу знаменитую: «Коза закричала нечеловеческим голосом!»

— А эту ещё, вторую-то! — напомнила Наталья Акимовна.

— Да-да, — засмеялся Гор. — Тоже фразочка хороша. Что-то вроде: «Над городом поблёскивает шпиль Адмиралтейства. Он увенчан фигурой ангела в натуральную величину...»

— Ты главное-то расскажи! — Наталья Акимовна, всё ещё стоя за спиной мужа и смеясь, потрепала его по щеке. — Насчёт «все как один»!

— А-а, — вспомнил Гор. — Ванька, я уж говорил, человек страстный! Он искренне считает, что он гений. Искренне считает, что если бы не евреи, то всё бы в мире пошло по-другому, искренне верил, не знаю уж как сейчас, в советскую власть... А в тридцатые годы мода пошла такая: всех в противогазы наряжать. К газовой войне готовились. Вот Ванька...

— А он тогда заикался здорово, не знаю, как вылезился. Сейчас вроде меньше мекает...

— Да-да, — подхватил Гор, — он на собрании писательском выступает, я уж забыл, то ли перед Первым мая, то ли на Седьмое ноября? Обсуждали, тогда это обязательно было, как пойдёт колонна ленинградских писателей на параде, на Дворцовой площади...

— Тогда площадь Урицкого была!

— Да-а, — Гор заранее принялся хихикать. — Сидим, всякую чушь слушаем, вдруг Ванька Уксусов, заика, вскакивает и со всей страстью кричит: «Н-надо поддержать инициативу ленинградских рабочих, к-которые на параде пойдут в про-про-ппротивогазах. Я, говорит, предлагаю, чтобы все пи-пи-писатели прошли колонной и все к-как один, к-как один в ппро-ппро-презervативах!»

Глава 20

Марк Масарского Елагин встретил у Шарымова. Тихоголосого, скромного Маркушу Шарымов именовал Витаминачем. От отчества, конечно, — Вениаминач. Как москвич Масарский попал в дом к Шарымову, Елагин уже не помнил. Осталось в памяти ночное гулянье по Ленинграду. Худошавый, быстроглазый Маркуша был неутомим в рассказах о знаках и тайнах масонского Петербурга. Марк тогда увлекался историей масонства. Белой ночью масонские символы и идеи особенно впечатляли.

— В нашей пропаганде хуже масонов только фашисты, — они вышли с улицы Пестеля к Фонтанке и обошли мрачный и тяжёлый Инженерный замок. Марк то и дело указывал Елагину на масонские знаки: всевидящее око в картуше, перекрещённые циркули, наугольники. — Я хочу пройти, — Масарский первый раз был в Ленинграде, — по знаменитому треугольнику: Невский проспект, Казанская улица, Гороховая. Это мало кто знает, — Марк ориентировался в незнакомом городе, будто давно жил в нём, — но Петербург единственный город в России, который строился по плану. Знаменитый Леблон с Домеником Трезини, масоны высокого градуса, постарались. И вот этот треугольник — Невский, Казанская, Гороховая, — главный масонский знак, лучезарная дельта, всевидящее око!

— Думаешь, ВЧК со страшными расстрельными подвалами на Гороховой 2 — это тоже неслучайно? В самом центре масонского символа?

— Скорее всего — да, не случайно ВЧК «всевидящее око» — согласился Марк.

Они подходили к мрачному зданию бывшего Управления Петербургского градоначальника.

— Я почему-то не могу спокойно ходить мимо этого дома, — заметил Елагин, — на душе, как говорится, кошки скребут. Будто голоса замученных слышатся. Из знаменитых чекистских подвалов.

— Да, — согласился Марк, — зданище непростое. Тут Вера Засулич пульнула в живот градоначальнику Фёдор Фёдорычу Трепову, а до того сюда привозили на допрос и Кондратия Рылеева, и Блока, и Гумилёва, да мало ли кого!

— Вырубову, Коковцева, Пунина, — поддержал его Елагин.

— Пойдём к Александрийскому столпу, там тоже лучезарная дельта должна быть на пьедестале. — Марк оглянулся и уверенно двинулся к Дворцовой площади. — Как без неё на памятнике Александру, масон был известный. Хоть и не такой истовый, как папенька его, Павел.

От Дворцовой перешли по мосту через Неву, свернули по набережной. Кунсткамера, Университет, Меншиковский дворец...

— Я всю жизнь мечтал посидеть ранним утром, на рассвете на этой набережной, — мечтательно сказал Масарский. — Возле сфинксов. Кстати, на фронте Академии художеств полный набор масонских символов.

Елагин отметил про себя, что провинциальный интеллигент Масарский знает историю города и масонства получше, чем он, ленинградец. По замершей в неверном

небесном свете Университетской набережной светился только кораблик на шпигеле Адмиралтейства, подошли к сфинксам. Масарский внимательно, как старых, давно не виденных знакомых, рассматривал их, гладил шершавый гранит.

— Жаль, нету фотоаппарата, — он оглянулся на Елагина. — Спуск четырнадцать ступеней, — проговорил он, — это я запомнил с самого детства. Лежал больной и смотрел книгу о Петербурге. Четырнадцать ступеней! — И, считая, — раз, два, три, — стал спускаться к воде.

Она пришла из дикой дали —
Ночная дочь иных времён.
Её родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.

Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала с лёгким вскриком
Под бурей ночи снеговой.

— Это Блок, — сказал, не оборачиваясь, Масарский, — «Снежная дева». — И замолчал, глядя на блёкло-серую, словно стоячую, воду Невы. — Даже удивительно, как вы, ленинградцы, не любите, не цените свой город. Я в детстве после войны — голодовка! — болел много, лежал то в больницах, то дома и придумывал путешествия по городам. Любимыми были три: Рим, Санкт-Петербург и Венеция. Я собирал о них все книжки, какие можно в провинции достать, читал, рисовал маршруты, по которым хотел бы путешествовать. И вот мы с тобой гуляем там, где я мечтал побывать. Смеёшься? — повернулся он к Елагину. — Нет? Здесь, на Васильевском острове, в Академии художеств зарождалось русское масонство, без которого Россия никогда не стала бы европейской страной. Бортнянский, создатель русской духовной музыки, Левицкий, Боровиковский, Новиков-просветитель — издатель тысяч книг, немислимое по тем временам число, в ложе «Овидий» состоял Пушкин, масонами были Грибоедов, Чаадаев, Мицкевич, Пётр Андреевич Вяземский, великий физик Яблочков, изобретатель «русского света», первый русский человек, популярность которого можно сравнить только с популярностью Гагарина, лучший историк Василий Васильевич Ключевский. Военные — от генерал-фельдмаршала Мордвинова, к Суворову, Кутузову! И заметь, — Масарский говорил, почти не глядя на Елагина, будто был уверен, что тот внимательно слушает его, — это всё первые имена, первые по значимости и по тому, что первыми начинали это дело. Куда ни глянь — они.

Застывшая было невяская вода задышала, качнулась, плеснула слегка по ступеням спуска. Справа вверх, против течения пошли громадные, тяжело гружённые корабли, осевшие по ватерлинию. Передовую баржу тащил упорный и маленький, как ослик, по сравнению с ней, буксир. Он сипел, плевался паром, на палубе суетились два матроса, и в подсвеченной рубке был виден профиль капитана.

— Всё, Марк, — спохватился Елагин, — мосты развели. Теперь мы до утра здесь, на Васькином острове.

Наверное, именно тогда, Елагин не помнил точно, и зашёл разговор об артели «Печора». Разговор, перевернувший его жизнь. Марк тогда работал в «Печоре». Таинственный и неотразимый герой-золотодобытчик Туманов, романтика настоящей мужской жизни, конечно же, сказочные заработки за сказочный же двенадцатичасовой труд, столичные ресторанные повара, готовившие работягам изысканные блюда в огромных количествах, рубленные дома-коттеджи с русскими парилками и вошедшими в моду саунами. И свобода, и просторы, и к чёртовой матери этот затхлый мирок, этих лживо-фальшивых людей, эту болтовню о поэзии и философии, — всё за борт! Есть, есть ещё настоящие люди и настоящие дела!

— Когда ты едешь? — просто так, ещё ничего не решив, спросил Елагин.

— Завтра! — кивнул Масарский, не отрываясь от мостов, вскинувших вверх могучие разводные пролёты, от грузовых судов, аккуратно протискивающихся между застывших в сумрачном свете гранитных быков, от палубных огней, от едва слышных разговоров на судах, от бархатного плеска волн, обеспокоенных тяжко нагруженными, просевшими под тяжестью трудягами. Не было гудков, сигналов — только плеск волн, грозный гул двигателей, палубные огни, запах дизельной гари и едва слышные команды. Шли корабли-призраки. Палевое небо, безразлично смотревшее на город, делало их нереальными.

— Завтра, — повторил Масарский. — Хочешь со мной? С нами?

И, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону светящейся головы Кунсткамеры. Зашагал, это Елагин отметил сразу, по-новому, по-хозяйски, будто понимая, что Елагин пойдёт за ним, подстроится под его лёгкий, скользящий шаг.

Через два дня и три бессонные ночи, после самолётов, речной посуды ПТ по прозвищу Потерпи Товарищ, узкой для троих кабины трактора-лесовоза, ползшего по невидимой, залитой вонючей болотной жижей «трассе», Елагин уже пожимал странно тяжёлую руку «того самого» Туманова, бывшего политзека с восемью побегами и полной реабилитацией, ныне артельщика-золотодобытчика.

— Марк пропел, ты в дизелях разбираешься, — утвердительно сказал Туманов. — Вон там, — он кивнул коротко стриженной головой куда-то в сторону, — до хрена всякой техники. Мёртвой. А мы платим за каждый день аренды. По закону. Как за живую. Запустишь половину... — он задумался. Комары на загорелой шее наливались кровью. — Хоть что-то запустишь, — поправился он после короткого раздумья, — себя оправдал. Знаешь, как все у нас, несколько профессий, — хорошо. Жить будешь дальше. — Елагину показалось, что Туманов улыбнулся. — Питерский, говоришь? Я в Питере не бывал. Всё больше по востоку да по северам жизнь носила. Красивый город? — Комары, насосавшись крови, отваливались, давая место другим. — Будет время, расскажешь! — И ушёл, оставив дымок сигарки и крепкий запах костра.

Глава 21

Чемоданчик с бумагами, что принёс Яков Семёнович Друскин, на время оторвал от собственных записей. Это даже набросками назвать нельзя. Хотя для характеристики будущего диктатора может и пригодиться. Например, стихи, опубликованные в газете «Иверия».

Шёл он от дома к дому,
В двери чужие стучал,
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.

В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Звучала великая правда,
Божественная мечта.

Сердца, превращённые в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потёмках пламень
Взметался выше дерев.

Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.

Сказали ему: Будь проклят,
Чашу испей до дна!..
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!

Стихи чепуховые, лабуда (хоть перевод Арсения Тарковского их и подправил), но ведь писал же. И не кто-то, а сам главный редактор газеты князь Илья Григорьевич Чавчавадзе, первый грузинский либерал и националист, *Pater Patriae*, как сказали бы в Риме, публиковал эту романтическую чушь. А одно стихотворение попало даже в сборник лучших грузинских поэтов. Не отсюда ли будущий интерес (зависть-любовь?) Сталина к поэтам? Всё никак не мог решить, кто первый: Пастернак или Маяковский. Так и склонился бы, скорее, к Пастернаку, если бы не Лиля Брик. О Лиле вспомнился рассказ кого-то из москвичей: встретил эту парочку, Лилю Брик с Катаняном, в магазине. Тот посадил её на складной стульчик, что принёс с собой. Так и сидела крашенная старуха, в точности как старая линиялая образцовая кукла: алые наведённые губы, намалёванные синим провалившиеся глаза, по последней моде шляпка из Парижа и домашние тапки на подагрических отёкших ногах.

Может быть, и «поход в революцию» выпал случайно? Не допустили (позже напишут «не явился») до экзаменов в семинарии якобы из-за опубликованных стихотворений. А допустили бы, кто вышел: священник или малохолный поэт, каких в Грузии, как и везде, пруд пруди? А тут — живая романтика, что ни день — почти подвиг, новые люди, новые книги из тех, что нужно (тоже романтично!) скрывать. Куда они все денутся потом, когда он придёт к власти? Прочь из библиотек, не в костёр, как в средневековье, а в котельные, сжечь тайно и по акту. Акт подписан тройкой: директор, партийный секретарь и, желательно, кто-то из органов.

А пока первый арест в Батуми, первая камера. Говорят, первая камера, как первая любовь, не забывается. Кстати, была ли у него первая любовь? Вроде бы кто-то из старших семинаристов водил его к дешёвым базарным женщинам, что прятались, впрочем, не очень-то старательно прятались, в грязных лачугах за базаром. Плюгавого мальчишку-семинариста туда бы не пустили, но он уже тогда ходил только со старшими и здоровенными оболтусами. И даже, по-видимому, командовал ими, несмотря на хилость и сухорукость. А вот и первая ссылка, какое-то местечко Новая Уда. Где это, кто знает? Будто бы Восточная Сибирь. Про Сибирь слышал от товарищей по партии, но чтобы Восточная... Россия поразила огромностью. Здесь всё не так, как в Тифлисе. Поезд тащится (или мчится?) по бесконечной равнине. Лес, поле, река, опять лес, лес, болота, застывшие, непохожие на домашние, горные, реки, снова всё тот же гнусный, опостылевший пейзаж, изжога от дрянной незнакомой пищи, мерзкие рожи вокруг с сигарками из ужасного — правда, очень крепкого — табака, от которого перехватывает дух. На остановках смачные бабы, ряженные в цветные платки, суют «убогим» пироги с капустой (с мясом оставляет себе конвой, это отдельная памятьливая злоба), с луком, кислый невкусный хлеб, какую-то печёную мелочь... А пейзаж не кончается, гнусный равнинный пейзаж, делённый широченными, страшными реками (плавать так и не выучится никогда). И не кончится до самого Урала, хотя и там — что за горы? Смех один, хотя в «столыпине» особо и не до смеха.

Новая Уда — местечко для ссылных известное. Староверческое. Церковь, острог да пять кабаков, почитаемых «артельщиками» — уголовниками, загнанными за Урал, за Камень, или, по-ихнему, — «за Можай». Благодетельствованные правительством «политические» получали восемь-двенадцать рублей, что по Устьудинским меркам

вовсе не так плохо. И на постой можно определиться с кормёжкой трижды в день, и одежку какую-никакую справить. Валенки, полушубок, а то и тулуп не помешает: минус сорок — сорок два для Новой Уды привычное дело, жить можно. Если, конечно, не перебрать в кабаке да не кувырнуться в сугроб спьяну. Политических всех сортов и оттенков тут побывало достаточно. Но герой наш к ним не прибился, хоть деньги от однопартийцев и получал через давно сидящих, после вспомнит: «...Много было среди них разной сволочи». И деньги, и посылки (реже) приходили. Книг совсем мало. Меньше даже, чем в Батумской, а после и Кутаисской тюрьмах. Там выбор для политических был неплохой.

Совсем не трудно представить себе список этих книг: популярные произведения по естествознанию; кое-что из Дарвина; «История культуры» Липперта; может быть, старики Бокль и Дрэпер в переводах семидесятых годов; «Биографии великих людей» в издании Павленкова; экономическое учение Маркса в изложении русского профессора Зибера; кое-что по истории России; знаменитая книга Бельтова об историческом материализме (под этим псевдонимом выступал в легальной литературе Плеханов); наконец, вышедшее в 1899 году основательное исследование о развитии русского капитализма, написанное ссылкой В.Ульяновым, будущим Н.Лениным, под легальным псевдонимом В.Ильина. Всего этого было и много, и мало. В теоретической системе молодого революционера оставалось, конечно, больше прорех, чем заполненных мест. Но он оказывался всё же недурно вооружён против учения церкви, аргументов либерализма и особенно предрассудков народничества.

Это Троицкий, конечно. С его иронией, сарказмом и образованием. Для Кобы (он уже стал Кобой) и этого хватало с избытком. Кроме того, поначалу тайно, а после и явно, даже с удовольствием, он пакостил (или так учился работать?) в книгах: писал, подчёркивал (позже, в кремлёвском уже кабинете, цветными карандашами) и комментировал. «Ха-ха!», «болван», впрочем, болван через «а», а то и «учитель, учитель». Про Грозного, — но это позже. А как читать при свече? Пробовали? Или при лучине? Лучины, конечно, не было в избе Марфы Ивановны Литвиновой, в закутке у которой жил будущий вождь, но и свечи, и особенно керосин — берегли. Но всё это превращалось в злобу. Прежде — на себя. Зачем писал жалкое письмо главноначальствующему гражданской частью на Кавказе князю Г.С.Голицыну:

Нижайшее прошение.

Всё усиливающийся удушливый кашель и беспомощное положение состарившейся матери моей, оставленной мужем вот уже двенадцать лет и видящей во мне единственную опору в жизни, — заставляют меня второй раз обратиться к Канцелярии главноначальствующего с нижайшей просьбой освобождения из-под ареста под надзор полиции. Умоляю канцелярию главноначальствующего не оставить меня без внимания и ответить на моё прошение. Проситель Иосиф Джугашвили. 1902 г., 23 ноября.

Жалкое послание сатрапу, на которое тот даже не ответил! Конечно, мама уговорила, после и писала сама. Ему же. И с тем же результатом. Может, накопившаяся злоба и толкнула на побег? Пробыл в первой ссылке всего полтора месяца. Бежал. Из Иркутской губернии, зимой, с чужими документами бежал. И добрался до Батума. И прожил там несколько лет нелегалом. Чудо? Секретарь Батумского комитета Рамишвили не верил в чудеса. Полиция! Тайный агент! Выручил руководитель Кавказского союзного комитета социал-демократических организаций Закавказья Миха Цхакая. Он же — посаженный отец на свадьбе Иосифа Джугашвили и Екатерины Сванидзе в Тифлисе, сосед Ленина по Берну и Лозанне, попутчик по «пломбированному вагону» из Швейцарии в Россию, член ЦИК Коминтерна, пятикратный участник съездов партии и пятикратный же участник конгрессов Коминтерна. Старый, тихий, напуганный, но преданный вождю человек. Но и на старуху бывает проруха. То есть и на стариков. В 1950 году решился на отчаянный шаг, попросил Сталина (тот публично поименовал Михаила Григорьевича

своим «Учителем в Тифлисе») спасти арестованного сына старого тифлисского друга. Ученик ничего не ответил учителю, только прислал в подарок конфеты-бомбошки, которыми они лакомились в юности. И старый «учитель» скончался. Что ж, бывает. Восемьдесят четыре года, почти восемьдесят пять, возраст смертный. Зато похоронили достойно. В Пантеоне великих людей на горе Мтацминда. Вождь умел быть благодарным.

Глава 22

В столовой Дома творчества перемены. Место Фёдора Абрамова, пустовавшее больше недели, занято неизвестным человеком. Сам Фёдор после пьяного скандала не появлялся. Со слов Рубашкина, уехал с делегацией в ФРГ. Кто-то же должен представлять писательскую общественность. Опять же по Рубашкину, Абрамов встречается с Бёллем. Любопытная могла бы быть беседа, прознай Бёлль о СМЕРШевском прошлом впавшего в деревенскую ересь Абрамова. Позволенную избранным ересь, ошибочно принимаемую на Западе за проблески «социализма с человеческим лицом».

— Знаете, кто на месте Абрамова сидит? — всевидящий Морозов явно дожидался Елагина, сидя на своём месте в углу и разглядывая входящих в столовую. — Нет? — он был доволен. — Человек оттуда, — и поднял глаза к потолку.

Елагин пожал плечами.

— Я видел, — привычно сплетничал Морозов, — как он разговаривал утром с директором Дома! — Морозов был с директором Дома творчества в ссоре и принципиально не называл его по имени-отчеству. Неприязнь была отчасти ещё и оттого, что, как считал Морозов, директор был ставленником КГБ (что соответствовало действительности). — Тот лебезил и заглядывал в глаза! Видать, малый-то в чинах! — припечатал Морозов незнакомца.

— Как думаете, в каком он обличьи предстанет в следующем своём перерождении? — Елагин повернулся и кивнул официантке, поставившей на стол унылую творожную запеканку, кашу и подсохший кусок сыра на отдельном блюдечке.

— Меня имеете в виду? — догадался сообразительный Морозов и засмеялся. — Я стану старым баобабом!

Дело в том, что вчера «вечерком» он зазвал Елагина на интереснейшую беседу: о душе. И последующих перевоплощениях.

— Это очень интересно, как человек может приблизиться к богам. — Морозов аккуратно разливал остатки вина по стаканам. — Вас не смущает, что допиваем остатки? — Он быстро глянул на Елагина и поставил бутылку в сторону. — Вчерась с Сергеем Владимировичем (Петровым) беседовали-с, — и достал коньяк, как бы показывая серьёзность намерений. — Он, знаете, всё Пифагора поминал. Что тот рождён от смертной женщины и смертного отца. И всех почестей удостоился не за физические достоинства, вроде Геракла, никого не побеждал, не убивал, а почести заслужил силой знания. То есть знаниям впервые в истории эзотерики приписана сакральная функция. Знание может обеспечить бессмертие. Бессмертие через знание. Отсюда, Сергей Владимирович считает, прямой мостик к Платону и гностицизму. Знание обеспечивает существование в том мире. С Пифагора всё и начиналось! — Он с интересом рассматривал Елагина. — Что скажете? Или вы о бессмертии не размышляете?

Морозов был по-стариковски небрит, неряшливо, по-домашнему одет и казался большим.

— Для Пифагора смерть означала забвение. Что такое умереть? Это перестать помнить! В греческой архаике душа попадала в Аид, и, испив мрачноватой воды Леты,

душа забывала всё, что было с нею прежде. Зачем? — он остановился убедиться, слушает ли его Елагин. — А затем, что Пифагор и пифагорейцы выработали учение о переселении душ. Метампсихозис. Души, попав в Тартар, забывают, оказывается, не то, что с ними было на земле, а то, что было на небе, и теперь становятся готовыми к переселению, перевоплощению. Плохие, дурные души в этом колесе переселения обречены вертеться, а души лучших отправляются в мир чистых существей, воссоединяются с божественными существами и выходят из этого бесконечного колеса страданий. А, каково?

— Это индийцы представляли мир как это самое бесконечное колесо страданий? — вяло поддержал его Елагин.

— Конечно! — явно обрадовался Морозов. — А выход из этой сансары, колеса перерождения, — нирвана, блаженство. Это и есть высшая цель всего существования. Ведь на земле ты будешь страдать, что бы ты ни делал.

Елагин рассматривал больного, всклокоченного старика и всё никак не мог отделаться от простой мысли: какая же сила (или силища?) в этих уходящих людях! Собрались двое (один приехал за город в чёртову даль) поговорить о бессмертии души! Не пожаловаться на болезни, не повспоминать о тяготах ареста, ссылок, не обсудить нынешнюю нелёгкую жизнь (обоих печатали с большой натугой), а о бессмертии душ, «о вечном», как говаривал Гор.

— Это важно для Платоновского шага учения о душе, — Морозов, кряхтя, встал с кресла, вытащил из стенного шкафа полплитки шоколада в разодранной обёртке и начатую пачку печенья. — Платон считал себя учеником Пифагора, покупал его книги. Кстати, за огромные деньги. Триста мин, монет. Конечно, поручал покупать книги Филолая, Пифагорова ученика. Тот, сами знаете, как умный человек, книг не писал. Так вот, у Платона — шаг дальше: души — это вообще некие сущности, которые не имеют отношения к людям, к телам. Его души — это идеи, некие идеальные образы. Для Платона душа гораздо важнее тела. Гомер писал, что душа подобна дыму: ты её видишь, можешь унюхать, как дым, а потом он подымается и исчезает. Так и душа. В этом случае чего о душе заботиться? Она улетела — и всё, и нет её. А Сократ, заметьте, наоборот: надо о душе думать, о ней заботиться, но где она — неизвестно. Пифагорейцы сообразили: душа — это такая сущность, которая связана с высшими слоями бытия, а тело — с низшими; понятно, душа гораздо важнее тела. Тела мрут, разлагаются, а душа — нет, она способна перерождаться, а в лучшем для человека случае вообще присоединяться к чистым сущностям! И следующий шаг Платона: душа — это некоторый идеальный образ, отпечаток божественного совершенства. Находка — это идея идеального мира. Идеальный мир существует над нами физически, кстати, небеса — идеальный случай, мы — реальный. То есть обиталище душ — это небо. Наверху всё идеально, ибо там есть царство гармонии. Наши тела созерцают эту гармонию, музыку сфер через наши души. А где находится душа?

Морозов поднял голову на стук в дверь.

— Можно? — Вошёл бочком Саша Лурье. — Не помешаю? Простите, Александр Антоныч, у меня к Константину срочное дело!

— Заходите, Самуил Ароныч, очень кстати! Мы тут о душе беседуем, — он придвинул Саше колченогую табуретку. — Я хотел сказать, вслед за платониками, кстати, что не каждый может её, душу то есть, увидеть? Согласны? Только посвящённый может видеть нечто, чего не могут видеть профаны. Только верные могут узреть, считали и платоники и пифагорейцы, настоящее переселение душ.

— Алексан Антоныч, простите, перебую вас! — попытался вклиниться Саша Лурье.

Морозов поднял палец, останавливая его:

— Секунду, мы ещё с душой не разобрались! Платон, — он повернулся к Елагину, — нашёл гениальный ответ, почему остальные не видят. Вы не видите,

пока не очутитесь внутри, пока не переступите некую грань. Театр — лучший пример. Вы находитесь внутри действия, вы понимаете всю условность, но сопереживаете, вы там живёте. Но вы понимаете, что это представление? Для герметических идей это самое важное: ты внутри или вовне. И есть малый-малый круг избранных, остальным вообще не рассказывается об этой идее.

— Но ведь тогда идея умрёт? — подключился Саша.

— Мудрость каким-то духовным образом снисходит на новых посвящённых. Герметизм как мировоззрение основывается на этих идеях, на памяти. То есть когда инициант, как говаривали римляне, тот, кто проходил обряд посвящения, заключительный круг испытаний, он «припоминал» всё то, что происходило с ним раньше. И люди физически вспоминали, есть множество свидетельств. Как они припоминали? Видения были? Пифагор узнал свой щит, с которым он сражался во время Троянской войны, Эмпидокл, между прочим, уверял, что он был рыбой раньше. Память — это анти-Лета. Память — это жизнь. Чем больше помнишь, тем более ты живой. Кстати, ритуал, при котором испытуемый вспоминал прошлое, назывался замечательным словом «анамнез»!

— Как же врачи всё испортили! — хмыкнул Саша.

— Анамнез, «припоминание», идёт от древнего мистического ритуала, от египетских практик, от индийских, хоть само слово — греческое. Анамнез, память — вот что отделяло посвящённого от профана. Память — форпост не ума, как мы сейчас считаем, а бессмертия. Память — залог бессмертия! Эта идея, между прочим, стала потом одной из основ каббалы.

— Алексан Антоныч, можно о каббале в следующий раз? — теперь уже решительно перебил Морозова Саша. — Я к Косте по делу.

— Я не помешаю, надеюсь? В своём номере? — не удержался Морозов, но поспешил закончить. — Сложно сказать теперь, кто у кого заимствовал, — он проговорил последние фразы скороговоркой. — У евреев научился этому почтению к памяти Пифагор? Или евреи у него? Для еврейской традиции слово «запомни, не забывай, память» — ключевое слово, во всех книгах повторяется бесконечно. Забвение — один из худших грехов. — Он быстро разлил коньяк по стаканам. — Вперёд!

— Костя! — Саша попытался было остановить Елагина, но тот вслед за Морозовым выпил и зажмурился, прижав руку к губам. Коньяк был нехорош.

— Эх, — огорчённо вздохнул Лурье и тоже выпил. — Я хотел, чтобы Костя отвёз Сократа Сетовича (Кару) на машине!

— У вас же редакционная машина есть, — Морозов удивлённо смотрел на Сашу поверх очков. — Мне Сократ вчера звонил, говорил, что замерзает, холодрыга на даче, но редакция обещает...

(Сократ Сетович Кара, числившийся в штате «Невы», был парализован после ранения на фронте.)

— Я только что разговаривал с Александром Фёдоровичем (Попов главред «Невы»), — Лурье всё ещё морщился от плохого коньяка, — он сказал, что расход редакционного бензина очень ограничен, а потому Сократа Сетовича...

— Какая скотина! — Морозов присовокупил ещё затейливое русское ругательство. — Сам ежедневно ездит на дачу, а Сократа не может вывезти?! — От возмущения у него чуть не вылетела вставная челюсть, он её подхватил и сунул обратно. — Он же был никто, Сократ за него написал сценарий, забыл, как называется... тот, за который он сталинскую премию схлопотал...

— «Счастливого плавания»! — подсказал Саша. — Как быть-то теперь... — Саша огорчённо смотрел на Елагина. — Сократа уже собрали, в плед закутали, он чуть не на веранде лежит, они ждут... Мы же с тобой вчера договаривались...

— Это я виноват со своей болтовнёй... — засуетился Морозов. — Может, зажевать чем-нибудь, чтобы запаха не было, у меня лимон есть... Старый, правда...

Жигулёнок Елагина стоял возле котельной Дома творчества.

— Ладно, доедем как-нибудь, — поднялся Елагин. — Бог не выдаст, свинья не съест! Только вы, Саша, не говорите Сократу Сетовичу, что я слегка выпил. Он побоится ехать.

— Побоится вас подставить, — кивнул Саша.

Бог действительно не выдал: когда сержант ГАИ, остановивший Елагина на въезде в Ленинград, отворил дверцу жигулёнка, на него так пахло лекарствами, которые по дороге принимал Сократ, что он, взглянув в запрокинутое белое лицо, спросил только «больного везёте?» и, не дожидаясь ответа, захлопнул дверь.

Глава 23

Через два дня после прибытия Елагина в бригаду, в артель золотопромышленников Туманова, навалилась зима. С вечера над сопками «закурился», как здесь говорили, дымок, небо быстро темнело, разом исчезли плоские, незнакомые звёзды, и с лёгким шуршанием и посвистом началась позёмка. Крупа. Ночью уже гудело по увалам, распадкам, крышам бревенчатых домов, завезённых сюда Тумановым, по слухам с материка, гремел где-то оторванный железный лист, а утром местами снега было уже едва ли не по пояс.

Бывалые мужики («А у нас небывалых нету», — это Туманов) радовались снегу, швырялись снежками и с удовольствием умывались снегом. Механик артели Василий Васильевич по бывшему лагерному прозвищу Васька Штырь лично протоптал следы к «мёртвой зоне», как он называл стойбище вышедшей из строя техники, неопределённо махнул рукой, мол, разбирайся, коль скоро ты такой спец (он сходу принялся ревновать к Елагину), дал в помощники хлипкого с виду мужичка по кличке Сека и, стараясь попадать в свои же следы, утонул в сторону «конторы», стандартного дома, в боковушке которого он и жил.

К технике, это Елагин понял сразу, здесь относились без почтения. Она, как и люди, должна была служить одной цели: выдать как можно больше «конечного продукта», золота. И работала техника, если это удавалось, круглые сутки. Мелкие поломки устранялись местными умельцами, агрегаты посерьёзней — оттаскивали в сторону. До лучших времён, когда в артель приедут специально вызванные мастера. Что бывало нечасто, Туманов посторонних в артели не любил.

Сека оказался толковым мужичком, опытным слесарем и умельцем на все руки. Разгрёб снег, запалил костёр, собрав старую ветошь, сухостой, стланик. Начали с бульдозеров, нехватка их чувствовалась в бригадах, сказал тот же Сека. Первые два оттащили на сцепке к крепкому сараю-мехмастерской, сняли, грея паяльными лампами, двигатели, дохленьким тельфером припёрли на кривой верстак, гордо именуемый стендом, и для Елагина начался трёхнедельный кошмар-аврал, какого в жизни не бывало ещё. Стандартный двенадцатичасовой рабочий день бригад слесарей превратился для Елагина в одну нескончаемую рабочую смену, прерываемую сытными горячими обедами и короткими, три-четыре часа, перерывами, когда он валился на кровать, едва успев оттереть руки от соляра, чугунной окалины, ржавчины и просто грязи. Оборотистый Сека не только мог встать к любому станку, приварить выбитый зуб гигантского ковша или отремонтировать почти в полной темноте пускач дизеля, но и твёрдой рукой управлял механиками и слесарями, пока Елагин не привык управлять сам.

Через три недели Туманов заехал во двор механической мастерской, молча обошёл замершие, полуразобранные бульдозеры, побалагурил со слесарями и пригласил Елагина к себе в гости.

На столе торчали бутылки со спиртом, дымились оленина в горшочках, сверкала морозными искрами квашеная капуста (деликатес!), икра в большой плошке стояла с края стола. Впрочем, такая или почти такая еда была в столовой для всех. «Бугор на харчи не скупой!» — высшая оценка местной кухне. И поварам, завезённым из материковых ресторанов.

— Спирт пьёшь? — поинтересовался Туманов.

— Нн-ет. Если немного, — Елагин смотрел, как Туманов налил по полстакана.

— Чифирь? — спросил Туманов.

— Нет-нет, — замотал головой Елагин.

От чифирия его мутило.

— А спирт шампанским запивать будешь?

— Нет, водой. Обычной, — Елагин держался насторожённо. Характер Туманова, как ему казалось, он за это время уловил. Честный, прямой, искренний, но хитрован. По-русски. Позже Елагин вывел формулу характера русского человека. «Если русский человек бежит к тебе навстречу, раскинув руки, никогда не знаешь, хочет он тебя обнять или ударить. Но более того, и это самое главное, он сам не знает, что он делает». Нехитрая формула почти точно описывала Туманова.

— Это правильно, от шампанского с утра башку ломит!

Они выпили, закусили капустой и придвинули горшочки с олениной.

— Я хочу, — задумчиво сказал Туманов, — чтобы люди в артели были свободными. Согласен? Только свободный человек может хорошо работать. Вот летом мы добились, чтобы ни одного часа простоя, чтобы промприборы и техника работали круглосуточно, не останавливаясь. А как? Да мы по-своему организовали работу. Допустим, на участке работают двадцать бульдозеров. Подходит время обеда — шабаш, заглушают моторы, один час все обедают. Сложи двадцать по часу, а? Выходит, один бульдозер фактически сутки простаивает. Стали подменять бульдозеристов рабочими ремонтной группы — на время обеда, других каких случаях. Бульдозеристы обедают, а техника продолжает работать. Это повышало производительность, верно? А в государстве, скажи, кто бы стал этот час искать, верно?

— Конечно! — кивнул Елагин.

— Ты со мной так просто не соглашайся, — Туманов налил ещё по полстакана.

— Мне много будет, — остановил его Елагин.

— Это хорошо, что норму знаешь, — Туманов плеснул часть спирта на пол. — Есть люди, сильно политизированные, искренне воспринимающие новую организацию труда как попытку реставрации капиталистической экономики, враждебной их мировосприятию, — он с любопытством смотрел на Елагина. — Согласен? Их учили, что главным элементом производственных отношений в любом обществе является собственность на средства производства. В чьей собственности они находятся, кому принадлежат, зависит в конечном счёте вся система отношений между людьми в процессе производства, распределения и потребления. Так ведь, студент? — незатейливая кличка Студент прилепилась к Елагину. Сейчас он слушал смешные «размышлизмы» Туманова, не зная, как к ним относиться. — А ты как свои отношения с институтом решил? Или тебя вышибли уже?

— Да никак пока.

Елагин не ожидал вопроса. Он и сам вспоминал время от времени про институт, прикидывал, как бы уладить дела, оправдать своё отсутствие.

— Давай письмецо напишем твоему начальству. Проси отпуск... как это у вас называется...

— Академический?

— Во-во, — закивал Туманов. — Пиши: по семейным обстоятельствам. Я подпишу твою маляву и характеристику на тебя нарисую. — Он достал какие-то ведомости и показал Елагину подчёркнутое красным. — Это то, что ты заработал.

В ведомости стояла невыносимая цифра. Столько в Ленинграде зарабатывали за год.

— Я столько не заработал, — растерянно сказал Елагин, ожидая подвоха.

— То, что ты десяток бульдозеров оживил, дороже стоит! — Туманов снова налил спирт. — За это время они столько золотишка помогли добыть... Я тебе такую историю расскажу. Как-то я улетал из Душанбе в Москву осенью. Стою на лётном поле перед самолётом Ил-18. Рядом люди толкаются с деревянными чемоданами-ящиками, запахи от фруктов — с ума сойдёшь! Я отошёл в сторону, пропускаю нетерпеливых. Потом шагаю на ступеньку, посадочный талон тяну, а служащая аэропорта, девица:

— Стоп! Все места заняты. Полетите завтра!

Я туда-сюда, объясняться, у меня билет!

А она:

— Гражданин, вы задерживаете рейс! Я вызову милицию!

Ну, думаю, милиции с меня хватит. Полетел в Москву на следующий день. С тех пор крепко запомнил простую вещь: не толкай никого локтями, но и не позволяй никому оставлять тебя последним. Иначе самолёты будут улетать без тебя. За твои мозги выпьем, Студент!

— Я пас, — сказал действительно поплывший Елагин. — Больше не осилю. И так развезло от тепла!

— Добро, — сказал Туманов, выпил и отложил ведомость в сторону. — То, что ты предлагаешь поменять наши движки на капитально отремонтированные, это в десять раз или даже в сто больше стоит, чем тебе выписали! Хоть, чудится мне, прокуратура нам этого не простит.

Дело в том, что в Сусумане, местной столице, лежали капитально отремонтированные дизели, предназначенные для отправки на Чукотку. Дизели застряли. Елагин, будучи в главных мастерских, прознал про это, предложил Туманову обменять артельские, снятые с бульдозеров и непригодные к восстановлению «на колене», на те, отремонтированные, так и не дошедшие до Чукотки. Так и сделали.

— Неслабо прокатали, — одобрил сделку механик Сека, как все местные, не щедрый на похвалы.

Правда, технику в артели жалеть было не принято. Выжимали из оборудования всё, что могли. Пришлось заниматься и «артельной рационализацией»: переваривать ковши, изменяя их форму по-своему, устанавливать более мощные электромоторы, ставить роторные шестерни с другим количеством зубьев, — скреперный ковш начинал буквально летать!

Елагин как-то не выдержал:

— Так мы угробим все лебёдки!

Туманов только хохотал в ответ:

— Ну чего ты орёшь?

— Они должны пять лет работать, а выйдут в металлолом через год!

— Согласен, через год они выйдут из строя. Зато они у меня вытащат грунта больше, чем другие лебёдки вытаскивают за пять лет. Понял, Студент, о чём я говорю, да? О золоте! Мы его гоним больше, чем крупные прииски!

Это был странный мир: каждое утро он рождался заново, зыбкий, колеблющийся, незнакомый — известный только по книгам, — он вдруг стал явью и жил за окном, за тяжёлой двойной дверью, открывавшейся с чавканьем. Доказывая реальность своего существования, зыбкий мир швырялся, обжигая лицо, колючим снегом и выпускал навстречу шустрого Секу с утренним докладом. Сека ухитрялся всегда появляться в этом мире раньше, чем он, Елагин. Может, мир сознательно и начинался с жилистого бойкого человечка, намекая, что пора складывать его, мир, из отдельных частей: тусклого окна, снега, крыш домиков-коттеджей, северного сумрака, посвиста позёмки, дальних голосов работяг-артельцев, спешащих всяк по своим делам. Мир, распавшийся

ночью на отдельные, не связанные между собой части, неясными обломками и обрывками являвшиеся ему во сне, постепенно (а в первые дни и недели медленно-медленно) собирался, и Елагину казалось иногда, что он не соберётся вовсе или сложится в какую-то другую, неизвестную, конструкцию вроде тех, в какие превращались изуродованные (и отремонтированные, «рационализированные») конструкции-монстры, срок жизни которым определял с жестокой расчётливостью Туманов. Отработаете, отдадите всю свою мощь — и на свалку. Бог даст, если повезёт, отправят когда-нибудь на переплавку. Может быть, и его жизнь вдруг распалась на части навсегда, — этого Елагин не знал, как не знал, сойдутся ли части её и обломки в каждый следующий день. Или разбредутся нелепо, как в ночных видениях сталкиваясь, уродуясь и рассыпаясь. Исчезая после чавканья входной двери в утреннем снежном мареве, радужно подсвеченном дальним, давно уже невиданным солнцем.

Всё это касалось прежде всего Лизы Загrevской. Он писал ей, даже посылал телеграммы, но в ответ — молчок. Поначалу письма писались чаще, если после работы удавалось вспомнить о чём-нибудь кроме сыровой и жёсткой постели, всякий вертолёт с Большой земли, с материка, хотелось встретить, бежать к нему, глядя с замиранием сердца, как в снежный вихрь, взметённый лопастями, летят мешки с почтой. Потом ожидание писем отошло куда-то в сторону, в область сновидений: иногда возникал Михаил Васильевич Загrevский, но в совершенно другом облике, похожий скорее на механика Василия Васильевича, он же Васька Штырь. Васька, как и в жизни, мог смертельно обидеться, если его называли не Штырь, а Шнырь, и даже пырнуть ножом. Однажды это ему удалось, Елагин дёрнулся во сне, стараясь уклониться от удара, и проснулся от дикой боли в ноге, — страшно свело мышцу. Двенадцатичасовые смены не проходили даром! Появлялся и физик Лазарь Семёнович Иоффе, этот был похож на себя, но говорил совершенно тумановским голосом и ту же наивную экономическую ерунду, сопровождая её отборными матюгами. Чего за реальным Тумановым не водилось. Являлась во сне даже домработница Загrevских Настя. Та только ластилась молча, что было ещё труднее переносить. Лиза же не появлялась никогда. Пришлось вгорячах послать ей телеграмму, что, мол, если она предпочитает отмалчиваться, то он предоставляет полную свободу действий. Телеграмма была, конечно, идиотской, как и все прежние и отчаянные поначалу письма Елагина до Москвы, до Лизы не дошла. Туманов, выслушав доклад-рекомендацию Марка Масарского, ведавшего в артели кадрами, счёл, что позволять переписку с любимой женщиной Елагину не надо бы. Женщины, их Туманов знал неплохо, могут сорвать толкового и так нужного артели парня с работы. Марк выслушал общие размышления Туманова о жизни, женщинах и работе и, зная тоже неплохо самого Туманова, всю переписку с материком Елагину перекрыл. Исключения составили деловые письма (с характеристикой Туманова) в институт да два коротких письма родителям. Родители в артели вообще были в большом почёте. Тем более что у местного «контингента» они чаще встречались в песнях и байках, чем наяву.

Тем временем события в Москве разворачивались с какой-то небывалой быстротой. У Лазаря Семёновича обнаружился аспирант Витя Мандель, большой, полноватый, неуклюжий добродушный человек. Увидев впервые Лизу, Мандель влюбился и с необыкновенным упорством стал ходить за нею по пятам. Всякий раз намекая на свои вспыхнувшие неожиданно, но пылающие и даже всё разгорающиеся чувства. В приливе откровения Мандель сообщил Лизе, что у него никогда не было любимой девушки и он, по предсказаниям своей бабушки, общавшейся с ребе в Большой хоральной синагоге в Спасоглинищевском переулке, должен жениться на той, которую впервые полюбит. Его не смутило даже сообщение Лизы, что она беременна. Сказал, что будет счастлив признать её ребёнком своим. Почему-то говорили о сыне.

Дальше — больше. Он стал торчать на лестнице дома на Солянке и угрожать, что кинется в пролёт в обозримо близкое время, если Лиза не станет его женой.

Присоединился и Лазарь Семёнович. «Этот адиёт вполне может и кинуться! — сказал он о своём аспиранте как-то за столом у Загrevских между двумя рюмками. — Таки я его знаю!» — сказал он, шутейно усиливая еврейский прононс. Разговор, впрочем, и так носил несколько шутливый оттенок.

Особо ко времени пришлась та кретинская телеграмма Елагина относительно предоставления Лизе «свободы действий». Позже Масарский признавался, что «как интеллигентный человек» не позволял себе читать их письма, но дурацкую телеграмму, показавшуюся ему «очень к месту», пропустил. Она была, как всё в артели, «хороша для пользы дела».

Заметим, что Лиза была удивительно равнодушна ко всему, что происходило вокруг. Великая тайна беременности, мельчайшие поначалу события внутри, в ней самой, принявшиеся нарастать лавинообразно, стали вдруг настолько важными и интересными в самых мелких мелочах, что она вышла замуж за Манделя, даже почти не заметив этого. Во что позже не совсем верила и сама.

Мандель же, после мучительных раздумий сообщив Лизе, что он девственник, долгое время вовсе не прикасался к ней с ласками.

«Вот уж что меня совершенно не интересует!» — сказала Лиза в ответ и тут же забыла об этом.

Глава 24

Елагин, гуляя, дошёл до станции и не ошибся. Из последнего вагона, с трудом таща солидный чемодан, выбрался Яков Семёнович Друскин.

— Нет-нет, ни в коем случае, — взбунтовался Друскин, едва Елагин собрался поднять чемодан. — Это я вам везу материалы к вашему роману!

— Тем более! — Елагин попытался оттереть Друскина от чемодана.

— Вы ни черта не смыслите в этой жизни! — вспыхнул Друскин. — Здесь материалы для вашего романа! И никто не должен видеть, что вы прикасаетесь к чемодану! Когда вас заметут, вы со спокойной душой будете говорить, что это чемодан не ваш! Вы понятия не имеете, что это за чемодан!

— А откуда же он взялся в моей комнате? — как мог более иронически спросил Елагин.

— А вот это уже дело органов, Константин Константиныч, — обрадовался Друскин, приняв вопрос за начало понимания. — Ответ прост как всё гениальное: не знаю! Он тут был! — Он поднял седеющие брови, как бы давая понять, насколько прост и гениален ответ. — Понятия не имею, он тут был! — И вцепился в ручку чемодана. — Идите вперёд, не оглядывайтесь и ждите меня в номере. Меня должен встретить Мануйлов. У него есть специальная колясочка для чемоданов, он на ней свою Лермонтовскую энциклопедию возит! — Друскин оглянулся. — А вот и Виктор Андроникович!

Возле платформы, тархтя по рельсам колясочкой о двух колёсиках, появился Мануйлов.

— Вот и всё, идите домой, — подтолкнул Елагина Друскин. — Нечего здесь светить!

Пришлось уйти, Елагин уже знал характер Друскина. Не переходя железнодорожных путей, он оглянулся. Двое стариков, высокий, худющий и маленький, округлый в цветастой тубетеечке, тащили коляску с тяжёлым чемоданом. Набитым материалами о жизни тирана. Дон-Кихот и Санчо. Кстати, откуда он столько их собрал?

С этого, то есть почти с этого, вопроса они и начали беседу. Сначала: куда вы всё это оттащили?

— К Гору, — небрежно сказал Друскин, попивая чай из блюдца. — Мы с ним по телефону сговорились.

— Он ведь, поди, от страха умирает, — натужно пошутил Елагин.

Гор, как было известно им обоим, каждый вечер выставлял возле постели чемоданчик с вещами на случай ареста.

— Смешного тут нету. — Друскин держал блюдце на растопыренных пальцах и сосредоточенно дул на чай. — Он так устроен. Может, будь он другой, и писать бы стал хуже!

— А откуда вы столько материалов раздобыли? Чемоданище!

— Я сам, признаться, не ожидал. Разослал своим друзьям, односидельцам, ещё кой-кому письма, — он внимательно, как это получалось только у Друскина, смотрел на Елагина. — Вы не беспокойтесь, Костя, я написал, будто бы я сам за биографию этого персонажа взялся. Про вас ни слова!

— Я и не беспокоюсь!

— Не беспокойтесь? — И снова уставился пронзительным взглядом. — А зря! Напрасно! — Он забросил ногу за ногу, каким-то удивительным образом обвинив одну другой. — Об этом мы ещё поговорим. — Он похлопал по плотному бумажному пакету из коричневой крафт-бумаги. — Это я захватил, чтобы вы прочитали. — Друскин курил как-то по-особому, оттопырив нижнюю губу, пуская дым вверх. — Я ведь в прошлый раз обещал вам рассказать об обэриутах. Это, к слову, о ваших размышлениях как мы жили и выдерживали эту жизнь. — Он откинулся в кресле, зацепив локтем блюдце на столе. Елагин едва успел блюдце подхватить.

— Вообще-то, всё начиналось с «чинарей», — он задумался, странно согнувшись и прикуривая одну папиросу от другой. — Знаете, Эйнштейн, когда его спросили, как он делает свои открытия, сказал: всегда найдётся человек, который не знает того, что знают все; он и пытается по-своему решить задачу. Я передаю не дословно, только смысл. А вообще-то всякое исследование, вообще дело, в том числе и в искусстве, надо начинать, с самого начала не полагаясь ни на какие авторитеты. — Друскин опёрся на локоть, снова едва не сбросив блюдце. — Кроме, конечно, Того, Кто сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Это я вам, извините, в назидание. — Он улыбнулся. — Что же до нас... Мы хотели быть истинно свободными. Во всяком случае, нам так казалось.

В дверь стукнули, и тут же вошёл плечом вперёд Илюша Штемлер.

— О, Яков Семёныч! — обрадовался он. — Как здорово! Пойдёмте с нами обедать. — В руках он держал тарелку, накрытую салфеткой. — Моя тёща прислала любимому зятю пирожки! Свежайшие, почти тёплые! Пойдёмте, а то Морозов уже Костю заждался!

— Морозов? — с неподдельным испугом спросил Друскин. — Нет, я ни в коем случае! Мне всегда кажется, что он меня хочет укусить!

— Или поцеловать! — со смехом вставил Елагин.

— Идите с Богом, я подожду здесь! — отмахнулся Друскин.

— Нет-нет, Яков Семёныч, я вас за свой стол усажу, не беспокойтесь! Это только мазохист Елагин может соседство Морозова выдерживать!

— Это к вам Друскин или к Штемлеру? — недоброжелательно прищурился Морозов, издали покивав головой Друскину.

— Ко мне.

— Тогда, Константин Константинович, примите мои искренние соболезнования. Будет полоскать вам мозги своими обэриутами, покуда не сбежите. Не знаю уж, какой он музыкант, какой философ, ни черта в этой абракадабре не смыслю,

но уж литературовед, простите, аховый! Да, перевод Швейцера... Вы читали его Альберта Швейцера? Нет? Зря, напрасно. Перевод удачный, удачный, можете ему передать. А вот насчёт комментария, простите меня, есть некоторые соображения! По-моему, вкусовщиной пахивают комментарии, несёт лево-западным духом! Либеральщиной!

Из крафт-пакета:

К тому, что тебя бьют железной табуреткой по голове, в конце концов можно привыкнуть. Так же, как к многочасовой «стойке». Женщинам хуже, у них почему-то от многочасового стояния чаще, чем у мужчин, вены на ногах не выдерживали, лопались. Кровотечение не спасало. А вот когда ставили на конвейер, это когда от одного следователя к другому передавали без передышки, дело было плохо. Кто как, по-разному, от двух-трёх суток на конвейере без сна и еды горячей никто не выстаивал. Мозг, хоть и подпитывался ненавистью, это главная энергия, чтобы не сдаться, не выдерживал. Сдавался, ломая волю. Готов был подписать любую чушь, идиотизм.

Листок кончался, и на следующем рукою Друскина было написано:

Карут Евгений Адольфович. Из украинских немцев. Сын сахарозаводчика. Воевал в 14-м году, был в плену с Тухачевским и де Голлем. Возглавлял комиссию по расследованию взрывов (аварий) на предприятиях Украины. Отсидел, кажется, лет 15 и сколько-то ссылки. Сидел и был в ссылке с переводчиком Александром Александровичем Энгельке. Тот переводил с франц., нем., англ., испанск. и др. языков.

И снова машинка.

Много было забавного. Я почти девять месяцев отсидел в одиночке. Чтобы не свихнуться, вспоминал высшую математику, слюнил и мелил по стене палец и на чёрной двери писал формулы. Получил ШИЗО за порчу госимущества (стены и двери). К концу одиночки прислали мне в напарники члена Польского сейма, запомнил его фамилию. Он спросил: «Пане Карут, не будете ли вы против, если я буду молиться?» Я был бы счастлив, даже если бы он пел и танцевал. У меня в бане, нас водили раз в неделю, был тайник — щель между досками. Когда поляка уводили на суд, я ему дал оторванную от рубахи полоску. Сколько дадут? Завяжите столько больших узелков, сколько подвесьте лет, и маленьких — поражение в правах. А перед этапом, обязательно по тем временам, — баня. Через неделю меня в баню привели, я сразу к тайнику, вытаскиваю полоску, а она вся в узелках. Я больших десяток насчитал, а дальше и не стал. Старику-то уже за восемьдесят было!

Потом шли несколько зачёркнутых строк. Елагин зачем-то стал разбирать небрежно замаранный текст. Прочитал:

В плену мы с англичанами ходили бить французов... Фамилия его была Корк. Говорили, что у него в охране было 400 китайцев... Алекс. Алекс. Энгельке в нашем зековском театре всегда играл немцев. Особенно ему удавались фашистские генералы. Ему даже фуражку откуда-то с фронта привезли, по слухам (параша) генеральскую.

И другая пишущая машинка.

...Потом я услышал, что в соседнюю камеру кого-то привели. Я на всякий случай простучал тюремной азбукой. И вдруг — о, счастье! — мне отвечают азбукой. Туда привели жену и дочку (потом дочку отселили, мать рыдала) известного военачальника. Жена из богатых еврейских революционерок, арестовывалась ещё до революции.

Они мне ответили: «У нас есть табак, вы курите?» А я в отхожем месте за батареей в штукатурке выцарапал тайничок. На оправку три минуты, я дела сделаю быстро и минута-полторы в запасе, для работы. Я им простучал. Через неделю — надо было дожидаться, чтобы на оправку идти сразу после них, а водили то с одной стороны коридора, то с другой, — ведут меня, я сразу к тайничку. А там, Боже! Кисет в виде клоуна, половина красная, другая синяя, а внутри бумажка нарезанная и — не верю глазам своим, чиркалка и спички, поделённые пополам! Я и про оправку забыл! Привели в камеру, я уселся, клоуна на столик выставил, свернул толстенную самокрутку и дымлю! Коридорный врывается, откуда табак! А я ему: «У меня было!» Тогда ещё законы кой-какие, никому, кроме матёрых зеков да охраны, не известные, как ни странно, соблюдали. БЫЛО! А по закону табак, если он БЫЛ у зека, разрешался.

Елагин почти до утра читал бумаги из крафт-пакета. По коридору уже стали шаркать писатели, поспешавшие в сортир, потом застучала за стеной машинка Илюши Штемлера. Только тогда (ах, эта отрезвляющая машинка!) Елагин и спохватился. Но заснуть не удалось. Прокручивалось в голове всё прочитанное. «Не, так невозможно! Спать!» — скомандовал себе Елагин и действительно задремал.

Но тут же — уже непонятно во сне ли, в полубреду — возник Друскин с сегодняшними рассказами о Введенском, Хармсе. Впрочем, почему непонятно? Он вошёл, держа в руке старую шляпу с обвисшими полями, пробормотал что-то вроде: «Я вам обещал рассказать об обэриутах», — бросил плащ на диван и, устроившись в кресле, по обыкновению, обвил одну ногу другой. Приняв решение, он всегда действовал безотлагательно.

— В то время мы жили на Петроградской стороне: Александр Введенский — на Съезжинской, Леонид Липавский — на Гатчинской, а я — между ними, на Большом проспекте, недалеко от Гребецкой, это сейчас — Пионерская. Введенский почти каждый день приходил ко мне — и мы вместе шли к Липавскому, или они оба приходили ко мне. Введенский однажды сказал: «Молодые поэты приглашают меня прослушать их. Пойдём вместе». Читали стихи где-то на Васильевском острове, кажется, на квартире поэта Евгения Вигилианского. Из всех поэтов Введенский выделил только Хармса. Домой возвращались уже втроём, с Хармсом. Неожиданно он оказался настолько близким нам, что ему не надо было перестраиваться — как будто он уже давно был с нами. В начале нашего знакомства Хармс был более близок с Введенским. Тот про Хармса говорил, что он не создаёт искусство, а сам и есть искусство. А примерно с августа тридцать шестого года вплоть до своего вынужденного исчезновения в августе сорок первого — со мной. — Он вдруг встал, внимательно посмотрел пронзительными глазами и сказал: — Плохо выглядите, Костя. Надо подышать воздухом, пойдёмте пошляемся!

Друскин шёл с трудом, задышался, усмехаясь, жаловался на одышку, непрерывно курил и время от времени останавливался передохнуть.

— Хармс всё мечтал о своём журнале. Хотел собрать там единомышленников. Это современное слово такое, единомышленники, тогда его не было. Поэтов собрать, художников. Он тогда дружил, насколько он мог вообще дружить, знаете, он считал, что жизнь, сегодняшняя, настоящая, это и есть искусство. Они с Введенским были антиподы. Тот считал, что искусство и жизнь — это параллельные линии, а они, как известно, пересекаются только в бесконечности. Он считал, что сам достиг этой точки в «Элегии». Не читали? Надо вам привезти. А себя чувствовал «странником в долине плача», как в одном из псалмов сказано. Такие вот расхождения. А ещё он дружил с Татьяной Николавной Глебовой и с её мужем Владимиром Васильевичем Стерлиговым, хотел их в журнал привести. Она тогда уже от Филонова отдалилась, а он, ученик Малевича, по-прежнему учителя своего обожал. Видите, какое давнее у нас знакомство, хотя мы сблизились позднее, уже в пятидесятые годы.

Стало быстро темнеть, где-то далеко прогремело, словно мальчишка-хулиган пробежал по железной крыше, и в чёрной полосе, перечеркнувшей небо над заливом, замелькали проблески дальних молний. И повисла мгновенная душная тишина.

— Пожалуй, гроза надвигается! — Друскин испуганно оглянулся. — Я, знаете ли, грозу с детства не люблю, побаиваюсь.

Ветер, смахнув тишину и сразу став ледяным, пронёсся по пустой улице. Гроза уже не надвигалась, а мчалась, катилась, молнии, пока беззвучно, принялись перескакивать с одного чёрно-лилового облака на другое, ещё чернее. Гром, словно собираясь с силами, дважды пророкотал за лесом, приближаясь, и неожиданно ударил прямо над ними, вырвав из мгновенной слепой темноты забор, проломанные ворота дачи Берга, дорогу, ели, сразу ставшие похожими на декорацию; молния сверкала ослепительно раз за разом и удары накатывали друг на друга.

— Может, мы вот так, прямо, пройдем к станции? — Друскин схватил, уцепился за рукав Елагина. — Здесь когда-то был проход!

— Кажется, да. — Дождь, разряжая электричество, повисшее в воздухе, ударил сильными струями, зашумел, вздрагивая от ударов молнии. — Я там давно не ходил! — Плохо видимая дорога исчезла, свернув незаметно за канавкой, в густом ельнике едва различима была и тропинка.

Так они и шли: впереди Елагин, раздвигая мокрые, холодные еловые лапы, за ним, держа его за руку, Друскин. Тропка размокла, стала скользкой, скакала через какие-то канавы, в одном месте пришлось пройти по двум скользким доскам, переброшенным через засохший ручей, в котором стала уже собираться вода.

— Мне не пройти! — Друскин едва поспевал за Елагиным. — Я обязательно грохнусь!

— Держитесь крепче, ещё! — Елагин с какой-то острой жалостью заметил, как задрожали, странно запрыгали колени старика, крепче ухватил его за руку и потянул к себе. — Не бойтесь, я держу вас, ну, смелее, шагайте же! — Дождь уже заливал лицо, даже кричать было трудно. — Смелее!

Тропинка, перебравшись ещё через две-три канавки, превратившись в ручейки, выбралась на асфальт. Невдалеке мотался мутный фонарь на станции. Они остановились под громадной старой елью. Друскин задышался и кашлял, опершись рукой на шершавый ствол.

— Неплохое приключение. — Он прокашлялся и теперь старался улыбнуться, виновато глядя на Елагина. — Боюсь грозы, что поделаешь! — С его шляпы с обвисшими от дождя полями стекали капли. С носа и подбородка он смахивал их ладонью.

Под елью было почти сухо, хотя дождь звучно хлестал по асфальту и вышний громовержец, словно потеряв управление вороной запряжкой, катился сверху вниз, с облака на облако, несясь в колеснице с единственным огненным колесом в сторону посёлка с Домом творчества работников искусств и дальше, дальше, гремя и грома всё, что попадалось на пути.

Друскин вытащил из кармана старенького плаща промокшую пачку дешёвых сигарет, попытался найти сухую и разочарованно сунул пачку обратно.

— Яков Семёныч, доберёмся до станции, там перекурим. — Елагин пытался определить, не стал ли дождь потише. Нет, не стал. — Ну что, — гром всё ещё не хотел убежать вслед за колесницей, катался где-то за их спиной, — рванули?

— Рванули, — вяло улыбнулся Друскин и снова уцепился за рукав Елагина. — Рванули так рванули.

Потом он ещё долго отсиживался на скамейке под навесом станции, задыхаясь и не глядя на Елагина.

— Странно, — сказал Друскин, — гроза образовалась буквально из ничего. — Он внимательно изучал измокшую и мятую пачку сигарет.

— Илья Пророк сбился с пути, перепутал дорожки, — засмеялся Елагин, вытащил из кармана пачку «Стюардессы» и протянул Друскину.

— Нет-нет, — будто испугался тот, — я только одну сигареточку, у меня дома полно... — И закурил с удовольствием. — Я не успел рассказать о единственном вечере обэриутов в Доме печати, «Три левых часа», это очень интересно. Директор, чудный человек, Баскаков Николай Павлович. Из стариков-коммунистов. Он был лет на шесть-восемь постарше нас, но, как положено, казался глубоким стариком. Его во времена оппозиции сняли, а позже, я слышал, и расстреляли году в тридцать седьмом.

Открылась касса, Елагин сбегал за билетом для Друскина. Тот сидел, закутавшись в мокрый плащ, дымил и смотрел куда-то мимо Елагина.

— Жаль, гроза нам помешала, — Друскин с интересом, словно впервые увидел, посмотрел на Елагина. — Вы тоже здорово промокли. А вечер в Доме печати был изумительный. — Вдали послышался перестук поезда. — Сам Малевич помогал Стерлигову и Глебовой оформлять зал, настоящие афиши были, даже пригласительные билеты Татьяна Николаевна нарисовала.

Подошёл поезд, Друскин тяжело шагнул на ступеньку вагона, обернулся.

— Вы знаете, читали всё! И Хармс, он пьесу написал «Елизавета Бам», и Вагинов, и Введенский, Заболоцкий пришёл, — он засмеялся, придерживая закрывающуюся дверь, — и даже я вылез! Да, и Бахтерев ещё был! — Это последнее, что услышал Елагин.

Двери захлопнулись, Друскин исчез за мутным, не промытым дождём стеклом, осталась только худая рука, машущая из темноты тамбура.

Елагин глазами проводил ушедший поезд, поднял сырой воротник пальто и шагнул с платформы. Дождь как-то разом кончился, хотя где-то вдали ещё погромыхивало. Елагин передёрнул плечами. Стало холодно. Оглянувшись в сторону переезда и вспомнил утреннюю парочку: длинного тощего Друскина и круглого Мануйлова. Смешная пара стариков, Дон-Кихот и Санчо. С целым чемоданом материалов к биографии тирана. Про которого каждый из них мог бы написать свой роман. Мануйлов заглядывал снизу в лицо Дон-Кихоту и весело смеялся.

Обэриуты исчезли. В декабре 31-го впервые арестовали Хармса и Введенского. В июле 37-го по обвинению в шпионаже арестовали Николая Олейникова. Пытали. Он во всём сознался. Интересно, в чём «во всём»? Тогда же и расстреляли. 27 сентября 41-го (блокада началась 8 сентября) арестовали Александра Введенского. Умер в тюремном вагоне на этапе в Казань. 23 августа 1941 года повторно арестовали Данила Хармса. Обвинение: «Контрреволюционно настроен, распространяет в своём окружении контрреволюционные клеветнические и пораженческие настроения». На допросах Хармс (по догадкам) имитировал душевнобольного. Доказательства — выписка из акта медицинского освидетельствования: «Высказывает обширные бредовые идеи изобретательства». Тюремная психушка не спасла. Обвинение: «...За контрреволюционную пораженческую агитацию, направленную к подрыву военной мощи Советского Союза, к разложению и деморализации Красной армии». 2 февраля 1942 года в той психушке Хармс и умер.

Уже на подходе к Дому творчества Елагину вдруг смертельно захотелось увидеть Лизу. Чтобы она примчалась так же неожиданно, как в прошлый раз.

— К вам жена с сынишкой, — сказала тогда дежурная.

Елагин бегом поднялся на второй этаж. На его кровати спала Лиза с маленьким мальчиком.

— Мы удрали от Манделя. — Они вдвоём переложили мальчика на диван. — Он опять обещал броситься в пролёт.

Сидели полночи, пили противное кислое болгарское вино и говорили, как будто расстались вчера. Или неделю назад.

— Я так перед тобой виновата...

— Это я виноват... Почему ты не отвечала на письма?

— Я их не получала! А ты даже не приехал на похороны папы... Я посылала телеграмму...

— Я тоже ничего не получал... Там было плохо с почтой...

Они сидели, обнявшись, Елагин чувствовал забытый тёплый запах её волос и кожи, целовал ей руки и, кажется, плакал. Или она плакала?

— Ловко ты скрывал своего сына! — сказал за завтраком Илюша Штемлер.

— Это не мой сын!

— Ладно-ладно, — Илюша весело улыбался, радуясь своему открытию. — Посмотри на него, твоя копия!

И Елагин как бы впервые взглянул на мальчика. Тот был разительно похож на одну из его детских фотографий. В глазах Елагина неожиданно полыхнуло, как во время вчерашней грозы.

— Что с тобой? — Лиза подошла к столику, неся на подносе стаканы с чаем и какао для мальчика.

Ослепительным утром в Дом творчества приехал Мандель. Как ни странно, приехал вдвоём со своей мамой.

— Бабушка, — кинулся к ней мальчишка, — мы вчера катались на лодке! С мотором! Хочешь, мы тебя сегодня тоже покатаем? Мама сначала тоже боялась, а потом ей так понравилось! Дядя Костя дал мне подержать штурвал, я рулил!

Они уехали в тот же день, только пообедав в столовой Дома творчества. Пришлось изображать тёплые дружеские отношения. Мандель не отходил от Лизы и всё время держал её за руку. Или держался? Старался прикоснуться к ней.

Глава 25

— Что я говорил? — Морозов, как всегда, был в восторге от себя. — Вчера вечером, когда вы ушлиндрали с Друскиным, он подходил ко мне и расспрашивал о вас!

— Кто? — спросил Елагин, хотя сразу понял, о ком говорил Морозов: «Тот в углу, что завтракал с директором дома, он “оттуда”», — и взгляд наверх.

— Надеюсь, вы меня представили в лучшем виде?

— Не сомневайтесь. — Творог застрял в трёхдневной щетине Морозова.

Елагин жестом показал — смахните.

— Не сомневайтесь! — он смахнул крошки. — Я вас представил как достойнейшего лауреата премии комсомола. Кстати, они хоть прилично платят за свою премию? Вы — новая писательская поросль, идущая на смену нам, выжившим и выживающим из ума старикам. Вы обладаете талантом прозаика, чувством слова и умением построить сюжет. Особенно хорошо вам удаются производственные конфликты и характеры простых рабочих. Вы поднимаете важнейшие проблемы, затрагиваете темы и ярко отражаете всё, что следует отразить. Вот так примерно. Полагаете, что-то недоотразил?

Человек «оттуда» действительно поджидал Елагина возле столовского крылечка.

— Вы не против, если я вам составлю компанию?

Он был небольшого росточка, весь какой-то средний, никакой. Не высок, не низок, не толст, не худ, не стар, но уже в возрасте.

— Я впервые в Доме творчества, когда-то мы с директором вашим вместе работали... Да и с Ильёй Петровичем мы знакомы...

Елагин недоумённо поднял брови.

— Со Штемлером. — И тут же пояснил: — Моя внучка с его дочерью в одном детском садике. Мы там и пересекались. А недавно я вот на пенсию собрался. Я работал прокурором Приморского района, — он закурил, пряча огонёк спички по-солдатски, в горсточке. — Решил, — он впервые усмехнулся, и Елагин отметил довольно симпатичное лицо, — что-то вроде детектива написать. Материалов, сами понимаете, уйма. Что ни день, два-три сюжета. И все неразгаданные, неразрешимые.

— Да, детектив — это всегда интересно, — вяло отозвался Елагин.

— Я, честно говоря, — тихонько засмеялся прокурор, — детективы не очень люблю. Самое интересное в них, как я думаю, это даже не сюжет. А личность детектива, расследователя.

— Может быть, — Елагин посмотрел на него с любопытством.

— А для меня выдумать комиссара Мегрэ в сто раз труднее, чем составить сюжет!

— Это нормально, Сименону было проще, взял детективчик Гастона Леру с его Рутабилем, нарядил Мегрэ в плащик Рутабия, дал ему трубку знаменитого уже сыщика — и вперёд!

— Простите, у Гастона Леру сыщика-любителя звали Рультабилем!

— О, вы читали его? — удивился Елагин. — Сейчас его редко кто знает, комиссар Мегрэ всех победил.

Прокурор Юрий Евгеньевич оказался толковым и обаятельным человеком. Незаметно — утренний моцион — они дошли почти до Репина, свернули вниз к заливу. Промытая вчерашней грозой полусфера неба была по-осеннему глубокой, солнце, едва прикрытое дымкой, подсвечивало купол Кронштадтского собора. Юрий Евгеньевич подобрал плоский камешек и пустил его «блинами» по спокойному, притихшему заливу.

— Можно консультацию? — Что-то вызывало доверие к этому человеку.

Прокурор кивнул:

— Конечно!

— Вам, наверное, — усмехнулся Елагин, — как врачам, нельзя упоминать свою профессию. Немедленно потребуете консультацию!

— Знаете, если честно, мы ведь суетимся всегда почти в одном и том же круге, среди своих. Внешние контакты, вот вроде моей поездки сюда, в Дом творчества, — редкость. Если бы не встретил старого сослуживца вашего директора и Штемлера, наверняка бы и не приехал. Отдыхаем ведь тоже в своих санаториях. А там особо не любят о делах распространяться. Не принято. Да и опасно, по правде говоря. Народ специфический. Как Райкин говаривал. Слушаю вас.

— Мой приятель, директор не очень крупного завода, не поладил с местным народным контролем.

— Из-за чего?

— Начальница народного контроля попросила взять на работу в отдел снабжения своего мужа. Бездельника, пьяницу и вора.

— Что за уровень народного контроля?

— Районный!

— А откуда известно, что тот пьяница и вор?

— Приятель позвонил на его старое место работы. Сказали: берёт не по рангу.

— Точная характеристика. — Юрий Евгеньевич старательно разыскивал плоские камешки и пускал «блинчики» по золотистой воде залива.

— Возмущённая жена прислала комиссию, выявили недостатки, дело передали в прокуратуру.

— Какого района? — он прищурился, словно целясь камешком куда-то.

— Не знаю точно, — смутился Елагин, — он мне, мой приятель то есть, только сказал, что в обвинительном акте двадцать восемь пунктов.

— Для небольшого завода вполне достаточно, чтобы директора снять. А то и посадить на годик-другой. В лучшем случае наложат штраф. Обычно немаленький. На практике предпочитают штрафы получать в свой карман в виде взяток. Народный контроль — это на редкость пакостная организация. Полномочия самые широкие, их указания, даже самые нелепые, имеют юридическую силу. И народец там собирается соответственный. Как мне представляется, во главе любого комитета, неважно какого, от всесоюзного до районного, всегда списанные с партийных постов человеки. Кого за глупость спишут. Кого за пьянку, за воровство.

— Козла в огород?

— Ну как не порадовать родному человечку! Мы кадрами не имеем права разбрасываться! — Юрий Евгеньевич достал платок, вытер руки и встряхнул платок, смахивая песок.

— Я ему вчера звонил. Говорю, Ильдар Мамедович, не встречай в скандал. Возьми на работу этого идиота и вора, её мужа...

— Мне кажется, уже поздно, — прокурор задумался. — Он, как я понял, азербайджанец, этот ваш приятель?

— Да, молодой перспективный директор, кандидат технических наук...

— Это хорошо, — он закурил, прикрываясь от ветра, — для народного контроля по наценку вмазать — особое удовольствие. Самый правильный ход в этом случае, — и впервые открыто взглянул на Елагина, — это как можно скорее уехать в родной Азербайджан. Если обвинение получено от прокуратуры, составить ответ с грамотным юристом и немедленно уезжать. Улетать. Уматывать!

— Он всего год-полтора на заводе, поднял его, завод на хорошем счету... Премия от министерства, грамоты...

— Константин Константиныч, вы спросили совета, я дал его, основываясь на своём опыте. Остальное зависит от вас и вашего азербайджанского друга. Когда, — он невесело улыбнулся, — ему потребуется помощь в следственном комитете, в суде, в тюрьме, в колонии, — обращайтесь. Уже не за советом, а по конкретному поводу!

Дня через два, гуляя, Елагин неожиданно рассказал о своей истории с золотодобывающей артелью, Тумановым, Лизой, Масарским, — какая-то была в Юрии Евгеньевиче основательность и подкупающее разумное спокойствие.

— То, что у нас принято называть «звериный оскал капитализма». — Они шли по берегу залива. — Вы были нужны артели, они вас использовали по полной программе...

— Не бесплатно, заметим, и с моего ведома...

— Не совсем с вашего! — перебил Юрий Евгеньевич. — Вы ведь не знали, что они обрубили вашу почту? А это, кстати, нарушение нашей дорогой Конституции! И сурово карается законом! — Он засмеялся, с прищуром разглядывая серенькую даль залива. — Любопытно, чистый горизонт, почти нет облаков, а купол Кронштадтского собора исчез. — И повернулся резко к Елагину: — Как я понял, ради своей выгоды, это я по-прокурорски, они изменили всю вашу жизнь, вашу судьбу и судьбу вашей любимой женщины. Вот так оборачиваются малые, на первый взгляд, нарушения основного закона! На которые у нас как-то не принято обращать внимания. — Юрий Евгеньевич зашагал, оставляя чёткие следы на утреннем сыром песке. И проговорил уже не прокурорским голосом: — И поверьте, когда будете оформлять документы, чтобы признать своим вашего сына, столкнётесь с немалыми трудностями.

— Я уже пробовал объясниться, — в спину прокурору сказал Елагин. — Его отец... ну, сегодняшней... сказал, что покончит с собой, если только...

— Это не самое страшное, — всё ещё не поворачиваясь, сказал Юрий Евгеньевич. — Раз говорит, пугает, значит, не покончит! Значит, жизнь ему дорога! Это из моей практики!

Глава 26

Окно в «Звезде» горело. «Не иначе как Михал Ефимыч», — Елагин бегом поднялся по роскошной когда-то лестнице и позвонил. За дверью кто-то долго шебуршился, не зная, как открыть замок. Наконец, дверь отворилась. На пороге стоял главный редактор журнала Холопов.

— Какими судьбами в неурочный час занесло? — любезно спросил Холопов, отступая в темноту.

Свет едва пробивался сбоку, из кабинета главного.

— Я думал, Михал Ефимыч в журнале...

— Заходите, — Холопов широким жестом пригласил Елагина. — Никого уже нет давно.

— Я, Георгий Константинович, Левину давал свой роман почитать, думал...

— Он прочитал, — Холопов важно уселся за стол.

Только сейчас Елагин заметил, что главный слегка навеселе. На столе стояла початая бутылка коньяка.

— Выпьете? — не дожидаясь ответа, Холопов налил вторую стопку, которая стояла перед ним пустая. — Сегодня мой день рождения. Девятое ноября.

Он, не чокаясь, поднял стопку, издали кивнул Елагину и выпил.

— Очень хороший коньяк, — как бы пояснил он отсутствие закуски. — Прислали из Армении, — и замолчал. — Я всегда в день рождения должен посидеть один, — сказал он после паузы. — Я, — он нажал на это «я», — могу встретить день рождения. А сколько моих друзей — нет? Я всегда поминаю их, — он налил ещё по рюмке. — Кто войну прошёл, не забудет! И рассказать толком не сможет тоже. — Холопов привстал, потянулся к папкам, лежавшим на краю стола, и вытащил одну, синюю, хорошо знакомую Елагину. — Левин прочитал ваш роман, очень хвалил, — Холопов ласково поглаживал папку. — Михаил Ефимович, как и Жур Пётр Владимирович, кстати, и финскую прошёл, и Отечественную. А роман хвалил, сказал, что весьма современный роман, производственный, очень острый. Социально острый. В чём суть?

— Это почти подлинная история. На Механическом заводе создали турбину для перекачки газа по трубопроводам из Сибири.

Холопов удовлетворённо кивнул.

— Но всё дело в том, что усилия завода — и конструкторского бюро, и технологов, там очень сложные технологии, для турбинных лопаток требуется специальная сталь, которую у нас почти нигде не варят. И сложнейшие станки с программным обеспечением. Их выпускают тоже только немцы, причём ФРГ, — всё это оказалось никому не нужным!

— Как не нужным? — вскинулся Холопов. — Из каждого утюга слышим, без отечественных турбин нам зарез, а вы говорите — не нужны!

— Вот примерно об этом роман.

— О-объясните, что-то я не понял!

— Если коротко, в самом общем виде... Над заводом есть министерство, у него свои планы. Свои соображения. У газовщиков — своё министерство, свой представитель в Совмине, свои лоббисты в ЦК.

— Хотите сказать, ЦК не заинтересован в советских турбинах?

— У всех свой интерес, Георгий Константинович!

— Поясните! — уже грозно сказал Холопов.

— Завод заинтересован в выпуске турбины. Вообще турбин. Проектирование, изготовление, испытания, испытания «по месту» занимают минимум пять лет. Газовикам турбины нужны были ещё десять лет назад. Проще, чем возиться с нашей турбиной,

заказать в ФРГ. Проверенные, обкатанные, опробированные, с гарантией. Что они делают? Через своих лоббистов в министерстве, Госплане, Совмине — и далее везде — продавливают решение: закупать у немцев! А всю деятельность по разработке своих турбин — свернуть. Или притормозить под любым предлогом. Можно пригласить специальных экспертов, они столько накидают замечаний, что на десять лет вперёд работы только по исправлениям! Вот так. В самом общем виде!

— Там что, в министерстве, в Госплане идиоты сидят? — возмутился Холопов. — Простых вещей не понимают?

— Может, и не понимают, но у них всех есть целое стадо, а лучше — целая стая советников. У всех свои интересы! Объяснение довольно простое, но привлекательное: СССР вступает в мировую, глобальную экономику. Министры ездят в Европу, заседают на конференциях, их хвалят на все лады! За доклады — гонорары. Часто наличными, в карман.

— И ради этого они готовы продать собственную промышленность? Не поверю никогда! Я со сколькими министрами в санаториях бывал, только и разговоров — отстаём, катастрофически отстаём, надо все усилия сосредоточить, а тут — готовая турбина и не берут? Почему?

— Потому что, — решился, наконец, Елагин, — все или почти все «на прикорме». Западные компании прикармливают всех.

— Их-то интерес? — Холопов спохватился. — Их интерес понятен, побольше продать!

— И не только продать, но весь шеф-монтаж и дальнейшее обслуживание всех механизмов, включая запчасти, — за ними. Это значит, какую сумму назовём, ту и будете платить!

— Я не верю, не верю! — Он вышел из-за стола и принялся ходить, задевая то спиной, то боком камин. — И западники много платят?

— Я точно не знаю, но платят всем.

— Что, и министрам?

Елагин пожал плечами.

— Мы за это не воевали! Представить, что наши министры будут продаваться немцам! Мне стыдно перед моими погибшими друзьями! — Он налил коньяк, кивнул Елагину и выпил. — И в романе всё это прописано?

Елагин тоже кивнул.

— А откуда вы, ты всё это знаешь? Откуда информация?

— У меня хорошие контакты на заводе, в Госплане, с газовиками. Мой ближайший товарищ непосредственно на газопроводе работает. Считает, наша турбина немецкой не уступает.

— Если всё так, как ты говоришь, если берут взятки от западных немцев, то я не за советскую власть! Между прочим, я старый коммунист! И всю свою жизнь... Ты пойми, кто я был бы без советской власти? Представляешь, что за жизнь в бедной армянской семье, да ещё в Шемахы, в Азербайджане! Не зря их до революции кавказскими татарами называли. Азербайджанцы — это самоназвание ихнее! А Жур, заместитель мой? Он откуда-то из Черкасской волости! Сидел бы, коровам хвосты крутил! Миша Левин — из белорусского местечка. В Питере мог бы только горшки паять-починять! И роман твой не острый, как Миша Левин сказал, а антисоветский! — Он схватился за трезвонивший телефон. — Да! Детка, я ещё в редакции! Все собрались? Еду, выезжаю! — И бросил трубку. — Роман антисоветский, но печатать будем! А ты думал, наверное, Холопов коммуналка замшелый, как вы теперь говорите, — консерватор? Роман не возьмёт, а ты будешь всем рассказывать, какой я отсталый тип? Да, я консерватор, да, я за советскую власть, но роман возьмём! Всё проверим, уточним, выясним и грохнем! Это взрыв будет!

На следующее утро позвонил Михаил Ефимович Левин и сообщил, роман передали Журю, заместителю Холопова.

— Можете не беспокоиться, Костя, — как всегда с улыбочкой проговорил Левин, — первое, что сделает Жур, а может, и уже сделал, это отнесёт вашу рукопись куда следует. Что вы говорите, а? Почему? Да потому что у него работа такая, он в журнал оттуда и для того посажен! — Елагину показалось, что это он говорит «со значением», предупреждая. — Почему я так смело? Ха-ха, Костя, я же человек опытный, говорю с телефона-автомата!

Роман, действительно, не был напечатан. «Очень много отрицательных отзывов, рецензий, — вяло сказал ему Холопов по телефону. — А рукопись пусть пока полежит у нас!»

Роман напечатан не был, но «события», на которые намекал Михаил Ефимович Левин в разговоре, долго себя ждать не заставили.

Глава 27

В тот день позвонили из «Авроры». «Странно, — подумал Елагин, — Матвейч (Шарымов) в командировке, кто бы это звонил?» Ева Марковна, соседка, время от времени перепечатававшая его рукописи, сообщила: «Приятный мужской голос».

Марго, секретарь редакции, пробегая мимо Елагина с цветочным горшком в руках, бросила: «К Островскому зайдите, Костя!»

В кабинете Островского, заместителя главного редактора, сидел, читая книжку, незнакомец. Он поднял голову на стук в дверь и любезно улыбнулся: «Заходите, заходите, Константин Константиныч, я вас жду!»

Незнакомец поднялся из-за стола, отложив книгу.

«Апдайк», — отметил Елагин.

— Проходите! — И протянул руку. — Познакомимся! Перов Игорь Леонидович! — Рукопожатие было крепким. — Куратор журнала «Аврора». — И, увидев в недоумении поднятые брови, добавил, улыбувшись: — Да, из КГБ. Вас это смущает?

— Нет, — пожал плечами Елагин. — Не знал, что у журнала есть свой куратор.

— Я вообще-то куратор Ленинградского отделения Союза писателей, — он улыбался так, словно сообщал интересную и весёлую новость. — Присаживайтесь! — И подождал, пока Елагин сядет в кресло напротив стола. — Удивлены, что я вас пригласил?

Елагин снова пожал плечами.

— Просто хочу с вами познакомиться. Читаю ваши повести, посвящённые рабочему классу. С удовольствием.

Елагин вспомнил отложенного вниз обложкой Апдайка и улыбнулся.

— Знаете, это прекрасный противовес деревенским повестям. — Перов закурил, пересел в кресло поближе к Елагину. — Как вы к ним относитесь?

— К кому? — не понял Елагин.

— К повестям деревенщиков?

— Хорошо отношусь, неплохо. — Елагин не мог понять, к чему клонит куратор. Не о литературе же поговорить он вызвал. — «Плотницкие рассказы» Белова — очень хорошая вещь. Крепко написанная.

— Да, крепко, крепко, — покивал Перов. — Но, говорят, вся эта деревенщина, деревенская проза, — как бы поправился Перов, — пошла из солженицынского «Матрёнина двора»? Эти вот старухи-праведницы, старики-умельцы и умники...

— Не знаю, не задумывался как-то, — Елагин обернулся на дверь. В неё заглядывала Маргоша.

— Может быть, чайку? — любезно спросила она.

И вошла, держа в руках чашки и заварной чайник. Её появление показывало, что гостя, а заодно и Елагина, принимают по первому разряду. Надо сказать, в рангах гостей Марго ошиблась только один раз, не пустив в редакцию Колю Рубцова, явившегося в ватнике и «поршнях» — обрезанных валенках.

— А вот многие считают, что это именно так, — со значением сказал Перов, позволяя Маргоше поставить на столик вазочку с печеньем и конфетами. — Оттуда пошли праведные старушки. Да ещё и с иконками в красном углу и прочей церковной премудростью.

— Может быть, — Елагин пригубил чай. — А что, это плохо?

— Что же тут хорошего? — деланно удивился Перов. — Солженицын уже показал своё лицо, и подражать ему довольно... странно, согласитесь. Пусть Запад ему аплодирует!

Перов был почти ровесник Елагина, так ему показалось, может, чуть старше, но держался довольно покровительственно, как мог бы держаться обладатель какой-то тайны.

— Если вы читали статью Леонида Жуховицкого «Ищу соавтора», где он не соглашается с основными выводами Солженицына...

— Простите...

— Игорь Леонидович, — подсказал Перов.

— Да, простите, я статью Жуховицкого не читал. Шум вокруг неё слышал, но это, скорее, свойство Жуховицкого — поднимать шум вокруг себя.

— Вы знакомы с Леонид Ароничем?

— Да, знаком.

Елагин встречался с Жуховицким в редакции «Невы», у Саши Лурье.

— Вы считаете, он любитель попусту поднять шум вокруг себя?

— Мне бы не хотелось обсуждать Жуховицкого или ещё кого-нибудь. Каждый пишет и живёт, как может. Как умеет.

— Вот тут я с вами не соглашусь, — оживился Перов. — Союз писателей для того и создан, существует, чтобы писатели могли свободно обмениваться мыслями, соображениями о своём писательском деле, если так можно сказать. Вот Жуховицкий совершенно справедливо, на мой взгляд, написал, что не только на «праведниках», — Перов сделал недоумённую гримасу, — стоит русская земля, а на простых русских людях, тех, кого писатели частенько не замечают! А пролазы, «грешники», по-солженицынски, именно по спинам таких вот праведников и идут! Очень верно, по-моему, написал Леонид Аронич! — Елагину показалось, что Перов как-то особенно подчеркнул «Аронич». — Что вы улыбаетесь? Не согласны?

На самом деле Елагин улыбнулся, вспомнив Жуховицкого и его визит в «Неву». Саша Лурье долго пробивал повесть модного тогда Жуховицкого, и, что бывало нечасто, это ему удалось. И в момент, когда в редакцию пришёл Елагин, Саша был в большом возбуждении: в Питер приехал успешный, преуспевающий Жуховицкий и вот-вот прибудет в редакцию. И в порядке благодарности приглашает Сашу в ресторан пообедать. Причём не одного, а «с дамой сердца, если хотите».

— Костя, — довольно натурально взмолился Саша, — пойдёмте со мной на обед, а? О чём мне говорить с Жуховицким? Он ведь может только о себе любимом, остроумном, талантливом, пойдёмте? И потом, вы же никогда не обедали с человеком, который зарабатывает тысячу рублей в день! Не воруя и не убивая! Что вы качаете головой? Я сегодня утром подсчитал: пьеса его «Верхом на дельфине» идёт в скольких-то там театрах, я уже не помню, по всей России. И авторский гонорар — тоже сколько-то там процентов. Делим этот немислимый гонорар на тридцать, получаем тысячу! Это минимум!

Жуховицкий запаздывал, Саша начал нервничать.

— Он в отделение «Известий», наверное, зашёл. К Невельскому. Тот ответил на его дурацкую статью в «ЛитРоссии». Не читали? — Саша с размаху плюхнулся в кресло и закурил. — Мало того, что статья идиотская, так он её почти всю состряпал на моих с ним разговорах! — Саша «построил», как он сам говорил, печальную мину. — Судьба бедного еврея! Я ему наболтал про Писарева (Саша написал роман о Писареве и был «по уши в материале»), Добролюбова, про их отношения и проч., так он в статье пересказал это, с ошибками, разумеется, но зато без всяких ссылок на меня! И такой шухер поднялся! Ровно в духе Жуховицкого!

На этих словах дверь отворилась, редакционная машинистка Лора не без торжественности провела в кабинет отдела прозы Жуховицкого. Дальше всё было смешно и грустно. «Едем обедать?» — это Жуховицкий. Едем. В троллейбусе у него не оказалось мелочи, чтобы заплатить. Что естественно, по тыщонке в день, откуда мелочь? «Едем в “Метрополь”? Или в “Кавказский”?» По дороге Жуховицкий как бы случайно выглянул в окно: «О-о, это ваша знаменитая “Минутка” (пирожковая)? Давайте пройдемся по пирожкам, а? Не против?» Елагин впервые ел пирожки с человеком, получавшим законно тысячу рублей в день. За пирожки и мутно-молочный кофе из бачка честно хотел заплатить невиданно богатый и успешный Жуховицкий, но уступил это право Саше Лурье. «Лёня, — со всей возможной иронией сказал Саша Лурье, — ведь вы наш гость!»

— Что вы улыбаетесь? — повторил Перов. — Не согласны? — он помолчал, внимательно разглядывая Елагина. — Мы недавно приблизительно на эту тему с Виктором Викторовичем Конецким разговаривали, тоже пришлось подсказать ему кое-что...

— Конецкому? — Елагин понял, что парень перед ним надувает щёки, гонит фуфло. Уж с кем-кем, а с Конецким так просто не поговоришь! И не подскажешь! Он отбреет! Не по-флотски, а по-питерски, как на Пряжке и канале Круштейна учили. — Простите, а кто это «мы»?

— Как кто? — чуть осел Перов. — В Союзе писателей, на секции прозы... Или на секретариате, не помню уж... Он тоже по поводу Солженицына высказывался... что новый гений, Лев Толстой появился...

— Простите, Игорь Леонидович, — Елагин почувствовал, как в голове поползла холодная ненависть, — а почему вы, — он подчеркнул «вы», — там на секретариате или ещё где-то решили, что понимаете в литературе больше Конецкого?

— Потому что мы, — тоже стараясь быть решительным, сказал Перов, — это коллектив, партия! Мы высказываем мнение партии!

— Я не слышал, чтобы произведения искусства писались бы коллективом, разве что братья Гонкуры да Ильф с Петровым!

— Мне кажется, что вы сознательно не хотите понимать, о чём речь. А жаль! Мы хотели вас на премию Союза писателей РСФСР двигать, я, собственно, для того и пришёл с вами познакомиться...

— Извините, Игорь Леонидович, я не знал, что на премию Союза писателей выдвигает Комитет госбезопасности! И позвольте, я договорю, — Елагин увидел, что тот покраснел и начал что-то говорить, — если вы хотели со мной познакомиться и побеседовать, вызвали бы к себе в кабинет!

— Напрасно вы так, Константин Константиныч!

Он встал, глядя куда-то за спину Елагину. Елагин обернулся, в дверь заглядывал Володя Соловьёв.

— Мы заняты, Володя! — буркнул Перов. И снова к Елагину: — Предполагаете, что у вас хорошие связи в Москве? Они вам не помогут! — Перов посуровел лицом.

— Я не понимаю, о чём вы говорите! — Елагин тоже встал, их разделял только хилый журнальный столик.

— Имеете в виду, ваши договора в московском «Советском писателе»? Если они узнают о романе, который вы... который вы... сдали в «Звезду», антисоветском романе... все эти договора ничего не стоят, поняли? А уж мы, я, в частности, постараюсь... Володя, — снова крикнул он в сторону двери, — я же сказал тебе, что занят! — Перов сел и стал наливать остывший чай. — Мне жаль, что у нас как-то не сложился разговор, — сказал он примирительно. — Что ж, бывает, — и печально покачал головой. — С писателями всегда непросто разговаривать! Они даже между собой договориться не могут, да?

Елагин молчал, стараясь не выдать гнева.

— Вот вам Жуховицкий со своей статьёй, где он Солженицына помянул, не понравился...

— Знаете, как-то Есенин ответил Демьяну Бедному на его «Евангелие», поэму о Христе: «...Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов!» Вот так же и Жуховицкий с Солженицыным!

— Вы что же, Солженицына с Иисусом Христом сравниваете? — снова повысил голос Перов.

— Я... — успокаиваясь от его плохой актёрской игры, сказал Елагин, — я — нет. Это ваше сравнение, я только цитату привёл. Как пример.

— Я таких цитат не знаю! — Перов допил чай и встал, давая понять, что разговор окончен. — И к Демьяну Бедному у меня другое отношение. Это настоящий трибун, партийный поэт. Недооценённый, — сказал он с вызовом.

— Просто мы учились в разных университетах, — улыбнулся Елагин. — А Луначарского, партийного деятеля, тоже трибуна и вождя, вы знаете?

Перов в недоумении поднял брови, дескать, кто же не знает Луначарского?

— Так вот, Луначарский написал Демьяну Бедному эпиграмму:

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б»,
Ты, правда, «ж».
Но всё же ты — не Беранже.

И уже позже, по дороге к своей подруге Грече, Елагин подумал: а, собственно, откуда этому Перову известно об «антисоветском» романе, который он показывал в «Звезде»? И какого чёрта мелкий бес, крысёныш Володя Соловьёв, заглядывал в дверь? И Перов называл его «Володя»?

Не зря, не зря привиделась лисья мордочка Соловьёва! Постоянного сидельца в редакции. Елагин, несмотря на ощущение победы в разговоре с Перовым, вдруг почувствовал страх. Он зародился где-то внутри, почти незаметно. Может быть, даже не страх, а как будто ощущение приближающейся опасности. Инстинкт сработал? Как у животных перед катастрофой? Бежать, скрыться? От чего, от кого, от этого неуча Перова? Как он вскинулся, когда я сказал, что мы в разных университетах учились! Елагин усмехнулся, и сам почувствовал, что улыбочка из-за поселившегося под сердцем страха вышла кривоватой.

Но долго думать об этом не хотелось. Ведь приглашала его не только Греча, но, скорее, её дядя Оскарчик. И приглашал на кисло-сладкую маринованную корюшку по-еврейски. А маринованная корюшка в его исполнении — это что-нибудь да значит! Так же как его любимый тост: «L'Shana Naba'ah B'Yerushalayim, Шана Хабаа, В следующем году в Иерусалиме!» Оскарчик косил незрячим глазом, отчего казалось, что он смотрит мимо собеседника: «Тост произносят с пятнадцатого века, а это что-нибудь да значит, а, писатель?»

Глава 28

Лиза повадилась, по выражению Манделя, в командировки в лабораторию Корнфельда и даже, по её словам, собиралась в аспирантуру к нему. Банда, она же лаборатория Марка Иосифовича, одного из создателей нашей бомбы (атомной, разумеется), обитала в нескольких комнатах роскошного здания бывшего французского посольства на набережной Кутузова. С окном на Неву и балконом. Институт полупроводников Академии Наук СССР. Передовая науки! И свободы, свободы, как и положено в Академии наук. Впрочем, по рассказам одного из сотрудников Корнфельда, Владислава Леманова, он застал как-то мэтра, — тот, как и его предшественник по лаборатории академик Иоффе, занимал скромный кабинетик, больше похожий на какое-то подсобное помещение, заставленное аппаратурой, — за странным занятием. Марк Иосифович, нацепив на нос очки, разбирал телефонный аппарат.

— Понимаете, Владислав, зачем-то поменяли аппарат, — как бы оправдываясь, сказал профессор. — Дай, думаю, посмотрю! И вот результат! — Корнфельд показал малюсенький микрофон, упрятанный было в трубке.

— А как ты думаешь, — веселясь, рассказывал Владислав Елагину, — что сделал шеф?

Шефом незатейливо называли завлаба.

— Он аккуратно установил микрофон обратно, приходя на работу отключал его, но завёл специальное время, чтобы наговаривать на этот микрофончик. «Каждый аппарат должен работать!» — это был принцип Корнфельда.

Корнфельд и в «закрытом» Сарове был и слыл среди научных работников человеком незаурядным. Шутил, напевал одесские песенки, ухаживал (и весьма успешно) за немногочисленными женщинами, старался (и ухитрялся!) улаживать скандалы и скандальчики с мужьями и хвастался, что он единственный физик-экспериментатор — профессор и доктор физико-математических наук, не имеющий высшего образования. Вторым был Зельдович, но тот — теоретик.

В бытность свою научным руководителем Лаборатории № 3 АН СССР и соответствующего спецобъекта (вот кому принадлежит заслуга получения «тяжёлой воды» для нашей бомбы!) опоздал, по своему обыкновению, на важнейшее совещание. Совещание вёл сам Лаврентий Берия, куратор «атомного проекта» от ЦК и Правительства. Маркуша, как ласково именовали молодого учёного, решил было остановиться в дверях, но охрана важного «куратора» под весёлый шорох зала провела его в первый ряд на единственное свободное место. Прямо напротив Берии.

Тот, как и всегда, начал неспеша, тихим голосом, но — так было принято у вождей, — постепенно распаяясь, через несколько минут принялся кричать, «просто орать», по словам Маркуши. И всё время, поскольку тот сидел в середине первого ряда, орал, обращаясь прямо к Марку. Причём орал так, что слюна долетала до слушающих. В какой-то момент Маркуша, решив, что главный сатрап и куратор перешёл все границы, встал, глядя на опешившего и замолчавшего от изумления Берию, и в полной тишине произнёс: «Простите, Лаврентий Павлович, почему вы так кричите на меня? Я ваших трудов по физике не читал, вы моих — тоже, однако по разным причинам!»

Понадобились немислимые усилия академика Иоффе, включая визит к Сталину, чтобы дерзкий физик оказался не в подвалах Лубянки, Лефортово или даже Суханово, а был бы «изгнан с проекта» и переведён в Молотовский университет заведовать специально открытой для него кафедрой и читать курс ядерной физики.

— Ты так рассказываешь о Корнфельде, что я начинаю ревновать, — Лиза и Елагин лежали на диване в его холостяцкой квартире на Некрасова.

Собственно, это была не квартира, а часть громадной когда-то квартиры, принадлежавшей ещё деду Елагина. Из гигантской жилплощади удалось выделить (отвоевать, со всеми ссылками и справками о блокаде) часть прихожей, коридора и бывшей комнаты для прислуги. Зато был отдельный, независимый вход.

— Мандель как-то сказал мне то же самое.

Это было единственное упоминание о муже за долгое время.

— Ты ещё не знаешь, что Маркуша выкинул сейчас! — оживилась Лиза. Она поднялась с дивана, взяла со стола сигареты и села возле Елагина. Так, что её ноги улеглись поверх его ног. — Представь, сегодня из Москвы приехал какой-то важный чин. Член ЦК, который занимается наукой и, кажется, промышленностью тоже. Мне называли фамилию, но ты же знаешь, у меня на фамилии памяти нет. Простая какая-то, вроде Пономарёв или что-то в этом роде. Сам понимаешь, красная ковровая дорожка на парадной мраморной лестнице, французское посольство всё-таки, вся научная общественность собралась для встречи, все при параде, директор института Анатолий Робертович Регель с безумными глазами, красный, как мак или как рак, как правильнее? — Она закурила и смешно шевелила пальцами ног, зная, что ему это нравится и смешит.

— Зачем мне представлять директора института Регеля, взволнованных завлабов, какого-то чина из ЦК с простой фамилией, похожей на «Пономарёв», когда прямо сейчас напротив меня на диване полусидишь-полулежишь ты, дразнишь меня шевелящимися пальцами, и это единственное, о чём хочется думать. И на что смотреть.

— Ты не слушаешь меня?

— Слушаю!

— Представляешь, документы начали проверять, уже начиная с улицы Воинова, на входе в институт какие-то амбалы, по главной лестнице подняться нельзя, — Лиза потянулась за пепельницей, шатко поставила её на толстую ручку дивана и стряхнула пепел. — Самое смешное, что шефа, Маркуши, нет! Не пришёл! А гость намылился в его лабораторию! Все на месте: и Лёва Сочава, и Марат Абаев, Владислав Леманов покуривает втихую, и Давид... Небывалый случай... — Лиза засмеялась, закинув голову и показывая белые зубы. — Давид даже разрешил по случаю приезда высокого гостя стереть со своего стола неприличное слово!

— Что за слово? — Елагину было интересно только наблюдать за ней, чувствовать мельчайшие её движения, как, например, от смеха начинают подрагивать её светлые на фоне летнего загара чашки груди и шевелиться ноги, тонкие и беззащитные по сравнению с его ножищами.

— Ну, неприличное слово из трёх букв! Я ж тебе рассказывала! — Лиза с досады чуть не опрокинула пепельницу. — У них, у нас то есть, вакуумная лаборатория, должна быть идеальная чистота, а Давид не разрешал уборщицам ничего трогать у себя на столе. И образовалась, естественно, пыль. Пришёл как-то шеф, увидел пыль и пальцем вывел по пыли это слово. Надеюсь, конечно, что Давид его сотрёт.

— И напрасно? — изобразил интерес Елагин.

— Представь, Давид — у него особый график — сутками сидит в вычислительном центре, приходил по четвергам и пятницам, подновлял пальцем слово и запретил его стирать! Слушай дальше! — Она устроилась поудобнее, повыше и теперь полусидела, опираясь локтями на ручку дивана. Бронзовое бра висело почти над её головой, от этого тени то темнее, то ярче двигались по телу, когда она говорила и смеялась. — Появляется этот самый условный Пономарёв, вся свита физиков вокруг него толчётся, а он — маленький, седенький крепыш, розовый то ли от природы, то ли от важности. Заметь, Корнфельда нет, а оттягивать дальше невозможно: гость приехал в его лабораторию лично увидеть установку и терять государственное время попусту не имеет права... Тебе не интересно?

— Наоборот!

— Увидеть установку... В общем, не буду тебя загружать, первую установку в Питере, что-то вроде первого лазера, который у академика Семёнова засветили! Достижение науки! Ой, только не щекочи меня! — Это Елагин пошевелил ногами. — И тут в дверях появляется Корнфельд. Вместо парада, как его просили, в своём обычном свитерочке с замшевыми заплатками на локтях и левом плече, со всклокоченной профессорской гривой... Регель, директор института, представляет его гостю, тот — мол, наслышан о вас, о ваших успехах, рад познакомиться лично... Маркуша улыбается в полное обаяние, как он это умеет, я, говорит, о ваших успехах тоже слышал... И кивает нашему механику, Виктору Васильевичу: «Рубильничек, вот этот, попрошу, Виктор Васильич!» И показывает, представь, на рубильник другой установки, ядерного магнитного резонанса. Физики дружно позеленели от ужаса. А шеф скомандовал что-то механику, в установке всё принялось жужжать, крутиться, луч, похожий на лазерный, засиял, Корнфельд смотрит ласково на этого Пономарёва и говорит: «Под действием этого луча электроны начинают соскакивать со своей стабильной орбиты и занимать место...» И дальше несёт эту чушь, всё время поглядывая на Пономарёва и спрашивая: «Вы меня понимаете?» Тот, разумеется, гудит: «Да-да, а как же, мол...» Завлабы столбами стоят вокруг — ни слова, только продолжают всё пуще зеленеть! И так минут двадцать шеф резвился: «Вы меня понимаете?» — и заглядывает в глаза.

— А чего этот Пономарёв приехал? — подал голос Елагин.

— Потом выяснилось, он приехал в Смольный, но так как речь шла о присуждении госпремий, счёл необходимым лично навестить будущих лауреатов и убедиться в их научных достижениях! — Лиза захохотала. — Видел бы ты лицо Регеля, когда этот самый Пономарёв жал руку шефу и благодарил за прекрасно проведённую экскурсию!

— Результат известен. — Елагин обеими руками погладил щиколотки загорелых ног и потянул Лизу к себе. — Не успели выйти академики с кандидатами, как этому Пономарёву тут же наступали!

— Представь, нет! — Лиза попыталась высвободиться из крепкого захвата. — Ни один не стуканул! То ли от страха, что позволили Корнфельду резвиться на их глазах, то ли от честности!

— Конечно, второе!

Лиза, вернувшись в его жизнь, вытеснила из неё всё: время, мысли, работу, нечаянные и недолгие встречи с другими, оставив воспоминания о приездах, ожидания на вокзале, холодную машину и красный диван на Некрасова 60 под старинным бра с печальным бронзовым фавном, державшим два подсвечника в могучих руках. Третий рос откуда-то из живота и служил поводом для незатейливых шуток: два подсвечника в руках покрылись зеленоватой патиной, нижний же сиял и сверкал, словно его постоянно чистили.

Глава 29

Тяжёлый чемодан Друскина переместился, наконец, в комнату Елагина. И вместе с ним здесь поселился страх. Поначалу Елагин не понял, что это такое: так, лёгкое беспокойство, словно лёгкое похмельное головокружение. Подышим воздухом, и пройдёт. Но страх не уходил, напротив. С каждым документом, каждой рукописью или старой газетной вырезкой, извлекаемой из чемодана, страх перемещался вглубь, рождая внутри тревожный холодок, похожий отчасти на тот, что раньше появлялся только в ожидании любовных забав.

Порой Елагин даже не понимал, что это за страх: перед властью, готовой схватить вольнодумца с крокодилей ловкостью и жадностью или такой понятный для любого

пишущего страх перед задачей, которая вдруг выросла из одной-единственной мысли: надо бы написать, набросать хотя бы наметки к биографии тирана.

Елагин помнил, как родилась эта идея. Лиза по какой-то, забытой уже, причине не могла больше ездить в Ленинград, и Елагин взял путёвку в Дом творчества в Суханово. Хотел в Переделкино, поближе к Москве, но спохватился поздно, путёвок уже не было, пришлось ехать в Суханово. И не пожалел: роскошная усадьба Волконских с остатками старинной мебели карельской берёзы, парой великолепных люстр, особняк, пусть и изуродованный длительным пребыванием в нём славных представителей органов, а потом архитекторов и писателей, одичавший парк с неожиданным среди разрухи и запустения гротом и руинами беседок, Большой и Малый пруды, аллеи, расходящиеся веером от главного здания, мавзолей — усыпальница князей Волконских и — тишина, уютно расположившаяся среди простеньких пейзажиков, пронизанных особым теплом и трогательностью. Так и захотелось сказать: русским теплом и простотой.

Образовалась и компания: после завтрака шли на прогулку на каменный мостик через овраг по заброшенным аллеям, к Большому пруду, болтая о всякой всячине, больше всего о литературной.

— Колинька, — это Александр (Алик) Ревич обращался к Николаю Михайловскому, — ты рассказываешь в тысячу раз интереснее, чем пишешь! Хотя бы мемуар какой оставил, а то, неровен час, уйдёшь от нас, а правду о любимой твоей Балтике никто и не узнает! — Они расположились на скамейке возле пруда, Алику трудно было много ходить, ранение в позвоночник не отпускало. — Правда, что у немцев ни одной подводной лодки на Балтике не было?

— Было несколько финских, — Михайловский, враг спиртного и никотина, старательно отодвигался от яростного курильщика трубки Ревича, — но это было такое старьё... Финнам они достались ещё от царских времён, списанные. Те кое-как подчинили подлодки, но всерьёз их принимать, конечно же, нельзя!

— Выходит, правда, что в Таллинский переход Балтфлот сам себя перетопил? — не унимался Ревич. — Из-за собственного бардака?

— Не только, — честный Колинька отрицательно мотал головой. — У нас не было авиации. Небом почти полностью владели немцы! И бомбили страшно!

— А где же была авиация Балтфлота?

— На Ханко были знаменитые Петя Бринько и Алексей Антоненко, оба Герои. Я Антоненко ещё по Халхин-Голу знал, отличный лётчик. Он там шесть японцев сбил. Орден Ленина получил. Из простых парень, но вполне интеллигентный, литературой интересовался. И здесь, на Ханко, он ещё двадцать пятого июня самый первый на войне немецкий самолёт сбил. U-88-й.

— Погиб?

— Тридцать дней всего и воевал!

Ревич перекрестился.

— Сбил одиннадцать немцев. И это, учти, на И-шестнадцатом. И на плохом бензине. Его немецкие бомбардировщики догоняли.

— У нас тоже И-шестнадцатые были, — поддержал Михайловского Лёничка Рабичев. Он — в малиновом почти детском колпаке на голове, маленький, похожий на гнома. — Но зато крепкие были, лупят их немцы, лупят чуть не в упор, а он всё летит!

— Это верно, — подтвердил Михайловский. — Антоненко и погиб прямо на своём аэродроме. Долетел, а финны обстрел вели. Дальнобойные орудия. Тоже, кстати, с царских времён остались, финны деньги на вооружение тратить не хотели. Это уж потом им немцы современное оружие подбросили. Артиллерию, в основном. Вот Антоненко под обстрел и попал. Приземлился, зацепил колесом воронку свежую, «ишачок» скапотировал и — всё. Погиб. Я о нём писал. Они с Бринько в паре летали.

Антоненко ведущий, Бринько ведомый. Они и по жизни парой были, только в жизни Бринько верховодил. Тоже погиб, почти сразу за Алексеем...

— Колинька, а всё-таки, где же наши самолёты были, когда немцы вас бомбили? — Ревич попыхивал трубкой, медовый запах табака плыл, перебивая запах тины, которым тянуло от нечищенного пруда.

— Не успели аэродромы подлёта сделать — так лётчики говорили, — неуверенно сказал Михайловский.

— Немцы успели, — проворчал Лёничка. — За тыщу километров от баз, от снабжения, от ремонтников, а мы, как всегда... Готовим только место для подвигов героям. Чтобы их посмертно наградить...

— Я как-то в Коктебеле на пляже сидел рядом с довольно молодым человеком, — Ревич, покуривая, явно наслаждался пейзажем. Пруд в раннем утреннем солнце казался розоватым. — Он всё таскал воду в резиновой шапочке для своей дочки. А потом зашёл разговор о Таллинском переходе. Он, кстати, читал твою книжку, Коля, и очень хвалил, — Ревич кивнул Михайловскому, вытащил белую полотняную кепочку и напялил её. — Оказалось, он был на «Якове Свердлове», когда тот погиб. Говорил, что «Яков Свердлов», миноносец, прикрыл крейсер «Киров» от торпеды.

— «Яков Свердлов» подорвался на мине, — сказал Михайловский, — на моих глазах. Сверкнуло, из котла с рёвом пар с соляжкой рвануло, корабль развалился пополам, и всё — затонул. Только море от горящего соляра полыхает. Спаслись, если спаслись, единицы. Кому повезло.

— Этот парень рассказывал мне про торпеду... Говорит, какие ребята погибли! И вдруг начал так рыдать! Шапочкой резиновой прикрылся и никак не может остановиться. Жена бросилась успокаивать, что ты!.. Едва увела с пляжа.

В тишине у пруда невозможно было представить взрыв, рёв пара, горящее море.

— Вчера подошёл к стене монастыря, — сменил тему Ревич, — таким холодом оттуда потянуло! — он даже поёжился.

— Туда внутрь не заглядывал? — поинтересовался Рабичев.

— Что-то не тянет, — неловко засмеялся Ревич, — говорят, самая страшная сталинская была тюрьма.

— А я как-то с Семёном Самуиловичем Виленским познакомился, рисовал его, — проговорил Рабичев, прутиком чертя что-то на песке. — Он остался единственным, кто выжил из Сухановских заключённых. Многое порассказал, издать бы книгой... Не то сейчас время!

— Это такое свойство времени, — добавил Михайловский, — оно всегда «не то».

— Что это ты чертишь, Лёничка? — наклонился любопытный Ревич.

— Рыбу! — с лёгким вызовом ответил Рабичев.

И действительно, он твёрдой рукой художника вывел на песке двух рыб, головами в разные стороны.

— Как Христос? — хмыкнул Ревич.

— Почти, — сдавленно ответил Рабичев. — Христос тут был бы нужен, — он встал и, шаркнув ногой по рыбам, как бы стирая их, отошёл в сторонку, приложив платок к глазам. — У нас, на фронтах, был всё же маленький шанс выжить...

— На передовой срок жизни был отмерен. Месяц. Это для опытного бойца, — сказал Ревич, прикрыв далеко отставленной рукой глаза от солнечных бликов, стреляющих от ряби пруда.

— А здесь шансов не было, ни малейшего, — пропустил его соображения Рабичев. — Я его рассказы слушать не мог, что здесь было — чудовищно, этот земной ад представить невозможно.

Мимо скамейки, смеясь и поглядывая на писателей, прошли две крепкие девицы с могучими ляжками спортсменов. С ними, держа одну под руку, семеня шаг за шагом

старик в чесучовом костюме. Седой ёжик на голове отливал серебром. Девицы, весело сверкая глазами, посмотрели на Елагина и расхохотались.

— Мы вас что-то не видели в Доме творчества! — сказала та, что была поближе. Загорелая и плотная.

— Встретимся вечером, — мгновенно отреагировал Михайловский. — Сегодня Александр Михалыч Ревич, великий поэт, — он указал на Алика, — будет читать стихи!

— Тогда до вечера! — дружно ответили девицы и снова захохотали.

Елагину показалось, что одна из них подмигнула ему.

— Что ни говорите, друзья, — Ревич, всё ещё прикрывая глаза от бликов, смотрел вслед девицам, — а в мини-юбках что-то есть, а?

Глава 30

Ревич был в ударе. Не стал скрывать, что в детстве у него был абсолютный слух и в девять месяцев пел Моцарта. А двоюродный дед Вениамин Сангурский обладал уникальным басом-профундо, которому завидовал Шаляпин. Сангурский уже пел в Казани, а Шаляпин в церковном хоре, хотя был всего на три года младше.

— Куда же он делся? — недоверчиво поинтересовался из зала Рабичев.

— Умотал за границу, — не дрогнул Ревич. — Не хотел креститься! Был ярый безбожник! Чтобы петь в императорской опере, куда его пригласили, надо было быть православным.

— А как же... — не унимался Рабичев, — я забыл фамилию... знаменитый тенор-еврей...

— Медведев? Друг Шолом-Алейхема? Так его и называли Меер из Медведовки! А ещё был знаменитый бас Сибиряков! Тоже крестился, Сибиряков — это псевдоним, конечно. Как-то Шаляпин решил его похвалить, говорит: «Господин Сибиряков, мне бы ваш голос!» А тот был известный остроумец и на язык злой. «Если бы у меня был ваш голос, господин Шаляпин, — отвечает, — я бы до сих пор жил в черте оседлости!»

— Алик, к чёрту биографические подробности, расскажи про контузию и побег! — прокричал, перекрывая шумок, Михайловский.

— У нас в Ростове был замечательный тренер по фамилии Краснов. Я мечтал быть боксёром, но он меня от бокса быстро отвадил. Сказал, что у меня руки короткие, буду грушей для всех.

— Алик, про войну! — это опять Михайловский.

— Это про войну и есть! Не стал бы я в семнадцать лет мастером спорта по греко-римской борьбе, как её тогда называли, хрен бы я выжил на войне! Но, честно, мне про войну трудно, — посерьёзней Ревич. — Я вообще не представляю, как мы могли воевать, не готовы были вовсе! Хотя в училище казалось всё тип-топ, в лучшем виде, если завтра война, если завтра в поход... Паника во время отступления, «планомерный отход», тудуть его в кафель, то есть «драп», по нашему, по-солдатски. Восьмого августа командир мне приказывает: «Возьми взвод разведки, выясни хотя бы, где немцы! Или наши! Связи ни хрена, никакой!» И действительно: где фронт, где тыл, где наши, где кто — никто не знает. Пошли верхами, неожиданно — гул, танки немецкие! Колонна! Откуда взялись? Только мы рванули вбок, — грохот, последнее, что помню, — дуло орудия, будто бы увеличенное какое-то, как в кино бывает, наезжающее на меня! И всё. Пришёл в себя — немцы-мотоциклисты вокруг. Я до сих пор звук мотоцикла на дух не переношу! Потом бежали из плена, с поезда на ходу сиганули, до самого ноября бродяжничали, у украинцев наймитами работали, кое-как кормились, счастье, что не сдали, ползли потихоньку в сторону наших. А фронт-то так катился, что не догонишь! Вот до самого Азовского моря и добрались. Но тут уж нас немецкая военная полиция замела.

Ревич вдруг остановился, глядя печальными глазами в зал.

— Ребята, можно я не про войну, а? Я лучше стихи почитаю!

— Давай-давай, — зашумел зал, — стихи успеешь ещё!

— Так дальше всё пошло по стандарту. Кроме разве что... — он не то высморкался, не то утёр глаза, отвернувшись от зала. — Из «голодного» немецкого лагеря, были такие, где не кормили вовсе, бежать удалось. Прямо среди бела дня, рванул вбок, в канаву, через кусты, — и дальше. А дальше куда? Ноябрь уже, градусов хрен знает сколько, по степи пыль едучую со снегом несёт, впереди — замёрзший Таганрогский, что ли, залив. Пошёл по льду. В соломенных лаптях. Лёд молодой, прогибается под ногами, трещит. Вот тут впервые о Боге и подумалось! После посмотрел по карте: двенадцать километров по льду протопал, услышал «стой, кто идёт!» — как избавление! Потом до самого мая — Ворошиловградская тюрьма, допросы. Следователь молодой, не старше меня, должно быть, но здоровенный, откормленный, я-то на ногах едва держался. Лупил меня резиновой дубинкой. Если кто интересуется, это битёй покруче, чем палкой, почувствительнее.

— Да ладно, прямо уж в СМЕРШе дубинками и лупили! — Все повернулись на голос. Это был тот самый утренний крепыш, гулявший по бережку с двумя девицами. — Не для того СМЕРШ был создан!

— Тут вовремя, — Ревич даже не посмотрел в его сторону, — подкатил приказ знаменитый под номером 227. О штрафбатах. Был в плену? Смой вину кровью! А чья это была вина — твоя или твоей Родины — неважно! Смой своей смертью! — он остановился. — Я лучше стихи почитаю! — И в полной тишине сказал: — Штрафбат — это стопроцентная смерть. Мне повезло. Ночью бросили через минное поле, атака — и меня в самом начале атаки ранят. Помог санитар, выбрался. Как — не помню. Знал только почему-то, что выживу. Обязан выжить, чтобы рассказать. Всё, ребята!

В ночь, когда нас бросили в прорыв,
был я ранен, но остался жив,
чтоб сказать, хотя бы о немногом.
Я лежал на четырёх ветрах,
молодой безбожный вертопрах,
почему-то бережённый Богом.

Он спустился в зальчик, подошёл к расстроенному фортепьяно, наиграл что-то, раздумывая, и вдруг запел:

— Ах, эти чёрные глаза!.. — И, повернувшись к залу: — Танцуем, ребята! Их позабыть никак нельзя, они стоят передо мной!

Глава 31

Танцевали «под Ревича» недолго, хоть он и утверждал, что подрабатывал когда-то тапёром. Бойкая тётка, ведавшая культурной программой, включила радиолу; в соседней комнате, не скрываясь, разливали водку, морщились и шумели, танцы начались. Елагин стоял рядом с Ревичем и Рабичевым, покуривал и краем глаза смотрел на высокого, с седой волнистой шевелюрой Колю Михайловского — тот в самом центре зала, прижав к себе утреннюю красотку, довольно ловко танцевал и любезничал направо.

— Мне кажется, — Ревич, шурясь от дыма трубки, поглядывал на Михайловского, — Колянька ещё не утратил навыков обольщения. Когда-то был большой ходок. Работал в «Правде» и славился среди тамошних бабников.

— Это как по Бабелю, — сказал Рабичев. — Слыл грубияном среди биндюжников. — И было непонятно, осуждает он Колю или завидует.

Неожиданно сбоку, пожалуй, из комнатки, где пили водку, подошла к Елагину вторая утренняя девица и бесцеремонно потянула его за руку.

— Пойдёмте танцевать!

— Я не танцую! — растерялся Елагин.

Танцевать не хотелось.

— Зато я танцую! — улынулась девица и, сделав два шага к середине зала, тесно прижалась к нему. — Меня Таней зовут, а вас?

От неё пахло незатейливыми духами, слегка водкой и табаком.

— Как, я не расслышала? — Девица подняла к Елагину весёлые глаза, прижалась ещё плотнее, Елагин почувствовал её живот и округлые ляжки. — Как? Константин? А как вас мама в детстве звала?

Но это уже не имело никакого значения. Елагин обнял крепкую спину, почувствовал, как девица в ответ положила голову ему на плечо и понял, что он её сегодня не отпустит.

В перерыве они через маленькую веранду вышли в сад. Ещё недавно ясное звёздное небо затянуло облаками, и лёгкий, едва ощутимый дождь несмело, лениво, почти незаметно принялся сеять откуда-то сверху.

— Пошли вот туда! — новая знакомая потянула его в сторону беседки.

Они, не прячась от дождя, пробежали, держась за руки, по скрипучей песчаной дорожке и свернули к беседке. Там уже стояла целующаяся пара. Руки женщины обхватили мужскую шею, а тот поднял её платье. В темноте белым пятном сверкало бедро.

— Опоздали! — хихикнула Татьяна. — Вот там, под сиренью, хорошее местечко!

Под старым развесистым кустом персидской сирени было сухо. И пустовала маленькая дощатая скамейка.

— Сядем?

— Сейчас, — Татьяна, глядя в глаза Елагину, поднялась на цыпочки и медленно-медленно стала приближать свои губы, — сейчас...

Она была крепкая, плотная, горячая.

— А ты мне сразу понравился, — Татьяна вдруг засмеялась. — Мы с тобой чуть этой парочке не помешали! Видел, он ведь с неё уже трусы снял! — И положила его руку себе на бедро. — Ого, какой ты чувствительный! — Она, прижавшись округлым животом, ощутила его возбуждение и неожиданно сунула руку за резинку спортивных брюк. — Я люблю таких быстрых! — И присела на корточки. — Хочу его поцеловать! В награду!

Потом пошли к ней. Татьяна жила в служебном корпусе бывшего монастыря.

— Хочешь выпить? У меня коньяк есть!

Елагин ощутил вдруг, как собственное его я исчезло, растворилось от горячих, быстрых рук, губ, стало зависеть от её ловких и ласковых движений, от прерывистого дыхания и тихих, сдерживаемых вскриков. Осталось лишь тело, ждущее объятий, общего спутанного дыхания и судорог, во время которых она то плакала, то смеялась, то вцеплялась зубами в плечи, руки — во всё, куда могла дотянуться.

Мелкий дождь так нежно и неуверенно начинавшийся вечером, ночью превратился в грозу и швырял в монастырское оконное стекло горсти воды. Они, как шрапнель, ударили по крыше, жестяному подоконнику и прорывались в комнатку сквозь неплотно прикрытое окно.

— Ты грозы боишься? — спросила Татьяна, почувствовав, как Елагин, закинув голову, посмотрел в сторону окна, чтобы увидеть проблеск молнии.

— Нет! — Ему было приятно слышать её хрипловатый голос.

— Я тоже не боюсь, даже люблю! — Она приподнялась на постели и потянулась к столику за сигаретами. — Покурим?

В полутьме неясно белело и светилось её тело, плавал огонёк сигареты, пахло дымком, её духами, её теплом, будто она странным образом сумела заполнить собой келью-клетушку, предназначенную для житья монашек. А за окном не унималась гроза, то приближаясь, тогда сполохи света начинали скакать по комнате и почти тут же сухо и страшно ударял гром, то отдаваясь, — промежутки между молниями и могучим грохотанием неба становились больше, заряды дождевой шрапнели кто-то швырял и швырял в окно, словно стараясь высадить его и ворваться в комнатушку. От вспышек молнии она шурилась, распущенные волосы в неверном свете становились русалочьими, и негромко хохотала, время от времени наклоняясь к нему и целуя грудь, плечи, руки.

— У нас в деревне все грозы боялись, а я — нет. — Татьяна легла сверху, придавив его грудью. — Я всегда выскакивала в огород, в поле и носилась как сумасшедшая. Бабка моя всё говорила: «Ох, Танька, добром это не кончится, смотри, ведьмой станешь, мужики любить не будут!» А я ей, откуда, говорю, знаешь, может, мужики как раз ведьм-то и любят! А? — Она плотнее прижалась к Елагину и по-змеиному поползла вверх, к его губам. — Любят мужики ведьм? — И поцелуй её пахли коньяком, дымом сигареты и шоколадом. — У нас деревня большая, из конца в конец пройдёшь дак чего насмотришься! И чертей, и ведьм с ведьмаками полно! Полдеревни татар, половина — русских, похуже татар незваных, да башкирцев сколько-то, да крышен...

— Крышены — это кто? — удивился Елагин.

— Татары православные, крещёные! Мы-то сами из старокрышен, кого в каком-то там не пойми каком веке крестили, а есть ещё и новокрышены.

— Какая ты татарка, ты же блондинка?

— Сейчас не разберёшь, может, и крашенная, но я-то, и верно, блондинка, бабка всё ругала, в кого белёсая такая уродилась! Мамку чуть что тоже ругала, в шутку, конечно. Татары блондинистые бывают, сколько хочешь. Вон Любка, подружка моя, тоже светлая, хоть и потемнее меня, в рыжину. Я-то вообще не пойми кто, папа крышен, считай татарин, а мамка башкирка наполовину. Вот и догадайся, кто я? Не понял? Русская, конечно!

Неожиданно в становящихся всё длиннее паузах между ударами грома зазвенел будильник.

— Ух ты, — Татьяна поднялась на локте, потянулась к будильнику и прихлопнула его, — вот и вся любовь наша! — и засмеялась. — Пора вставать-подниматься!

— Почему? — глупо спросил Елагин.

Открывать глаза не хотелось.

— Иван Сергеич нас обещал в Москву отвезти! — И коротко зевнула, прикрыв рот ладошкой.

— Это вот тот седенький мужичок? С которым вы гуляли?

— Ага, — Татьяна сладко потянулась, — ой, как вставать-то не хоцца!

— Только гуляли?

— Уж и заревновал? — весело покосилась Татьяна. — На Любку старичок сильно запал. Прямо не оттащить. Женюсь, говорит, в Москве пропишу, а помру — квартира московская тебе достанется. А я так, по заду шлёпнет, и всё. От меня не убудет!

— А чего он вас сюда затащил?

— Любка не хотела одна ехать, мало ли что... завезёт за город... А он — нет, просто хотел показать, какой он важный. Я, говорит, в любой момент могу в Дом писателей приехать!

— И привёз?

— Ну. — Татьяна с грустью смотрела на будильник. — Говорит, он раньше здесь, — она постучала розовой ладошкой по столу, — на хозяйстве работал!

— А ты хоть знаешь, что за хозяйство здесь было?
— Монастырь, монашки... вроде, он говорил, мы ещё смеялись насчёт монашек...
— Здесь тюрьма политическая была, говорят, самая страшная! Вот кто он был! — Елагин вдруг сообразил, что и сам-то сейчас именно на территории этой тюрьмы находится.

— А-а, что было, то было, быльём поросло, не нашего ума это дело. — Она с улыбочкой посмотрела на него и принялась легонько щекотать за живот. — Тем более что на хозяйстве он! — И наклонилась ближе, распущенные волосы упали Елагину на лицо. — А как твоё хозяйство? — Она со смешком сунула руку под мятую простыню. — Может, ещё разочек успеем, напоследок?

На крылечке, покуривая, стояла подружка, Любка.

— Поджидая Иван Сергеича, — сквозь долгий зевок объяснила она. — Побежал машину прогреть, шас приедет.

— Я могу вас в Москву отвезти! — неожиданно для самого себя сказал Елагин.

— Не-е, — хмыкнула Татьяна, покосившись на подругу. — Долгие проводы — лишние слёзы! — И шепотком, по-свойски, на ухо нагнувшемуся Елагину: — Зря, что ль, Любка ночку-то отработывала? — И засмеялась громко. — Всё, праздник кончился! — Она сбросила босоножки, выскочила на мокрую лужайку и закрутилась, придерживая поднявшееся колоколом платье. — Кому рассказать, что целную ночь с настоящим писателем провела, не поверят!

Татьяна, разбрызгивая лужицы, прятавшиеся в зелёной траве, подбежала к сирени, ловко, разом отломила тяжёлую мокрую гроздь.

— Лови! — Кинула её Елагину. — От Таньки память!

И была права. Ветка долго стояла в комнате. И пахла особо. Свежестью, теплотой и шоколадом.

Кому это, кажется, Прасковье Осиповой в альбом Пушкин написал:

Цветы последние милей
Роскошных первоцветов полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

Глава 32

Главный нейрохирург Советской армии полковник Борис Григорьевич Цехановский летел в развевающемся халате и высоченном накрахмаленном колпаке по коридору своего отделения. Официально — «Головы и шеи». В народе — «Отделение головы от шеи». Или — «Хиросима». Потому что в отделении Цехановского стоял почти единственный в Москве громоздкий агрегат, с помощью которого многочисленные аспирантки и помощницы главного нейрохирурга под руководством кумира и с обязательным участием профессора Бори Бейлина с переменным успехом облучали опухоли головного мозга.

Аспирантки и помощницы щебетали вокруг доктора, он коротко отвечал им, любезно кивал больным и поглядывал на роскошные золотые часы, дар одного из ближневосточных князьков, удачно облучённых и прооперированных в «Хиросиме». Возле своего кабинета Цехановский замер, внимательными коричневыми глазами рассматривая высокого худощавого человека.

— Елагин? — спросил Цехановский. — Константин Константинович? — И не дожидаясь ответа: — Дайте три минуты на туалет и заходите. Я жду!

Через три минуты Цехановский, не снимая докторского колпака, уже сидел в глубоком кресле возле стола. Вокруг цветы в высоких вазах. В огромном количестве. Как после бенефиса знаменитого тенора.

— Присаживайтесь! — Цехановский указал на кресло. — Я вас вызвал в Москву по просьбе Елизаветы Михалны Загrevской. Вы знаете, разумеется, что с ней беда. Болезнь. Опухоль мозга, — он сделал паузу, с интересом разглядывая Елагина.

— Злокачественная? — механически спросил Елагин.

— Для мозга это, собственно говоря, неважно. Голова, — профессор протянул руку и из-за роскошного букета появилась жёлто-розовая голова с неплотно прикрытыми глазами. Страшноватый сборно-разборный муляж. — Голова очень плотно упакована. Любой опухоли там некуда расти. Места нет! — Он привычно и быстро стал разбирать муляж, повернув разбираемой стороной к Елагину. — У Елизаветы Михалны опухоль располагается вот здесь. Мозжечок! — Он взял карандаш и с ловкостью бывалого лектора очертил на муляже что-то зеленовато-серое. Или серовато-зелёное.

Представить себе, что это мозжечок Лизы, было совершенно невозможно.

— Опухоль растёт, — лекторским тоном продолжал Цехановский. — На снимках ясно видно, что уже разрушено турецкое седло! — и замолчал.

— Что это означает? — с трудом и не своим голосом проговорил Елагин.

— Это означает, что через некоторое время, если ничего не предпринимать, а posteriori (исходя из опыта), опухоль увеличится, прижмёт вот эту область, — он сделал карандашиком изящный круг возле чего-то жёлтого, в красных прожилках, — зрительные центры погибнут. Елизавета Михална ослепнет.

— Что можно делать? — Елагин слышал свой голос как бы со стороны. — Что нужно делать?

— Первое, — Цехановский снял крахмальный колпак и поставил его на боковой столик, — продолжать то, что мы начали. Облучение опухоли. Если она не сдастся, будем оперировать.

— Кто не сдастся? — переспросил Елагин.

— Правильный вопрос, — оценил Цехановский, почти не глядя собирая муляж. Разноцветные кусочки головного мозга с лёгким щелчком аккуратно укладывались друг возле друга, заполняя нетолстую сферу из папье-маше с условными носом, губами и подбородком. — Елизавета Михална не сдастся. Значит, сдастся опухоль. Вы муж? — спросил он с той же интонацией.

— Нет!

— Amantes (влюблённые-безумцы), — как бы объясняя себе, сказал Цехановский, не глядя достал из стола бутылку заграничного коньяка и три невысоких плоских бокала. — Секундочку! — Поднял трубку. — Боренька, зайди ко мне! — И принялся разливать коньяк. — Знаете, что это за коньяк? — Он, любуясь, стал рассматривать этикетку. — Courvoisier VSOP! — произнёс Цехановский на французский манер. — Курвуазье! Говорят, лучший французский коньяк. А что такое ВСОП, честно говоря, не знаю! — Он оторвался от бутылки и кивнул зашедшему в кабинет доктору. Тот был в коротком халате, пего-седой, без шапочки. — Заходи, знакомьтесь! Это Борис Абрамович Бейлин, — сказал Цехановский. — Моя правая рука!

— Обе руки, — довольно мрачно сказал Бейлин, — я из прозекторской.

— Что там? — оживился Цехановский.

— Там коньяк «Курвуазье» не пьют, — сказал Бейлин. — Спирт пользуют.

— Разумно, — кивнул Цехановский. — Ab abusu ad usum non valet consequentia (злоупотребление не довод против употребления). Знакомься, это муж Елизаветы Михалны Загrevской.

— Я уже вчера знакомился с её одним мужем!

— Значит, у неё два. Знакомься со вторым!

Бейлин нелюбезно кивнул и выпил коньяк.

— Дрянь твой «Курвуазье», наш три звёздочки лучше!

Цехановский поморщился.

— Простите, Константин Константиныч, это у нас вечные препирательства.

Он снял трубку, вызвал лабораторию, выслушал внимательно всё, что ему проговорили, и покрыл собеседника, по-прежнему не повышая голоса, отборнейшим матом.

— Результат? — поинтересовался Бейлин.

Кажется, ему понравилось развитие событий.

— Результат aethiorem (отмыть эфиопа)! Цехановский плеснул ещё коньяка, посерьёзней и сказал: — Здоровье Елизаветы Михалны! — И все выпили молча.

Цехановский вышел из-за стола, взял Елагина под руку и подвёл к двери.

— Будем надеяться. — Пожал руку крепким пожатием мастерового. — Если облучение не даст должного результата, — и снова пожал руку, не выпуская её из своей, — я прооперирую Елизавету Михалну. Сам! — И кивнул, пропуская Елагина в дверь.

Глава 33

— Забавный персонаж. — Лиза и Елагин сидели в садике перед корпусами госпиталя. — Он тебя тоже донимал латинскими пословицами? Говорят, гений хирургии! — Лиза держала в руке бордовую розу и время от времени прикладывала её к губам. — Или диагноза, я что-то забыла. Во всяком случае, оригинальный человек.

— Это для него учебник латыни?

Елагин принёс в госпиталь учебник.

— Конечно! — улыбнулась Лиза. — Он стал читать мне Цицерона на латыни. Представляешь, приходит сестра и с важным видом, здесь всё делается с важным видом, сообщает: «Загревская к Цехановскому!» Я, натурально, иду. Он сидит как именинник в цветах, сажает меня в кресло и начинает читать Цицерона! На латыни.

— А зачем, он хоть объяснил?

— Раза со второго или третьего я тоже его спросила: зачем?

— Объяснение было туманным? — грустно пошутил Елагин.

— Представь, нет! — Лиза кивнула и улыбнулась какому-то больному в стандартном госпитальном халате. — Оказывается, он так лечит меня и готовит к операции, если понадобится!

— Не понял?!

— Он разъяснил: оказывается, в мозгу немислимое количество... — она призадумалась, — в общем, назовём их нейронами. Он их как-то по-другому называл. Их — как в небе звёзд, галактика. А связей между ними вообще миллиард миллиардов. И от облучения, а тем более от операции, именно эти связи и разрываются. Но мозг, оказывается, такая забавная штука, он эти или другие связи, но для него это не очень важно, начинает «нарабатывать», это его словечко. То есть устанавливает. Если задавать ему определённую интеллектуальную нагрузку. С одной стороны он нами командует, без его команды мы даже с постели подняться не можем, с другой — идёт у нас на поводу и устанавливает эти таинственные связи, которые ему, мозгу, совершенно не нужны. Но могут потом при каких-то обстоятельствах нам понадобиться. Так, оказывается, происходит взросление младенцев: мозг, нарабатывая связи, вводит их постепенно во взрослую жизнь! Я даже стала латынь по какому-то медицинскому учебнику изучать, но там такая чушь, для девочек-медсестёр с семилеткой, язык выучить невозможно. За учебник и словарь тебе спасибо. Надо ещё речи Цицерона

раздобыть. Он, представь, чешет их по памяти. И грозитя начать водить экскурсии по древнему Риму. У него по Риму громадная библиотека, вот тот шкаф старинный с грифонами, что в его кабинете стоит!

Елагин смотрел на Лизу: она улыбалась как всегда, шурилась на солнце, знакомо прикрывала глаза рукой, — всё как обычно. Даже платье не было похоже на больничный халат, — и никак не мог отделаться от назойливой мысли: не может быть, чтобы вот в этой маленькой милой головке с детскими колечками волос на висках росла, зрела, расплзалась вот та серо-зелёная опухоль-плесень, которую демонстрировал ему Цехановский. Это, конечно же, ошибка. Столько лет у Лизы были головные боли, назывались привычно — мигренью. И были лекарства, которые эту боль снимали. Мигрень! Тысячи, миллионы живут с мигренями — и ничего. А тут вдруг — госпиталь, опухоль, Цехановский, Бейлин, латынь. Дикость какая-то! А что же она, Лиза, думает, оставшись одна? Ночью? С ещё тремя тётками, пусть самыми симпатичными (с её слов), живущими с ней рядом в четырёхместной палате «Хиросимы»?

Мимо их скамейки медленно проплыл композитор Микаэл Таривердиев, поддерживая под руку старушку. Недавно Елагин стоял рядом с ним в очереди в бюро пропусков госпиталя и слышал, как тот униженно просил кого-то дать ему пропуск в 6-е отделение, где командовал Цехановский.

— Он столько нарассказывал о мозге. — Лиза изумлённо подняла брови и пожала плечами. На её виске виднелся довольно крупный крест, нарисованный химическим карандашом. — Просто хоть бросай физику и становись биологом! — Она недоумённо хмыкнула. — И странно, латынь мне нравится, я даже стала понимать кое-что из его чтения!

— А что это за крестик на виске?

— Особая песня! — Лиза поднесла указательный палец к виску. — Это их врачебная находка и тайна, как я поняла. Два дня вокруг меня крутились, приносили какие-то приборы, похожие на старинную астролябию, измеряли череп. Всё это напоминало средневековые опыты по евгенике. В конце концов, — она смотрела на Елагина с улыбкой, — как мне показалось, здесь же всё строго секретно, ни черта у них не получилось. Вызвали из отпуска среднего возраста даму, грузинку, та взяла портновский сантиметр и снова принялась что-то мерить и считать по своим таблицам. Таблицы, замечу, в каком-то блокнотике. Думаю, блокнотик дама экспроприировала у своего внука. И финальная стадия: дама при стечении нескольких аспиранток и Бейлина торжественно выводит на виске химическим карандашом этот крестик. При этом слюнит карандаш и язык у неё становится синим. Смешно?

К ним подошёл высокий человек, тот самый, в госпитальном халате.

— Простите, мне кажется, вас ищут. — Он чуть поклонился Лизе. — Сестра из отделения металась по садику, искала. Вызывает Цехановский!

— Он здесь как господь бог, — засмеялась Лиза. И подождала, пока высокий в халате отойдёт. — Симпатичнейший дядька. — Она кивнула ему вслед. — Служит где-то у чёрта на куличках, на границе, кажется. И мучается от диких головных болей. Много лет не могут понять, отчего боли. Наконец, со страшными трудностями приехал сюда. Для рядового военного, как они говорят, не «старшего офицера», это почти невозможно. Но этот парень в халате какой-то герой, отличился на своей границе. И вот, на днях он подходит ко мне радостный, сияет. Говорит, Елизавета Михална, наконец диагноз установлен. А раз диагноз есть, можно и вылечиться! — Она грустно поморщилась. — Так жалко парня!

— Почему?

— Я его спрашиваю, тут, знаешь, такая простота нравов, а что у вас за диагноз? Он говорит: воспаление мозговой оболочки! — Она снова поморщилась, словно собираясь заплакать. — А мне днём раньше их бог Цехановский так, между делом,

говорит: «Мы с Бейлиным придумали, когда диагноз никак не установить, пишем — воспаление мозговой оболочки! Что это такое, всё равно никто не знает!» — Лиза поднялась. — Надо идти, наверно, очередной урок латыни! Не провожай меня!

И пошла по дорожке, аккуратно присыпанной красным песочком. Пошла обычной своей лёгкой походкой, держа в руке багровую розу. Возле поворота к отделению она обернулась, посмотрела в его сторону из-под руки, в которой держала цветок, махнула и исчезла.

«Воспаление мозговой оболочки». Откуда, как может человек в этой мозговой вселенной, живой, дышащей галактике разобраться, понять хоть что-то, а уж тем более лезть туда со скальпелем! И каким надо быть для этого человеком!

Глава 34

— Здравствуйте, Иван Сергеевичем меня зовут! Как по-писательскому и Тургенева звали! — подошёл к Елагину седенький бобрик. — Хоть познакомимся, наконец! — Он, улыбаясь, тряхнул руку. Крепкая ладонь была горячая и влажная. Елагин почувствовал запах спиртного. Или, точнее, перегара со свежачком. — А то мы как бы молочные братья, а не знакомы! — Он улыбался, весело поглядывая на Елагина. — Мне Танька по дороге всё рассказала. Ты не беспокойся, я не ревную, дела житейские. Хорошо, что ты не из ихних, — бобрик кивнул в сторону бильярдной, где возле стола толпились писатели. — Не верю я им! — доверительно сказал бобрик, сделав головой странное движение, вроде того, что делают боксёры при «нырке».

— А что вам такого Татьяна рассказала? — Елагин слегка растерялся от такого напора.

— Ну, что ты не из ихних, — бобрик понизил голос, — а здесь тоже вроде меня находишься. По службе.

— Она-то откуда знает?

— Танька? Она девка тёртая! — Тёзка Тургенева вытащил из кармана плоскую бутылочку коньяка, глотнул и протянул Елагину. — Примешь?

Тот помотал головой.

— Танька девка тёртая, — задумчиво повторил Иван Сергеевич, — а в постели горячая, а? Верно говорю? Пошибче Любки будет, заводная. — Он призадумался. — Ведь тут как рассудить, — сказал он, совсем по-свойски склонившись к Елагину, — одна в постели огонь, что говорится, а другая хозяйственная. У Таньки ни деньги, ни вещички не удержатся, а Любка — не-ет! Не такая! — И сделал пару-другую хороших глотков. — У Любки всё в дом, в семью!

У Елагина было полное ощущение, что этот тёзка Тургенева путает его с кем-то, но нет, конечно. Ведь именно он, старичок-боровичок с благородным седым ёжиком гулял с Татьяной и её подругой Любой вдоль пруда, он отвозил девиц утром. Что же по дороге наговорила ему Татьяна?

Иван Сергеевич повернулся в сторону играющих в бильярд.

— Эти, — сказал он, презрительно сморщившись, — как узнали, что я раньше-то здесь на объекте работал, сразу ко мне — расскажи, мол, как здесь всё было! Вот им! — И показал кукиш. И снова к Елагину. — Я одному крючок забросил, кое-что рассказал, посмотреть, кто клюнет? Так чуть не все побежали! А мне, — он снова отхлебнул и придвинулся к Елагину, — и доложить некому! Я ведь не в отставке даже, а списан вчистую! Да ещё и по статье. Вроде по лёгкой. Там, — он кивнул на потолок, — наши озаботились, статью лёгонькую подобрали. За утрату доверия, — он хихикнул, и стало видно, что поднабрался старик основательно. — Вот так нынче с кадрами обходятся! Так что ты... это... с ними водись да «червонец» (вшей) не набирайся, так народ говорит? Без обид? — Бобрик коротко и трезво глянул на Елагина. —

Вот это главное, — между своих обид не бывает! — И в последние два глотка допил коньяк. — А этих, — он снова кивнул в сторону бильярда, — этих я всех ненавижу! Всё, пошли! — И крепко уцепился за рукав, другой рукой неловко запихивая бутылку в карман. — У меня в камере ещё есть!

Елагина охватило желание дать справа вот по этой розовой, пьяной скуле, чтобы почтенный бобрлик грохнулся в затоптанном коридоре от столовки к бильярдной и сдох тут же. Но ползучая, скрытая даже от себя мысль: а вдруг он, и верно, что-то знает о секретной тюрьме? И к тому же так удачно неизвестно что наплела ему Татьяна, отчего он принял (или прикидывается, что принял?) Елагина за своего? Проще всего отойти, дрожа от возмущения, как обходят валяющегося на улице пьянчугу, из-под которого течёт струйка мочи. Уйти? Он странным образом, другим видением рассмотрел полутёмный коридор, яркий свет бильярдной, хохочущих людей вокруг стола, седого тёзку Тургенева, неожиданно приткнувшегося носом к его плечу, увидел, как вся эта обыденность, скучнейшая серятина окрасилась вдруг неярким белёсым светом (времени?) и стала закручиваться в неплотный рулон-свиток. Ещё мгновение-другое, свиток этот свернётся навсегда, таинственно перевяжется кем-то плотными тесёмками, чтобы быть навечно заброшенным на пыльные антресоли всё того же времени. И нелюбопытные потомки лениво будут откладывать свиток с несостоявшимися рассказами о страшной тюрьме, уже серый от пыли, подальше, в тёмную даль, пахнущую былой гарью старых пожарищ, давнишними выдохнувшимися, прогорклыми духами и средством от моли.

Елагин подхватил бобрлика под мышки, поставил на ноги.

— Иван Сергеич, встали!

— А? — Оловянными глазами посмотрел бобрлик и медленно пришёл в себя, порадовав Елагина. Старая школа! — Я в порядке! Пойдём выпьем!

Обосновался Иван Сергеевич в бывшем хозяйственном корпусе, но в отличие от девиц, привезённых им позже, устроился в двух смежных комнатухах, оборудованных казённой мебелью, выпиравшем от стены громадным холодильником с серебряной надписью General Electric на пожелтевшем от времени корпусе и даже раковиной со старинным бронзовым краном.

— Что скажешь, Константиныч, — Иван Сергеевич обвёл рукой комнаты, — как обустройство? — И открыл холодильник, поразив Елагина даже не столько тем, что знает его отчество, но и помнит его. — Водку будешь или коньяк? Тут и винцо есть, девки как-то винца запросили. — Он достал бутылку местной отвратительной водки. — Я водочки выпью, оно как-то привычнее. — И налил в два мутноватых невымытых стакана. — По половиночке! — Почему-то лукаво сказал: — Будем! — И маханул свои полстакана. — С закуской у меня слабо сегодня, опоздал на кухню зайти. — Он вытащил из холодильника полпалки копчёной колбасы. — Вот, от девок осталось, копчёненькой им захотелось, — он хихикнул. — Для девок чего не сделаешь, верно? Сам-то я её не ем, зубы не позволяют, протез хреновый, ёрзает, а всё поменять не могу. — Он налил ещё и задумался. — А девки хороши, а, Константиныч? Я их всё подбивал, мол, давай втроём побалуемся, а вот — нет. Втроём не хотят, — он помотал головой, — по отдельности давай с каждой хоть по три раза, а втроём ни в какую! — И обвёл комнату мутными глазами. — Вот так и жили люди, — неожиданно произнёс тёзка Тургенева, — скромно жили! Ты хоть знаешь, в чьих комнатах мы сидим? Нет? А-аа! То-то! А то бы задрожал! У всех ноги подгибались, когда сюда шли, когда по команде вызывали, — поправился он. — Думаешь Сам? Не-ет, Сам тут не бывал. И даже не Лаврентий Палыч, у того свой кабинет роскошный был с лифтом прямо в подвал. А дверь в лифт этот была замаскирована. Шкаф и шкаф стеной, не отличишь!

Ежова арестовали 10 апреля 1939 года на Старой площади в кабинете Маленкова и сразу доставили в Сухановскую тюрьму. По распоряжению Калинина все помещения

бывшей Свято-Екатерининской обители были переданы НКВД. Ежов оборудовал в монастыре тайную тюрьму для особо важных персон. Он же и попал туда одним из первых за «руководство заговорщической организацией в войсках и органах НКВД СССР, в проведении шпионажа в пользу иностранных разведок, в подготовке террористических актов против руководителей партии и государства и вооружённого восстания против Советской власти». Когда привезли, его портреты ещё висели в кабинетах следователей. В первые дни у дверей камеры стояли четыре охранника, видно, боялись, что придут его освободить.

Шифротелеграмма от 10 января 1939 года:

ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... Метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь в виде исключения, в отношении явных и недоразоружившихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод.

Ежов знал, как выбиваются признания и сразу подписал всё, что от него требовали. Так он оказался шпионом Германии, Польши, Франции, Англии, признался, что руководил контрреволюционным (террористическим) заговором в НКВД, направленным против Сталина и других руководителей страны, признался в содомии, к которой склонял и подследственных, но это следователей не интересовало.

Допрашивали Ежова по ночам сам Берия, замначальника следственной части НКВД старший лейтенант госбезопасности Эсаулов и капитан госбезопасности Родос — специалисты по расстрелам и избиениям. Берия говорил: «Перед тем, как им идти на тот свет, набейте им морду». Эта парочка обрабатывала члена политбюро ВКП(б) Косиора, кандидатов в члены ЦК Постышева и Чубаря, Калмыкова, 1-го секретаря Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б), секретаря ЦК ВЛКСМ Косырева, генерал-полковника Локтионова, всех не перечесать. Перед расстрелом зверски избивали Эйхе (сам был хороший убийца), тот пять раз терял сознание, отливали водой, били снова, выбили глаз.

В тюрьме содержалось 150—160 узников, которых охраняли 70 охранников и особое подразделение НКВД.

Имена исчезали сразу, только номера. При поступлении, чтобы сломить дух, определяли в особый карцер, метр на метр, нельзя присесть, колени упираются в стенку. Потом избивали. Следователей человек пять-шесть. Одни устают, другие берутся за дело. Били кулаками, ногами, палками, резиновыми дубинками, каменным пресс-папье и даже пачками бумаги. Листы бумаги резали и рвали лицо, вышибали глаза. Через это прошли Бабель, состоявший в связи с женой Ежова Евгенией Соломоновной Фейгенберг, Мейерхольд, сотни других. Расстрелы в Сухановке начались в начале (январь-февраль) 40-го года. Приговор надо было приводить в исполнение в течение часа. Вызывалась расстрельная команда, руководил всегда комендант АХУ НКВД Блохин. Среди расстрелянных любимый журналист Сталина Михаил Кольцов, начальник иностранного отдела наркомата иностранных дел Шпигельглас, нарком НКВД Казахской ССР Реденс, нарком (короткое время) военно-морского флота (известный зверствами среди моряков) комиссар 1-го ранга Фриновский с семьёй. Сын — школьник, учащийся 2-й московской спецшколы.

Возить для расстрелов в Варсонофьевский переулок в Москве стало неудобно, не хватало транспорта. Вызывали расстрельную команду в Суханово, те приезжали неохотно. Жаловались, что вместо водки в Сухановке выдавали вино и коньяк, а на закуску — еду с кухни Дома архитекторов. Суфле и котлетки. Приходилось спирт возить с собой. Совсем другое дело в расположенных неподалёку Коммунарке и Бутово. Там и водка бывала всегда, и колбаса на закуску.

Трупы поначалу возили в Донской крематорий. Пепел ссыпали в общую могилу, а то и в канализацию. Хлопот меньше. Позже оборудовали местный крематорий в здании Свято-Екатерининского собора. Когда крематорий выходил из строя (исполнение некачественное!) трупы не ленились вывозить в ближний лесок, валили в неглубокие рвы.

Обычно в Сухановке долго не держали. Для рядового заключённого максимум — две недели. Дальше суд, приговор, последнее страшное избиение, расстрел и — крематорий. За две недели заключённые, имён которых чаще всего не знал даже начальник тюрьмы, проходили сухановские круги ада: карцеры горячие (на местном чекистском жаргоне «топить сало»), холодные с погружением в бочку со льдом, «ласточки» — полотенцем взнуздывали человека, концы привязывали к ногам, бросали на сутки и только потом избивали. 130-килограммовый Кобулов любил убивать человека ударом кулака.

За разговором под несъедобную копчёненькую тёзка Тургенева вылакал целую бутылку «сучка», местной водки. И под конец заснул в деревянном канцелярском кресле, пустив тонкую струйку слюны из размякших губ. Неужели он, этот человек, добрый дедушка, сопящий в кресле, видел всё, что рассказывал? Пусть не участвовал, но видел, видел! Мыл полы, залитые кровью, таскал по коридорам бесчувственные тела, грузил на полторку трупы, доставая их крючьями из подвала, принимал на складе, пересчитывал и вносил в ведомости резиновые дубинки, щипцы, трёхгранные пики-стилеты, тиски для дробления пальцев и превращения их в лепёшки, — всё это добро, переданное «под отчёт» из фашистских тюрем, IV управления, гестапо (сокращение от *Geheime Staats polizei*, Тайная государственная полиция), *Ordnungspolizei* (Орго, Полиция порядка)? Неужели он всё это видел и остался жив? Не сошёл с ума, не стал биться головой о стены, хотя — зачем биться? — стены камер для особо нервных были обиты кошмой, оклеены линолеумом и покрашены поверху шаровой краской, а углы тюремной мебели — табуретки, вмазанной в цементный пол, железной койки, откидывающейся на ночь, и даже параша — были заботливо скруглены, — заключённый не имел права погубить себя сам, разбив башку, и тем самым уйти от справедливого пролетарского суда и возмездия!

Елагин встал, едва сдерживая себя от желания врезать по розовой роже, отвисшим губам. Иван Сергеевич, словно почувствовав движение, открыл мутные глаза, посмотрел с удивлением на Елагина, взор его стал медленно просветляться.

— Что надо тебе? — сказал он вдруг, с трудом поднимаясь с кресла и опрокидывая его на пол. — Зачем пришёл? Вынюхать пришёл? — И двинулся к Елагину, шатаясь и пьяно размахивая кулаками. — Вынюхать? У тебя ещё в жопе не кругло, чтобы у Сергеича что вынюхать! — Его качнуло, он повалился на кровать и стал сползать на пол, стягивая подушку, одеяло, бельё... — Я вас ненавижу, ненавижу, вы все жиды! — И пьяно заплакал, сморкаясь в простыни. — Ненавижу, всех вас ненавижу, фашисты баные, жиды!

Елагин, не видя, мёртвым взглядом смотрел на него. Неужели это можно написать, нужно написать?

Глава 35

В коридоре неподалёку от кабинета Цехановского сидел немолодой военный со странно знакомым лицом и голубоватой (крашеной, что ли?) сединой. Елагин стукнул костяшками в дверь, она оказалась заперта.

— Полковник медицинской службы отсутствуют, — сказал, поднимаясь с диванчика, могучий полковник, запаянный в мундир. — Мы их тоже поджидаем, — он дал понять, чтобы Елагин не совался вперёд.

И в это время в противоположном конце коридора показался Цехановский, окружённый щебечущей свитой. Увидев военных, он ускорил шаг, а приблизившись к сидящему на диване, как-то построжал походкой, зашагав твёрдым шагом.

— Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза! — Вытянулся он ещё на подходе.

Только тут Елагин и узнал военного. На портретах, которые носили по праздникам, маршал казался повыше и покрепче. Да и помоложе.

Маршал кивнул, словно отмахиваясь.

— Случаем были здесь у начальника госпиталя, — быстрым шепотком проговорил полковник, видимо адъютант, — после надо на совещание, — он со значением поднял глаза к потолку и оглянулся, будто боясь подслушивания, — время сместилось, решили зайти к вам.

Елагину показалось даже, что он произнёс «к вам-с». Теперь стал понятен и роскошный ЗИС, сияющий на солнце, и двое офицеров с рассеянным видом, как положено охранникам, стоявшие возле машины.

— Прошу, товарищ маршал!

Цехановский, не взглянув на Елагина, словно того и не было, исчез за дверью, пропустив в кабинет маршала и адъютанта.

Елагин, уже изучивший здание, вышел через другие двери и спустился вниз, в ухоженный садик. В обеденное время аккуратный по-военному садик-сквер был пустоват. Зато слышнее стало жужжание пчёл, разноцветные бабочки перелетали по неожиданно крупным фарфоровым цветам львиного зева, от мелких желтовато-белых цветочков, названия которых Елагин не знал, волнами доходил густой медовый запах, шуршал, разбрасывая игривый веер, поливальный фонтанчик, развесив едва приметные, дрожащие радужки над ровно стриженными кустами. Бронзовый, со следами зелёной патины жук с размаху врезался в руку Елагина, замер от изумления, почистил жёсткие лапки и, удовлетворённо гуднув, взлетел, растворившись в солнце и радужках.

Через короткое время правительственный ЗИС негромко фыркнул, мягко покатился в сторону главного здания госпиталя, сверкнули никелированные колпаки, слышен был даже скрип песка под колёсами, и почти тут же появилась ассистентка Цехановского:

— Константин Константиныч, вас просят!

Цехановский жадно хлебал остывший больничный суп, высоко держа тарелку и роняя в неё вялые листья капусты.

— Прошу извинить, — он отставил тарелку и вытер губы, — страшно проголодался. Со мной это бывает, — улыбнулся он, — особенно после тяжёлых операций. Почему-то дико хочется поесть. Кому-то выпить хочется, расслабиться, а мне — поесть. Видно, мозг работает с таким напряжением, что ему лишнее топливо надобно! — Цехановский смахнул со стола крошки и передвинул поближе пугающий макет головы. — Узнали маршала? — Он покрутил головой в поисках докторского колпака, надел его и сел на своё место. — Мне понравилась его реакция. — Цехановский соорудил гримаску, было непонятно, подсмеивается он над маршалом или нет. — Огляделся так по-хозяйски и говорит: «Бедненький кабинет!» Я ему, мол, у нас лишних помещений нет, можно сказать, ютимся! Он, знаете, как ответил? Истинно по-маршальски: «Вот это напрасно!» Как вам? — И ласково погладил жёлто-розовый макет. — Мозг хоть по весу где-то тридцатую, условно, долю тела составляет, а потребляет энергии больше всех! Больше всех громадных мышц, всей химической лаборатории в брюхе, а? Там одних бактерий два кило! Каков? На что эта энергия тратится, куда девается? Никому не известно! Когда-то говорили, что только двое знают про мозг всё: Господь Бог и Бехтерев. — Он быстро разобрал наружную сторону макета, отчего тот стал ещё более пугающим. — Я вас почему вызвал, — Цехановский увидел пыль внутри макета, быстро вынул две какие-то цветные частички и подул внутрь головы. — Мы вчера Елизавете Михалне

снимок делали, смотрели её опухоль, смотрели турецкое седло деформированное... — и замолчал. — Словом, я предлагаю операцию.

— Опухоль увеличилась?

— А кто ж её знает. — Цехановский вынул из макета головы небольшую зеленоватую детальку и вертел её в пальцах. Елагин уже знал, что это и есть тот самый несчастный мозжечок, на котором растёт опухоль. — Её же не видно! Мы можем только по косвенным признакам определить, догадаться, как она себя ведёт! — Он помолчал, испытующе глядя на Елагина. — Сейчас я в английском журнале прочитал, есть такое исследование, — он забормотал что-то не то по-латыни, не то на английском. — В общем, делается послойное рентгеновское изображение органа. Чёрт их знает как, но просвечивают его рентгеновским лучом, получаются поперечные срезы. Как-то там они обрабатываются математически на счётных машинах и получается изображение органа на экране. Подробностей не знаю, у нас таких аппаратов нет даже в Четвёртом Управлении и будут ли когда — неизвестно. Может, через десять лет, а может, через пятьдесят. — Он всунул зеленоватый мозжечок в муляжную голову. — Ждать нечего! Надо оперировать! Non progredi est regredi. Не идти вперёд — значит идти назад, — перевёл он из любезности.

— То есть неизвестно, растёт она или нет? — тупо переспросил Елагин.

Цехановский промолчал, сверля его коричневыми глазами.

— Я специальными инструментами войду вот так, через нос, — он, говорил, почти не глядя на макет, — пройду вот таким образом, — в руке появился неизвестно откуда взявшийся золотой карандашик, которым он вёл по разрезным внутренностям макета, — и удалю опухоль. Всё, вуаля!

— Скажите, то, что вы мне говорили о рисках, двадцать пять процентов неудач, это остаётся в силе?

— Конечно! — ответил Цехановский, как показалось Елагину, с показной бодростью. — Это сложнейшая операция. Двадцать пять процентов — цифра средняя, у меня — меньше.

— Хорошо, — мысли рождались медленно и вращались в голове, перемалывая мозг. — А что такое удачно сложившиеся обстоятельства? — Елагин слышал свой голос как бы со стороны и не узнавал его.

— Первое, это, учитывая сложность операции, пациент жив. *Melior est canis vivus Leone mortuo*. Живая собака лучше мёртвого льва, как вы понимаете. Двигательные и мыслительные способности сохранены. Возможна трудовая деятельность...

— Например? — услышал свой голос Елагин.

— Например? — Елагину показалось, что Цехановский оживился. — В прошлом году я оперировал одну, — он сделал лёгкую паузу, — одну даму, она вяжет сетки!

— Что?! — изумился Елагин.

— Что вы пугаетесь? — засмеялся профессор, всё ещё держа золотой карандашик внутри макета. — Не рыболовные сети, разумеется, а такие... знаете, женщины набрасывают сетки на голову, чтобы причёска не развалилась? И даже украшает их бисеринками, жемчужинками, — он хотел было встать из-за стола. — Я вам покажу, она мне дарила...

— Нет-нет, не надо! — удержал Елагин. — Спасибо! — И представил Лизу с недвижимым, запрокинутым лицом Офелии, вяжущую сетку. Позже это запрокинутое лицо раз за разом являлось ему. — Жизненные показания... — Он никогда не слышал, словосочетания «жизненные показания», но сейчас оно всплыло откуда-то, показалось важнейшим. — Есть ли жизненные показания?

— Вы представляете, какую ответственность берёте на себя? — Цехановский будто магнетизировал взглядом.

Елагин почему-то вспомнил на мгновение о Лизиним муже. Но Цехановский словно прочитал его мысль.

— Вчера вот здесь, на вашем месте, сидел её так называемый муж, — он презрительно сморщился. — Рыдал и падал в обморок. Едва откачали, в пору в стационар класть.

И принялся на ощупь собирать муляж, раздражённо бросив карандашик. Тот покатился к краю стола, сверкнув золотом под солнечным лучом, пробившимся сквозь модные полоски отодвигающихся штор.

«Упадёт — да, не упадёт — нет, — мелькнуло в голове. — Тьфу, что за чушь!»

Карандашик замер на краешке, качнулся, но не упал.

— По жизненным показаниям, — снова услышал свой неузнаваемый голос Елагин.

— Вы же цивилизованный человек, живёте в Москве, не в дальней деревне... — Дальше Елагин не слышал, сосредоточившись на золотом блике карандашика. — Ладно, — Цехановский хлопнул ладонью по столу, карандаш подскочил и исчез, свалился. — Вы обязаны проверять поля зрения каждую неделю, потом, если всё благополучно, каждый месяц. При изменении полей — срочно ко мне! И благодарите Борю Бейлина, это он с грузинской княжной, — хмыкнул Цехановский, — научились, как они думают, точно попадать гамма-лучом в опухоль! — И встал, давая понять, что разговор окончен. — Вы готовы? — Он внимательно, с покровительственной усмешкой знающего тайну человека, смотрел на лишившегося речи Елагина. — *Facile dictu, difficile factu*. Легко сказать, трудно сделать, хотя, знаю, вы и не любите латыни!

Проходя мимо кабинета Бейлина (доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой... до конца никогда не удавалось прочитать, какой кафедрой он заведует), Елагин, зная, что кабинет всегда заперт, бессознательно толкнул дверь. Та неожиданно отворилась. На чёрном кожаном диване, откинувшись, сидел Бейлин, у него на коленях, точнее, верхом, расположилась блондинка с роскошной голой грудью и задранным по пояс голубоватом халате.

— Пардон, — неожиданно для себя сказал Елагин, прикрыл дверь и заулыбался, припоминая рассказы Лизы о знаменитом «диване Бейлина».

Телеграмма пришла на почту. Оттуда вызвали по телефону. Елагин, оставив Лизу дочитывать Хэмовский роман «По ком звонит колокол», скручивающиеся фотографии страничек которого им дали на одну ночь, отправился на почту. «Не могли по телефону прочитать! Всё ломают европейские формальности!» Из Дома творчества пришлось идти по зимнему, заметённому по низкие окошки латвийскому посёлку Дубулты, прикрываясь от мокрой снежной замяти воротником пальто, шарфом, рукой. Телеграфистка зачем-то попросила паспорт и, не взглянув в него, протянула телеграмму: «Вчера в полночь скоростижно скончался Борис Григорьевич Цехановский».

«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоем край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Из проповеди священника и поэта Джона Донна.

Это эпиграф романа «По ком звонит колокол». До телеграммы о смерти Цехановского он казался Елагину слишком вычурным.

Глава 36

В праздники в Доме творчества всегда давали бутерброд с плевочком красной икры, какао и невкусные плюшки, которые обожал Морозов.

— Если вы не возражаете, — он взял принесённую Елагину плюшку и зажевал с видимым удовольствием. — Понимаете, из ихних праздников надо научиться извлекать хоть что-то. Понимаете, Симплициссиус многому меня научил. Это ведь не просто жизнеописание редкостного бродяги и ваганта, но... — Морозов раскланялся с кем-то, появившимся за спиной Елагина, и тут же фыркнул: — Шут гороховый! Впрочем, надеть шутовской колпак, как и Симплициссиус, это решение умных людей...

Дальше слушать эту утреннюю порцию средневековой мудрости было невозможно. «Простите, пойду работать!» — и уже можно постоять с сигаретой на крыльце столовки.

Праздничный флаг отяжелел от дождя, висел неподвижной тряпкой. Даже сигареты, казалось, отмокли. Жаль, нет зонтика, а ведь хотел захватить. Однако, лучше под сеющий дождик, чем стоять вот тут, слыша марши со второго этажа от телевизора и выкрики-лозунги по случаю очередной годовщины Великого Октября. Наверху писатели смотрели военный парад и демонстрацию.

Дождик, кажется, перестал, утих. Далеко в стороне залива виделся даже проблеск ноябрьского солнца. Но Елагин вдруг ощутил такой приступ тоски и одиночества, что даже сам испугался. Что я? Кто? Что здесь делаю? Кто смотрит в спину? Так было с ним только однажды в детстве. Он шёл, спешил по лесу, кажется, тоже сыпал дождичек, едва осязаемый в старом, разлапистом лесу. Разве что листья черничника и дурмана, вылезшие на узкую тропинку, пропитались водой, и первые «взрослые» длинные брюки стали мокрыми по колено. На голове криво сидела вымокшая с одного края пилотка, сложенная из газеты. Она сползала на глаза, мешала идти. Осталось совсем немного: свернуть влево, потом вниз по тропинке к ручью, через него, там две жёрдочки, и вверх... Елагин поправил мокрую пилотку, вытер тыльной стороной руки глаза и — перед ним распахнулось невиданное прежде пространство. Высоченный обрыв, чёрная, извилистая змея реки внизу, плоский, исчезающий в тумане берег и наклонившиеся к нему, как бывает только в кино, почти падающие толстенные стволы сосен. Елагин перехватил ведёрко, полное черники, два боровичка вывалились из него, и вдруг почувствовал страх одиночества: он был один в незнакомом туманном и чужом лесу, один, брошенный или затерявшийся, но один... Страх так поразил, что Елагин, глядя как дрожит рука, медленно нагнулся, потянулся к грибок, выпавшим на травяную мелочь — они вроде бы возвращали исчезнувшую реальность, — и повернулся спиной к обрыву, так манившему страшной высотой. Ещё шаг, другой, канавка, третий — и дальше туманная пропасть с чёрной водой внизу. Нет, нет, от обрыва! Шагнул дважды и вдруг узнал это место! Как, как он сюда попал, где свернул не на ту тропинку, он, который знал этот лес как... как свой Некрасовский садик... Страх исчез разом, осталась только холодная пустота внутри. Холодная пустота, поселившаяся на многие годы, пустота одиночества и ломкого изменившегося пространства. Так бывает только во сне. Но черника, два боровичка, — нет, никакой это не сон!

Елагин ступил с крыльца столовой и зашагал к калитке Дома творчества мимо поседевших от дождевой пыли ёлок и мокрого выцветшего флага, вывешенного на административном здании.

Приглушённая дождём, прошумела электричка. Холодная тоска и страх, поселившийся в теле, погнали его налево, по мокрому, в масляных пятнах, асфальту. В сторону Зеленогорска. Страх принялся диктовать мозгу. Это отвратительно.

Лучше уж считать шаги. Сколько шагов от одного электрического столба до другого? Говорят, сто метров. А шагов? Получается в одном случае больше, в другом — меньше. Неровные шаги? Или неточное расстояние между столбами? Надо проверить! Хоть сто раз проверить, чтобы шагами, счётом (раз-два, раз-два) раздавить этот омерзительный, животный страх.

— Простите, — вдруг услышал Елагин и резко обернулся. Его незаметно и неслышно догнал высокий, слегка сутулящийся человек в куртке с капюшоном. — Простите, в Зеленогорск я правильно иду? В сторону Зеленогорска? Или надо, наоборот, назад?

«Идиотский вопрос!» — ёкнуло сердце. Но Елагин заставил себя взглянуть на догнавшего его человека. Лицо показалось странно знакомым. Так бывает во сне — страх не отпускал его, — когда силишься узнать, с кем разговариваешь, видишь знакомые черты, даже слышишь известные словечки, но кто это?

Незнакомец откинул капюшон и улыбнулся. Улыбка тоже была знакомой.

— Я в доме отдыха ВТО остановился, — улыбаясь, сказал он, — надобно срочно позвонить в Москву, а там ни черта телефон не работает! Сказали, только в Зеленогорске. Вот и пошёл, — говорят, пять километров. Чепуха!

Только тут Елагин узнал улыбку. Уф-ф, отпустило разом! Это же актёр знаменитый, Смоктуновский!

— Добрый день! — Елагин с облегчением улыбнулся. — Правильно, правильно! До Зеленогорска примерно пять километров!

— Я вам не помешаю, если рядом потопаю? Вдвоём как-то веселее! Знаете, привыкаешь быть на людях постоянно, а тут остался неожиданно один на дороге, да погода ещё такая, дождь — не дождь, меня в такую слякотную пору всегда тоска достаёт...

— Я понимаю, — сказал Елагин. Актёр сразу стал ближе. — Я сам... я сам... — Почему-то захотелось рассказать о страхе. — Я вот тоже вышел прогуляться... Иду в Зеленогорск позвонить жене.

— Полное совпадение интересов! Я тоже позвонить, и тоже жене, — актёр говорил уже своим, узнаваемым, голосом. — А вы местный?

— Частично, — отозвался Елагин. — Я в Доме творчества писателей живу. Останавливаюсь то есть! — Некоторое смущение не проходило.

— А-а, — будто бы обрадовался Смоктуновский, — вы писатель? — И протянул руку. — Иннокентий Михалыч. А вы? Очень приятно! — Пожатие было крепким и искренним. — Я всегда дико завидовал писателям! Какое счастье сидеть в кабинете одному, писать что-то... Вы знаете, я когда работал над Евгением Онегиным, записывал на радио, чуть не впервые увидел рисунки Пушкина. То есть видел раньше, конечно, но не всматривался. А тут вижу — гениальные рисунки! И сразу тоска меня: вот так бы сидеть в кабинете, черкать что-нибудь на бумаге, думать, мечтать, — ах, какое счастье! Не надо каждый раз дрожать, тащить себя на сцену... Бррр... — Он забавно, по-собачьи, встряхнулся.

Елагин улыбнулся, разглядывая актёра.

— Хотя говорят, — Смоктуновский отбросил капюшон, — тоже есть какой-то страх чистого листа. Это правда?

— Конечно, — кивнул Елагин. — Страхов полно. Даже фобий.

— Меня всегда занимает, — актёр оживился, с интересом поглядывая на Елагина, — как в голову приходит идея? Вот сидит-сидит человек и вдруг — дай-ка я напишу про... ну про что-то! Ведь, говорят, уже всё написано, всего двадцать четыре сюжета в мировой литературе. И вдруг — новое что-то писать? Это же чудо! Только что ничего не было, мысли какие-то, их ведь и материальными назвать нельзя, крутились в голове и вдруг — что-то уже на бумаге! Мысль материализовалась! Это «что-то» уже есть

в природе! Видно, не зря про писателей говорят «творец», а? Ни про кого не говорят, а вот про писателей...

— Идеи по-разному приходят, — сказал Елагин, перекрывая шум летящей вдоль шоссе электрички.

И неожиданно для себя принялся рассказывать о своём пребывании в Суханово, об Иване Сергеевиче, бывшем слуге тюрьмы, о страшных камерах, пытках, свидетелем которых был «тёзка Тургенева, что по хозяйственной части», о том, как неожиданно прострелила мысль: об этом надо написать. О тиране. Откуда, почему именно в России, как многомиллионный народ терпел...

— И терпит, терпит, — перебил его Смоктуновский, — уверяю вас, терпит и будет терпеть! — Он закурил, спрятав в ладонях огонёк зажигалки. — Знаете, есть такой гениальный писатель Домбровский? Да, даже знакомы? У него превосходные стихи, а вот одно стихотворение так меня поразило, что я его выучил наизусть! Простите, — вдруг остановился Смоктуновский, — я вам не надоел болтовнёй? Это такая актёрская болезнь. Может, вы вышли сосредоточиться, а тут я с турусами... Нет? Я очень рад! — Он зашагал потише, размереннее, как бы настраиваясь на ритм стихотворения. — Называется «Змея». Я его, кажется, в книжке не встречал, мне его передала жена Домбровского Клара. Не знакомы? Ах вот как! Ну, так она не обязательно должна вам нравиться, важно, чтобы ему... — Он сделал паузу. — Змея. Юрий Домбровский.

Когда-нибудь увижу я,
 Как из седого океана,
 Крутясь, поднимется змея
 И встанет, изгибаясь пьяно,
 Как гривой рыжею махнёт,
 Зевая с чоканьем глубоким,
 И в буре потрясённых вод
 Лиловой молнией блеснёт
 Её разгневанное око.
 Её тугая чешуя
 В мельчайшем бисерном мерцаньи,
 Блеснёт на материк, струя
 Цвет, не имеющий названья.
 И волн крутой водоворот
 Вокруг змеи начнёт крутиться,
 И океанский пароход
 В далёкой бухте загорится.
 Она дохнёт — и чайка вмиг
 Падёт, сгорев до самой кожи,
 Под раздвоившийся язык,
 На острие копья похожий.
 Она взглянёт туда-сюда,
 Раздует горло, словно кочет.
 И разъярённая вода,
 Хватая камни, заклокочет.
 И не поймёшь в тот миг, в тот срок,
 Змея ли смотрит исподлобья
 Иль небо хлынуло в песок,
 А чёрт нашёл своё подобье.
 Но гибнут, гибнут корабли,
 Как бабочки в кипящей влаге,
 И на другой конец земли
 Несёт их вымокшие флаги.
 И океан, кидаясь ввысь,
 Шлёт на борьбу своих чудовищ,
 Моля змею: «Остановись!»
 Да разве чёрта остановишь?

То изгибаясь, как шаман,
 То превращённая в прямую,
 Она обходит океан,
 Вся изгибаясь и танцуя.
 И где бы ни прошла она,
 Горя в своём величьи яром,
 Везде и камень, и волна
 Становятся багровым паром.
 Но всё конец имеет свой,
 И то особенно, что плохо,
 Змея ложится под водой
 На всю грядущую эпоху.
 Горит и гаснет чешуя
 В траве подводной и высокой.
 И спит усталая змея
 Опять до наступленья срока.
 Спи ж, спи до будущих времён,
 Пока в надзвёздной диктатуре
 Не будет вынесен Закон
 О новом наступленьи бури.

Елагин заметил, что голос актёра, когда он читал стихотворение, изменился. Стал похож на тот, знакомый, ласково-завораживающий актёрский голос, которым Смоктуновский читал «Евгения Онегина».

— Блеск, правда? — Он снова прикурил погасшую было сигарету. — Заметьте, стихотворение написано в 1940 году! Вот и говорите, что среди писателей и поэтов нет провидцев!

Мимо них, обгоняя, проехала машина, притормозила, кто-то высунулся из водительской двери и помахал рукой.

— Иннокентий Михалыч, присоединяйтесь к нам!

— Благодарствую, благодарствую! — с лёгким поклонцем прокричал в ответ Смоктуновский. — У нас тут моцион, поправляем здоровье!

Машина фыркнула и ушла, повесив в сыром воздухе клочок дыма.

— Надо бы вам по вашей теме, — сказал актёр после довольно долгой паузы, — по-настоящему-то в архивах поработать! — Он заулыбался. — Это я так, от образованности! Я ведь в архивах-то никогда не был и не буду, Бог даст! Хотя и не был, а боюсь их! Какая-то там мертвечина, как думаете?

— Я пока что просто собираю материалы, воспоминания. Живых ещё, слава Богу, много — свидетелей.

Тётя Е.П.Пешкова!

Я к вам обращаюсь с великой просьбой. Нашего отца выслали. Мама совершенно больна. У неё 3-я стадия туберкулёза, она лежит в больнице. Доктора говорят, что если ей дать питание, то она может ещё немного прожить. Но она не служит, и о питании не может быть и разговора.

Нас двое, я и сестричка. Мне 12 лет, а сестренке 9 лет. Мы, пока мама придёт из больницы, живём у соседей. У нас никаких родственников нет. Была одна тётя, папина сестра, которая нам хоть немножко помогала, но её тоже выслали. Мама может умереть, и мы остаёмся на произвол судьбы. Папа нас взять не может, потому что он в концлагере. Умоляем вас, помогите нам.

Наш папа после революции был красным командиром в Харькове, в школе червоних старшин, потом служил. Аристовали его 17 октября 1930 г., а выслали 9 апреля 1931 г. в Киеве. Выслали совершенно не ожидано без объявления приговора в концлагерь, его адрес сейчас Уральская область, Красно-Вышерск. Лагерь — 6 рота ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

А тётю аристовали тоже в Киеве и выслали на вольную высылку на 3 года, адريس Коми область, Усть-Кулом.

Умоляем вас как либо помочь нам чтобы папа смог взять нас к себе.

Ляля и Галя Добровольские,

наш адрес г. Киев, Андреевская ул. 11, кв. 1.

26 мая 1931 г.

— А хотите, я вам в книгу матерьяла добавлю? Тоже воспоминания. Мои. А могу, — Смоктуновский пригасил сигарету и сунул её в карман, — из рассказов моего друга, поэта Кугультинова, что-нибудь вспомнить. Он мне как-то говорил, что занесло его, не помню уж как, в детский концлагерь. Вы знали, что были такие? Нет? Вот и он не знал. «Переступил порог, — это он рассказывает, — а там дети. Огромное количество детей лет до шести. В маленьких телогреечках, в маленьких ватных брючках. И номера — на спине и на груди. Как у заключённых. Это, оказалось, номера их матерей. Дети, представьте, привыкли видеть возле себя только женщин, но слышали, что есть папы, мужчины. И вот подбежали ко мне, голосят: “Папа, папочка”. Это самое страшное — когда дети с номерами. А на бараках: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”...» — Он мне сказал, — криво улыбнулся Смоктуновский, — что, выйдя из детского лагеря, он вдруг в Бога поверил. Бывает так? Елагин пожал плечами.

— А Кугультинов рассказывал, что вышел за ворота, за проходную, и неожиданно для себя креститься начал! И уверовал! Причём почему-то не в Будду, он ведь калмык, а именно в Иисуса Христа! Верите? — И внимательно, нагнувшись, заглянул Елагину в глаза. — Я-то, может, и жив только потому, что верую в Господа, — он вытащил сигарету, но не стал прикуривать. — Я через все тяготы войны прошёл, когда со мной... ну, только смерти не было, она просто случайно мимо прошла. Он, Бог то есть, наверное, берёт меня для каких-то маленьких моих свершений... До войны я жил у тётки, мне было шесть лет, и вот в какой-то праздник она дала мне тридцать рублей: «Пойди в церковь, отдай на храм». Тридцать рублей! Я помню, они были такие длинные, красненькие. А мороженое, которое я так любил, стоило двадцать копеек. На эти деньги года полтора можно есть мороженое! Нет, не отдам я тридцать рублей каким-то тёткам и дядям в храме. Я уже принял решение: оставлю деньги себе, а тётке скажу, что отнёс. И тем не менее почему-то всё равно иду к храму. Сам не понимаю, как с зажатым кулаком оказался около церкви. Зашёл внутрь, там так красиво, я стою весь разомлевший, а потом легко подхожу к служителю, я ещё думал, как к нему подойти с деньгами, и говорю: «Возьмите на храм, возьмите, пожалуйста...» Вот и сейчас я убеждён, что это Господь меня испытывал. С той поры я понял, что Кто-то на Небе поверил в меня. Если бы тогда я не отдал эти деньги, я не смог бы пройти ни войну, ни плен, ни тюрьму.

Он закурил, наконец, и некоторое время шли молча.

— Так что пишете, — проговорил Смоктуновский. — Тут важно, насколько книга будет настоящей.

— Вы уверены, что кто-то её будет читать?

— Знаете, — Смоктуновский взял Елагина под руку, приблизил лицо и вдруг стал похожим на Гамлета, каким он был в картине Козинцева. — Знаете, актёрская голова — это такая помойка, там свалено всякое: тексты из пьес, реплики, байки, обрывки читанного когда-то... Так вот, кто-то из умных людей, не помню уже кто, сказал. Или написал, что безразлично. Важно — что. «Жить, — это великий сказал, — значит вспоминать, жизнь есть воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идём, оборотив лицо назад, и всё видим, вспоминая себя в прошлом». Вот, так помогите нам идти лицом вперёд, — он засмеялся не по-гамлетовски. — Или хотя бы, чтобы мы думали, что идём вперёд по-человечески!

Машина, обгонявшая их, теперь уже шла навстречу. Притормозила, из приоткрытых дверей выглянула поразительно красивая женщина с актёрским узнаваемым лицом.

— Кеша, — сказала она не без кокетства, — но мы же вас ждём! И телефон уже включился, заработал!

— А-а, да-да, — спохватился Смоктуновский, — мы тут заболтались! — И повернулся к Елагину, протягивая руку. — Я вам желаю успеха! От души! — Он пожал руку, отворил заднюю дверцу машины и забрался внутрь, пристраивая длинные ноги. Машина тронулась, но он распахнул дверцу и крикнул, развернувшись уже назад, к Елагину: — Я желаю вам успеха! И хочу идти лицом вперёд!

Елагин махнул ему рукой и оглянулся. Слева накатывался на него грузовик с мокрыми флагами и портретами в кузове. Портреты охапкой держал человек в куртке с поднятым воротником. Видимо, в прячущемся в белёсо-прозрачном тумане Зеленогорске закончилась демонстрация, и теперь праздничный реквизит отвозили на хранение. До будущих торжеств. На единственном портрете, повёрнутом лицом к Елагину, был изображён маршал, которого Елагин встретил возле кабинета доктора Цехановского. Портрет промок с одной стороны, и казалось, что маршал плачет. Елагин не очень к месту вспомнил, зачем старенькие генералы приходили на поклон к Цехановскому. На этом (что было несправедливо), утверждала Лиза, строилась и особая независимость заведующего «Хиросимой» в госпитале. Цехановский, опять же со слов Лизы, делал почтенным генералам чудодейственные уколы, после которых те день-другой чувствовали себя большими молодцами и даже (всё та же Елизавета) «сексуальными бандитами». Грузовик с портретами затрясся на выбоинах, потом, утробно урча, набрал скорость. Показалось, что плачущий маршал, выбившись из охапки, издала приятельски кивает Елагину. Евтушенко как-то на писательском вечере читал стихотворение (поэму?), которое тогда показалось Елагину слабым. Но заканчивалось оно пророчески:

А куда деваются столькие убийцы,
А они деваются в добрые дедушки.

Глава 37

«Красная стрела» (особый шик!) всегда подплывала к платформе ровно в восемь. Проводник вытащил из вагона нетяжёлый чемодан, подал руку, и на платформу выскочила, улыбаясь, Лиза. За ней появился слегка заспанный мальчик, одетый в серое пальто и английское кепи. Он был похож на маленького лорда Фаунтлероя.

— Вот всё наше имущество, — Лиза приложила душой щекой к Елагину, — не испугаем?

— Не бойтесь, — важно сказал маленький лорд Фаунтлерой, — у нас ещё целый ящик картонный вещей. Там ваша (подарок Елагина) железная дорога. Я раздобыл... — он оглянулся на маму, — мама подарила мне несколько вагонов и целую станцию со светофором. Теперь можно сделать дополнительные рельсы и переводить стрелки.

Они пошли по платформе, держась за руки. Возле елагинского жигулёнка остановились, и, пока Елагин открывал ключом дверцы, маленький лорд внимательно осмотрел машину, поправил кепи и задумчиво сказал:

— Это третья модель. Говорят, «трёшка» самая лучшая машина.

— У меня была первая модель, «копейка», — поддержал мужской разговор Елагин, — но я её поменял на «трёшку».

— Эта лучше?

— Не знаю, просто я ту разбил, попал в аварию! — Елагин распахнул заднюю дверцу. — Прошу, дамы и господа!

— А на переднее сиденье можно?

— Конечно! — Елагин сел, ощущая лёгкое дыхание Лизы за спиной.

До Некрасовской от Московского вокзала рукой подать. На подъезде к нелепейшему зданию концертного зала Елагин сказал:

— На месте этого монстра ещё недавно стояла единственная в Питере греческая церковь. Дмитрия Солунского. И был здесь дивный садик со старыми, екатерининскими ещё липами.

Он посмотрел в зеркало на Лизу, и она положила руку ему на плечо. Значит, и она помнит, как они сидели в этом садике. Лиза плакала и говорила, что не может уйти от Манделя. Он псих, он обещал броситься в пролёт, он на всё готов... Они целовались, Елагин помнил вкус слёз на её щеках.

— А зачем её сломали? — спросил лорд Фаунтлерой.

— Так мало стало греков в Ленинграде, — засмеялась Лиза.

— Правда мало?

— Это такое стихотворение у Бродского есть.

— «Остановка в пустыне» называется, — поддержал её Елагин. — Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, — Елагин притормозил возле концертного зала. — Дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное...

К машине подошёл молоденький милиционер и откозырял.

— В чём проблема? Почему остановились? — он старался быть строгим.

— Изучаем новейшую архитектуру Ленинграда, — нелюбезно сказал Елагин. — А что, нельзя?

— Можно, — сказал милиционер, чувствуя нелюбезность, — позвольте ваши права! — И стал пристально вглядываться в серо-розовую книжечку с талоном предупреждений в ней. Предупреждений не было. Милиционер вздохнул разочарованно и вернул права. — Стоять можно, — повторил он, — но незачем!

На подъезде к 60-му дому маленький лорд разочарованно сказал:

— Это всё, уже приехали? — И повернулся к матери. — А я тебе не поверил, что Ленинград маленький город!

— Хочешь прокатиться?

Лорд кивнул.

Елагин лихо развернулся.

— Это улица Некрасова, потом покажу дом, где он жил. Раньше называлась Бассейная. Вот там, вместо садика, возле которого мы развернулись, когда-то был большой пруд, питавший фонтаны Летнего сада! А вот там, — Елагин махнул рукой, — когда-то жил Маяковский. Жил, правда, недолго...

— Умер? — сочувственно спросил маленький лорд. — Как бабушка?

— Нет, — засмеялась Лиза, — просто переехал в Москву.

— Вон видишь на углу трёхэтажный дом? Светленький? Вот в нём и жил Некрасов. А сейчас повернём на Литейный. — Они свернули под светофор. — Видишь напротив дом с кариатидами? А теперь вспоминай: «Вот парадный подъезд по торжественным дням, одержимый холопским недугом...»

— «...Целый город с каким-то испугом», — неуверенно подхватил маленький лорд Фаунтлерой...

— Вот сюда, к этому дому, приходили просители. Здесь когда-то был департамент уделов.

— А что это такое?

— Бес его знает, честно говоря, — признался Елагин, — что-то связанное с землёй.

Так началась их первая большущая прогулка по Ленинграду. Маленький лорд был поражён Невой, городом, но больше всего... нет, не домом Кутузова, откуда он

ушёл на войну 1812 года, не решёткой Летнего сада, возле которой они ехали не спеша, а двумя крутобокими мостиками на набережной возле Летнего. Он, стесняясь, посмотрел на мать, потом на Елагина и попросил:

— А можно побыстрее по этим мостикам проехать?

— Можно! — тут же понял его Елагин, сам любивший этот фокус.

И тут же, развернувшись, они пролетели по ним на скорости так, что жигулёнок оторвался от грешной земли и секунду-другую парил в воздухе!

— Мама, — лорд был в восторге, — а можно ещё?

— Можно! — Сердце её замирало во время полёта. — Спроси... — она вдруг поперхнулась. Всё время, пока они ехали в поезде, она называла Елагина папой, но сейчас вдруг осеклась. — Спроси у папы! — пересилила она себя.

Они прыгнули ещё несколько раз, пока не унялся восторг полёта.

— А мы съездим ещё на мостики? — спросил Елагина маленький лорд, укладываясь спать на диване.

— Конечно!

Он взял руку Елагина в свои тёплые и мягкие руки и прижался к ней щекой.

— Можно я спрошу тебя один вопрос?

— «Задам вопрос», — механически поправил его Елагин.

— Можно задам? — он прижимался щекой к руке и не смотрел на Елагина. — Ты мой настоящий папа? Навсегда?

Утром, когда маленького лорда отправили умываться, Лиза, расставляя тарелки на столе, сказала:

— Ты ему ужасно понравился, поздравляю! — Она помолчала. — Тебя и себя!

— Чем же? — Елагин обнял её сзади.

— Ты очень красиво рассказываешь про город и знаешь много стихов! — От сухих волос пахло теплом и ромашками. — И ещё, — теперь ты наш папа. Навсегда. Только у тебя очень маленькая квартира, не то что у нас в Москве. Негде даже будет поставить дедушкин шкаф с книгами! Он любит книги папы, дедушки Миши. Хочет стать, как он, физиком.

Глава 38

В фойе ЦДЛ, Центрального дома литераторов, установили брезентовую, как бы военную, палатку. Считалось, что каждый писатель-фронтовик, пройдя через палатку и приняв там халявные (они же боевые) сто граммов и закусив ложкой гречневой каши с мясными консервами, расслабится, разнюнится, завспоминает славное своё прошлое и не будет лезть в ссоры с нынешними врагами, литературными, разумеется. Как это водится у писателей.

Писатели выпивали, проходили к мраморной лестнице, сбивались в кучки возле книжного киоска, вокруг известных фигур, дымили возле туалетов, смеялись, обнимались, трясли седыми бородами, сверкали в сиянии полного света люстр лысыми и потихоньку продвигались в сторону ресторанный зала, уставленного столами с праздничной снедью. Маленький оркестрик во втором фойе не без лихости наяривал военные марши. «Прощание славянки» играли уже раз пять-шесть, вызывая неизменные слёзы на глазах почтенных ветеранов. А что, где и прослезиться, как не среди своих?

Заскрипели и утихли отодвигаемые стулья, унялся первый застольный шумок, отговорили положенные слова секретари Союза писателей, по рангу рассеявшиеся за особым столом, пожелали всего, чего по рангу каждому полагалось, посетовали-поскорбели, объявив минуту молчания, о тех, кого нет с нами, тосты от общих стали местными, кто до кого мог дотянуться рюмкой, дамы старались положить закуску

мужьям, пока водочка их не достала, а оркестр временно свернул свои ноты. До поры. Вдруг писателям захочется потанцевать? Есть ещё и среди ветеранов лихие люди!

— Есть предложение, — стучит вилкой по тарелке кто-то из секретарей, — давайте прочитаем стихи о войне, вспомним друзей ушедших, нашу юность, опалённую...

В ответ шум, смех, перезвон рюмок.

— Межиров, Межиров хочет читать! — перекрикивает шум кто-то. — Александр Петрович, просим!

— Почему я?

Под аплодисмент поднимается Межиров. Он красив, благородно сед, статен, светло-коричневый замшевый пиджак не иначе как из Парижа.

— За юбилей!

— Саша, Александр Петрович, о войне, как ты умеешь!

— Я о войне не умею, и не люблю, — Межиров закидывает назад голову, прикрыв глаза. — Я о любви, — он тяжело вздохнул, набрав воздух, как перед прыжком в воду.

Нам котелками
нынче служат миски,
Мы обживаем этот мир земной,
И почему-то проживаем в Минске,
И осень хочет сделаться зимой.

Друг друга с опереттою знакомим,
И грустно смотрит капитан Луконин.
Поклонником я был.
Мне страшно было.
Актрисы раскурили всю махорку.
Шёл дождь.
Он пробирался на галёрку,
И первого любовника знобило.

Мы жили в Минске муторно и звонко
И пили спирт, водой не разбавляя.
И нами верховодила девчонка,
Беспечная, красивая и злая.

Гуляя с ней по городскому саду,
К друг другу мы её не ревновали.
Размазывая тёмную помаду,
По очереди в губы целовали.

Наш бедный стол
всегда бывал опрятен —
И, вероятно, только потому,
Что чистый спирт не оставляет пятен.
Так воздадим же должное ему!

Ещё война бандеровской гранатой
Влетала в полуночное окно,
Но где-то рядом, на постели смятой,
Спала девчонка
нежно и грешно.

Она недолго верность нам хранила,
— Поцеловала, встала и ушла.
Но перед этим
что-то объяснила
И в чём-то разобраться помогла.

Как раненых выносит с поля боя
Весёлая сестра из-под огня,
Так из войны, пожертвовав собою,
Она в ту осень вынесла меня.

И потому,
однажды вспомнив это,
Мы станем пить у шумного стола
За балерину из кордебалета,
Которая по жизни нас вела.

Межиров читал, со страстью пробиваясь через собственное заиканье, шумок за столом, перестук и звяканье вилок и рюмок.

— Bravo, Саша! Bravo, ещё! «Ветровое стекло», Саша!

Межиров налил в стакан газировки, медленно выпил, в наступившей тишине слышен был каждый глоток, поставил стакан на стол, обвёл невидящими глазами зал. И стал почему-то похож на большую больную птицу, случайно залетевшую сюда, в этот писательский вертеп, как он сам называл ЦДЛ.

— Проснуться в восемь, — начал он, сразу забыв о тех, кто рядом с ним, —

И глядеть в окно.
Весна иль осень —
Это всё равно.

Лишь только б мимо,
Всюду и всегда,
В порывах дыма
Мчались поезда.

А лучше нету
Доли кочевой —
По белу свету
В тряской грузовой.

Чтоб ливень, воя,
Падал тяжело
На ветровое
Мокрое стекло.

Я жил собой
И всеми вами жил,
Бросался в бой
И плакал у могил.

А время шло,
Мужая и борясь,
И на стекло
Отбрасывало грязь.

Я рукавом
Стирал её во мгле
На ветровом
Исхлёстанном стекле.

Я так люблю
Дорогу узнавать,
Припав к рулю,
О многом забывать!

В метель, в грозу,
Лишь руку подыми,
Я подвезу —
Бесплатно — чёрт возьми!

Тебя бесплатно
Подвезти клянусь,
Зато обратно
Больше не вернусь.

Всегда вдвоём,
Довольные судьбой,
Мы не даём
Покоя нам с тобой.

И смотрят двое
Весело и зло
Сквозь ветровое
Грязное стекло.

— Александр Петрович, «Коммунисты, вперёд!», попросим, товарищи, — поднялся, обращаясь к залу на правах ведущего и, начальственно прихлопывая ладонями, секретарь Союза Грибачёв.

— Н-николай Матвеевич, — повернулся Межиров к литературному генералу, — я это стихотворение публично давно не читаю!

— А напрасно, — отблеск ресторанных люстр затейливо играл на вспотевшей лысине, — я своих патриотических стихов не стесняюсь и не забываю!

— Я т-тоже! — ответил Межиров и сел.

Неловкость замяли. И принялись читать и читать фронтовые поэты: Борис Слуцкий, Алик Ревич, Давид Самойлов, питерский поэт-танкист Сергей Орлов со своим знаменитым:

В танке холодно и тесно.
Сыплет в щели снег пурга.
Ходит в танке тесном песня
Возле самого врага.

Крутит мёрзлыми руками
Ручки круглые радист.
Из Москвы, должно быть, самой
Звуки песни донеслись —

Через свист и вой снарядов,
Через вёрст несчётных тьму.
В песне той живёт отрада
Во высоком терему...

Хороша та сказка-песня,
Но взгрустнул водитель наш:
«К милой я ходил на Невский,
На шестой, друзья, этаж...»

Писатели, рассаженные кем-то и по какому-то принципу, переместились, сбились в группы, где-то читали стихи, где-то едва слышно и фальшиво напевали, травили фронтовые байки, смеялись... Играл-поигрывал оркестрик, стараясь не греметь особо. Кое-кто даже принялся танцевать, по-старомодному придерживая пальчиком даму за талию, Пока вдруг не раздался громкий стук ножом по блюду.

— Внимание, товарищи, минутку внимания! К нам, товарищи, пришёл Владимир Алексеевич Солоухин! Поприветствуем его!

Шумное застолье на минуту отвлеклось, вяло хлопнуло пару раз и снова загудело.

— Товарищи дорогие, — сильно окая, «по-владимирски», — заговорил Солоухин, привычно перекрывая шумок, — я пришёл от души поздравить и поприветствовать вас с праздником нашей общей Победы, Великой Победы, товарищи! Мне самому повоевать не пришлось, с 42-го служил в полку кремлёвской охраны, но нет семьи, товарищи...

— А как в кремлёвской охране сиделось-то? — крикнул кто-то. — Как с харчами было?

— Служилось, грех жаловаться, — понимающе улыбнулся Солоухин — фронтовики, что возьмёшь, — но большого мёду не было! Это уж мне поверьте!

— Сталину руку не жал?

— Жать не жал, но издали видать приходилось! — Солоухин приосанился и посуровел лицом. — Потому-то и предлагаю налить по полной и поднять тост за вдохновителя и организатора всех наших побед генералиссимуса товарища Сталина!

Зал замер от неожиданности, слышно стало, как в глубине, где-то в районе кухни, негромко переговариваются официанты. Послышалось: «Что, что он сказал? За Сталина? С ума он спятил?»

Вдруг из-за стола неподалёку от столика секретариата поднялся Николай Михайловский и, опираясь на палку, подошёл к Солоухину.

— Мы знали, — громко и внятно сказал Михайловский, — за вами много талантов. И поэт, и прозаик, и публицист... — Солоухин с лёгкой улыбкой смущения смотрел на старого фронтовика. — ...И редактор, член редколлегии всесоюзного журнала... — Солоухин слегка, совсем чуть-чуть поклонился в его сторону. — ...Но сегодня вы открыли нам ещё один свой талант! Вы — провокатор! И немедленно выйдите отсюда, пока вас, провокатора, не вытолкали взащей!

Зал, только что замерший в растерянности, взорвался вдруг криками, аплодисментами, несколько человек выскочили из-за стола с криками: «Пошёл вон отсюда! Вон отсюда, провокатор!»

— Товарищи, товарищи, Владимир Алексеевич пришёл поздравить...

Грибачёва уже никто не слушал.

— Солоухин, вон отсюда! Долой!

И вяло сопротивлявшегося провокатора старички общими усилиями вытолкали за дверь.

Сергей Орлов, знакомый с Михайловским ещё по ленинградской блокаде, обнял его, прижавшись обгорелым лицом к плечу Михайловского.

— Коля, Коляша, дружище, самое нужное слово нашёл! Самый точный выстрел, Коляшка! В десятку! Прямой наводкой!

Через несколько дней после 9 мая, дня рождения и скандала в ЦДЛ, Николая Григорьевича Михайловского и настиг первый инфаркт. Но ещё раньше был звонок из «Совписа». Печальный голос редактора сообщил, что договор с Н.Г.Михайловским на издание «Избранного» расторгается «в связи с корректировкой планов».

— «Изданное» моё сорвалось, — невесело шутил Михайловский. — Может, оно и к лучшему? Денег не будет, это знаете, как говорится: «Не жили богато, нечего и привыкать!» Зато Алик Ревич придумал мне прозвище. «Самый правдивый из всех лежцов о войне». Вот только прозвище это или звание, не пойму?

Глава 39

Под дверью кто-то поскрёбся. Елагин быстро сложил бумаги в чемоданчик, сунул его под кровать и осторожно подошёл к двери. Определённо там кто-то стоял. Елагин резко распахнул дверь, стараясь рассмотреть, кто же там?

Прикрываясь рукой от света, стоял Виктор Андроникович Мануйлов.

— Константин Константиныч, я рад, что дверью-то не ошибся, — он замер на пороге, держа руку возле лба. — Темнотища в коридоре, хоть глаз коли. Лампочка перегорела, что ли? — Мануйлов, шурясь, сделал шаг в комнату. — Я ведь к вам с приглашением. У меня нынче гости соберутся, якобы по случаю моего рождения. Приходите, голубчик, эдак через часок. Компания вся вам известная: Сергей Владимирович Петров, да Михал Иванович Стеблин-Каменский, да Друскин Яков Семёныч, дружок наш общий, но тем и интереснее будет. А там, глядишь, и ещё кто подойдёт! Ванечка Стеблин-Каменский обещался, — Мануйлов неуклюже повернулся и потопал в темноту, бормоча: — Чёрт знает что! Темнотища, тьма египетская!

Пока Елагин сбегал в магазинчик на станцию за коньяком, а что ещё можно придумать к встрече такой честной компании, в комнатухе Мануйлова почти все уже собрались. Сергея Владимировича Петрова посадили возле окна: он дымил непрерывно. Остальные расположились кто где.

— Сергей Владимирович, — продолжил разговор вечно печальный (по Петрову) Друскин, — а как же вы, я не понял, на станцию Спиrosso попали? Это ж Тверская губерния, как я понимаю, от Ачинска край не ближний?

— Михал Иванович, — розовенький, слегка уже клюкнувший Мануйлов указал на свеженькие бутылки коньяка, — раз уж взялись быть виночерпием, разливайте! — сам он сидел на кровати, повыше других и дотянуться до стола не мог.

Стеблин-Каменский послушно принялся за коньяк.

— Это же моя любимая история, — обрадовался Петров. — Была у меня в Ачинской железнодорожной школе ученица одна...

— Я замечу, — вставил Стеблин-Каменский, — у Серёжи все истории начинаются с этой фразы!

— Поди завидки берут? — хихикнул Мануйлов.

— Да, одна ученица, — не смутился Петров, — довольно пухленькая, что по тем временам редкость!

— Продавщица? — невинно поинтересовался Стеблин-Каменский. — У Сергея к продавщицам всегда тайная страстишка была.

— Вообще нет, — весело попыхивал сигареткой Петров, — машинистка в горотделе ГПУ, видная такая особа. А училась в вечерней школе. И только закончился урок, ещё из класса выйти толком не успели, она ко мне подходит и шепотком, завлекательно так, почти на ушко говорит: «Сергей Владимирович, я сегодня списки печатала, вы там есть!» Понятное дело, тут объяснять не надо, что за списки в ГПУ. Но я сдуру, от растерянности, спрашиваю: «А что за списки?» Она так вот ручкой, — Петров провёл рукой под подбородком, как бы отрезая голову, — и в сторону. А у меня ещё урок в школе! Что делать? Я опять к ней, мол, что делать? Она пальчиками, — он пошевелил пальцами, изображая бегущие ноги, — сделала и в сторону.

Все, поклонившись и покивав Мануйлову, выпили. В наступившей секундной паузе раздался стук в дверь.

— Можно? — на пороге появился высокий седой мужчина.

— Николай Михалыч, вот радость-то! — Мануйлов сполз с кровати, двинулся навстречу гостю. — Милости прошу, проходите! Знакомьтесь, господа, кто незнаком, Николай Михалыч Козырев, астроном, философ и мой старинный-старинный товарищ. С довоенных ещё времён.

Отыскалась хилая табуретка, пришлось снять с неё и положить на пол возле стенового шкафчика несколько папок с рукописями, и Козырев присел к краешку стола.

— Мишенька, — это Стеблин-Каменскому, — Николай Михалычу налейте! — И к Петрову: — Сергей Владимирович, ждём-с!

— М-мда-ас-с! — Петров тоже успел выпить. — А билетов из Ачинска, где эта школа вечерняя находилась, в любую сторону, хоть в Европу, хоть в Азию, никогда в природе и не бывало! — Он смачно затянулся и пустил дым уголком рта. — Я к кассе подкатываю, — естественно, закрыто. Народ к ней давно уж даже и не подходит, тропа заросла. Стучу, хоть и знаю, что там никого. И вдруг окошечко открывается. Чудо!

— Что надо?

Я с перепугу бряк:

— Билет до Ленинграда!

Оттуда, из-за зарешёченного окошка:

— До Ленинграда нету, дам до Москвы! Поезд на подходе уже, жми к четвёртому вагону, там начальник поезда будет!

И суёт мне билет!

Я, конечно, к четвёртому вагону не побежал, дурных нема, начальник поезда меня в три секунды прочитает, на билет и смотреть не будет, я к хвосту поезда поближе. Там проводница молоденькая, я ей билет, она меня за рукав, давай-давай, говорит, отправляемся! — Он принялся прикуривать очередную сигарету. — И попал в вагон с молодыми ребятами-летунами. В новенькой лётной форме, прямо из училища едут. Выпивка, закуска — сухой паёк, колбаса, вкус которой я уж и позабыл, картёж, конечно, байки.

— А вас как приняли?

Петров засмеялся.

— Я опытом Виктора Андрониковича воспользовался. К слову, незадолго до того проштудировал в местной библиотеке ачинской пособие по хиромантии. Как уж оно туда попало — бог весть. С незапамятных времён, видно. С декабристских, поди. Почему не изьяли — загадка. А и самому мне хотелось попрактиковаться, — он засмеялся, глядя на Мануйлова, известного в писательских кругах хироманта. — Но лицом в грязь не ударил, Виктор Андроникович. Честь славной науки поддержал! Аж до самой Москвы ко мне очередь стояла!

— А как в Питер-то попал, Серёжа?

— До Москвы чуть не доезжая, выбрался из поезда и — на перекладных! В Питерград! Да-а... — Он вдруг задумался. — А ведь документов у меня никаких! И чемоданчик фанерный в руке. Любой мент читает: зека на свободе! Покажь документ!

Елагиным неожиданно овладело чувство странного покоя. Будто старый, в потёках и следах отвалившейся штукатурки трёхэтажный Дом творчества, вовсе и не дом, а древний, времён викингов, а то и старше, корабль. И он — в каюте капитанов, кормчих. Не старики здесь, в каюте, нет! Не Мануйлов во всегдашней тубетеечке с весёлыми слезящимися глазками, не Сергей Владимирович Петров, непризнанный и смешной гений, беззубый, взлохмаченный, с патлами цвета того пепла, что он сыпал вокруг себя, не Козырев, с улыбкой ясновидящего посматривающий на всех, не Стеблин-Каменский, с прикрытыми глазами откинувшийся в кресле, а кормчие, спокойно и весело ведущие свой «Летучий голландец», без видимых усилий вспарывая форштевнем тёмное, ртутно-тяжёлое время.

— Я в Питере очутился, чудо! — это всё ещё Петров. — Иду по Кировскому проспекту. Боже мой! Иду как по кладбищу! Всё дома-памятники. Здесь жил тот-то, знаю — в отсидке; здесь — этот, арестован; здесь, бывало, встречались, болтали, умничали со Смирновым Алексан Алексановичем по поводу кельтологии и бретонского языка... Так уж никого и нет...

— У меня, напомнил Серёжа, — перебил его Мануйлов, — имеется рассказик «Лилит», что Алексан Алексаныч Смирнов вместе с Зинаидой Николавной Гиппиус написали.

— А вот тут, на Петроградке возле Большого проспекта, — не услышал его Петров, только ли из-за глуховатости? — Фёдора Ипполитыча Щербацкого лекции слушал по тибетологии. Ни черта не понял! Иду, вспоминаю, а сам думаю, остановит первый же мильтон, и капут тебе, Серёжа! И добрёл до онкологического института, что на Берёзовой аллее. Думаю, зайду, чем чёрт не шутит, когда Бог спит! Впёрся нахальным образом в кабинет директора института. Секретарша: «Вы записаны? Директор отдыхает после операции!» Я же, старый зека, не записан, а прописан там навечно! Ходом в кабинет! В кабинете сидит образцовый доктор: золотенькие очки, халат крахмальный расстёгнутый, чаёк попивает, смотрит на меня с удивлением. Мол, чем могу? — Петров мелко, хитро рассмеялся. — «Мил человек, да знал бы я чем? Мне от тебе документик бы какой-никакой? Я ведь как герой вон ихней саги исландской, один против мира!» — Он протянул рюмку сидевшему рядом Стеблину-Каменскому, чокнулся с ним и выпил, помотав головой вместо закуски. — «Доктор, — это я ему, — у меня геморрой!» Он не удивился: «И у меня, — говорит, — тоже!» И смотрит с интересом. Я: «Геморрой — предшественник рака!» Это я главному онкологу! — Он снова захихикал. — Тот смотрит, говорит: «Допустим!» А я вижу, что он всё уже понял, советский, русский человек. Он: «Дальше!» Я: «Всё! Хочу пообследоваться!» Он, умница, снимает трубку и говорит: «Евдокия Фёдоровна, примите в отделение больного...» — и смотрит на меня. Я: «Петрова Сергея...» — и так далее. А через три дня выхожу оттуда с тем же чемоданчиком, а в кармане-то справочка, что дороже жизни: «Дана сия Петрову Сергею Владимировичу в том...», а в чём — неважно, важно, что у меня имя появилось! Я бегом, а дело-то в субботу было, конец недели, на улицу Пролеткульта, сиречь Малую Садовую. Облоно! Кто не знает, — областной отдел народного образования, а куда ещё податься зеку? Иду, народ чиновный мне навстречу — суббота, конец рабочего дня. Я сразу искать, где тут железнодорожные школы. Добрые люди подсказали, на какой-то там этаж взбираюсь, вижу, дама, по причёске судя, начальница. Дверь запирает. И прочитать не успел, что за вывеска на двери, вижу — что-то с железной дорогой связано. Я ей чуть не в ноги, мать родная, мечтаю в желдор школе преподавать. Она так глянула начальственно и вдруг призадумалась. А это лучший признак для нас, для просителей, когда чиновник задумается! Она ключиком-то обратно — раз! Что, говорит, преподавать можете? Я и сыпанул: языки — немецкий, французский, английский, русский, физику, астрономию... Чувствую, — интерес в ней есть. И понимание, кто перед ней, дама-то с опытом. «У нас, — говорит, — одно только место есть, только уж больно далеко, посередине между Ленинградом и Москвой». И за стол садится. «Согласны?» Я ей, сдуру, чуть не бухнул, мол, мне чем дальше, тем лучше! «Документы», — говорит. Я ей справочку с Онкологического института. Так и так, раб божий Петров проходил обследование от геморроя! — Сергей Владимирович обиженно посмотрел на захохотавших слушателей, но всё же засмеялся и сам. — Дама-то оказалась большая начальница, а день её — последний в этой конторе! Всё, уходила дама на повышение, это я уж после узнал. «Есть, — говорит, — такая станция, Ступино, там ваши таланты пригодятся!» Сама бумажку отстучала, и на печать дыхнула, и всем своим начальственным телом к тугаменту её притиснула!

— Я же говорил, что у Сергея без дамского пола ни одно дело не обходится! Придётся за дам выпить! — Стеблин-Каменский принялся разливать коньяк.

— Тут, пожалуй, скорее Бога благодарить надо, — Козырев сидел потупясь, изредка поглядывая на Петрова. — Господь вёл вас, Сергей Владимирович, Его рука видна. За тех предлагаю выпить, кому помощь Божья нужна, как больному скорая помощь. Чтобы вовремя пришла!

— Говорят, Божья-то помощь не опаздывает? — сказал Мануйлов, ласково поглядывая на астронома.

— Конечно, — согласился Козырев, — просто у нас и у Бога разное время. Оно подчиняется Богу, а мы — ему, Времени.

— Времени? — прищурился Стеблин-Каменский. — Не Богу?

— Взрослые дети подчиняются отцу? — Повернулся к нему Козырев. — Так и мы, только под крылом Его ходим.

Несколько страничек, написанных рукой Константина Елагина.

Хорошо, что заехал сын Стеблина-Каменского, старички изрядно наклюкались. Уговорили Мануйлова петь цыганские романсы. Оказывается, он крупнейший коллекционер романсов. Ст.-Кам. утверждал, что к Мануйлову приезжал какой-то цыганский барон и Вик. Андр. пел барону. Под запись. Сын Ст.-Кам. тоже учёный, иранист, альпинист, чуть ли не Барс Памира. Сергей Владимирович читал дивные, потрясающие стихи. Оставил тетрадку, там строфы в стихах и даже отдельные строки написаны разноцветными чернилами. Он считает, что стихи должны иметь чёткую музыкальную форму: соната, рондо, рондо-соната, fuga, симфония. Для дураков — разноцветные.

Они со Ст.-Кам. встречаются по пятницам, выпивают «маленькую» на двоих и читают друг другу переводы со шведского, норвежского, старо- (или древне-?) исландского. Закусывают вялеными карасиками. Ст.-Кам. покупает их на рынке, где продавец карасиков считает его рыбаком-неудачником. Две недели назад поспорили: Ст.-Кам. уверял, что какая-то из исландских саг не поддаётся переводу. Серг. Влад. яростный защитник русского языка, считает, что на русский можно перевести решительно всё. Спорили опять же на «маленькую». Через неделю Петров принёс перевод. Ст.-Кам. оценил перевод высоко, извлёк водку, купленную заранее.

Мануйлов всё приставал к Козыреву, чтобы тот рассказал «внятно и понятно» его какую-то новую совершенно теорию времени. Козырев смеялся, говорил, что когда он делал доклад в Академии наук, то знаменитый Ландау, сидевший в первом ряду, повернулся в знак протеста спиной и корчил залу рожки. Потом всё-таки стал рассказывать. Понять это невозможно. Что записалось: «Несмотря на фундаментальность времени, в физике пока нет ещё детально разработанной концепции понятия “время”... Имеются только операционные определения, которые указывают различные способы измерения промежутков времени». Впрочем, он считает, что время — предмет настолько загадочный, что он лишь интуитивно нащупал к нему принципиально новый для науки подход, но, скорее, не хватит жизни, чтобы выстроить стройную теорию Времени, субстанции, до сих пор не поддающейся науке.

Козырев: Считаю, Время — непрерывный поставщик энергии во Вселенную, тут моё главное открытие. Оно опровергает тепловую смерть Вселенной.

Тут сунулся я, мой домученный Военмех не давал покоя: «А второе начало термодинамики?»

И мгновенный ответ: «Оно справедливо только для закрытых систем, а таковых во Вселенной нет!»

Я ещё в марте 47-го года доказывал, что термояд внутри звезды — не основной источник энергии. Звезда не реактор, а машина, которая перерабатывает неизвестный вид энергии. Американец Дэвис, у меня есть его работы, письма, где он ссылается на моё открытие, подтвердил теорию экспериментально: термоядерный синтез компенсирует не более 10% энергии Солнца. Кол-во нейтрино, обнаруженных на Земле, в шесть раз меньше предсказанных термоядерной моделью Солнца. Т.е. Солнце не остывает, а происходит постоянный саморазогрев.

Я: И всё-таки, как же Второе начало термодинамики? Откуда энергия?

Козырев: Время!

На обратной стороне листка:

Козырева арестовали в 36-м году по «Пулковскому делу». Из десяти арестованных вернулся он один. Обвинение: «Не согласен с Энгельсом (“Диалектика природы”): “Ньютон — индуктивный осёл”». Не согласен с идеалистической теорией расширения вселенной. Есенин и Гумилёв хорошие поэты, Дунаевский — плохой композитор. Результат: десять лет. В Дмитров-Орловском централе (где этот городишко?) — первое чудо: вместо стихов Демьяна Бедного или «Железного потока» Серафимовича в окошко двери сунули второй том «Астрофизики», о котором он мечтал, — некоторые цифровые данные вылетели из головы. Через сутки отобрали, но этого хватило, чтобы голова включилась в работу.

Замечание Друскина по поводу чуда:

Скорее всего никакой книги не было. Психологический сбой, так бывает с узниками одиночек. Обсуждали горячо, остались при своём мнении.

Чудо второе:

Этапирован в Норильск. Доходил на лесоповале. «Заголодал» (лишился сил) и упал на узкоколейке. Подошёл конвоир, казах, судя по внешности; передёрнул затвор, задумался и столкнул полуживого с насыпи. Отлежался и пополз за этапом, потом поднялся и пошёл, волоча ноги: страшно, волки. Сил хватало только чтобы молиться вслух. На повороте, где недавно шёл этап, на кривом пне, — полбуханки свежего хлеба. Даже не промёрзшего. И кулёк, с мизинец, соли. Хлеб съел тут же и своим ходом добрёл до ворот лагеря. Хвост этапа ещё стоял на перекличке.

Петров: «А соль, соль тоже съел?»

Козыр.: «Соль у меня отняли урки и отдали пахану».

Петров: «Съел пахан?»

Козыр.: «Пахана убили в ту же ночь. Вбили, пока тот спал, в ухо дюкер-гвоздь на стопятьдесят».

Петров: «А как же соль, это важно!»

Козыр.: «Соль никому не досталась. Рассыпали и в драке растёрли ногами».

Мануйл: «Свои убили?»

Козыр.: «Там чужих не бывает».

Друскин: «Вы верите в Бога?»

Козыр.: «Да, с детства».

Друскин: «Не мешает занятиям наукой?»

Козыр.: «Помогает!»

О его теории есть книга «Причинная механика», где её найти?

Друскин, завернув винтом ноги одна вокруг другой:

— В Бога и во всю чертовщину верите?

— Главная победа дьявола в том, что он сумел многих убедить, что его нет. Не существует. Впрочем, чертовщина к Богу вряд ли имеет отношение, — Козырев спокойно смотрел в окно. В законной черноте отражались все сидящие в комнате. Но там они были другими. Сместилось и исказилось пространство, странно сблизив временных обитателей холостяцкого приюта Мануйлова. Там, за окном, они были жителями иного мира, нереального в своей реальности. И казалось, те, в черноте сентябрьской ночи, более реальны, чем сидящие за хлипким журнальным столиком Дома творчества, уставленным полупустыми бутылками и незатейливой снедью.

— Лермонтов верил в Демона. Начал писать поэму в четырнадцать лет и писал всю жизнь. Но «Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землёй...» было написано сразу. И не менялось, хотя вариантов поэмы было множество. Собственно, окончательного, авторского, так и нет.

— Я обожаю прозу его, — сказал Козырев.

— Толстой сказал: «Проживи Лермонтов ещё десять лет, нам бы нечего было делать. Этот пришёл как власть имеющий».

— Жаль, что он не закончил «Штосс», «Княгиню Лиговскую», говорят...

— Я как-то говорил, — перебил Козырева Друскин, — о кризисе в жизни-творчестве Хармса, причём только внутреннем, духовном, не связанным с внешними обстоятельствами: это — победа в поражении, совершенство в несовершенстве, избыток в недостатке. Всё это относится к русской литературе. Хотя, если вспомнить, вообще, величайшие произведения или формально несовершенны, или остались незаконченными: «Дон Кихот», «Реквием» Моцарта, «Мёртвые души», «Братья Карамазовы» — да мало ли...

Елагин откинулся назад, к спинке неудобнейшего дивана, стараясь дать место Стеблину-Каменскому и его сыну, присевшему с края. Мануйлов что-то говорил о Лермонтове, Друскин перебивал его, они шутили, смеялись, Стеблин-Каменский шепелявил, передразнивая беззубого Петрова: «Я нынче по-русски более не пишу, не интересно. По-шведски только. Двадцать рифм для них открыл, они ведь в рифмах-то ни бельмеса!» Двойное присутствие этих людей, в комнатухе и за окном, разрушало и смешивало пространства. Козырев вдруг стал читать Лермонтовского «Пророка»:

— С тех пор как Вечный Судия, мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злости и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья — в меня все ближние мои бросали бешено камень! — Правда, что это как бы продолжение Пушкинского «Пророка»? — Козырев прикоснулся к руке блаженно улыбающегося Мануйлова.

Елагин неожиданно потерял нить общего разговора, всматриваясь в двойное законное изображение сидящих, переломленное и смещённое пространство. Вернули в действительность только рассказ Петрова «из лагерного быта» и со звоном уроненная на пол вилка, за которой он полез с кряхтением.

— Лежим на нарах, в углу изморозь, волосы примёрзнуть могут, если не в ушанке спишь, а он мне: «Горжусь, что я здесь единственный, кто сидит справедливо, за дело!» Я, сами понимаете, чуть с нар не грохнулся. Я, говорит, левый эсэр и участвовал в заговоре! А сел за анекдот. Мне-то интересно, что за анекдот такой? Он и рассказывает, шёпотом, конечно: «Сталин у постели умирающего Ленина. Тот беспокоится: кому оставить власть? Сталин ему: оставьте мне! Ленин: за вами не пойдут! А Сталин: не пойдут за мной, тогда пойдут за вами!»

Со скрипом вдруг приотворилось окно. И таинственное чёрное пространство, в котором плавали смеющиеся и жестикулирующие фигуры, сместилось и преломилось ещё сильнее, стало непонятно, где реальность и двойное отражение её: здесь, в крохотной комнатухе, или там, там — в безмерной, уплывающей черноте. Вся смеющаяся компания пришла оттуда, где веет сырым сентябрьским холодом, или, напротив, уходит, смеясь, туда, в вечные холод и тьму?

Елагин всматривался в знакомые лица, почти не слыша разговоров. За ними — сталинские лагеря, чистки, страх за себя, за близких, унижения, вынужденная ложь, война, блокада. Кто они? Как пережили это царство торжествующего мелкого беса? Как не разрушилась душа? И что держало их, удерживало от провала в чёрную законную тьму?

— Что это? — вдруг приложил ладонь к уху глуховатый обычно Петров. — Гуси, что ли? Вроде бы рано, Никита-гусятник, поди, через неделю!

Из-за окна, из темноты, едва подсвеченной низким небом, слышались какие-то странные звуки. Словно небо разговаривало с замершей к осени землёй высокими, переливающимися дальними голосами. Они явно приближались, звучали громче, казалось, даже можно различать отдельные хриловатые голоса, курлыканье, крики. В небе происходило что-то не зависящее от человека, неподвластное ему, вечное.

— Гуси! — Встал, со скрипом качнув диван, Иван Стеблин-Каменский. — Осенний перелёт начался. Летят в Разлив, на Сестрорецкое озеро, на болота, — и посмотрел на часы. — Раньше, покуда в Левашовской пустоши расстрельный полигон не сделали, и туда летали. Пора, папа, летим вслед за гусями?

— А посошок, посошок? — засуетился Мануйлов и едва не опрокинул бутылки на столике. — Непременно надо выпить. — Он повернулся к Козыреву. — Сколько помню, Николай Алексаныч, дни рождения у нас почти совпадают, вот мы и выпьем... — Он встал, держа рюмку.

— Я признаюсь вам честно, Виктор Андроникович, день-то рождения не особо отмечаю. День ангела люблю. — Козырев тоже поднялся. — И хочу выпить за тех, кто не дожил до наших с вами лет. Мы по странному стечению обстоятельств, как сказал бы Яков Семёнович, — он чуть поклонился в сторону Друскина, — или по милости и Божьей воле прошли всё, что нам предначертано было. Но я никогда не забываю, что из десяти учёных, осуждённых по «Пулковскому делу», вернулся к жизни я один. И каждый из нас, здесь сидящих, может и должен, — он повторил, не меняя интонации, — может и должен вспомнить хотя бы десять человек, что никогда уже не вернутся, хотя бы десять детей своих, которых наша Родина-Мать, не хочу обходиться без пафоса, отдала в жертву Молоху. В свой день рождения я всегда поминаю и вспоминаю их! — Козырев выпил и сел, прикрыв глаза.

— Поразительно, как быстро русское общество сдалось и покорно зашагало в пасть чудовищу...

— Не в пасть! — быстро сказал Козырев. — Помните сон Раскольников в «Преступлении» про таинственные «трихины», микроскопические существа, поселившиеся в телах и — заметьте! — в душах людей?

— Там были, сколько помню, духи? — Мануйлов всё ещё держал рюмку.

— Духи-то и владеют душами! — Кивнул ему Козырев. — Я с детства этот сон Раскольников читал и читал. Отец когда-то открыл это место в книге, ногтем отчеркнул и сказал: «Читай, покуда наизусть не выучишь!» — Он снова прикрыв глаза, будто вспоминая: «...Эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований», — он замолчал.

— Полагаете, Сталин был из тех, из трихинов? — не без иронии поинтересовался Стеблин-Каменский.

— Почему только Сталин? — возмутился молчавший и будто даже подрёмывавший Друскин. — Все они!

— Но Сталин был всё-таки гением злодейства.

Стеблин-Каменский взглянул на сына, как бы ожидая поддержки. Тот промолчал.

— Про Сталина можно только сказать, что он был верным учеником Ленина! — хмыкнул Друскин.

— Анекдотец есть, — подхватил Петров. — Старики на демонстрации несут плакат: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». — Вы что, рехнулись? В вашем детстве товарища Сталина и на свете не было! — За то и спасибо.

— Относительно верного ученика Ленина соглашусь, — кивнул Козырев Друскину. — А насчёт гения... Знаете, со мной в Норильлаге сидел один немец-биолог. Держался рядом, потому что только со мной мог говорить по-немецки. Он был

вирусологом. Так вот он считал сталинизм особым вирусом. И полагал, что Сталин примитивен и заразен, как вирус — простейшее, а потому самое устойчивое живое существо. Кстати, совершенно не известно, живое ли это по-настоящему создание. Какой-то обломок ДНК или РНК, жить может только в чужой клетке. Откуда взялось — неизвестно, но существует с древнейших времён. И всё живое на Земле, человечество в том числе, вирус никак победить не может. Приходится или погибать, или приспособливаться к нему.

На стук в дверь все повернулись.

— Можно? Простите, что беспокою. — На пороге стоял директор Дома творчества. — Мне сказали, что это ваша машина стоит возле столовой?

— Да, моя, — отозвался Иван Стеблин-Каменский.

— Ещё раз прошу меня извинить, — директор приложил руку к сердцу, — но сторож запирает ворота Дома на ночь, а ваша машина...

— Дайте нам пять минут! — Стеблин-Каменский-старший улыбнулся одной из самых очаровательных своих улыбок. — Мы уже разъезжаемся!

— Что-то я не помню, чтобы ворота запирались, — задумчиво сказал Мануйлов, глядя на захлопнувшуюся дверь.

— Сфотографировал на память! — усмехнулся Стеблин-Каменский.

— Для памяти, — поправил Друскин.

Глава 40

Рукой Друскина, его кривым, скачущим почерком написано почти поперёк листа:

М.б. здесь ошибки, кое-что записал по памяти, но ошибки лишь в тексте, не принципиальные. Это Мартемьян Рютин, единственный, кто хотел воевать против тирана. Кстати, он в 27 г. избивал (натурально!) сторонников Троцкого на демонстрации. Он был упрямый мужик (из крестьян), пользовался авторитетом в партии, начал подпольную деят., создал «Союз истинных-марксистов-ленинцев». На него, по-видимому, настучали свои же и сразу. Собрались, как в царские времена, где-то в деревне под Москвой. Я полагаю, Рютин для С. был хорошей приманкой. Ключули все: Бухарин, Зиновьев, Каменев. На воззвание не ответили, но прочитали и промолчали, не стукнули в ГПУ.

Дальше шёл машинописный текст, причём на чужой, на незнакомой Елагину друскинской машинке с забитым шрифтом:

Выписки из Р-на: «авантюристические темпы индустриализации и коллективизации», «изменений ждать невозможно, пока во главе ЦК Сталин, великий агент-провокатор, разрушитель партии, могильщик революции в России», «на всю страну надет намордник», «бесправие, произвол и насилие», «дальнейшее обнищание, одичание деревни», «труд держится на голом принуждении и репрессиях», «литература и искусство низведены до уровня служанок и подпорок сталинского руководства», «...или дальше безропотно ждать гибели пролетарской диктатуры... или силой устранить эту клику».

От руки:

В августе они собрались, 15 сент. всех арестовали. Каменева и Зиновьева сослали в Минусинск и Кустанай. Рютину — десятка, в Верхне-Уральский политизолятор, мне знакомый. Рютин скис сразу, сдал всех и принялся просить прощения у партии.

От руки, другими чернилами:

Неизвестно, применяли к нему «особые» методы допроса или нет. Скорее всего применяли. Не зря пытался покончить с собой. Отказался от дачи показаний. Просил «не трогать» и оставить в живых жену и детей. Жена умерла в лагере, дети Василий и Виссарион расстреляны, дочь жива по сию пору.

Обрывок бумажки, вложенный между листами. Вылинявшие, почти нечитаемые чернила:

...Обычно в нашей среде в эмиграции принято было прощаться так: встретимся у паровоза! Это значило, что в Москве на перроне эмигранты узнают друг друга, собравшись у паровоза. Многие узнавали, но не на перроне, а в лагерях. А кое-кто и на допросах в ГПУ. Особо отличился...

Тут клочок был измят и оборван.

Снова машинопись и снова чужая машинка:

Дом на Смоленском бульваре 3/5 был построен по проекту немецкого архитектора Вернера Шнейдратуса для членов латышского культурно-просветительного общества «Прометей» и их семей. Архитектора тоже арестовали в 1937 году.

Подчёркнуто красным: Кристина Рубен.

В квартире Упмалис, рядом с нами, тоже поселились сотрудники НКВД с 5—6 летним мальчиком и старушкой-няней. По возвращении с работы они заводили патефон и под весёлую музыку плясали, громко стуча каблуками. Нам через стену всё было слышно. Эта пляска в трагически опустевшем доме наводила жуть.

Меня арестовали одну из последних, обвинили, что я «член семьи изменника Родины» (ЧСИР). Муж был заведующим школьным отделом Латышского культурного центра, я работала в библиотеке. Его увели в октябре 1937 года и (как я узнала потом) расстреляли как врага Советской власти, за мной пришли через полгода. Сотрудник НКВД торопил, а я никак не могла собраться. Дети тоже одевались. Дочка плакала и злилась, сын прижался руками и лицом к стене и тоже плакал. Им тогда было 9,5 и 7,5 лет. «Я убежу из детского дома», — сказал сын. Он уже знал, что их отдадут в детский дом, как раньше других детей из нашего дома. А я наставляла их всегда держаться вместе, не потерять друг друга, не убежать из детского дома, иначе я потом не смогу их найти. Руки меня не слушались. Я попросила человека в макинтоше разрешения написать доверенность Поле [квартирантке] на получение моей зарплаты. Попросила Полю дать мне немного денег, у меня осталось только 5 рублей, завтра в библиотеке день выдачи зарплаты. Наша Поля тоже — в начале, после ареста мужа, плакала вместе с нами, вспоминала, какой хороший справедливый и честный он был человек, а когда аресты пошли всплошную, Поля как-то сказала: «Взяли их правильно. Они хотели свергнуть наше правительство и установить свою латышскую власть...»

«Чёрт, опять опаздываю к завтраку!» — Елагин набросил на плечи куртку, утро было солнечным, но ночной заморозок ещё не отпустил до конца не поддающуюся ему землю. На лестнице между первым и вторым этажом Елагин едва не столкнулся с бегущим наверх Илюшей Штемлером.

— Костик, — Илюша театрально воздел руки, — тебя же Иван Михалыч ждёт! Возле столовой! — И остановился, держась рукой за сердце.

— Какой Иван Михалыч? — не понял Елагин.

— Стеблин-Каменский! — Илюша, задыхаясь, держался за перила. — Иди скорей, а то Морозов заговорит его насмерть!

— Ты с ним знаком? — удивился Елагин.

— Тыщу лет! Моя жена у него училась!

Возле столовой на солнышке стояли Морозов и Стеблин-Каменский.

— А-аа, вот и он идёт! — разочарованно обернулся Морозов. — Опять нам не дадут поболтать! — Он держал Стеблина-Каменского за рукав и продолжил говорить на незнакомом языке. Иван Михайлович, улыбаясь, ответил Морозову и пожал Елагину руку.

— Вы хоть знаете, на каком языке мы сейчас говорили? — Морозов был счастлив. — На древнегреческом! — Наконец-то он уел Елагина. — Вы ведь на нём ни бельмеса? Иван Михалыч, — ему не терпелось срочно закрепить победу, — у вас сколько языков?

— Языков? — задумался Стеблин-Каменский.

— Древнегреческий, латынь, — принялся помогать ему Морозов.

— ...Персидский, хорезмийский, осетинский, арабский, согдийский... Алексан Антоныч, не в языках же счастье!

— Но всё же! — не унимался Морозов. — Древнеперсидский, среднеперсидский, а с какого вы «Авесту» переводили? Вы хоть знаете, что такое «Авеста»? — скривился он в сторону Елагина. — Это, голубчик вы мой и знаток марксизма, священная книга зороастрийцев. И написана на особом авестийском языке, давным-давно мёртвом уже. С тысячу лет, поди? — Он повернулся, ласково глядя в глаза Стеблину-Каменскому. — Это, Иван Михалыч, литераторы нынешние! Английский с грехом пополам если выучат, считают, что все науки мировые превзошли.

— Я вам, как и обещал, Хайяма привёз, — Стеблин-Каменский протянул Елагину томик «Литературных памятников».

— Ваши переводы? — поинтересовался Морозов.

— Нет, здесь Бальмонт, Иван Тхоржевский, они лучшие, пожалуй. Из современных переводчиков хорош Герман Плисецкий...

— Правда, что он с подстрочников переводит? — Капля яда не удержалась на языке Морозова.

— Правда, но это подстрочники Магомед-Нури Османова и Рустема Алиева, выверенные по рукописям из Кембриджской библиотеки, — улынулся Стеблин-Каменский. — Эти подстрочники гораздо лучше любых самодеятельных переводов. — Он повернулся к Елагину. — Я ведь с оказией здесь, еду в Зеленогорск. Вы туда не собирались? — И кивнул в сторону зеленоватой «Волги», стоявшей возле ворот Дома творчества.

— Морозова с каждым годом всё труднее переносить!

Они выехали на новенькое шоссе.

— Мне кажется, — отозвался Стеблин-Каменский, — таким темпераментом его Господь наградил. — Он посигналил, обгоняя притормозившую машину. — Они давно с папенькой приятельствуют и, сколько помню, всегда язвит.

— Любитель гадость сказать?

— Лучше уж сказать, чем сделать за спиной, — засмеялся Стеблин-Каменский. — Или доносик отписать! Он в том поколении — редкий экземпляр.

— Сломанное поколение?

— Скорее, раздавленное, — Стеблин-Каменский задумался. — Нам трудно представить, что они пережили. Для нас война 14-го года, революция, Гражданская война, все эти уклоны право-левые, посадки, репрессии, война, блокада, — всё это в значительной степени абстракции. Для них — жизнь, память, боль живая. Недавно у нас в гостях был дивный писатель Лев Васильич Успенский. Разговорились,

и оказалось, что из его выпуска гимназии, 17-го года, в живых всего четыре человека. И те рассеяны по всему миру. Это из тридцати — тридцати пяти выпускников! Страшные потери в интеллигенции! Это сознательный удар большевиков по культуре. А ведь единственное, что стариков наших держит, это культура. Её большевикам до конца добить не удалось, слишком живуча оказалась. Но успехи в этом победном топтании культуры несомненны. Вы не представляете, какие студенты приходят ко мне! Бывают и талантливые, и начитанные, но культуры — ноль.

— У Омара Хайяма есть, кажется, рубаи...

— У Хайяма есть всё и на все случаи жизни! — засмеялся Стеблин-Каменский. — Ему приписывают столько всякой ерунды, а он был выдающийся математик, астроном, философ. Знаете, что Хайям написал в предисловии к своей «Алгебре»? — Он притормозил, почти остановил машину и прочитал несколько строк на незнакомом языке. — Перевести можно примерно так: «Мы были свидетелями гибели учёных, от которых осталась небольшая многострадальная кучка. Суровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть тех, кто в настоящее время имеет вид учёных, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и лицемерия. И если они встречаются человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек». Каково? Похоже? — И резко свернул влево на узкую дорогу. — Я ведь, собственно, еду в Дом отдыха старых большевиков. Там наша дальняя родственница поживает. Отец ей говорит: Марья Васильна, зачем вы туда едете, в этот вертеп? А она, чудная старуха: хочу видеть, как эти уроды впадают в маразм!

— Я как-то был в этом доме с Татьяной Алексанной Кричевской. Когда-то это была её летняя дача. — Елагин улыбнулся, вспомнив этот поход. — Старуха неслась впереди меня и палкой распахивала двери. А на вопль «что вы здесь делаете?» сама прокричала «а вы что здесь делаете?». Кстати, она единственная большевичка в целом клане Благовещенских!

Стеблин-Каменский остановил машину.

— Могу, если хотите, подбросить вас обратно, пока мы далеко не уехали. Я не спешу. — Они закурили, почти одинаковым движением опустив стёкла на дверцах. — Как вам работается в Доме творчества?

— Отлично, — улыбнулся Елагин. — Единственное, что угнетает, это непрерывный стук машинки у Илюши Штемлера.

— Рождает комплекс? — понимающе кивнул Стеблин-Каменский. — Это ведь рефлекс, заложенный природой, — он усмехнулся. — Я как-то на Памире наблюдал за местными куропатками, кекликами. Так вот, стоит одному кеклику взобраться на курочку, как другой тут же бежит и срочно делает то же самое.

Стеблин-Каменский выбросил наружу окурок и поднял стекло: в окно тянуло утренним холодком. Ночной заморозок не хотел отступать.

— Часто бываете на Памире?

— Я даже как-то преподавал там в школе, а сейчас стараюсь организовывать экспедиции каждый год. Необходимо погружение в языковую среду.

— Мне сейчас приходится погружаться в другую среду. Бесконечно читаю. — Елагин неожиданно для себя передёрнул плечами. — Бесконечно и мучительно пытаюсь переключаться из сегодняшнего дня в недавнюю историю...

— Мне отец говорил про ваш замысел. — Стеблин-Каменский, как показалось Елагину, с сочувствием посмотрел на него. — Он кой-какие материалы свои передал вам через Друскина. Я их читал, разумеется. Страшно. — Он улыбнулся. — Как говорил Бендер, я человек завистливый, но тут завидовать нечему. — Стеблин-Каменский включил приёмник, тот похрипел, словно прокашливаясь, и замолк. — Иногда,

особенно за городом, можно поймать «Голос» или ВВС. Можно откровенно? — Он повернулся к Елагину и подождал, внимательно глядя, пока тот кивнёт. — Кто-то из восточных мудрецов сказал, что жизнь — переработка будущего в прошедшее. Вы хотите втащить прошедшее в будущее. Уже съеденное одним поколением, скормить поколениям другим. Нет, не получится. Сдаётся мне, ваша затея с тираном обречена на провал. То, что в обычные времена считается преступлением, во времена иные, особые, становится нормой и даже делом доблести. К тому же всё, прямо по Ницше, уже «законсервировано в сиропе святости». Хотя... — сказал он после паузы, — *Littera scripta manet* (Написанное остаётся)! — И включил двигатель. — Батюшка вчера оставил у Мануйлова целый чемодан материалов для вас! — И протянул широченную, жёсткую, как у каменотёса, ладонь. — Возвращаемся? Нет? Тогда успехов, и как говаривали по легенде декабристы, «успехов в нашем безнадёжном деле».

Глава 41

Неподалёку от ворот Дома творчества прогуливался, заложив руки за спину, Морозов. Он был уже в осеннем пальто и нелепой шляпе.

— Прохладно сегодня. — Морозов улыбался, как улыбаются кошки, играя с полуживой мышью. — Обратили внимание, что сегодня ночью был заморозок? Видите, травка поникла? А ещё недавно на ней была изморось! — Он зашагал, подстраиваясь под Елагина. — Как вам Ванечка Стеблин-Каменский? Я знал, что вы вернётесь. Трудно разговаривать с человеком, знающим кроме светских ещё с десяток-другой восточных языков. Ванечка любит придавить учёностью. Хотя учёный-то покрупнее своего отца, — не упустил он возможности лягнуть и Стаблин-Каменского старшего. — Согласны?

— Не знаю, мне трудно судить!

— Не прикидывайтесь дипломатом, Константин Константиныч, — прищурился Морозов, сразу перестав быть похожим на играющего с мышью кота, — вам это не идёт. Не к лицу! — И придержал Елагина за рукав: — Что-то быстро топаем, одышка!

Они остановились.

— Ничего, что я вас задерживаю? Знаете, одышка и прочие старческие немочи страшно раздражают, — он усмехнулся, глядя куда-то мимо Елагина. — Напоминают о неизбежном конце. А ведь спешить ему навстречу не хочется. — Морозов всё ещё держался за рукав, одышка мешала говорить. — Хочу заметить вам, наше превратное чувство времени как некоего роста есть следствие нашей конечности, согласны? — Он с сипеньем и каким-то странным бульканьем старался продышаться. — Из-за этого мы ведь всегда находимся на уровне настоящего, подразумевается его постоянное повышение, а потому мы, воленс-ноленс, пребываем, — он хихикнул, — между водяной, если хотите, бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. — Шагнул вперёд и потянул за собой Елагина. — Когда нас перестанут узнавать на фотографиях, мы по-настоящему исчезнем. — Старик снова остановился. — Хотел обратиться к Ваньке Стеблин-Каменскому с просьбой, да он умотал. Я ведь с ним латынью занимался, — снова прищурился Морозов. — Они к языкам способные, эти Стеблины, а вот писательского дара нет совсем. — И взялся белой старческой рукой за калитку: они подошли к воротам Дома творчества. — Хотя переводы у Ванечки неплохи. Неплохи, особенно «Авеста». Хайям — хуже, но всё же не графоманский! — Морозов, не отворяя калитки, смотрел на Елагина. — Отвезёте меня по дружбе в Куоккалу, к Репину? Я ведь там в последний раз с мамёнкой бывал. Ещё в матроске. Она живописью баловалась, специально приехали из Москвы. И ни черта не помню, кроме бородатого старичка и отвратительного чаю из травы! По домашней легенде старик Репин хотел писать её портрет. Любил красивых женщин. — Морозов отворил

калитку и вошёл на территорию Дома творчества. — Тут он был не оригинал. А женился на страшной и злой тётке. Что тоже не совсем оригинально, — и не без лихости подмигнул Елагину. — Если вы не против, я через пять минут буду готов. Добреду до сортира, или нужника, как изволит выражаться Сергей Владимирович Петров.

Через несколько минут Морозов с удовольствием плюхнулся на сиденье жигулёнка.

— Не бойтесь, что заболтаю? — Он принялся старательно устраиваться поудобнее. — А то говорят, что у Морозова язык не просто без костей, но и с ядом на кончике! Я, знаете, о чём размышлял сегодня ночью? О России! Смешно? Почему в ходе истории русские раз за разом прибегали к заимствованиям у своих западных противников? Ни черта оригинального и всё по-своему! В X и XI столетях переняли культуру и религию Византии, которую до того грабили. Переняли и извратили! Правительственные учреждения скопировали в начале XVIII века у шведов, предварительно разбив их, — испохабили; язык и представления о жизни аристократии — у французов, разграбивших Москву и получивших, как и шведы, смертельную оплеуху; государственную бюрократию ещё с времён Николая I, организацию промышленности — у битых в двух мировых войнах немцев. Нынче главным западным врагом, коего стремимся «догнать и перегнать», стали Соединённые Штаты, — что, демократию будем у них перенимать? На русский манер, разумеется?

Елагин пожал плечами.

— Вразумительный ответ! — съехидничал Морозов и замолчал, обиженно бормоча что-то себе под нос.

Спустились на шоссе, и Морозов притих, поглядывая на залив.

— Красота! — Он вдруг дёрнул Елагина за руку так, что жигулёнок вильнул. — Смотрите, что там на воде? Снег? Лёд?

Елагин притормозил, всматриваясь в серо-голубую даль залива. Возле берега, покачиваясь на невидимых волнах, картинно застыла стая лебедей. Они беззвучно перемещались, выгибая шеи и не глядя на берег.

— Боже, — схватился за небритый подбородок Морозов, — красота какая! Я их не видел с 43-го года, мы с Эрной Георгиевной на Севере были, на Белом море! Ах, счастье-то! Притормозите! — И принялся неловко выбираться из машины. — Подойду поближе! — Он засуетился на сиденье, стараясь выбраться, потом вдруг странно осел, выдавшая виды шляпа съехала на нос, Елагину даже показалось, что старику стало плохо.

— *Damnatio memoriae*, — после долгой-долгой паузы внятно сказал старик, не поднимая шляпы. — Вы хоть знаете, что это такое?

— Проклятие памяти? — не без труда припомнил Елагин.

Морозов уставился на него, словно увидел впервые.

— Я не об этом! — Он снял дурацкую шляпу и сразу стал похож на привычного Морозова. — Вы знаете, что такое проклятие памяти? Только не лопочите глупости: уничтожить всё, что напоминает о злодее, и прочее. Это для римлян, которых уже давным-давно не существует! И прыщавых первокурсниц юридического факультета! — Он отвернулся, глядя на залив, лебедей, спящих на почти невидимых волнах. Головы некоторых птиц были изящно спрятаны под крыло. — Проклятие памяти, — Морозов не отрываясь смотрел на залив, — это когда ты не можешь забыть, отказаться от своей жизни. Я был счастлив с Эрной Георгиевной, но не понимал этого. Она ушла совсем молодой. Я был счастлив с маменькой, любовался ею, был влюблен в неё, — он коротко взглянул на Елагина и отвернулся. — Она бросила меня, вышла замуж за чекиста. Тот меня ненавидел, потому что я читал книги на английском. Я его тоже ненавидел и стал назло учить языки. Они отдали меня в детский дом, мы жили тогда в Москве. Я приходил к ним с книгой на английском, французском, голландском, брал их у старёвщика и специально оставлял у них, чтобы он увидел мои карандашные

пометы на полях. Даже если я не знал языка, пометы всё равно ставил. Я знал, что он как чекист просматривал оставленные книги. Он был сын шорника из местечка и ненавидел меня за книги. А красавица-мать любила его за *Chypre Coty*, были тогда такие модные духи и пудра, я помню их запах, крепдешиновые платья и шёлковые чулки, которые он приносил. С каких-то чекистских складов, наверное, куда они свозили вещи арестованных. Те, что не успели разворовать! Поедемте обратно, Костя, — сказал он, прихлопнув дверцу машины. — Не обижайтесь на меня, старика. *Damnatio memoriae, damnatio!* — проклятие памяти. Его бросили на повышение куда-то в провинцию, что-то вроде Костромы. И по дороге арестовали, — он помолчал, ожидая пока Елагин развернётся на узком шоссе. — А через неделю арестовали маму. — Морозов снял шляпу и аккуратно устроил её на коленях. — К старости, Костя, исчезает самая страшная сила человека: умение и желание забывать! — И вдруг скривился, словно собираясь заплакать: — *Damnatio memoriae!*

Машина круто взяла вправо, на плохо наезженную дорожку. Морозов сидел, нахолодившись, надвинув шляпу на глаза. И вдруг оживился:

— Вы видели, видели его?

Елагин тоже увидел на дороге чёрного человечка с портфелем. Тот обернулся и исчез за кустом, свернув в боковую тропинку. Когда подъехали, никакой тропинки там не оказалось.

Машина, поднимаясь в гору, резко прибавила ходу, Морозов, откинувшись, ухватился за поручень.

— Вы видели? Я иногда встречаю его здесь. И как только встречу, — он оглянулся, будто стараясь увидеть человечка с портфелем, — как встречу, непременно какая-нибудь пакость произойдёт! Только интересно, — сказал он без привычной ядовитой ухмылки, — вам пакость или мне?

Машина выбралась наверх, справа осталась дача артиста Черкасова.

— Первый раз вижу вас в миноре!

— Как-как, в миноре? — Он даже поднёс ладонь к уху. — Это смешно! — Но не рассмеялся. — Кстати, о смешном. — Они подъехали к воротам Дома творчества. — Вчера наш остроумец Сергей Владимирович Петров рассказал. И к моим утренним размышлениям о России, с которыми, кажется, я с вами попусту делился! — Морозов, кряхтя, выбрался из машины и стоял, держась за калитку. — Встречаются два еврея. Хаймович говорит: «Послушайте, Рабинович, таки у меня есть соображения». Тот говорит: «Да?» «Скажите, вы умный человек, фараоны были?» «Да!» «И евреи были. Теперь фараонов нет, евреи есть. Рыцари были — евреи были, рыцарей нет, евреи есть. Нацисты были — евреи были, нацистов нет, евреи есть. Капиталисты были — евреи были. Теперь у нас социализм!» Рабинович: «И что?» «Как что? Мы вышли в финал!»

Глава 42

Это был уже не изящный дипломат, а настоящий чемодан, битком набитый бумагами, вырезками из каких-то серо-жёлтых газет, вырванными страницами книг, пыльными папками с завязками-шнурками и надписями на них, выведенными аккуратными старыми почерками, какими уже давно не пишут.

«Здесь на месяц только чтения, — подумал Елагин. — Надо будет оттащить всё это домой и почитать основательно». Но оторваться уже не мог. Пропустил не только завтрак, о чём прокричал из-за двери Морозов, но и обед. На томе Авторханова чьей-то рукой было написано: *Тянет лет на 6—8*. На пожелтевшей с краю страничке ветхой книжечки острым, с ятями почерком: *Дочь А. С. Пушкина Мария Александровна Гартунг скончалась 7 марта 1919 года в возрасте 86 лет от голода. Пенсия, назначенная*

Имп. Александром II, после переворота была отменена. По слухам она умерла на ступенях памятника отцу.

Сразу за ней:

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Председатель Военной Коллегии Верховного суда СССР УЛЬРИХ В.В. в течение нескольких лет сожительствоет с ЛИТКЕНС Галиной Александровной, являющейся осведомителем Промышленного отдела НКВД.

По сообщению последней, УЛЬРИХ систематически выбалтывает ей разные сведения о работе Военной Коллегии Версуда и Наркомвнудела.

ЛИТКЕНС осведомлена о закрытых судебных заседаниях Военной Коллегии, о поведении подсудимых на этих процессах, о вынесенных приговорах, о том, как некоторые осуждённые ведут себя во время приведения в исполнение приговоров к ВМН.

УЛЬРИХ в частности рассказывал ей, как вели себя ТУХАЧЕВСКИЙ, РЕЙНГОЛЬД, БЕРЗИН, МРАЧКОВСКИЙ, БУХАРИН и другие осуждённые при приведении над ними приговора.

ТУХАЧЕВСКИЙ во время расстрела сказал: «Ну, что, стреляйте, только не в затылок, а в лоб», и действительно, стреляли в лоб.

Из группы, в которой участвовал РЕЙНГОЛЬД, его расстреливали последним. Когда его ввели в помещение, где уже были навалены трупы, он ахнул и отшатнулся. Его тут же расстреляли.

О том, как расстреливали БЕРЗИНА, ЛИТКЕНС сообщила в НКВД следующее:

Однажды УЛЬРИХ пришёл ко мне с кровью на шинели. Я спросила, чья это кровь. Он ответил: «Старика». Стариком называли БЕРЗИНА — начальника 4-го Управления Наркомата Обороны.

УЛЬРИХ мне сказал, что последние слова БЕРЗИНА были: «Я столько нагадил, что мне нет пощады. Пусть же честная рука в меня стреляет». И УЛЬРИХ стрелял в него собственноручно. По его словам, убил с первого выстрела.

В 1937 году имел факт сообщения УЛЬРИХОМ своей сожительнице ЛИТКЕНС о полученных показаниях на руководителя Акционерного Общества «Международная Книга», в аппарате которого работала ЛИТКЕНС.

Недавно УЛЬРИХ говорил ЛИТКЕНС о недоброкачественности следственных дел, поступавших из НКВД и уже рассмотренных Военной Коллегией, называя эти дела липовыми.

УЛЬРИХ рассказал о врагах, разоблачённых среди руководящего состава НКВД.

УЛЬРИХ тяжело воспринимает перемены в руководстве НКВД и на этой почве высказывает огульное недоверие к аппарату НКВД.

В связи с последним постановлением партии и Правительства по вопросу о ведении следствия УЛЬРИХ говорил ЛИТКЕНС, что не понимает, как это можно «не топая ногами и не замахиваясь кулаками, разговаривать с арестованными».

Свою откровенность по отношению ЛИТКЕНС УЛЬРИХ проявляет несмотря на то, что отношения между ними временами становятся весьма обострёнными, и в этих случаях УЛЬРИХ называет её шпионкой, международной проституткой и т.п.

Однако связь их продолжается.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

(Берия)

19 янв. 1939

Написано рукой Друскина.

Запись этого разговора сделал художник-неформал Борис Биргер. После (частично) передал Т.Глебовой.

Это было поздней осенью 1964 года. Не помню сейчас, по какому поводу Илья Григорьевич просил меня приехать на дачу. Любовь Михайловна уговорила меня остаться ночевать. Долго сидели, топили камин. Илья Григорьевич рассказал мне историю одного письма, которую потом повторил ещё раз в Москве. Он явно хотел, чтобы я её запомнил как следует.

В последние месяцы царствования Сталина, поздно вечером, точнее, уже ночью, так как было после двенадцати, в квартире Эренбургов раздался настойчивый звонок. В те времена ночные звонки вызывали только одну ассоциацию.

Любовь Михайловна пошла открывать. Гости были на этот раз очень неожиданные: академик Минц (так называемый философ-марксист) и ещё один, фамилию которого я не помню.

Рукой Друскина вписано: (Маринин-Хавинсон из «Правды»)

Когда они зашли, Минц положил перед Эренбургом письмо в газету «Правда», по которым было уже довольно много подписей. В этом письме нижеподписавшиеся евреи отказывались от еврейского «народа-предателя». Впоследствии выяснилось, что Сталин выбрал несколько (кажется, 67) евреев — крупнейших учёных, высших генералов армии, прославившихся во время войны, несколько писателей, актёров и т.п., которых считал нужным пока сохранить.

Илья Григорьевич очень резко сказал Минцу, что такое письмо он никогда не подпишет. Тогда Минц стал довольно прозрачно намекать, что это письмо согласовано со Сталиным. И.Г. ответил, что письма он подписывать не будет, но напишет письмо Сталину с объяснением своего отказа.

И.Г. ушёл в кабинет, а Минц стал запугивать Любовь Михайловну, весьма образно описывая, что с ними будет, если И.Г. не подпишет письмо. Любовь Михайловна рассказывала, что час, проведённый в обществе «двух иуд», как она выразилась, был не только одним из самых страшных в её жизни, но и самым омерзительным. Когда И.Г. вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка снова приступила к уговорам, но И.Г. попросил передать его письмо Сталину и выпроводил их.

Рукой Друскина. Письмо не передали, а оттащили гл. ред. «Правды» Т.Д.Шепилову. Тот сказал Эренбургу, что отправка письма равносильна приговору, т.к. письмо написано по инициативе Сталина. Эренбург несколько дней ждал, что его арестуют. Но тиран откинул хвост. Говорят, письмо подписал Вас. Гроссман, о чём позже очень жалел.

Неизвестный почерк: Стих. Эренбурга, 1967

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе, —
Не так, как люди или куклы
Иль Человек с заглавной буквы:
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награды — за побои
Стерёг закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в тёмном доме
И тёплой, как беда, соломе.

Елагин вздрогнул: слишком громким и неожиданным был стук в дверь.

— Константин Константиныч, — услышал он голос дежурной. Она уже спускалась с лестницы. — Срочно к телефону, супруга звонит из больницы!

На резкий стук отворилась и соседняя дверь. Из неё выглядывал Илюша Штемлер.

— Что-то случилось? — Илюша был, как всегда, в роскошном бордовом халате с золотым шитьём.

— Не знаю, Лиза звонит из больницы! — Елагин скатился с лестницы.

— Костик, Костик, прости меня, я потеряла ребёнка! — услышал он рыдания в трубке. — Я, идиотка, прыгнула с табуретки...

В трубке послышались какие-то шорохи, шумы, потом чужой голос прокричал: «Больная, кто вам разрешил заходить в кабинет главного врача!» Снова шумы и тот же голос: «Кровищи-то, кровищи-то налилось, весь пол запачкала! Кто убирать-то будет?!» — и связь прервалась.

Елагин бросился наверх. В дверях своей комнаты стоял Штемлер с толстенной книгой в руках.

— Костик, — он схватил Елагина за рукав, — возьми эту книгу...

— Что-о? — изумился Елагин.

— Костик, я тебе всё объясню, — едва слышной скороговоркой пролепетал Штемлер. — Мне только что звонил Юрий Евгеньич, сказал, что у тебя будет обыск. Велел, чтобы ты поступал как твой азербайджанский друг, сказал: ты поймешь! — Он оглянулся и заговорил совсем шёпотом. — Он велел забрать всю литературу, какая у тебя есть! — Штемлер оглядывался и ещё что-то бормотал, Елагин не понимал, что он говорит. — Я должен срочно, срочно, прямо сейчас, — и оглянулся, — пока никого нет. Все дрыхнут после обеда! — он всунул Елагину в руки роскошно изданный том.

— Что это?

— «Великосветские обеды», — пролепетал Илюша. — Это меня Юрий Евгеньич научил. Если тебя спросят, зачем приходил Штемлер, скажешь: приносил книжку!

Последнее, что запомнил Елагин: Штемлер в роскошном халате (цвет «бордо», как он шутил) с чемоданом в одной руке и «дипломатом» в другой. И почему-то босой.

Елагин, не соображая, пробежал мимо своей машины к калитке. Почему-то подумалось: «Сегодня воскресенье!» — и ещё: «Приеду в город, будет совсем темно!»

Из дверей электрички пахнуло жарким человеческим теплом. Полуосвещённый вагон был полон. Усталые люди в куртках, старых штормовках, плащах стояли, касаясь плечами друг друга, тяжело дыша, стараясь рукой ухватиться за спинку сидений. Дачники, завершившие осенне-летние работы на своих шести сотках, похоже, ехали издалека. Елагин с трудом протиснулся в живое, дышащее нутро вагона. Пахло потом, перегаром, несвежей подсыхающей одеждой, тяжким дыханием курильщиков. В проходах между сиденьями, в ногах, стояли сумки, рюкзаки с нехитрым дачным скарбом, на полках вплотную мостились мешки, старые военного образца сидоры, торчали разноцветные бока пластиковых сумок, свешивались, болтаясь полудохлыми змеями, заплечные ремни, шнурки, верёвочки, поблёскивали, качаясь, пряжки, стараясь быть похожими на змеиные головы. Всё это дышало, сколько могло, шевелилось, переминалось с ноги на ногу, стараясь устроиться поудобнее. В первом проходе на коленях мужичка в выцветшей штормовке и резиновых сапогах сидела девочка в розовом платьице, с розовыми бантами на жиденьких блондинистых косичках и сосредоточенно ела розовое мороженое. Она рассматривала содержимое бумажного стаканчика, потом опускала в него палец, задумчиво поднимала невидящий взгляд, шевелила пальчиком и, внимательно изучив палец, старательно облизывала его.

— Ты чо рассевшись-то? — хрипло сказал мужичок, на коленях которого сидела розовая девочка.

Елагин повернулся в сторону взгляда мужика. Напротив того сидела, широко расставив ноги, тётка. Между расставленными ногами поместились три туго набитые сумки, рядом на сиденье стояла узкая плетёная корзинка, прикрытая ветками с разноцветными осенними листьями. Елагину показалось, что под ветками были грибы.

— Человеку тоже сидеть надо! — прохрипел мужичок и, как показалось Елагину, подтолкнул тётку ногой в резиновом сапоге. На отвороте было что-то написано чернилами. Тётка сняла плетёнку с листьями и грибами, мощно, с тихим стоном двинула боком соседку и освободила часть жёсткой скамейки, нагретую её могучим задом.

— Сидети, сидети, — недовольно проворчала она, снова придавливая соседку.

Елагин сел на приоткрывшийся кусочек скамьи и прикрыл глаза. Ему показалось вдруг, что бесконечные люди, вплотную прижавшиеся плечами, лишены лиц. То есть лица были, конечно, если всмотреться в каждое из них внимательно. Странно уродливые, босховские, перекошенные, перечёркнутые то носами, то ртами, с явными признаками то ли татарщины, то ли вырождения, они удивительно были схожи друг с другом. Общая усталость смазывала отдельные черты, полусвет от тусклых плафонов на потолке довершал дело: лиц не было! Общее живое тело вагона тяжело и жарко дышало, переминалось с ноги на ногу, пахло резиной, куревом, усталостью, застарелым перегаром и заставляло запотевшее оконное стекло сочиться крупными редкими слезами.

Отличалась только розовая девочка, изучавшая содержимое бумажного стаканчика и облизывающая палец. Она была внимательна и сосредоточенна.

Елагин старался рассмотреть невнятные, смазанные, как на старых фото, лица. Что-то пугающе одинаковое было в них. Покорность, усталость, отсутствие интереса? Казалось, они сосредоточены только на себе, даже тусклые взгляды из-под полуопущённых век обращены внутрь, в себя.

Елагин снова прикрыл глаза, внезапно ощутив острую жалость к ним. Боже, знают ли они, что где-то, кроме этого страшного скрипучего вагона, есть ещё жизнь? Летят самолёты, смеются дети? Есть космос, галактики? А вдруг всё, что осталось от жизни, и есть этот вагон? Показалось, что тряска уменьшилась, словно поезд оторвался от разболтанной колеи и завис в воздухе. Так бывает при взлёте самолёта. Только что трясло, подбрасывало на бетонной дорожке, потом — ах! — мгновенная пауза, миг невесомости, — и вверх, вверх, оставляя в светящемся голубизни воздухе сверкающий конденсационный след. Вспомнился гумилёвский «Вагон»: «...Мчался он бурей тёмной, крылатой, он заблудился в бездне времён... Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». Как там дальше? Что-то про Сену и три моста... про Индию Духа... При чём тут Индия Духа? Милая гумилёвская наивность! Зато дальше прозрение, ломают головы учёные... Ага, вспомнилось! «Вывеска... кровью налитые буквы гласят — зеленная, — знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мёртвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне, она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне». Вместе с другими, вместе с другими, вот в чём разгадка... Елагин стал смотреть на этих «других», всё ещё стараясь рассмотреть лица, прочесть в них хоть что-то... Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон!

Показалось, что вагон медленно поначалу, но всё скорее и скорее принялся вращаться, крутиться вокруг невидимой оси. Что говорил вчера знаменитый иранист, сын Стеблина-Каменского Иван насчёт суфийского кружения? Дервиши, проповедники начинают кружиться, кружатся подолгу, пока не входят «в состояние потока» — активизируется мышление, пространство мира ломается, приходят гениальные мысли.

— Начинают работать оба полушария мозга, — подтвердил Козырев, — причём вращение против часовой стрелки вводит человека в транс, он как бы начинает получать информацию «свыше»...

— Да-да, — подхватил Иван Стеблин-Каменский, — я тому свидетель!

— А кружение по часовой стрелке даёт дополнительные силы!

— Откуда? — изумился Стеблин-Каменский.

— Торсионные поля, — как о простейшей, понятной всем вещи, сказал Козырев. — Обратите внимание на вращающиеся потоки воздуха, смерчи, циклоны. В северном полушарии они вращаются, в основном, против часовой стрелки. Так же вращается и Земля!»

Ну и что? Боже мой, при чём тут это? Торсионные поля, суфийское кружение... Какое отношение к вагону, к этим людям... Похоже на бред...

Плавают в жаркой духоте смазанные лица, только вместо выцветших плащей и штормовок какие-то странные одеяния, серые домотканые хламиды, рваные остатки кольчуг разного плетения, вместо кепок, платков, спортивных шапочек, которыми время от времени утирают вспотевшие лица, что-то вроде касок, старинных шлемов, сидящих сикось-накось, а носы, перечеркнувшие лица, — это мятые защитные стрелы шлемов. Живое, дышащее, многолико-безликое существо, сурово, гневно и беззащитно глядящее мимо, старательно и деликатно-стыдливо не замечающее его! Так в дальних северных деревнях держатся старухи, стараясь даже при разговоре лишний раз не глянуть в глаза гостю. Я не гость, я должен жить с ними, других не будет!

— Папка, — услышал Елагин голос розовой девочки, — а у дяди кровь с носа течёт!

Елагин открыл глаза, светло-серая пола плаща была залита кровью. Он суетливо, торопясь, вытащил носовой платок и прижал к носу.

— Ты особо-то не жми, — мужичок в штормовке нагнулся к нему, Елагину показалось, что глаза его странно увеличились, взгляд стал незнакомо пронзительным, — не жми, пусть кровя стечёт, легче будет, — с сочувствием сказал он. Впрочем, сочувствие относилось скорее к плащу Елагина, залитому кровью. — Тряпка у тебя есть, — мужичок двинул ногой в резиновом сапоге.

— А?! — фальшивым голосом вякнула бабища и повернулась так, что Елагин едва не слетел со скамьи.

— Тряпку, — повысил голос мужичок. — Тряпку, говорю, человеку дай!

Она достала из корзинки чистую полотняную тряпицу, встряхнула её, посмотрела с двух сторон, чиста ли:

— Дай, дай! — И неожиданно проговорила-пропела: — Я, бывало, всем давала прямо на скамеечке, — баба твёрдой рукой вытерла полу Елагинского плаща, посмотрела с интересом на кровавую тряпку, по-хозяйски откинула голову Елагина назад и крепко зажала чистой стороной его нос. — Не подумайте плохого, из кармана семечки!

Иван Макаров

Остановка каравана

Цветы к памятнику Циолковского

Родная природа...
Но даже на лоне природы
Поём как попало, природу свою поломав.
Мы все из народа, приёмные дети свободы,
Живём среди клумб и внимательно сходим с ума.

Калужские сосны о чём-то утраченном плачут.
А, может быть, стонут от страха грядущих метелей.
Анютины глазки похожи на мелких собачек.
Большие тюльпаны устали.
Увяли. Осыпались и облетели.

* * *

Крадётся и в полдень, и в полночь,
Совсем никуда не спеша,
Нескорая скорая помощь,
Почти неживая душа.

Ни моря вокруг и ни суши,
В народе не видно людей...
Весёлые мёртвые души
Идут вдоль трамвайных путей.

Шопены и Шуберты, тише!
Карета пока не для вас.
Качаются стены и крыши.
Смеркается. Ночь через час.

И скорая помощь визжит
И делает вид, что спешит.

Макаров Иван Алексеевич — поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Москве. Окончил Химико-технологический институт. Работал инженером, слесарем, сторожем, дворником и т.д. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Волга», «Плавучий мост» и др. Живёт в Калужской области. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Москва. Сентябрь

Всех по паре в зоосаде, и в ковчеге,
В зоосаде даже больше, чем по паре.
Во дворе играют на гитаре
И поют про умопомраченье.

День за днём надводное кочевье.
Поневоле каждый зверь — кочевник.
Ходит нежный кот по дну ковчеха,
Чтобы мыши не прогрызли дно ковчеха.

Зоосад. Животные глаголы.
Будь как Ной, не бойся, не смущайся.
Улетай скорее, белый голубь,
И назад уже не возвращайся.

Больше нет ни знания, ни незнания.
Год пути до площади Арбатской.
Зоосад перед высоткой на Восстанья,
Как ковчег перед вершиной Араратской.

* * *

Начало вечера. В глазах
Попутчика печаль степная.
Мы курим у окна. Казах
Молчит, о чём-то вспоминая.

В несвоевременной тоске
Непостижимой жизни знаки.
Татуировка на руке:
Рука, сжимающая факел.

Не озарит и не спасёт,
И не укажет путь, и всё же
Кому он этот свой несёт
Неяркий свет на смуглой коже?..

Мы смотрим в пыльное окно,
Там, как живая, перед нами
Степь проплывает, как кино
И как поверженное знамя.

Вблизи — заснежены кусты.
Вдали... Чего мы ждём оттуда?
Что там? Плывущие флоты
Или бредущие верблюды?

Что было? Будет? Неба синь?
Как жизнь одна вмещает странно:
Безводну даль полупустынь,
Безбрежны воды океана.

* * *

Слова летят, как клочья плоти,
В полёте изменяя облик,
Чтоб в каждом встречном идиоте
Найти созвучие и отклик.

Им нелегко остановиться,
Они захвачены движеньем ...
Слова летят, как чьи-то лица
С меняющимся выраженьем.

Освобождённые в полёте,
Слова по-своему живут.
Мы их бросаем, не заботясь,
Что нас неправильно поймут.

Со всех сторон ветра бушуют,
Дожди, и кругом голова:
Как будто правда торжествует,
Изменчивая, как слова.

Иаков. Остановка каравана

Звёзды, солнце... То ночь, то свет.
Скорый счёт и годам, и дням.
Ох и труден Ветхий Завет,
Ничего не понятно нам.

Снова бег от родных врагов.
Разбежались — и во врагах.

По кочевью ищут богов,
А Рахиль сидит на бобах.

Не кончаются чудеса,
Жар пустынь, караван забот.

А ещё впереди Исав,
А ещё семнадцатый год...

Горизонты пустынь, дымы,
Войско, овцы, верблюды, мы.

Николай Кононов

Простодушный балет, или Счастливая Люда

Рассказы

Малохаткин-анималист

Заведующий кафедрой с выражением «вот это да!», словно увидел неизданные откровения классика, перебрал несколько листков, он замедленно двигал руками, будто в этом месте гравитация была повышенной, сбил листы в стопку, шумно поднялся, что-то преодолевая, ссутулившись, оправил галстук, такой свисающий с шеи математический маятник-отвес, и в установившейся строгой тишине провозгласил:

— Товарищи дорогие мои, единомышленники! К нам тут письменно и вполне официально, позвольте заверить уважаемых присутствующих, обратилось наше широко известное областное издательство с товарищеской просьбой дать взвешенную и, само собой, идеологически адекватную оценку одного поступившего произведения, так сказать, чисто художественной, не побоюсь этого слова, литературы.

Он замолчал, принимая личину интеллигента-читателя, внимательного всегдашняя диспутов, имеющего приятный вопрос наготове.

— Просьба такой специализированной оценки, не побоюсь этих слов, возникла потому, что труд товарища Малохаткина, присутствующего среди нас прямо здесь... — и он сделал пригласительный жест в сторону красномордого бугая.

Тот поднялся, постоял немного и сел.

Это был буйный человек в совершенном противоречии со своей уютной фамилией, он неловким движением плеча мог снести не то что какую-то малую хатку, но и справный дом-пятистенки, послуживший нескольким поколениям.

Он походил на богатыря, каковыми их изображают мультипликаторы: с нечёсаной копной волосни цвета замёрзшей урины, с носом-картофелиной без ноздрей,

Кононов Николай Михайлович — поэт, прозаик, арт-критик, издатель. Родился в 1958 году в Саратове. Окончил физический факультет Саратовского университета, а затем в Ленинграде аспирантуру по специальности «Философские вопросы естествознания». Работал в средней школе, в издательстве «Советский писатель» (Ленинградское отделение), в 1993-м основал издательство ИНАПРЕСС. Автор 10 книг стихов, среди которых «Пловец» (1989), «Лепет» (1995), «Поля» (2005), «Пьесы» (2019), также нескольких романов — «Похороны кузнечика» (2000), «Нежный театр: Шоковый роман» (2004), «Фланёр» (2011), «Парад» (2015) и другие. Лауреат и дипломант различных литературных премий, в т.ч. премии Андрея Белого (2009). Живёт в Санкт-Петербурге.

глазами-пуговицами, с бревнообразной шеей, с не скрываемым пиджаком пузом, где колебалось и урчало варево.

Кажется, благоухало от него, как от разобранного трактора на машдворе, — ржавой окалиной и солидолом.

На его огромные розовые лапы, вылезавшие из рукавов, лучше было вообще не смотреть.

Заведующий и сам с удивлением глядел на поднявшегося персонажа русского эпоса.

— Так сказать, художественное произведение... — и он опять широким жестом указал на едва уместившегося на стуле сочинителя, — претендует, чтобы встать в ряд с прочими известными произведениями нашей советской многоотраслевой, и совершенно не побоюсь этого слова, ленинианы.

И многие присутствующие с надеждой подумали, что наконец-то и им посчастливится постоять у истоков критической кампании по развенчанию этих в очередной раз распоясавшихся писак. Некоторые уже внутренне облизывались. Это сулило многое — критические публикации в периодике, публичные выступления с разъяснением позиций, участие в диспутах по ниспровержению, командировки в райцентры, а может, и в соседние областные города, суточные, прекрасные карьерные перспективы.

Заведующий хорошо понимал, что думают его коллеги. Он важно помолчал, будто хотел этой паузой продемонстрировать аудитории ответственность возложенного на кафедру дела.

— Сразу скажу: вопрос был поставлен перед кафедрой весьма непростой. Непростой вопрос. Критичный, не побоимся этого слова. Да... Хотя бы потому, что товарищ Малохаткин по-богатырски замахнулся на совершенно не возделанную тематику.

И он опять смолк, будто давал прислушаться к тому, как в его мозгу вращаются жернова анализа; несколько секунд он стоял, закрыв глаза, раздумывая о чём-то невероятном и вообще уму непостижимом.

— Да, название труда товарища Малохаткина безусловно потрясает вдумчивой смелостью! Вслушайтесь, коллеги: «Владимир Ильич Ленин и русские животные». Так сказать, отношения Владимира Ильича и братьев наших меньших по разуму. Мы, товарищи, даём завершающую рецензию философского толка этому труду, в каком-то смысле. Знаем, что большой отрезок своей творческой жизни товарищ Малохаткин отдал этой работе. Оценки-отзывы по части исторической науки с областного пединститута и по биологической части с зооветтехникума у товарища Малохаткина, надо сказать, не побоюсь этого слова, — прямо безупречны. Понимаю, коллег не в чём упрекнуть. Не хотелось бы, чтобы мы подошли к вопросу формально, потому слово для сообщения предоставляется Семёну Б., аспиранту нашей кафедры. Он, собственно, и покопал по моему поручению эту проблему. Ну, уважаемый Семён Б., пожалуйста, пяти минут вам, думаю, хватит. Есть иные мнения? Что, трёх достаточно? Ну, товарищи, за три минуты мы не сможем обозреть проблему во всей её критической глубине всё-таки.

Заведующий, изысканный на причудливой мешанине пауз, куртуазностей и безграмотностей, сделал ритуальный жест рукой, словно был персонажем миманса, воспитателем принца, к примеру, и аспирант Семён, надевший по случаю пиджак, встал за кафедру и важно раскрыл тощую папку, откуда извлёк один-единственный листок.

Всем собравшимся было заметно, как сидящий в первом ряду богатырь Малохаткин от волнения сквозь костюм порозовел, как лоб его покрыла капля испарины, как он набычился, нервно засопел в жменю, задвигал стопой в огромном ботинке, будто давил гуся. Подумать о его босых ногах было страшно, он вполне мог за час утоптать за овином гектар заброшенных сельской пьянью угодий.

Суть продуманного выступления Семёна-рецензента сводилась к следующему:

— Задокументированных, — как выразился он элегантно, — случаев общения Ленина с русскими животными зафиксировано, к величайшему сожалению, очень и очень мало. — И он загадочно обвёл взглядом аудиторию.

Никто не ахнул.

— Ну, есть знаменитая фотокарточка «Владимир Ильич с Муськой», представительницей кошачьих, имеющая точнейшую дедикацию; в детской и подростковой литературе часто встречается описание общения нашего Владимир Ильича с собакой Найдой, в просторечии «сукой», когда вождь в Горках увлеклся охотой, но это мемуарные свидетельства некоего деда, якобы Остапыча или Осипыча, низкой авторитетности, записанные и опубликованные со слов вышеуказанного деда Бонч-Бруевичем, так сказать, художественно. Фотографии же суки Найды, к сожалению, в архивах обнаружить товарищу Малохаткину не удалось. Но время ещё есть! К счастью, — продолжил он серьёзным голосом, — нам всем тут очень повезло, что есть фундаментального характера заметки в Шушенском корпусе писем вождя, и это, конечно, авторитетная драгоценность, если не святыня, к Марии Ильиничне, сестре, и Надежде Константиновне, невесте, что соседские брехающие суки не дают вволю поспать по утрам, а ночью, когда работа над теориями особо плодотворна и интенсивна, почему-то молчат, будто всё про умственный строй Ильича понимают. И это нашло серьёзное отражение в рассматриваемом труде товарища нашего Малохаткина!

Есть также безупречные свидетельства матери вождя о ловле юным Володей пещерей в протоке Мутной, пониже на версту Симбирска, и ещё об остроумном домашнем способе уничтожения комаров целыми группами, всё-таки, как сознавался сам Ильич, изобретённом братом Александром, в будущем — выдающимся героем-царевубийцей и народовольцем.

Но писатель товарищ Малохаткин, не побоюсь этого слова, рисует настоящий пантеон биологических видов, где мог бы широко общаться с этими самыми видами Владимир Ильич. Повторюсь: мог бы... Додумывает в каком-то смысле сам.

И это если не плюс произведения товарища Малохаткина, то уж никак и не минус.

Заслуживает внимания вставной цикл лирических рассказов-сказаний о выдающихся конях, носящих славные имена, навеянные в каком-то смысле биографией вождя. Писатель Малохаткин прослеживает героическую жизнь кобылы Симбирки, чей круп знавал виднейших командармов Гражданской войны.

Семён глубокоумно помолчал, будто раздумывал о судьбе кобылы, он даже немного пожевал невидимые удила:

— Стоит, — ласково улыбаясь, прибавил он, — обратить особое пристальное внимание на ещё один раздел, посвящённый именно лошадям, названным в известном смысле напрямую в честь Владимира Ильича. Перечислю некоторые запомнившиеся главы: «Конь Симбирск — герой», «Неутомимая кобыла Шушка», «Жеребец-молодец Казань», «Наш боевой мерин Разлив». И вот товарищ наш Малохаткин, — Семён завершал своё выступление зычным аккордом полной абракадабры, — подробно

прослеживает биографии этих благородных животных, положивших жизнь на алтарь победы ленинизма!

В полной тишине он вложил листок в папку, подробно завязал тесёмки бантиком по-бабьи и удалился на своё место подле Гомера. Тот пожал ему руку интенсивно.

Вопросы к сочинителю звучали такого рода: «А как вот пронизательность вождя была, например, товарищ писатель, ассоциирована с дикостью кошек, ведь этих тварей приручить невозможно, но Ильич смог и тут проявить гениальность?» «По воспоминаниям сестры, — поведал Малохаткин, — кошки особенно тянулись к вождю, выделяли его среди прочих, будто чувствовали что-то в нём особенно гуманистичное, всегда вскакивали на колени и ластились».

Вопросов больше не было.

Конечно, и Гомер по-профессорски заметил кое-что из истории философии, не имеющее никакого отношения к делу, а просто так, для красоты положения, напомнил о собаках и древних киниках... И с людоедской улыбкой, обращаясь к окну, глядющему в бесконечность, сказал, что уважаемый наш товарищ Малохаткин, в недавнем прошлом житель глубинки российской, сам не ведает, какой горный хрящ он тут, понимаешь ли, легко одолел, из-под какой лавины материала выбрался во всей амуниции мыслителя на плато ленинских биооткровений. Прямо идеологический богатырь!

Товарищ Малохаткин от такой хвалы на глазах расширялся, как баян, разворачиваемый мехами перед публикой, чтобы сорваться в какую-то виртуозную канитель типа «Полёта шмеля» Римского-Корсакова или «Железнодорожной» Глинки.

Гомер не унимался, он был просто ошеломлён этой животной сагой о вожде, где всё было разложено по гнёздам и насестам, лежанкам и конурам и разведено по стойлам и яслям. Он ведь легко мысленно общупал все объекты Малохаткина, как плюшевые игрушки в магазине.

Его несло:

— А ведь перед всеми сияли эти ледники. Даже товарищ Шагинян наша, так сказать, Мариэтта Сергевна, не смогла взять эту высь, как ни пыталась. А пыталась ведь! Эк она пыталась туда влезть, а не тут-то было! Но это не каждому по зубам, скажу я, товарищи, коллеги мои дорогие, вгрызаться в животный мир, что перед вождём расступался.

Гомер, счастливо улыбаясь в зловещее никуда, неопратно гудел, испуская из себя кроме звуков ещё какую-то субстанцию абсолютной бессмыслицы:

— Но тема-то какова?! А?! А, ведь! Ленин и мир живой природы! Даже животные и птицы перед Ильичом пресмыкались! Удивительное всё-таки дело! А ведь смелость какая, товарищ Малохаткин! Диалектика животного мира, понимаешь! Вот, коллеги, сама судьба нам послала скрупулёзнейше порядочного исследователя из народа! Это же просто тебе готовый разрешитель парадоксов! Из села, а уже шепетильнейший знаток, прямо Зенон на вираже обскакал! А? Каково? Логик! Диалектический! И нет у товарища Малохаткина в исследовании ахиллесовой пяты, как ни ищи! Подписаться готов под каждым словом.

Он не стал уточнять, под чьими словами подпишется.

Он не мог успокоиться, будто ему было откровение.

Гомер обвёл плотный воздух над головами сидящих слепым леденящим взглядом.

И торжественно провозгласил неожиданно:

— Я бы даже с удовольствием рекомендовал этот труд как кандидатскую диссертацию. А что, товарищи мои, есть ведь прецеденты! Это ж даже научный шпиль

в некотором роде, дорогие коллеги! А сколько страниц, простите, любезный, в труде проникновенном вашем?

— Да... Ну, девяносто пять машинописных страниц...

Тон Гомера изменился, будто его втолкнули в душную комнату.

— Да, для диссертации маловато, маловато, конечно, спору нет.

Малохаткин пугался Гомера, как провинившийся большой неопрятный пёс хозяина. Он смотрел мутными очами вниз, будто наконец разглядел на полу миску с холодными обедками.

В голосе Гомера была обида: вывести в люди такого богатыря... Какой настоящий учёный не мечтает о таком ученике? И он нашёлся, провозгласив вдохновенно, как здравицу на сказочном пиру, будто хлопал Малохаткина по плечу в кольчуге:

— А надо поработать по-богатырски, товарищ Малохаткин! Можете ведь кряжи, так сказать, ворочать, в гранит до треска зубовного, извините, конечно, вгрызться! А?

— Да как это девяносто пять страниц с иллюстрациями животных? — сдержанно обрадовался завкафедрой. — Иллюстративный материал коней? Да это ж очень хорошо. Отменно! Спору нет! Но мы ведь это рекомендовать ну никак просто не можем... Для Ильича и животных это не размер, конечно, не размер... Нас инстанции ни за что не поймут и по головке не погладят, так что уж извините, товарищ Малохаткин. Надо наращивать листаж, конечно! Ну хоть страниц триста ещё так, скажем, подверстайте. Надо исследовать, исследовать и исследовать, в ваши-то годы...

Последняя фраза звучала странно, потому что сколько лет Малохаткину, при забубённом образе жизни не спивающегося пропойцы, понять было совершенно невозможно. От двадцати до шестидесяти.

Малохаткин залупоглазел, так как не ожидал такого оборота, он потерял себя за носяру огромной лапой крестьянина, могущей легко прикрыть ведро навоза или сквозной пропилил толчка. Каким образом он держал ручку или карандаш или тыкал в клавиш ундервуда, излагая свои животные материи, — было загадкой. Большое лицо его, всё-таки ряха, всю прошлую жизнь глядевшее на крупнорогатую скотину, изображало мычание...

Он с трудом нашёл слова:

— Ну, товарищи, буду считать полезное дружеское обсуждение первым моим заходом по теме. Буду работать не покладая, так сказать. Не все тут животные подобраны, конечно, в ленинском аспекте, не все, но есть где мне развернуться.

И он действительно развернулся всем вальковатым туловом.

— Хочу с птицами нашими и насекомыми ещё поработать по всяким научным схронам. Как вот прям дам научный объём, так ну сразу прям и к вам напрямки.

В каталогах крупнейших библиотек подобная книга к сегодняшнему дню отсутствует как в предметном, так и именном указателях.

Козюльки и цуприльни

Не умея как-то отстранённо размышлять над процессами приготовления пищи, они мистическим образом знали, что сама усердная стряпня — уже и есть еда, и куда значительнее, чем её банальное поглощение.

Мать собирала для сладкого вываривания всяческие пригородные паданцы, похожие в какой-то степени на плоды, всякие дармовые лесные невозможности.

В этом году, к примеру, притащила с дальних Дачных рюкзак зелёных гладких пупырьев, вдруг повысыпавших в конце мая на осиновой гладкой коре нарывными болячками, прозываемыми в журущем всё подряд народе сахарниками. Сырых сахарников перед варкой мать попробовать побоялась, хотя и разламывала, и разрежала, и нюхала, и подманивала кота, и смотрела, как по влажному волокнистому разлому сахарника ползает всё живая муха, взлетела и была такова, ничего с ней, голубушкой, и не случилось.

Мать опасливо рассуждала, якобы споря с дочерью:

— Сахарник в рост — жди зимы снежной, а весны разливанной. Если б была ерунда какая-то вредная, то никто бы и примет не знал, и сахарником не прозвали бы. Ишь ты, зимушка-зима.

— Да, мам, осень ещё.

И Люда перехватила заинтересованный взор матери, брошенный на край старого зимнего пальто, оно почему-то лежало на виду, вывернутое наизнанку, как приготовленное к чему-то. И Люда досадливо подумала, что мать будет опять надпарывать подкладку, чтобы поискать в швах запавшие монетки, но обычно она выковыривала дообменные, ненужные никому, даже автоматам, расставленным по улицам там и сям: телефонным и газводы, а уж подсолнечные в гастрономах давно принимали только купленные в сально-масляном отделе ребристые жетоны.

Было ещё варенье из совершенно дармовых желудей, собираемых в старых дубравах, опять-таки на Дачных. Это дубовое варенье, а лучше, желудёвое, как кофе, к примеру, требовало пудры в одиннадцать раз больше обычного, и в течение первых трёх суток непрерывной варки оно исходило абсолютно чёрной пеной, пока жёлуди не начинали едва-едва размягчаться и, как говорила трудолюбивая мать, отдавать вкус.

Кстати, при столь продолжительной варке таза желудей, очищенных от шапочек, передохли все укусные мушки.

— Тоже польза, — замечала мать.

Правда, это варенье имело особенность: оно красило зубы и рот, так что без зубной пасты его не употребляли.

— Всё-таки, мам, оно прям с дуба, — говорила Люда, употребив как следует зубного порошка, но язык оставался с чёрной полосой посередине, какой-то барсучий, но она никому не собиралась его в ближайшие месяцы показывать.

— А то какое ж ещё, чисто дубовое, где ж ты такую сладость поешь, — отвечала мать, налегая на почерневшие от варки крупные желудочки без шапочек, так как вся горечь, считалось, была в них.

Она вообще-то очень сильно сожалела, что в их краях не растёт кедрач, и утешала себя и дочь:

— Ничего, ничего, доча, мы ж с тобой ещё лещину любим.

— Мам, в этом году, говорят, уже всю поела какая-то зараза — прожорница, что ли, или нажорница. Позабыла, на работе говорили. Поначалу всё просто как ватой снежной облепило, чистая красота, а вата сошла, мотыли какие-то длинные с иглой в зад улетели — и ничего тебе: ни орехов, ни листвы, — ну ты подумай.

— Что ты, доча, говоришь, это ж надо — прям всю мечту мне эти нажорницы загубили, думала, наварю с пяток баллонов, а оно тебе с лещины сразу и сладкое, и кисленькое, прям как «Мечта», мятная карамель.

— А чёй-то, мам, мы с мяты ничего не варим на пудре?

— Так мята только в Волчьем Логу, а я боюсь.

— Ай, да подумаешь, мам, я...

— И думать не смей, там цуприльня одна ходуном ходит. Зачем тебе неделю подол подшивать потом, сама уж, Люд, посуди?

— Да, мам, нет — я цуприльни не люблю совсем, что и говорить.

— Да кто же, доча, их любит, ты мне скажи? Бесоёбок-то? А? Быть нам без мяты посему. Вот если лето сухое выдастся, но из-за сахарников-то не похоже, так, может, и полопаются к чёртовой матери, прости господи душу мою грешную, что со зла им пожелала.

— Мам, так ты у Измайловны эссенции спроси хоть фунтик вот такой.

— Да она сука ещё та. Обмараешься просить.

— Ну а ты на пудру сменяй хоть жменяю.

— Не, доча, не даст. Не те люди... А чё она мне? Всё только об одном: «Ты “по-царски” крыжовенного никогда не заваришь». А далось оно мне?

И если бы кто услышал тихий застольный разговор, то легко бы понял и про эти «цуприльни», как им все желают жарким летом лопнуть, и в каком убогом родстве состоит Измайловна с эссенцией и пудрой. Потому что этот разговор вёлся исключительно из красоты эмоций и вкуса пищи и лишь в последнюю голову из возможного понимания жизни.

Но постепенно сама речь матери и дочери, не связанная ни с эмоциями, ни с пищей, ни с одеждой, заслоняла всё.

Мать говорила о своём, как обычно:

— Хорошего, доча, так вообще мало. А я так их хвоста побаиваюсь, прям слов у меня нет. А чего, доча, давно у тебя всё узнать хотела, чё это на пачке «силь» написано, когда там соль солёная. Так?

— Да, мам, я тоже всё думаю — и какая ж тебе это «силь» такая-растакая... А я вот реглан что-то так сегодня, как на работу шла, захотела, так захотела, как тогда прям.

— Так, доча, вяжу тебе хороший, нитяной. С тех самых, седьмой номер, что сменяла, помнишь? Это когда мулине не взяла. К чёртовой матери их мулине. Так и сказала: давай, тварь, просто номера в цвет. Правильно ведь?

— Да, мам, я сама мулине ой прямо как не люблю, не люблю. Фу-ты ну-ты — напялишь это мулине и будешь ну прям как все...

— Вот и я, доча, весь день, чёй-та говорю, так волнуюсь про тебя я, так волнуюсь. Изюму-то бери. Если хоть козюльку найдёшь, я прям тебе, Люд, сама к цуприльням в ночь съеду.

— Да не найду, мам, я уже искала. Ты ведь знаешь, как я их опасуюсь.

— Да уж, козюльки, они любого до смерти сведут. Инда тьфу прям!

— Мам, ну давай уж про козюльки — в сотый раз попрошу тебя, — не будем про их.

— И в кого я тебя культурную выродила, господи, доча. Подумаешь, цаца. Ой, да прости, доченька. Всё хорошо будет, верь матери-то, мать плохого не посоветует. Не плачь, а то живот заболит. Слезу-то сглотнёшь внутрь. Ну к чему тебе? Каплями давиться придётся. А ты не плачь.

Видимо, в ту пору собственная внешность, все мелкие подробности немногих платьев, простые рисунки силуэтов для Люды простирались где-то там, за границами того, что она осознавала как собственную оболочку, видимую другими, то есть очень от неё самой далеко — там, где понимать себя уже совершенно невозможно да и не нужно.

Домашние признания (фуга)

Старое, многожды поштопанное постельное бельё, трудолюбиво состроченное из разных фрагментов, требовало бережности, и никак нельзя было во сне, невзирая на сновидения, вертеться страстной юлой, натягивать простыню шалашиком от страха на голову, сильно дёргаться бёдрами, когда вдруг бежишь, сучить стопами, танцуя, — всё настолько было ветхим, истончившимся, но притом таким нежным и трепетным, что Люда порой запрещала сновидениям сниться.

И ей иногда казалось, что её несусветная аккуратность и запредельная старательность вызваны сном в коконе этого ветхого белья, и если бы оно было другим, свежим, целым и крепким, то и она была бы совершенно вольным человеком: ходила бы себе в красивых платьях по фигуре и очень изящной обуви по ноге с открытым подъёмом.

И ещё мутная тайна про то, как Люде было стыдно не пользоваться материнским подарком к прошлому Восьмому — сюрпризными духами «Красная Москва». Флакон так и лежал в глубокой коробке на уютненькой постельке шёлка, словно купальщик на волнах. Люда представляла, как его едкое содержимое вызывает даже не своей парфюмерной остротой, а только одним видом жёлто-зелёной эссенции, расплывшейся по притёртой пробке, сухую всеобъемлющую чесотку в её теле — сразу изнутри и снаружи. И она не могла коснуться ею запястий и шеи, чуть ниже мочек, где кровеносные важные сосуды подходят к коже совсем близко.

«Тогда, — размышляла она, заходя всё дальше и дальше, — запах легко разойдётся по всему телу на месяцы наперёд, как война после двадцать второго июня сорок первого ещё на всё время вперёд, хоть она уже и окончилась днём-победой девятого в сорок пятом».

Война всегда всплывала в её парадоксальных размышлениях о парфюмерии.

Запах «Красной Москвы», плотный и тёплый, просто неостановимый, его эссенция просачивалась сквозь пробку, — он был для Люды символом прощания с замечательным мужчиной, сгинувшим на войне, — такой напрасный дурман, охранительно не подействовавший на мужчину. Ведь он всё равно ушёл на эту треклятую войну, откуда не вернулся.

Она пребывала в этих обильных сюжетах, так как глазела на агитационные плакаты, растянутые повсеместно, и исправно ходила в ближний кинотеатр раз в неделю, в среду, особенно на «тяжёлые» фильмы, потому что именно они выпадали на этот день, обозначенный в календаре кинотеатра плакатиком с профилем нескольких героев: «Среда — фильмы *мужества*».

Её в кино интересовали мужественные мужчины.

И она не решалась этими духами воспользоваться, так как казалась себе самой совершенно необъятной страной, где вот-вот начнётся война на многие годы вперёд и где и не уцелеть не только мужчине, доблестно пошедшему на эту войну, но и ей тоже от смертной тоски по этому мужчине.

А что? Разве, представляя всё это, она была не права?

Словно в подтверждение её странных только на первый взгляд раздумий, на стене над парадным диваном в их главной комнатке — на нём никогда не спали не только домашние животные, но и редкие припозднившиеся гости, а только лишь в определённых случаях значительно сидели, — висели в нарядных рамках два больших ярмарочных портрета старших материнских братьев, на войне пропавших.

Это были страшные анонимные физиономии, увеличенные каким-то фотохалтурщиком с совсем маленьких, с монетку, документных карточек. Фотограф-ретушёр полагал, что получилось очень жизненно, — так казалось ему, — и он убеждал заказчиков, что за этот смешной преискурант сделать лучше невозможно, но он, понимая их пожелания, щедро по всем деталям туманных лиц прошёлся, вот, видите, хорошим дефицитным анилином. Физиономии дорогих покойников розовели бутонами над едко-зелёными рубашками без галстуков.

Бутоны смотрели куда-то в бесконечность — мимо Люды — своими заретушированными до полного неузнавания лицами, прорисованными ненастоящими глазами, поджимали чёрные обводки строгих губ и были неприятно румяны из-за обильных всполохов жёлто-розового химического грима.

Они принадлежали не её родственникам, их она ни за что не могла признать в этих раскрасках, её дядьям с именами-отчествами (как говорят, прямо очень-очень похожих на её мать, когда они смеялись, но этого уже никто не видел, и приходилось верить на слово), павшим на войне, а вообще, огромному безымянному *никакому* никому.

Люда недоумевала тупому безмерному множеству смерти: такие же жутковатые крашенные маски, не очень похожие на людей, висят, как она себя помнит, повсюду над диванами во всех-всех комнатах, где они бывали с матерью в качестве близких или далёких родственников или просто званых гостей.

Видимо, эти невоплощённые люди не раз сживали, когда были ещё среди живых, на этих самых торжественных диванах в старательно вычищенных и уютно прибранных комнатках, куда её с матерью почтительно пускали.

Иногда возвращался к себе домой из далёких экспедиций огромный пёстрый котяра, нагулянный Такусенькой. Его с самого котомладенчества пыталась пристроить Люда, но дикая, просто вопиющая пестрота помешала обрести хозяев, хотевших понятной масти, а не трёхшёрстности какой-то. Трёхшёрстность как бы уничтожала саму идею умиления котёнком, ведь и невооружённому глазу было видно, в какой беспардонной случке этот прелестный комочек был зачат, ведь трое или ещё больше разномастных родителей — это как-то многовато. И пёстрый котик в ожидании хозяев обитал в кошачьем интернате, содержимом безответной Людой, имя ему не выбрали, так как желали животному хорошей жизни у котолюбивых хозяев, чьё право выбора имени подразумевалось как наиглавнейшее. Переименовать котов пока ещё никому не удавалось. И вот, безымянный, он стал откликаться на «Ты», «Котик» и «кис-кис», — так, в конечном счёте Котиком он остался на всю жизнь, вымахав до полоторного, по сравнению с Такусенькой, матерью верзилы.

В пушистой пестроте необъятного матёрого трёхшёрстного Котика чистых цветов можно было насчитать куда больше трёх, так как соучаствующие в оплодотворении Такусенькой грубияны и сами по себе были весьма пестры. Даже чёрный был в его живой палитре даден в широчайшей гамме — разбегающимися от хвоста по хребтине клочьями-мазками сияющего просто-угольного, рыже-чернильного, бархатно-скорбного, горело-нефтяного и какого-то тускло-бездонного, стекающего на светлое брюхо, и т.д. и т.д. И всё это на бесноватом замесе клочковатой серой шерсти разной длины и состава, будто он был щипаный. Про рыжие всполохи под хвостом, на боках и галифе нечего и говорить, а сегменты полосатости на задних лапах при рыжих гольфах на передних просто поражали... Могло создаться впечатление, что Котик обнёс меховой холодильник ломбарда, где в межсезонье нежились шубы в ожидании хозяев.

Единственный дефект, бросающийся в глаза, — потёртость меха на шее, будто он развязал непростой виндзорский узел галстука и, подумав немного, вообще снял его перед тем, как войти в дом, где обитали мать с Людой, так как совершенно их не ставил в грош.

В спокойные дни красного календаря, когда все были дома, Котик, едва уловимо покачиваясь, вальяжно садился и замирал в некоем диагональном центре на самый высушенный коврик и подозрительно косился на вывязанные овалы лабиринты — скорее всего, он раздумывал: ну и насколько же сместились центры равновесия в его отсутствие? Но всё было в порядке, так же, как и в последний раз, когда он зааживал поужинать и переночевать, так что предпринимать ему было ничего не надо.

Хозяйки, а они почитали себя не только хозяйками помещения, но ещё и забредающего к ним кота, подобострастно угощали припасёнными яствами, в основном молочными, чтобы умилиться, как Котик чистоплотно лакал, не брызгаясь (не то что Барбос какой-то), а нежно касаясь поверхности убывающего молочка или очень аккуратно (да прям губами, мам, да прям как человек, посмотри, мам!) подбирает творожные крошки.

Он иногда показывал, что ест всякие угощения не зря, и заносил в дом из своих военных и исследовательских экспедиций небольшие ценные трофеи. Но так как был тактичен, то лишь такие, что не очень испугают хозяек, — это были в основном несъеденные верхние четвертушки мышат с ушастыми головками, их вполне можно было принять за брошки с пурпурной окантовкой по рваному краю, и женщины, чтобы не обидеть Котика, делали вид, что принимают дары с радостью, благодарностью и умилением, только пусть они полежат себе до его скорого ухода именно там, где он их и положил, можно нам пока их не примеривать к блузам?..

Проверив законы гравитации, закусив без жадности и вздремнув сидя, Котик мог уйти ночевать в другую семью, куда-то. Более определённого о нём ничего известно не было, но каждый день он возвращался снова повидаться и что-то съесть.

Люда и мать всегда хотели пожалеть несчастное животное, лишившееся в каких-то перипетиях шерсти на шее, но гладить себя Котик не позволял, будто ласка могла его соблазнить, и тогда рыцарскому celibату придёт конец, а он хотел производить на женщин впечатление рыцаря, давшего обет самоотрешённой суровости. А может, он просто не хотел, чтобы у Люды и её матери от телесного общения с ним завелись плотские мысли, потому что давно привык ценить их как воплощение чистых сущностей молочной еды и бытовой аккуратности.

Люде даже казалось, что он приходил не просто так, а проверить — не завелось ли ненароком в часы его отсутствия какого-то пришлого мужчины. Поэтому неудивительно, что, только вступив в жилище, Котик внимательно осматривал обувь, стоящую на коврике у входной двери под вешалкой, будто что-то соображал в фасонах и мог пересчитать пары, он даже порою пытался потянуть шнурки лапой.

Бесспорно, Котик ревновал, ведь он вообразил, что над Людой давно всевластен. И если он заходил, когда не было матери, то Люда, как каждая фасонистая женщина по отношению к влюблённому рыцарю, говорила бы ему с расстановкой, чтобы дошло, открытым текстом о прекрасном — не в пример ему, Котику без галстука, — Лье-Лёвушке, всегда разодетом, благоуханном и расфуфыренном, привирая о вчерашнем свидании и неземных страстных поцелуях.

Она смотрела в круглящиеся чёрные зрачки дуреющего от её театральных движений Котика и неумолимо, безжалостно и цинично повторяла с расстановкой, чтобы он понял каждое её слово:

— Пряма в губы. А ты что думаешь, Котик? По-другому, чё ль, у людей? Да-да, у нас, у людей, если по-людски, так пряма сразу в рот! Мы по крышам не орём почём зря, как некоторые. Имён-отчеств пока не называю...

И ещё многие обидные слова о прочих бесчинствах кошачьих были сказаны прямо в лицо Котику.

Особенно много Люда повествовала (и с жестоким намёком) об удивительном золоте волос возлюбленного Лёвущки, он тогда представлялся ей совсем невеликим, ну чуть больше Котика, совершенно ручным, норовящим запрыгнуть ей на колени для нежной ласки, таким одиноким-одиноким-одиноким и очень-очень-очень нуждающимся в её потакании, защите и нежном пестовании.

— Кудри-кольца-колючки, кудряшечки-кучеряшечки так тебе прямо и выются сами по себе! Пряма все золотые кучеряшечки, одна к одной, одна к одной! Понял? Золотые пряма все! А мы с ним — любовники. Заруби на носу, Котик, — мы лю-бо-вни-ки. Я — Люда Буколаева, и он — сам Лев Новиков! Любовники!!! Он кудрявый, не то что ты, кошак! Дрань всякая из тебя так и лезет прелая во все стороны. Ты нечёсанный, в колтунах уже! Где галстук потерял, кошак пёстрый? На крыше, небось, забыл? Скажи ещё, что с расчёской обронил! Шубу расчесал бы. Совсем ты уже того...

Она вкручивала себе палец в висок, как штопор.

Подойдя к зеркалу и внимательно, со всей серьёзностью, посмотрев на себя, Люда вдруг воображала себя Львом — она обхватывала себя за шею, гладила по щекам, поднимала вверх медленно-медленно волосы и роняла их струями любви, скашивала глаза в сторону и упиралась в Котика, неотрывно смотревшего по-зверски на её фантазии со своего половичка.

Она вообще-то боялась Котика так раззадоривать, потому что при её недвусмысленных намёках он замирал, понимая смысл определённо, неотрывно целился в раскривляющуюся перед ним Люду своими округлившимися от ревности остекленевшими глазами-затворами.

И ей чудилось, что ещё он напрягает мышцы своих лап — нервно сжимает и разжимает кулачки с подогнутыми мохнатыми пальцами, зло впиваясь спрятанными когтями в глубину своих кошачьих ладоней-подушечек. По его облезлой шее быстро проскальзывал комок, будто он досадовал и сглатывал горькую слезу, и уж совершенно точно, что под вздрагивающими вибриссами катались желваки, как у артиста Баталова в серьёзном кинофильме «Дорогой мой человек», когда тот вдруг очень сильно нервничал из-за большой любви. О, как он нервничал!

Надо сказать, что киноартист Жжёнов Люде нравился гораздо больше киноактёра Баталова, но Котик на Георгия Жжёнова совершенно не походил, ведь тот совсем не был пусиком, как артист Алексей-Алёша-Алёшенька Баталов, к примеру.

В том, кто из них был настоящим пусиком, Люда не сомневалась — фотокарточки обоих были приклеены у её изголовья, и утром они оба посматривали на неё вроде бы весело, а вечером — определённо сумрачно и даже несколько устало.

А чтобы Котик точно уж понял всё про неё и Льва, она прибежала к языку глухих и на пальцах, жестами показывала, какой он весь из себя, этот восхитительный мужчина Лев, и как её, желанную Люду, он обнимает почём зря, ласкает везде и целует прямо куда захочет. Она томно вилась перед Котиком и оглаживалась, попеременно чпокая губами себя и в кисть, и запястье, и в плечо, прямо в горький трикотаж домашней кофты. Это она делала, чтобы дошло про любовь до этого наглого Котика! Да и вообще, храбрый Лев не кто-нибудь, а настоящий рыцарь-охотник, совершенно

бесстрашный, одиноко гуляющий по лесу, и может запросто жалкого Котика съесть с потрохами, не запив и не подавившись. И она артистически изображала его неуёмный азарт охотника и ненасытный аппетит едока всяческих котиков, попадающихся на рыцарском пути.

Это вообще-то был настоящий простодушный балет!

В ответ на такую жестикую атаку животное тоже что-то говорило ей. Сначала с помощью хвоста. Котик чуть встряхивал только кончиком, а потом и во всю длину, как шерстяной термометр, чтобы уж тряхнуть по-настоящему и сбросить все старые температуры.

Люда быстро считывала смыслы, глядя на дрожь, потряхивания и недвусмысленные завивы этой распушившейся пятой конечности.

Котик не сомневался, что Люда — настоящая спятившая тварь, оборзевшая куртизанка и вездесущая блядь, что в неё даже брызнуть пахучим ферментом не хочется.

Котик и знакомства

Люде порой казалось, что Котик уже давно растрендел всем кому ни попадая про неё и Льва, и все знают теперь тайну её сердца.

Но, поев, Котик уходил, бросив метку на тихо приоткрывшуюся дверь, чтобы все знали, кто тут обитает. Он шёл в другой дом, где его тоже считали своим котом, только очень старая временная хозяйка была столь забывчива, что буквально каждые четверть часа ей мнилось, — позабыла что-то очень важное сострадательное в своей жизни сделать, самое важное-разважное в своей непутёвой жизни, например, покормить этого бедненького оголодавшего кота-котика, что она с радостью и исполняла.

Однажды важный гость-мужчина, сложным путём приглашённый для серьёзного первознакомства с Людой, простодушно протянул руку к этому лохматому цветному милому Котику, чтобы показать, что он тоже может любить животных, и был в ответ со всей силы шмякнут, будто тот объявлял ему войну, — да не просто шмякнут, а ударен с оттягом и ещё через мгновение, данное гостью, чтоб он одумался и вообще ретировался, — гадко в руку укушен прямо до мяса.

Для гостя это было серьёзное увечье, так как работал он руками, ибо был высокоразрядным фрезеровщиком на очень хорошем непьющем счету и не хотел делаться инвалидом.

Даже сорока укусов от бешенства гость не хотел.

Котик, на всякий случай ушедший под шкаф, светил оттуда в сторону раненого светозарно.

Когда после сочувственных оханий, прижиганий йодом, целительного дутья-фукания, перевязываний и извинений гость совсем засобирался ретироваться, ничего не сказав о следующем визите для ещё более подробного знакомства, то в прихожей ему пришлось надевать штилеты, куда Котик излил из себя столько, что в обычном коте никогда и не поместится.

И так (или несколько иначе) случалось каждый раз, будто Котик был послан в этот дом специальной комиссией, чтобы проверять, насколько хозяйки дома блюдут себя в безмужней чистоте. Он определённо ничего в общем устоявшемся укладе не хотел менять. Какие такие ещё мужчины? Им что, его мало?

Само собой, хозяйки нашли объяснение случившемуся. Всему виной был дух масла, ввевшегося навсегда в руку, протянутую к Котику. Рука станочника прямо-таки благоухала металлической окалиной и машинным маслом, — из цеха ведь!

Бедный перепуганный до смерти Котик, конечно, решил, что к нему протянули остро заточенный тесак, чтобы таким образом порешить. Что же ему, бедняжке, оставалось, как не защищать себя и своих дорогих хозяек от какого-то неизвестного ему мужика-ознакомца с тесаком в рукаве?

Они даже в итоге обиделись на этого заводского, пришедшего в их дом с холодным оружием в рукаве, ведь бедный Котик всё это распознал, иначе ну зачем ему бросаться, ты, Люда, сама посуди. Люда с матерью не спорила. Да и мужчина был ей подозрителен — и с чего это он холостой? Нет ли какой болезни?

Однажды Котик примерно так же сыграл свою жестокую роль в несостоявшемся по-настоящему знакомстве с вполне симпатичным крановщиком, на закоренелого холостяка не похожем, — просто мужчина такой по судьбе ищет пару, даже ничего себе, и шатен без залысин, чисто бритый. Немного на актёра Ножкина даже похож. Скромный, сразу видно.

Статный шатен, бодро так разувшись у порога с побряхтыванием и смешками, увидел большого пёстрога Котика и просто механически перевернул подметками вверх свои полуботинки, с подковками, кстати (что говорит не только о рачительности, но и об аккуратности) и, подумав мгновение, оставил там же только что надетые гостевые тапочки (видимо, он знал, что коты делают с гостевыми тапочками), заявив хозяйкам, что очень любит с самого деревенского малолетства по избяным полам как есть босым, и бодро так расправил свои ладные плечи в неплохом магазинном свитере (что говорило хорошо и о его вкусе, и о регулярной получке с премиальными), а то всё вверх и вверх по крану приходится взбираться в сапожищах-кирзачах, а другие не выдают, а он так мечтает о лёгкости походки, чтобы тяжесть одиночества ему не мешала. И он по-хорошему глянул на Люду.

И всем понравилось, как он галантно вернул намёк про два одиночества, идущие всю жизнь прямым друг другу навстречу.

И присел он сразу же к столу бочком, что тоже понравилось — не обрубков-хам какой-то, а вести себя умеет хорошо у стола, положил так привольно ногу на ногу, чтобы поудобней с улыбочкой начать с Людой и мамашей уже не торопясь и не на ходу, а говорить-ознакамливаться о том или о сём.

Кот тоже подошёл к столу поближе, доброе домашнее животное ведь любит людскую компанию. Ах ты, кис-кис-кис, пеструн-то ты наш, какой умный, поди, да холёсенький такой! У него тоже кошка имеется, Машка.

Вроде как даже с удовольствием к нему Котик подошёл.

Уселся вблизи, смотрит добро, зрачки-щёлочки, просто гладь не хочу, вызвав у всех присутствующих сердечное умиление, что вот, мол, хоть животное, а хороших людей понимает с первого взгляда.

И тогда Котик вроде как застенчиво, скромно и совершенно без агрессии потрогал лапкой овальную дырку в зелёном носке гостя, не на той ноге, что гость чуть так вольно побалтывал, а на той, что он опирался об пол, вроде хотел только чуть поддуть и на себя потянуть. Ведь эта овальная проношенная носочная прореха могла сойти за лаз в норку, где кто-то очень маленький, хорошенький и съедобный, по плотоядной мысли Котика, мог обитать, — ну, крысёныш или мышонок, к примеру.

Коты, они такие — им кляксу у плинтуса поставь, будут полдня сидеть и ждть добычи. Против пищевого инстинкта разве попрёшь?

Гость тоже уставился в этот лаз на своём х/б носке (неопрятного солдатского цвета), какая-то всё-таки неопрятность для взрослого мужчины, прошедшего вообще-то школу жизни, а покупающего носки в военторге.

Он страшно застеснялся своего большого пальца с желтоватым ногтем, вытаращившегося в дырку, и поджал ноги, зажавшись всем телом вообще уже совсем не по-мужски, а вроде несколько так кокетливо, мол, сейчас лизну вареньица с кончика ложечки, что его совсем уже подозрительно характеризовало, — уж не рыцарем в глазах обеих женщин точно.

Но прятать ему свои ноги в серо-зелёных рваных носках было поздно, так как его замешательство и стеснение просто породили во всех присутствующих глубокий носочный просто-таки обморочный для женского тонкого обоняния вроде как подозрительный, чуть кисленький запах.

И уже никто не смог бы проверить — пахло ли реально от этого гостя-крановщика, или же так сильно они принюхались.

Котик продолжал путать карты степенного процесса знакомства.

Презрительно повернувшись к и так опозоренному крановщику задом, он поднял необъятный распушённый хвост, словно начёсанный парикмахером специально, и триумфально просиял своими рыжими яйцами, затыкавшими его пёструю тушку, как пробка графин. Он даже начал характерно встряхивать своим филеом и всем видом показывать, что вполне может пустить в сторону не находящего места продырявленного крановщика зловредный пунктир несмываемого позорного секрета.

Все напряглись, и разговор-знакомство совершенно не складывался.

В конце концов начало казаться, что все попали в такой уют, куда приходят бездомные не только со своей телесной утлой человеческой вонью, но и со всеми мировыми несчастьями сразу.

По дому разлилась тоска.

И совсем растерявшийся хороший крановщик-шатен — скорее всего, и не бездомный, и не несчастный, и не пахучий — ухитрился опрокинуть блюдо, куда зачем-то нацедил жидкого травяного чаю. Это показало всем, что он человек ещё и очень нервный и вообще несдержанный, может, и скор в гневе на руку.

Люда с матерью с пониманием переглянулись и даже одновременно заметно кивнули друг другу, типа вот, ты видишь, я тебя сразу предупреждала, чему теперь удивляться; будто по отношению к знакомству с этим крановщиком-невротиком они находились совершенно в одинаковых позициях ожидания глубоких отношений, что, в сущности, было правдой.

Вытирание лужи сблизило всех на какое-то время: чтобы вытереть как следует, надо накрыть лужу чистой тряпкой, и по мокренькому хорошенько ещё пожамкать и попротирать, и в плоску-полоскательницу впитанное поотжимать.

Мать стала распорядиться как бы общесемейным делом:

— Люда, ты подай миску с сервиза, ну, знаешь, такую, а вы вот просто стоя смиренненько постойте, пока я всё хорошенько так вытру в сухость, и тогда уж за стол прямо.

Частые взоры-оглядки на злосчастную дырку мешали проявиться обычной участливости при общем деле, и непринуждения не выходило, хоть ты тресни.

И что они усмотрели в этой дырке, будто боялись, что оттуда сейчас вылезет нечто: противный грязный червяк или скользкая гадина толщиной в палец...

Стоя, он как-то всё пытался подвернуть пальцы стопы и сокрыть таким хитрым образом прореху, но у хозяек возникло нехорошее чувство, что он что-то такое дорогое, незаметно упавшее со стола, взял в ногу, ну как в руку. Но сделали вид, хоть и слегка напряглись, что ничего вообще не пропало у них, так как были вообще-то женщинами воспитанными.

В итоге общий возможный разговор:

— ни о редкостном чёрном желудёвом варенье, оставшемся совершенно не распробованным гостем;

— ни о погоде, вроде бы даже вполне обычной для этой поры и дающей возможности для многих вольных метеорологических суждений и предположений о будущей зиме;

— ни о такой нормальной уважаемой мужской работе с соцсоревнованием с другим краном за приличную получку на самой верхотуре — абсолютно не заладилась, потому что после серии неловких движений с последствиями ещё мешал некий запашок, примешивающийся к каждому жесту и слову.

Вряд ли в такой атмосфере можно было что-то дельное и целесообразное начинать вообще.

Да и представить себе жизнь с человеком, ставшим так благоухать прямо с порога, было ну просто невозможно, каким бы он хорошим ни был.

Они об этом потом поговорили, как-то легко утешившись незнакомством.

Дом и разговоры

...Несмешные, почти бессмысленные на чужой слух разговоры были для матери и её дочери нужны как тактильное общение для сиротливых в своей тишине глухих, чтобы не только что-то познать через произнесённые слова, хотя это было на десятом месте, — ведь всё, что они обсуждали, они познали и позабыли уже бездну времени назад, но для того, чтобы убедиться со всей очевидностью: вот они, невзирая ни на что, пока всё так же существуют хотя бы друг для друга.

Не в том смысле, что они живы, а в другом, более глубинном и таинственном, в некоем воистину мистическом регистре, где банальные людские смыслы не значат ничего. Ведь в самый момент речи, всегда казавшийся им самим протяжением, настоящим бытием, они обе, говоря словами и предложениями, может, и бессмысленными, самое главное умалчивали, старательно скрывая друг от друга.

Они таким только на первый взгляд незатейливым образом убеждали себя и собеседника, что они в высоком смысле действительно *есть* тут, пока что наличествуют, но очень горюют, не показывая своё горе, что обязательно смерть их каким-то образом разлучит.

Вот, пожалуйста, они, сидя за столом — одна как бы за уроками, а другая за рукоделием, — ещё не погибли в окружающей пучине, ещё отзываются на «мам» и «доча», что-то сладенькое и кисленькое клюют с затёртых блюдец и ещё что-то такое незаметное не по-настоящему кушают: кто потянется за мелкой сушкой, кто за сахарным кубиком...

Они обе всегда имеют ясные желания покушать ещё чего-то, будто крошечный голод только недавно миновал всех, и сами навыки еды с его окончанием должны ими не только не забыться, но и, желательно, усовершенствоваться.

Потому что в подступающей сытости, когда уже не захочется ничего-ничего, им виделась необоримая опасность безразличия, роковой остановки, и после неё — только конец. И даже нищий и одновременно уютный интерьер их коммунального жилища из двух смежных примерно одинаковых комнат сложился так, что только способствовал их перманентному насыщению, хотя, надо отдать должное, они никогда не обедались, так как не были в этом желании вульгарны.

Их общее меню никогда не обсуждалось, а было изначально гармоничным, ибо они на него давным-давно согласились, — под стать их простому сезонному календарю. При том что на самом деле их еда была на сторонний взгляд и дурацкой, и смешной, и неправильной, но её до степени символической устойчивости и какой-то нутряной фундаментальности возвеличивала прекрасная незыблемость.

Может, именно в этом и состояла матрица их своеобразного алфавита, основа их словаря, простая мера их речи, и её не было в той же степени, как и целесообразной здоровой пищи в их жизни.

Но откуда вдруг брались их потребности, заводящиеся, как шашель в старой крупе, когда и они были лишь флуктуациями привычного, к страстям и желаниям никакого отношения не имеющие. И ответ на этот вопрос прост до очевидности: это и была их настоящая речь, способ самоизъяснения в мире возможного, не больше. Мелкий каприз.

Нуждались ли они в настоящих коммуникациях?

Кто ж знает это...

Итак, еда в этом доме была не просто утолением голода и поддержанием жизнедеятельности, связыванием инстинкта, а мощным коммуникативным каналом не только общения и самоутверждения и идентичности, а вообще — она была просто мировой пружиной, толкающей их, главным узлом жизни. Всё остальное случающееся и происходящее — лишь бледные отсветы великой нескончаемой еды — мутная вода для вымывания крупяного шашеля.

Поэтому варка варенья была тектоническим процессом, связывающим все стихии сразу. То есть самой бытийной, неотменяемой.

В этом доме, конечно.

Этими людьми — матерью Люды и самой Людой.

Сон в женском жилище

Жилище в две комнатки на совсем уж низком этаже, в каком-то смысле земляном, в старом двухэтажном доме с палисадом и сараями казалось им удивительным достатком, даже изобилием, щедрым подарком судьбы, они даже боялись хвалиться им, чтобы не сглазить это чудо. Обставлены комнатки были весьма функционально — примерно таким способом, как очень умилило бы детей, — что-то вроде беличьего домика в дупле, подробно показанного в уютнейшем мультфильме. И от опасностей высоко, и всегда тепло из-за того, что древесная полость связана в любом случае с теплом огня, и заставлено всё пространство такой уютной едой: орехи, орехи, орехи и совсем немного сухой травы для обустройства валиков для уютных сидений и изголовий для глубокого сна.

Так что жильё умиляло: всё в нём открытое взору, было обязательно тёплым, насыщенным, налёжанным, каким-то славным, вызывающим тихую внутреннюю улыбку. Как и в беличем мультдоме, съестное было одновременно и спрятано от соблазна съесть всё вкусненькое сразу, и в то же время немного приоткрыто для удовольствия глаз, чтобы руки всё-таки тянулись к красивому.

Если на буфете стояли три цветные розетки с разным вареньем, то это не только что-то говорило посторонним (да их почти и не бывало), но и убеждало самих хозяев в их достатке, умелости, жизненном успехе и, конечно, основательности, ведь три различных сорта варенья в красивой посуде — это не ерунда какая-то.

Мешки с сахарной пудрой, мукой «2 с» и просто крупой-сечкой стояли вместе в своём привычном углу и были чем-то — очень опрятной узорной скатёркой, вывязанной крючком, — прикрыты, но сверху на них была прилажена большая доска — на ней раскатывали тесто, извлекали мелкий шашель из крупы, сортировали россыпи сухофруктов на сами фрукты и козюльки, и доска была безупречно выскоблена до чистоты и украшена круглой салфеточкой таким образом, что всё прикрытое сооружение напоминало неплохую тумбочку, а не какую-то там вульгарную угловую кучу. Вот так-то! И это только один навскидку пример уютного обустройства жилища.

Да, каждый объект в доме был в каком-то смысле достижением: он помогал умиляться и проявлять сердечность. С этим не поспоришь.

Полы, не очень пригодные для хождения по ним босиком, вызывали определённую досаду, так как с волглостью подполья ничего было поделаться нельзя, хотя в этом были и свои плюсы: там не водились пасюки, отличающиеся от обычных крыс бесстрашием и цинизмом, — но вся поверхность была в ковриках, сплетённых из накапливающихся всё время тряпичных остатков женского бытования: платичных лоскутов, посёкшихся от носки старых, но ещё очень прочных х/б и капроновых чулок, в плетении даже встречались довоенные фильдекосовые — они давали блеск на свету. Коврики в изобилии покрывали пол, и не было буквально живого места, они, округлые, и умиляли своим видом, и нежили стопу, наступающую на них, так как смягчили ход по ежедневной женской жизни. Мать Люды это хорошо с ковриками придумала.

Только вот коврики приходилось время от времени подсушивать, так как волглость никуда не девалась и по-прежнему струилась и восходила от близкой подвальной земли сквозь щёлки в половицах, поражая исподы самовязов плесневыми черноватыми проплешинами. На этот бытовой минус можно было подействовать усердием, отнимавшим, правда, немало времени. Но Люда однажды принесла из школы удивительную новость, поразившую не только её саму посреди урока алгебры, но в не меньшей степени и её мать. Оказывается, и это неоспоримо доказано наукой, так как это «алгебра, мам, сама посуди!» — что «минус-то на минус даёт не чего-то там тебе, а плюс!». Она с радостью нашедшего десятку сообщила об этом матери, и с тех пор жить им стало как-то полегче, по меньшей мере они стали испытывать уверенность, что все минусы их жизни могут известись сами по себе, так как наткнутся на такие же минусы, но в другой сфере. Ведь даже алгебра об этом заявляет со всей однозначностью.

И мать, как обычно с ней бывало, вдруг начинала о дочериной судьбе утешительно мыслить вслух, будто продолжала некий диалог, отвечая на последнюю Людину реплику, на самом деле не случившуюся. Мать вдруг приостанавливала какие-то свои бытовые действия, замирала, соображая что-то, и, глядя на Люду, серьёзно, с осуждением заявляла, вроде отвечая ей, ставя последнюю точку в дискуссии:

— А ты чё, ну, Люд, да ты посуди сама головой-то своей, а? Чё, ткачиха тебе там лучше, что ли, будет? А? Накорячишься ткачихой-то!

И Люда соглашалась с матерью, взглядывала ответно и кивала понуро, так как вспомнила экскурсию на комбинат плащёвых тканей и очень опрятное девичье общежитие при нём, поразившее её навсегда своим волнующем духом: отцветшей герани, жирной бегонии и сухого пиретрума. Когда принюхиваться она стала слишком выразительно, то дежурная, наглая девка-жилица, провожавшая Людину профориентирующуюся группу старшеклассниц по безлюдному днём общежитию, сказала тихо и со смыслом:

— Это так, девочки, пахнет «минус малофья».

Люда ничего не поняла, но почему-то заволновалась.

Ведь в женском общежитии завода плащёвых тканей и в самом деле стоял тревожный опрятный дух, там пахло тем, что отсутствовало, порождало жгучий недостаток, желалось, и желаемое лелеялось.

Это был дух, волнующий ноздри, — сладость девичьих тел не перекрывала дух бегонии, пиретрума, герани, того, что обозвала дежурная...

Телевизор «Электрон»

Ну, само собой, центром дома был постепенно скопленный путём многократных алкогольных мен и не без труда собранный потребителем этого самого алкоголя из тайно вынесенных деталей телевизор «Электрон». О, он совсем не просто достался семье, этот их домашний любимец, — прикрываемый после редких просмотров салфеткой, как певчий кенарь. И он возвышался, как итог многоходового накопительного обмена. Качественный самогон долго, в течение двух месяцев, почти ежедневно забирался одним мужиком полулитровками, закрытыми сосками, похожими на козий сосок, а телевизор столько же времени выносился с завода по деталюшечке, правда, с корпусом и кинескопом были из-за их неделимости на мелкие сегменты проблемы, но мир не без добрых сторожей, все ведь люди, как-то и эти части, замотанные тряпьем, вынеслись в утробе мусоровоза. И вот за специальную призовую магазинную бутылку этот самый мужик-несун на глазах у Люды с матерью, как фокусник, вынул из накопительной наволочки кучу всякой электроерунды и соединил её, вставил в корпус, и получился прекрасный новый телевизор.

Он стоял, как алтарь, под самой красивой крахмальной салфеткой, и он это заслужил, ведь по красоте и полированному лоску был просто царь и бог их дома. Его, конечно, зря не включали, во-первых, потому что розетка была достаточно далеко и через натянутый провод надо было переступать, высоко задирая ноги, а во-вторых, экран необходимо было беречь от дневного света, а то, не дай бог, «вмиг посадится». Место он занимал самое красивое и тёплое хотя бы потому, что даже не работающий сам стал метафизическим очагом. Он молчаливо ожидал многосерийного фигурного катания, что произойдёт не завтра, а уже по зиме, но наши в нём победят. Все в этой победе были уверены, только Измайловна одна сомневалась, так как не верила в честное судейство.

Кажется, даже пыль благоговейно не садилась на него.

А вот с наглыми мухами боролись. Не только жестоко — мухобойками, а прежде всего тщательной профилактикой — специальными сухими букетами, очень красивыми, из крашеного ядовито-зелёной анилиновой отравой мухосбора. Его собирали в ночь на какое-то чётное число, считая от свежего месяца, но мать не сообщала подробностей

мухосборного счёта — якобы тогда вообще пахнуть не станет и «муха снова в дом попрёт, как ошаленная».

Правда, от духа покрашенного химическим ядом (тоже вынесенным с какого-то военного производства в ампулах) мухосбора в первое время, пока ещё не было привычки, как-то уж очень нехорошо кашлялось и рябило в глазах до чёрных стрелок, будто в воздухе их жилища снова беснуются выгнутые паруса мушиных роёв. Но потом лёгкие с бронхами и глаза привыкали.

Так что всё у них было очень хорошо в смысле жилья.

И они словно подтверждали истину, что везде можно навести не то что порядок, а сделать сердечно, то есть уютно. Было бы желание.

Только вот общественные удобства в районе Камышинских во всех домах располагались во дворах, и потому не поддавались какому-никакому обихаживанию. Посему в их бельчатнике была сооружена угловая выгородочка с несколько легкомысленными бечёвочными занавесками макраме — это, разумеется, Люда, так как она любила современное. Получилась такая подвижная, очень красивая ширма, условно скрывающая отверстие табуреточку с внутренним поганым не самым большим ведром (женщины ведь всё-таки) известно для чего.

Лучше бы оставить это место за ширмой в прямом смысле за скобками описаний, но правда жизни требует своего, и, бывало, мать отбивалась от висячих узлов, петель и кистей настолько раздражённо, что слабая конструкция могла и рухнуть, завалив и отверстие табуретку с несимпатичными внутренностями.

Но это была, пожалуй, единственная совершенно незначительная отрицательная чёрточка в очень удобном жилище, даже со своим собственным звонким рукомойником, где снизу было прилажено тоже своё маленькое поганенькое ведёрчко на несколько кружек, но не за ширмой макраме, хотя Люде и хотелось современного, а просто за такой чистой пёстрой тряпичей — откинешь и сразу вынесешь, и никаких тебе проблем с этими узлами чёртовыми, всё в ведро ведь попасть норуют.

Мать справедливо полагала, что хорошее дело словом «макраме» люди не назвали бы.

Об «отдельной» мать и не думала вообще, потому что обеспечены жильём они были по самое не хочу, хоть уплотняй, но иногда спать на раздвижном топчане ей делалось скучно. Ведь на главном диване никто никогда и не думал спать. А на топчане спать было всё же несколько обидно: во-первых, лежишь поперёк света, а это — все говорят — нехорошо; а во-вторых, всё-таки останадоело скрипеть деталями этого лежбища, на нём и руки по-человечески не раскинешь, а всё по стойке смирно, только лёжа. Или на груди скреживать, словно с образком или свечкой, — но об этом сюжете мать специально и думать не начинала. Это всё были какие-то внутренние общечеловеческие сетования, не оформленные словами, внутреннее нытьё, душевный радикулит, пустые переживания незадавшейся погоды.

Вслух об этом она не говорила, так как ничего такого и не думала, просто подразумевала, но без зависти чёрной к этой Измайловне, имевшей помимо эссенций большой, просто прекрасный диван-книжку, — за ним та отмечалась два года по ночам, и вживую потом давилась о-го-го, и карточки ждала как помешанная, и почтальонку извела, пока та не создалась, что карточку с номером вроде как и потеряла, и насилу через милицию карточку ту от почтальонки-ворюги вернули.

И уже сквозь глубокий сон мать договаривала сама себе историю дивана не просто так, а дивана с кредитом, и диван-то Измайловну догола разорил, и скрипеть

стал, и посох весь, и покривился, и запузырился пружинами. Вот и заводи диваны. И сон на раздвижной тахте, где надо спать, вытянув руки вдоль тела, обуял её.

Людина постель-кровать по сравнению с материнской была безупречна — ещё из того самого приданого, и ему два века, как говорили в стародавности, сноса нет и не будет, чего металлическая сетка и одни шары-хром стоят, не дай бог закатятся. А они ведь такое видели, вполне могут закатиться.

А сверху под потолком — очень хорошая трёхрожковая люстра, они её смогли с матерью и без кредита потянуть. Ведь к шестому две полочки имеют, живут как хотят.

Какие сны обуяли Люду и были ли, совершенно неизвестно.

Прикид Лю

Шарфы

Люда с трудом думала об осени, так как размышления сопровождалась осязанием многих слоёв одежды, потребных для вплотную наступающей прохладной жизни. Уже шарф или косынка вызывали в ней затруднения — ведь их повязать можно было разным способом, одновременно утеплившись и подчеркнув свою исключительность выпущенным из ворота хвостиком или романтически ослабленным узлом. Думая о приближающемся времени, она путалась в своих аксессуарах, как насекомое — мотылёк или подёнка, усевшаяся на вытканый ацетатный узор.

Будто лощёные, белели и припухали детские простуженные облака, сервированные феей мороженого, имеющей дело только с чистым пломбиром. Их кулинарные ступки не умиляли Люду, так как свидетельствовали о том, что снег непременно будет, и даже в скором времени. Свет, что процеживался сквозь самые дальние небесные ступки, делался видимым и обречённым, так как мрачно и злополучно темнел, утесняя время, и оно против желания вечерело, сгушалось в жалобу вдруг захныкавшего ребёнка, понявшего своё одиночество.

Этим ребёнком была Люда, и глупая её душа просто хныкала в ней, не понимая, что такое тоска, отчего же это только озарённый розовым испод небес вытемнел за непостижимое мгновение.

Что, разве она тоже умрёт, хоть и понимает куда больше Адиного?

Вдалеке проходил прекрасный Лев, одетый во что-то исключительное, — она, как насекомое из глубины узора, смотрела в его сторону и начинала блуждать в складках, узлах и низвергаться с выпущенного для красоты краешка. Брошь и закладка повергали её в панику, так как казались неодолимой преградой между нею и Львом. Ведь он будет смотреть только на брошь. А как же она, мелкое чешуекрылое создание, занесённое ветром в складки цветной ткани... Но с голой шеей выходить из дома совершенно невозможно, она ведь девушка всё-таки, а не пигалица какая-то там. Не какая-то там! И Лев про неё не скажет так! Она не даст ему повода для упрёка.

Чему же удивляться — о чём бы она ни подумала, всегда возникал Лев, — он или маячил вдали, как бакен на реке, или проходил мимо, обидно не обращая внимания, или подходил очень близко и с вызовом молчал.

И она, как тля, живущая в липком цветочном устье, могла только восторгаться пролёту шмеля.

Так трудно было ей укутать шею, что о пуговицах плаща или пальто она и не помышляла, не говоря об остальном облачении.

Она терялась в том, с чего начинала думать, если можно так назвать этот процесс вдевания всяческих деталек в мережу, в чьих ячеях не удерживалось ничего.

Когда она полюбила Льва, то стала чувствовать совсем по-новому, будто она наполнилась вдосталь безязыкой водой и ловила её тяжёлые колебания, едва слышимый плеск и стеклянные блики студенистого зеркала, отражающего темнеющее небо её дней.

И иногда сердце её говорило «плюх-плюх», будто его спрашивали несколько раз о любви, в успокоении она стекленела и пропускала свет, становясь незаметней.

Выходные

Через несколько дней после покупки Люда, выгуливая туфли по бульвару, попала на репетицию танцев на воздухе. Легко одетые молодые люди танцевали для фотографической съёмки. Шустрый фотограф бегал среди танцующих без музыки и требовал сохранения поз в режиме замирания. То одних, то других. Молодые люди, выкинув эдакое непростое выкрутасное коленце, без музыки задерживались в полуприсяде и мерно расходились в щедрых поклонах, девушки же строили фасон, держали спину и не кланялись вовсе, и Люда осудила их надменность перед фотографом и вообще. Но она понимала, что пройти королевой, когда перед тобой парень семенит гусачком на полусогнутых, она бы не решилась, хоть очень задорная руководительница и считала громко вслух:

— Ну и раз, и два, и три!

Чтобы азарт не угасал, руководительница вскрикивала:

— А где ваша гордость, ну-ка, мои красавицы?

И красавицы гордились уже просто неистово.

— А что, девушка, заглядываешься? Записывайся к нам прям в танцкружок. ДК «Техстекло». Ты такая фигуристая, тоже сможешь. Мы и «Сударушку», и «Молодёжную» ой как танцуем. Прям все подмётки вмиг стопчешь!

Люда опешила от задорного «ты», будто её толкнули. Значит, она — фигуристая. Но, с другой стороны, эти дурацкие танцы — настоящая угроза «выходным».

Она ушла в смятении, ничего не сказав, и всё повторяла свой новый титул — «фигуристая» — многократно.

Ей чудилось, что Лев перед ней, обутой в «выходные», идёт гусачком на карачках, разводя руками, будто ловит большого гуся, и она мысленно потрепала его светлые кудри, он улыбнулся и пластмассово сказал «лю», что, может быть, было первым слогом глагола «любить», но Люда спешить не хотела, ей как молодой девушке нравилось томиться и томить в ответ, она почему-то была уверена, что и Лев томится тоже глубоко и сильно. Иначе какая это любовь.

Но надо сказать, что если бы среди парней, идущих по-гусиному вслед этих гордых девок, она не признала плешивца-поэта, встреченного в предутреннем троллейбусе по пути на барахолку, она бы точно записалась в кружок, хоть и в очень далёком ДК «Техстекло». А что такого? Но с ним она танцевать ни за что не хотела.

Он ведь так взглянул своими прозрачными глазами на неё, и Люда почувствовала себя стеклянной во всех местах, как глубоководный червец-призрак, будто вся она стала вязигой в рыбине. А может, это был не он и ей показалось, она ведь не задумывалась о совпадениях — проживала дни своей жизни, просто двигаясь по норе внешнего времени, то скользкой и краткой, то шершавой и очень длинной. Она ведь проходила все фазы существа, перерождающегося из червя-гусеницы в бабочку, — сначала в бескрылую и мягкую слизь, а потом — в роскошную летунью, вдруг доставшую крылышки из какого-то тайного шифоньера своей сущности.

Казус Гунькина

Люда была однажды отправлена в «местную командировку» — печатать скоростным образом с голоса вслепую, как умела только она. Это было ответственное госзадание — перевести в машинопись так называемую гунькинскую крестьянско-казачью эпопею, уже сочинённую им в голове. Дело было за малым — напечатать четыре копии на бумажных страницах. Гунькин был к тому же чуть ли не единственным персонажем, способным из себя бесппроблемно извлекать речь, посечённую на отдельные слова. Примерно как столовская мясорубка с автоматическим отсекателем котлетных порций. Пишущую машинку и бумагу с копиркою, к радости Болванны, предоставляло союзписательское учреждение, щедро оплачивающее всю эту затею.

Гунькин был не единственный среди пациентов машбюро член Союза писателей и Литфонда, но единственный и уникальный, не утомляемый ничем «сказитель», и вообще, крепкий такой немелкий мужик, смахивающий на русскую печь. Он должен был по предварительному плану надиктовать за месяц с небольшим казачью трилогию толщиной с кирпич о колхозной жизни в Сальских степях, самых голодных в мире, но колхозы всё в ней, куда взгляд ни кинь, преобразили в полное цветение. Вот об этом-то и должен был убедительнейше повествовать эпохальный роман, доверенный Люде.

Гунькин индюком вышагивал перед Людой в кабинете Союза писателей, отведённом администрацией для его наиважнейшей творческой работы, так как дома у него был полный, как он сурово говорил, кильдим-едрить, и работать творчески там ему было ну совершенно невозможно, и на своём диалекте, пуча и без того налитые глаза и встряхивая невидимым индюшачьим зобом, он выдавал жалобу, не вязавшуюся с его печными габаритами:

— Нихт арбайтен, слышь, Людк, чисто ниht тебе арбайтен в своей хате мне, мужику, драть-колотить их всех!

Люда упивалась непонятным про «их всех», впуская в себя этот клёкот.

Она просто чуяла, как речь накапливалась в нём за ночь, будто он все тёмные часы жевал и отрывал и снова жевал однородные травяные смыслы. Люде, печатавшей слепым методом всё подряд, что бы он ни нёс с присказками: «Э, это, как его, это самое, ну и таво, и...» — его губы, извергающие слова, чудились сфинктером безумной трубы, откуда, отвори он рот на большее время, сквозняком вынесет нечто такое, что услышать она уже не сможет... Такие уже запечатанные чем-то страшным листы бумаги, смятые комьями...

Скорее всего, он и в обычной жизни изъяснялся примерно так же, как и диктовал в кабинете, — кочевряжась отдельными сегментами, не заморачиваясь идеями целокупности, сюжетной убедительности, тонкого интонирования и всего прочего формализма. Рукопись от него с напряжением ждали даже в самом приблизительном натуральном виде: на всех парах приближалась некая политическая дата, требующая от писателей высоководохновенного ответа, и договоры были подписаны, авансы выплачены, а что рукопись всенепременно вычистят и всячески приукрасят образованные редактора-корректора, и статью вступительную словословную приклеят (уже готова!), сомнений никаких не было. Дело было за малым: надиктовать вживую Люде и сложить страницы в папку с тесёмками.

Продвигался новейший роман-анекдот Гунькина, то есть «наговоривался» по рабочим дням весьма энтузиазмически, обстоятельно и даже раздолжно —

он до обеденного времени бодро прохаживался перед Людиным столом с машинкой и что-то вытренькивал из себя с загадочными паузами среди внятных сегментов речи и неожиданными хлопками по бёдрам, будто там лежали уже отлитые в гарте линотипные абзацы, и он даже притоптывал, тряся сразу всей несколько приподнятой ногой, желая что-то из себя это мелкое, провалившееся в прошву штанины, досадливо вытряхнуть.

Люда стучала не переставая и дёргала сребристый рычажок каретки.

После обеда шла уже совсем другая музыка: внешнее индюшачье с него сходило, развесистая птичья мотня вворачивалась полым чулком в рот, и он мутировал в полнокровного, зрелого к забою кабана и сиял этой плотной белковой органикой, прокалывал редкими белыми волосинками штаны, рубашку и пиджак. Он уже не ходил перед Людой, а перетоптывал, как довольная животины в стойле. Начинал периодически внятно исфыркивать из себя в Людину сторону нечто звучное с мельчайшей слюнцой, и она, видя дисперсию его страстной речи сквозь ореол невысокой люстры, чувствовала настоящий ужас, потому что понимала девичьим пугливым сердцем, каков должен быть ответ на эти пищевые призывы: он её различает не как местно командированную машинистку-Люду-девушку, стучащую перед ним по клавишам, а как фосфоресцирующую витаминами гнилушку, нарисованную на стенке в его кормовом месте. Она понимала, как он чувствует её: не только мутью своих глазок, но и массой вальковатого тулова, уже нагретого изнутри пищей из спецстоловой через улицу Советскую. Там, в Доме облполитпросвещения, подкармливали хорошими такими безотрыжечными обедами писателей-списочников — заслуженных поэтов, прозаиков, критиков и публицистов.

Вот сейчас он сыт, а в другой раз ковырнёт пяточком её слабый светоч, и лучезарный фонарик-фитилёк оборотится коротеньким хрустом.

«Но, судя по всему, — старалась не пугаться Люда, цепляясь за остатки рассудительности, — он уж очень хорошо наелся сегодня двумя порциями борща-чесночника, срыгивал ведь чуть не в жменю. Дай бог, чтоб и макароны с гарниром давали там как следует, а то вчера не наелся, так аж сразу зашкандыбачил. С компота-то сыт не будешь...»

Гунькин и в самом деле сегодня всю шкандыбачил на заковыристой фене своего заказачьего диалекта, чьим последним носителем он авторитетно считался, хотя диалекта этого и в помине не было, как и местности, где на нём когда-то изобильно друг с другом в гунькинской транскрипции *здоровкались*. То есть *хрюндакались* прямо боками на улице при встрече, *спердоливали* вилами сено с соседских хат к весне-нищухе и даже *перехрумкивались* через речку Хопёр, — но что такое *перехрумкнуться с-под Хопра*, никто уже не знал, да и сам Гунькин начисто забыл. Так и осталось — просто тебе *перехрумкнуться*, чтобы народные фонемы не пропали в реке времён, как в сместившемся куда-то в сторону от села самой Хопре-реке из-за этих совхозов...

Как объяснял сам надушенный диалектоноситеlem интересующимся:

— Всё-та, мобыть, энта на перетёр пошло с того, что речушка свет-молодец наш, Хопёр-Хопруша-паренёк, с энтих дрюнчатых совхозов не в русле инда шематует.

Что значит «инда шематует», не понимал никто даже из университетских интеллектуалов-фольклористов, а что такое эти пресловутые «дрюнчатые совхозы», с поразительной лёгкостью догадывались все, невзирая на гуманитарный статус. Что означало всё это непростое гунькинское предложение вообще, если не показывать руками, — вопрос был к сегодняшнему дню открытый.

Но если подытожить, то всякие гунькинские внезапные фонетические пылкие приростки к обычным русским словам, хриплые взъелдыкивания с восклицаниями посреди предложения, циничные односложные ругалки в паузах, вгонявшие Люду в краску, ещё бессмысленные хмеканья через дефис, приращаемые к словам, в этом не нуждающимся, и вообще вся эта звуковая ерундовина, абсурдно цепляемая им к частям речи, как бельевые прищепки к порезанным кружкам колбасы, могли помниться диалектом только какому-то злонамеренному фольклористу, решившему совершить диверсию и вволю поглумиться над наукой.

Диктуя Люде пословно свои измышления, он ерошил шевелюру пятернёй, смотрел то в пол, то в потолок, где невидимый гений прозы марал ему подсказки крупным огненным шрифтом с пробелами между словами. Гунькин топал, качаясь, и распространял волны сытной перевариваемой еды и глубоко проникшего в тело алкоголя. Люда этих ароматов уже не чуяла, так как придышалась и просто строчила за ним, ставя новые закладки и всё сдвигая каретку.

Он, стоя в полный рост в закутке с машинисткой, колотящей по клавишам, мнил себя сказителем и всё более и более цветисто пересказывал внимательной Люде прямую речь своих бесчисленных фольклорных персонажей-хамов, обитавших в гигантском селе в каком-то неясном прошлом времени, спутанных в клубок прошлыми кровавыми скандалами, родственной непримиримой враждой, имущественными нескончаемыми тяжбами, оскорбительными злонамеренными выходками.

Все они, эти люди-персонажи его рассказней, при этом друг друга страшно домогались, всем им что-то надо было до самого предела выяснить, перерезать наново огороды и бахчи, потравить улы зажавшихся Коноплянниковых, вывести, наконец, тварей Мироненко на чистую воду, обрести подлинную любовь (в смысле случку с ладной Бекетихой), посадить в тюрьму расхитителей комбикормов Блёткиных, ударить по рукам зарвавшегося карьериста председателя Шмоля и вывести из-под удара честного парторга Персуна, женатого на свояченице Миронёнок, этой твари-блядине Валюхе, сучке ещё той, и кто не знает на селе эту падаль. Ещё там случился полный пожар овса, всеобщая потрава, скотопадёж кролей, обидная кража рубероида с клуба и обнаружение фасованного семени для свиноматок в навозной каптёрке, ну и прочие рискованные детективности.

У Люды, первой слушательницы-читательницы романа-эпопеи, от полоумных бросков просто, заколошматившееся в такт скоропечатанию, сердце заходило, и она шумно проглатывала волнение, представляя себе правдивые картины, подзадоривая своим растерянным видом Гунькина на новые небывалые изгибы и без того переусложнённого совершенно избрехливевшегося сюжета.

«И вот энта драная падла и сучка Валюха, Мироненковская свояченица, в подвале сваво председательского хорошего такого пятистенка с газом и с водопроводом прям на зависть всем выкобенилась — полночи правила на бруске тесак, и так вострый, аж просто жуть, скрябала правилом ржавую с прошлого году косу, очиняла напилком лопату по-городскому и даже вострила навозные вилы тем же самым напилком, прямо по всем пяти зубьям в очередь — и туда-сюда, и туда-сюда — инда до искр, злодейка. И сама как зыркнет!»

Люда ужасалась.

Вилы-то зачем, господи, ей, подлюке-то этой?

Прямо не дай бог! Вот тварь ведь...

Истории, исходившие из него, были одна страшнее другой: как хорь выгрыз курятник и дети, все как один больные горлом, не смогли без куриных желтков развиваться в говорунов и стали немыми злодеями, так как не ответили своим человеческим словом на добро людей. Или вот ещё: как хряк сожрал малолетних детушек женщины, муж которой воевал с Будённым, и когда вернулся этот самый муж, то зарубил по злобе и жену, и хряка, из которого посыпались детские черепа, так как он давно этим самым промышлял, а женщине помог оправиться хороший врач Вентзель, которого Будённый с собой возил на всякий случай и давал ему еду и питьё заперёд себя.

Чем мрачнее была ночь, тем залиvistее Гунькин брехал — это понимала даже Люда, — озаряя пространство трескотнёй, будто куры клевали свинцовую дробь, просыпанную на противень.

Венец гунькинской брехни поразил Люду в самое сердце. Сначала она стучала про чудный летний день: какая погода, ну просто не может быть, но птицы не поют никакие, ведь голодуха, и пацаны переловили всех, даже самых мелких, силками из грив коней, которых на днях белые сожрали, но гриву не съесть, потому и силки наплели. Но птиц поели, тогда развелось червей, которых ешь не хочу. Но и червей, личинок, жужелиц — всех поели. А тут белые взад идут — всех с собой возьмём, будь они неладны, бляди белые! Но одна мать была ну чистая большевичка — собрала собрание и порешили там помереть, но к белым ни на шаг. Пошли все в посадки, а там ядовитая жимолость созрела — вырыли себе большевики могилы, легли у них и смертельно ягоду жуют — потом их позасыпало, само собой, от ветра, дождя, града, снега, бурана, урагана, грозы — славных всех большевиков.

Даже Люда не поверила этому апофеозу самозверства. Тем более что в продолжении — Гунькин уже ерошил свою шевелюру, что было признаком сюжетных затруднений, — он приплёл, что вот таким образом на одном сельском хуторе сами хуторяне устроили себе или же из себя братское кладбище героев-большевиков, потому что все как один перед смертью вступили в партию ленинцев, до младенца последнего, которого мать яд-ягодой накормила.

В комнате, где Гунькин диктовал такое, запахло мертвецкой, ибо писателя прошиб пот, он стоял бледный, и губы его не могли сдержать стука зубов.

Надо ли говорить, что в Люде боролись и сомнения, порождённое нагромождением самоедства, и облегчение от того, что она ничего подобного не застала, и живёт припеваючи, и яд-ягоду по собственной воле в рот не возьмёт. «Ах, как хорошо!» — думала она.

И она легко представила, так как бывала в деревне, как замычали несъеденные коровы, их гнали по домам, а многие и сами брели, чтобы боднуть правильную калитку. Будто гений Гунькина пролил на её мир эликсир умиротворения, и за то, что так пострадали люди на сельщине в Гражданскую, хороша и уютна жизнь сейчас у неё, у счастливой Люды.

Её заваливала груда усечённых гунькинских предложений с бесконечными эхмами, елдыками, цоками, гетями, цыпами, тпррруками и бездной прочих уникальных фонетических выхлестов сальского извода. Люда искусно вторила им на бумаге буква в букву, вколачивая непомерное число восклицательных знаков в каждую строчку, как психопатка гвозди в столешницу по самую шляпку, — и всё для сохранения казачьего говора, оставшегося единственно только в гунькинской памяти, ибо был он

не пустобрёхим балаболом-пьяницей, а последним носителем этой языковой драгоценности. Так же находили и авторитеты, партийные критики и историки советской литературы, состоящие в Союзе писателей, как и Гунькин.

И Люде удалось запечатлеть с Гунькиных слов, как Светлуха-девица — приток Хопра-паренька — индоть вся ушла под шмат земли-горюхи нонче... И кто же скажет теперь на весь мир вослед за бабкой Купреянихой: «Светлуху ведром помоев не опоганить...» — если её уже и нет, как и самой бабки. И Гунькин заметно грустнел.

В машбюро считалось, что Люда в местной командировке и очень ответственно печатает первый в СССР роман о победе сальской любви над мелкособственническим инстинкт-пережитком. Она листы приносила Болванне, а утром брала командировочное удостоверение, дважды в день отмечаемое в гунькинском учреждении строгой секретаршей — точным часом приезда Люды и временем прекращения стука машинки.

Восторженную же статью, предваряющую этот ещё не написанный великий роман-эпопею, тоже перепечатывали в машбюро, но не с голоса, а потому просто многократно, так как бесконечно сажали ошибки, затем и выучили этот хвалебный текст. Там были слова о том, как талантливый писатель-самородок обращается к нашей самой простой русской женщине-труженице-матери, умеющей не только любить, но и постоять за колхозное и совхозное дело. Ну, ещё и роман, конечно, великий, и интернациональный, и глубинный, и невероятный, и вдохновенный, и партийный, и мужественный.

И Люда, печатавшая эту гениальность с гунькинского голоса, иногда ласково и улыбочиво замечала, глядя на стопку исписанной и запечатанной бумаги: «Книга, она всегда об любви к женщине, надо тока смысл вчесть».

«Смыслы», надо отметить, иногда превращаемые в брошюрки и книги, стояли на выставочной полке с небольшим висячим замком. Сочинители непременно дарили свои труды машбюро, просто традиция нерушимая. Вот и появится Людиного обжига славный роман-кирпич, надиктованный настоящим казаком. И на титульном листе в ближайшем будущем должен был появиться размашистый инскрипт почерком психа, похожий на детский рисунок сабельной атаки:

Людычкиным при светлам
палчыкам стукалчыкам
и ужкам наружкам.

Казачива роду
автар сачинитель
песатиль Гунькин

Счустом.
На вечна

Казак зазывал Людмилу вместе писать «ещё тома, коли народ ждёт» в Дом творчества на Хопёр-парнишку с песнями и рыбалкой, машинку самолично брался «с Людмилачкой отвесь», а можно и без машинки, тогда просто так послушает казачье сердце.

«Несрослось», — гордо говорила тогда слитное слово Люда.

Она впервые осознала, что «несрослось» — это самое настоящее существительное вроде слова «счастье», только совершенно навыворот.

Игорь Касько

Мир воскреснет

* * *

Человек, владеющий даром речи,
всё тебе не даром дано, не даром.
С божьего так сложно на человеческий
обращать в понятное божьим тварям.

Где-то ветер мантру свою прошепчет,
где-то под землёй прошмыгнёт полёвка,
где-то над снегами зависнет крик —
ты словами вторишь уже полёту,

ты уже за ветром читаешь мантру,
ты уже к земле приставляешь ухо.
Вот бы ещё к этому да к таланту
счастья бы да славы хотя б понюху.

Но тебе и так, дураку, неплохо.
Ведь в глазах весь мир отражён до донца.
Ты лишь просишь рифмы себе у Бога
и чтоб ярче смерти светило солнце.

* * *

Только мёртвые знают всю правду об этой войне.
Но они не расскажут её никому. Ни тебе и ни мне
не узнать обо всём до конца, до последней молитвы.
Пахнет чёрной бедой на полях после яростной битвы.

И герои, и камни сгорают, как спички, в огне
этой страшной и странной войны. И на чьей стороне
кто убит, разве в этом вопрос? И растерянной птицей
в райский сад на постой
чья душа навсегда возвратится?

Касько Игорь Степанович — поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1972 году в селе Турья Дубновского района Ровенской области (Украина). Окончил военное училище. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Многогочия надежды...» (2014) и «Сорок четыре одиночества» (2016). Один из основателей литературной группы «Кавказская ссылка». Живёт в Ставрополе.

* * *

А жизнь моя конечна, как строка
на выдохе, упавшая в беспмятство.
Строка неприхотлива и строга
одновременно. И стучат под пальцами
сердца всех слов, нанизанных на нить.
Я этот стук пытаюсь сохранить,
как благовест, и передать другому,
тому, кто постучится в двери дома,
который я покинул навсегда.

* * *

И время нехорошее.
И бремя непосильное.
Глядишь, гнездо пригожее,
заденешь — ох, осиное!

И в тишине неистойвой
гудение тревожное
тягучими регистрами
втирается подкожно мне.

От миротворения
до страшного пророчества —
одно стихотворение
без имени и отчества,

покусанное осами,
побитое вопросами,
немое, безответное,
но светлое.

* * *

А кровь бежит, как горная река,
от сердца до высокого виска,
и замирает в седине ковыльей.

И голос крови вечен и глубок.
Я помню всё... И то, что одинок,
как ангел, отказавшийся от крыльев.

И то, что слово, выросшее из
тяжёлых дум, как камень тянет вниз,
оно — бездушно, немо, не крылато.

Оно лежит на стылом дне реки
так глубоко, что тень моей руки
едва мелькнёт и вынырнет обратно.

Я помню всё. Я помню имена
всех рыб и птиц, которые меня,
по-человечьи, слушали веками.

Я помню крик сосны и скрип весла.
Я слышу всех скорбящих голоса
и превращаюсь в безымянный камень.

А кровь бежит, свой путь земной верша.
И даже в камне теплится душа.

* * *

Не спиться, не сойти с ума
от новостей, что смерти горше
и ядовитей, чем сурьма.
А дальше — больше...

Не спится. Ночью тяжело
не думать о любви и смерти.
Лежишь ни мёртвый ни живой.
Луна не светит,
а только смешивает свет
с непроницаемым небесным.

Всё замерло. И лишь рассвет
разбудит всех негромкой песней,
нам станет легче. И тогда
погаснет чёрная звезда.
И свет вернётся. Мир воскреснет.

Макс Неволошин

Ты или я

Рассказ

Кто-то тронул меня за плечо.

— Привет, Паш, давно тебя не видно. Потанцуем?

Блондинка — утренний сон тинэйджера. Смелый закос под Мишель Мерсье или Милен Демонжо, что примерно одно и то же. Супермини, тени, блеск и кудри до лопаток. Лига явно не моя.

— Я не Паша, — говорю.

Девушка сфокусировалась.

— Ой. Обозналась, извини.

И исчезла в толпе, покачивая всем синхронно.

— Ну ты лох, — сказал Юденич, — такую самку упустил. Ты видел эти ноги?

— Паша, не Паша... — добавил Эдик, — какая разница?

Так я узнал о своём двойнике. Мы учились в разных школах, тусовки не пересекались. Между районами тлела война. Летом после девятого класса я увлёкся поиском истины в бюджетных креплёных винах. Система выстроилась так: друзья, портвейн, танцы, открытый финал. Танцплощадка была ничейной землёй, местом встреч и перемирий, ареной боевых действий. По вечерам её тяжёлый пульс бодрил посёлок до окраин, ускорял сердцебиение и шаг. Билет стоил пятьдесят копеек, уже истраченных на лакировку действительности. Но что такое двухметровая ограда, когда тебе шестнадцать и внутри стакан чернил? Стоило ВИА ДК «Керамзит» врезать «Шизгару» или «Кинь бабе лом», — толпа срывалась в пляс, а гроздь подростков — с забора вниз.

Эйфория децибел, ощущение зоопарка с неправильной стороны. Лидеры всех местных группировок. Самая опасная шпана. Самые известные фарцовщики с шикарными подругами, недостижимые лейблы, высоты юбок и глубины декольте.

Макс Неволошин родился в Самаре. В прошлом — учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Автор сборников рассказов «Шла шаша по соше» (2015) и «Срез» (2018). Печатался в «Новом журнале», «Волге», «Юности» и других изданиях. Живёт в Сиднее.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 4.

Трезвых — ноль, включая музыкантов и охрану. Мордобой экспромтом по велению души.

Пригласить на танец барышню дано не каждому. Есть личности, рождённые со шпагой и усами. Они заметны, привлекательны, смелы. Их инициалы девушки выводят пальчиками на туманных стёклах. Я — с обратного края шкалы. Заметны во мне только комплексы, остальное — скучное, тощее, куцее. Первую электробритву родители купили мне в честь окончания института, так сказать, на вырост.

Страх любого отказа тяжёл, будто якорь. Страх попросить, открыться и услышать «нет». Значит, тобой гнушаются, брезгуют, ты недостойн и жалок — вот оно, доказательство. А если рядом её подруги, твои друзья? Как дальше жить? Из чего застрелиться? Отвернись, закури — эта музыка не для тебя. Как не хватало мне возле себя человека мудрого и прагматичного. Такого, который бы с детства учил верному взгляду на мир. Который сказал бы мне: «Слава, ты не червонец, чтобы всем нравиться. Бездействие заведомо лишает тебя шансов на успех. Отрицательный результат лучше никакого, ибо он заставляет меняться, искать варианты». Нет, нас учили косинусам, тангенсам и бреду про лишних людей.

Паша, не Паша — какая разница? За месяц я трижды сыграл эту роль. Друзья завидовали лаконичным матом. Моя уверенность росла. Девчонки, которые звали меня танцевать, напоминали хорошеньких кукол. Прижимались тесно, говорили мало, в основном: «Почему не звонишь?» и «Куда ты пропал?» «Искал альтернативный взгляд на мир», — отвечал я. Одна хмельная воздыхательница Паши уговорила отвести её домой. Дабы не выйти из образа, я согласился. Жила она в таком районе, куда не ступала нога осмотрительного человека. Ночью бараки военной застройки казались тоннелями времени. Между ними, вскрикивая и бормоча, перемещались тени. Тусклые жёлтые пятна окон усугубляли мрак. Почти у цели барышню некстати развезло, мы упали на лавочку. Я был использован как подушка для рыданий, обозван сукой, кобелём, вознаграждён признанием в любви. Иду, почти бегу домой, весь в слезах и губной помаде. И думаю: что происходит? Какой-то тип, похожий на меня как брат-близнец, меняет девушек чаще, чем я о них фантазирую. Вид на проблему из зеркала не убеждает. Значит, секрет не во внешности. В чём?

К августу моя карьера самозванца завершилась. Внимание нежного пола сползло в исторический минимум. «Возвращение Фантомаса», — догадался я. Однажды мне его издали показали. Худой, ниже среднего, но в каждом сантиметре — понтов на два. Лица я толком не разглядел. Между тем, обходными путями удалось кое-что разузнать: Паша Былинин, окончил девятый, учится так себе, не хулиган, не спортсмен. Ловелас печоринского типа. Соблазняет дев не ради отношений, даже без конкретной цели трахнуть — это вроде бонуса. Главное — коллекция, процесс. Пару раз увёл подружек у неправильных людей. Заработал в бубен, не угомонился. Ещё сказали, что Паша расспрашивал обо мне.

Последний учебный год смёл эти заботы, как ветер — фантики осени на дальний край танцплощадки. В недолгой борьбе с простыми соблазнами досуг мой опять захватили книги. Обложка любой из них была дверцей в убежище от малодушия, страха, абсурда, нужды притворяться кем-то другим. Словом, от жизни тинэйджера

в кинутый Богом провинции. Тем более «вечера отдыха» переместились в Дом культуры. Проникать туда на халяву не стоило суеты. Покупать билет не вызывало драйва. Да и к танцам я на время охладел.

Ротация сезонов — главная интрига захолустья. Новый год — ключевая тема зимы. Мне с детства чужды всенародные праздники, суета вокруг календарных дат, пафос как имитация смысла. Любые сплочённые действия, единые чувства, общие мнения есть повод от них воздержаться. Но одиночество в юные годы — роскошь не для слабаков. Четыре раза в декабре я наслаждался звучанием группы «Керамзит» — на школьных танцах для старшеклассников и праздничном вечере в доме культуры. Чем больше я выпивал, тем удачней музыканты попадали в ноты. После крепкого напитка «Листопад» даже блеяние фронтмена Толика Чулкова напоминало задумчивую гнусавость Макаревича.

«А сейчас... ас... ас... — летел его голос в полутьме зала, распадаясь на стразы гирлянд и зеркальные блики, — по настойчивым просьбам дам... дам... ам... Белый танец и... “Солнечный остров”!» Два резких аккорда, знакомый до недомогания блюз.

Всё очень просто: сказки — обман.
Солнечный остров скрылся в туман.
Замков воздушных не носит земля...

Девушка возникла неожиданно, будто стояла где-то рядом. «Пойдём?» — расслышал я. Пойдём. Лицо одновременно растерянное и сосредоточенное. Шатенка, стрижена коротко, тонкая фигура без излишеств. Чёрные джинсы, водолазка в тон. Не Пашин тип, хотя кто его знает... Почти с меня ростом, если не выше... нет, слава богу, кажется, нет. Далее мысли исчезли. Девушка притиснулась так ловко и уютно, что сразу выключился мозг. Объятие казалось почти материнским, впрочем, сужу об этом в теории. Женщины в нашей семье не любили телячьих нежностей. Мама и обе бабушки были гвоздями, которые эпоха сделала из людей. Кто решится их упрекнуть? С мамой мы обнимались дважды: первый раз, когда я прилетел из эмиграции. Мне было сорок, ей — шестьдесят восемь. О втором случае не расскажу.

Музыка кончилась, и началось что-то странное. Например, я не сразу узнал друзей.

— Это было сексуально, — усмехнулся Эдик. — Опять Пашиных девочек тыришь?

— Я никогда не видел такого чуда, — ответил я.

Он покачал головой.

Затем произошло малозаметное великое событие. На следующий медленный танец я пригласил незнакомку сам. Приблизился, молча взял за руку. Вновь ощутил эффект паузы, небытия, бестелесной свободы. «Нечестно, — сказал мой внутренний голос, — ты знал, что отказа не будет». — «Молчать!» — оборвал его я. И с чужой развязностью шепнул ей на ухо: «Может, исчезнем отсюда?»

Шубка её тоже оказалась чёрной. Декадентский образ нарушала бело-голубая вязаная шапочка — единственная светлая деталь. Где-то в интервале между залом и улицей прозвучало имя Ксения. Моего она не спросила. Я на всякий случай промолчал.

Мы вышли в хаотичный снегопад. Он занавесил нас от реальности и, главное — друг от друга. Такой погоде идут как молчание, так и любые слова.

Ксения приехала сюда год назад. Отец — военный, быт — чемоданный, столицами не избалована. Жила в таких волчьих углах, рядом с которыми наше загопье — Лас-Вегас. Везде легко находила подруг, теперь вот письма складывать некуда. «Только ли подруг?» — шмыгнула мысль. Свою часть диалога не помню — и незачем, я в этих случаях инвариантен: художник, поэт, задыхаюсь в глуши, одинок и так далее. Затем декламирую Игоря Северянина, не уточняя авторства. Кнопки целевой аудитории король поэтов знал феноменально: барышни в восторге до сих пор. «Чудесно, — похлопала варежками Ксения, — ты настоящий талант! Можно, я потом запишу?» Слово «потом» меня взволновало.

Район её был спокойный, без риска ненужных встреч. Снежинки мотыльками слетались к фонарям, хрущёвки перемигивались ёлками. Мы несколько раз обошли её дом, уединились в подъезде. Поцеловались скомканно, быстро, завис неловкий момент. И опять тень решимости и отчаяния скрыла её черты. Расстаться вот так — катастрофа. Спасти нас мог только второй поцелуй: осторожный, изысканный, долгий. Лицо её было озябшим, ресницы — влажными, шея — доверчиво тёплой. Я терял голову и равновесие... Шапка свалилась давно.

Мы отстранились, синхронно достигнув паузы, необходимости снова использовать зрение, слух. Тут я заметил, как старомодно она красива. Наталья Гончарова минус пустота. Ленор, Соломинка, Цирцея, Серафита...

— Знаешь, — произнесла Ксения, — мне говорили, что ты зануда, высокомерный и девочек не считаешь за людей. А всё не так...

«Кто говорил?» — хотел спросить я.

Но вместо этого сказал:

— Я не Паша, если что.

— Я знаю, ты Слава. А кто такой Паша?

— Никто, забудь.

— Нет уж, рассказывай, мне интересно.

— Хорошо, не сейчас... потом.

Старый Новый год, квартира Юденича. Выходим с Эдиком на кухню покурить. Дым тянется к холоду форточки. Из комнаты слышны музыка, голоса, там — Ксения, её подруги, мои друзья.

— Ну что, уже трахнул свой велосипед? — интересуется Эдик.

Я боюсь, что способен ударить лучшего друга.

— Следи за базаром, дебил, — говорю сквозь зубы.

— А что я такого сказал? — удивляется он. — Слушай, ладно, остынь. Я не знал, что у вас так серьёзно. А у вас... так серьёзно?

Хороший вопрос, как сейчас говорят. Он был моей вечерней медитацией и утренней гимнастикой. В самом вопросе таился ответ. Фраза «моя девушка» тревожила. Как-то раз услышал от сестры:

— Сегодня за мной в очереди стояла твоя девушка.

— В какой очереди? Какая девушка?

— В буфете... эта, из девятого, с которой ты встречаешься. А она ничего, симпатичная.

Ага. Все, кроме меня, уже поняли: Ксения — моя девушка. Я, стало быть, её парень. Мы встречаемся. Почему в этих звуках мне чудится фальшь, домострой и колхоз? Они — из сочинения графомана, унылой ахинеи, в которой пребывает моё тело. Я здесь чужак, аномальный герой. Бесшумной, невидимой кошкой я ускользаю в собственный мир — волнующий, подлинный, разный. Лишь ум и талант проходят его фейс-контроль. А там — беломраморный замок, его отражение в спящей воде, фиолетовый бархатный вечер, акварельные звуки рояля, вуаль, страусиные перья, розы в бокалах, фигуры в шелках, первенство формы и магия речи, вневременной праздник богемной тусовки, где все обязательно гении и влюблены непонятно в кого.

Иногда фантазия нашёптывает мне, что Ксения — тоже оттуда. Когда она рядом, я будто снимаю тяжёлый скафандр. В ней есть неуместная здесь отстранённость, случайность, гипноз фавориток салонов, квартирников, арт-мастерских — тонких эффектных красавиц с префиксом «не»: не-поэтесс, не-актрис, не-художниц. Их талант — вдохновлять на шедевры, дуэли, безумства, на превращение изыска в глубину, а жизни — в литературу. Однако самое загадочное в Ксении то, что она выбрала меня, ибо должна быть причина — без самообмана и фальши. Эта мысль не даёт мне покоя, помогает жить, мешает жить.

Зима — наихудшее время для первых свиданий и ясности. Бледный цветок с неизвестным именем плохо выносит холод. Этому растению необходимы солнце и пляж, минимум верхней одежды, тёплые сумерки, запахи лета, трели цикад. Невыносимо подолгу блуждать на морозе, он гонит нас в жалкий интим кинозалов, подъездов. Вечером дома родители, днём — их шпионы: младшие брат и сестра. Смышлёные дети любят застать нас врасплох, им интересны подробности.

Темы секса мы по умолчанию избегаем. Конечно, можно всё устроить, «арендовать» на час-другой жилплощадь у друзей... Технически легко, и получилось бы — не квантовая физика. Но... Само «устройство» мне претит, отсутствие спонтанности, расчёт. Потом я стал бы относиться к ней иначе. Не хуже, может, привязался бы сильнее. Но к этому «иначе» я не готов.

Суббота, лыжная прогулка. Мы не любители спорта, это жест отчаяния. От кино уже мутит. В кафе «Мечта» — бутылочное пиво и сплошные алкоголики. Мороз всего шесть градусов, лес через дорогу. Белая поверхность — чистая тетрадь, новая, понятная жизнь без косяков. Сосны — колонны в зеркальном дизайне. Связь геометрии и тишины.

Обжимашки у Ксении дома под режущий нервы вокал Боярского. Недавно повторяли сериал про мушкетёров. Ксения записала и слушает нон-стопом эту хрень. «Полклопа, полклопа...» Я зажмуриваю мозг. Надо заняться её музыкальным развитием...

Тискаемся у меня под шикарный альбом Highway to Hell группы AC/DC. Качество — супер, новый винил. «Слав, — жалобно просит Ксения, — я так не могу. Этой музыкой — камни дробить... Поставь что-нибудь лирическое». Ставлю Beatles — идеальный вариант.

В областном центре гастроль «Машины Времени». Продвинутое общество в когнитивном шоке. Даже упорные фаны не знали кумиров в лицо. Услышать их живьём казалось чудом. Билеты разминулись с глаголом «купить» и даже с наречием «втридорога». Их доставали, меняли на книги, пластинки, услуги, распределяли в трудовых коллективах. Каким-то боком к распределению прислонилась моя мама, видный общественник и активист. Я стал обладателем двух пропусков в зазеркалье. Проставился друзьям, распушил хвост. Пообещал кому-то автограф Макаревича. В итоге автограф взяла Ксения.

Небывалое чувство комфорта, свободы в толпе я испытывал трижды. Весной девяностого, затем год спустя летом, в центре Москвы. И тогда — на концерте «Машины». Будто кто-то специально отбирал людей. Лица — человеческие, умные, счастливые. И ещё — молодые, независимо от возраста. И братья, независимо от выпивки. Ждали не только музыки, но праздника, который должен изменить страну, эпоху. После которого мир обязательно станет другим.

И вот, наконец, темнота разомкнула пространство, цветные лучи ударили в сцену, и под рёв фанатов выбежали четверо. Динамики взорвались жёстким, чистым звуком. О, первые аккорды с заслушанных в труху магнитофонных лент! И этот голос — символ вольнодумства, фейерверк хитов, единство музыки с народом... Зал на ушах, овации стоя, пение тысячным хором. Слов не разобрать, да пофиг, знаем. Вопли с трибун: «Макар, давай!» И главный машинист поймал кураж толпы. Перед антрактом запил солом на две минуты. Песня звучала та самая. Фон первой встречи, тема распада. Блюз переходного возраста.

Всё очень просто: нет гор золотых.
Падают звёзды в руки других.
Нет райской птицы среди воронья...

Я слушал, пробираясь через ноги, — за автографом. У сцены полтора десятка фанов штурмовали ментовской заслон. Сзади быстро набегало подкрепление. Кого-то отпихнули, человек упал. В стражей закона метнули бутылку. Аплодисменты, визг девчонок, крики — всё смешалось, как в доме Облонских, и люди с конями под Бородино.

- Вы что творите-то, гады?
- Вы звери или кто?!
- Стоять! Назад! Вернулись на места!
- Мочи их, пацаны!
- Ты, борзый, в обезьянник хочешь?!
- Андрей! Андрей!

Музыканты уходили за кулисы. Макар в белых джинсах, с шевелюрой под Хендрикса глянул в нашу сторону, извиняясь, поднял руки...

- Не получилось? — догадалась Ксения.
- Без шансов. Конкурентов полно и ментов.
- Как закончат, я попробую.
- Уверена? Там нервная вообще-то обстановка.

Она усмехнулась:

— Тем более.

— Ладно. Вместе пойдём.

На этот раз мы двинулись загодя. Макаревич за роялем доигрывал «Свечу», зал подпевал, огоньки зажигалок качались в такт, а мы уже были у цели. Кроме нас и ментов — никого. Ксения выбрала самого толстого, уверенно приблизилась, сказала ему что-то. И, мельком обернувшись, исчезла в проходе у сцены. Ноги понесли меня вдогонку.

— Назад! — донёсся табельный окрик.

— Но там моя девушка. Вы её только что пропустили.

— Отойди и жди. Вернётся твоя девушка.

Неужели я сказал «моя девушка»? Иногда язык без участия мозга решает наши проблемы, хотя чаще их создаёт. Я не уверен, была ли Ксения моей девушкой. Но это неполная правда. Шанс оказаться безумцем досаден не меньше, чем риск под него закосить. И всё же — вторая попытка. Я не уверен, была ли Ксения вообще. Через линзы нескольких жизней она видится мне стилизацией, плагиатом. Эталонным образом незнакомки, возникшей из шёпота книг, левитации замков, флирта снежинок и фонарей, исчезнувшей в том же почти реквизите на грани придуманной кем-то зимы. Слишком умело была закольцована эта новелла: вращение снега, движение огней, те же герои — барышня в чёрной шубке, её кавалер без особых примет. Разница в том, что мы шли на автобус и незнакомка взяла меня под руку. Амбивалентный жест владения и покорности смушал и умилял одновременно. Сама его естественность казалась неестественной. Где их этому учат, кто?

— Там хитро всё устроено, — взволнованно рассказывала Ксения, — они идут со сцены закрытым коридором, туда попасть вообще нельзя. А я — повыше на какой-то галерее. Свесилась через край, тяну билет и ручку, ору как ненормальная: «Товарищ Макаревич! Товарищ Макаревич!» Забыла его имя вдруг, прикинь. Он подошёл, качается, я вижу — он бухой реально! Ещё подумала: как он играл-то два часа? И говорит так медленно, расслабленно: «Девушка, зачем же вы тянетесь? Если свалитесь оттуда, я вас не удержу». Приложил билет к стене, расписался. Ну и всё. Ты доволен мной?

— Восхищён, горжусь и сам себе завидую, — я коснулся губами прохладной щеки. — Но что ты сказала менту? Как он тебя пропустил?

— Привет вам от Михал Иваныча.

— Какого Михал Иваныча?

— Вот и он так же завис. А я пошла себе...

Подробности этого вечера я забывал особенно долго. Рассудок цеплялся за образы, фразы, тщетно искал намёки на то, что случилось потом. Вечная мерзлота автобусной остановки. Люди — как стадо пингвинов в ночи. Редкие огни автомобилей. Светящийся квадрат автобуса, подобный миражу. Единая на всех отчаянная мысль: Господи, только не в парк... Наконец — удача: левак, по рублю с замороженной тушки. Вбились в салон, отогрелись дыханием и теснотой. Уместные объятия, разговоры шёпотом. Помню, именно там я рассказал Ксении о двойнике.

— Как интересно! — она подняла глаза. — Я бы хотела его увидеть. И ты с ним до сих пор не познакомился?

— Зачем? И как ты себе это представляешь? Найти его и сказать: здравствуй, Паша, я Слава? А дальше что?

— Да хоть бы и так. Я бы точно не удержалась. Можно подойти вместе к зеркалу... Поменяться одеждой, разыграть кого-нибудь. Побывать хоть недолго другим человеком.

— Ну... это детский сад какой-то, извини.

— Да нет же, смотри: я читала, что у всех на земле есть двойники, сейчас или в прошлом, неважно, и я не о близнецах говорю. Близнецы — это как бы один человек, разделённый надвое. А тут... не знаю, как сказать, типа мистический знак, что у нас... не одна жизнь, понимаешь? Не один вариант жизни. И если этот вариант где-нибудь на краю света, то увидеться с ним нельзя. Но когда он живёт через несколько улиц и можно запросто встретиться, поговорить — это же... фантастика. Представить, что ты — это он, и наоборот. Молчи! Ты меня сбил опять.

— Я?

— Да. Перестань улыбаться, а то я обижусь. У меня с детства было такое, знаешь... странное чувство, привычка вроде игры, но сильнее. Вообразить себя кошкой, птицей, цветком. Но чаще всего — другим человеком. А тебе хотелось так, признайся? Только честно.

— Хотелось, — кивнул я. — И, кажется, мне это удалось. Проблема — вернуться обратно.

В понедельник Ксении не было в школе. На перемене я видел их класс, её подруг. Подходить, расспрашивать не тянуло. Решил — простыла, замёрзла на остановке. Во мне тоже зрела болезнь. В горле подрастали мини-кактусы. Голову наполнила спрессованная вата. Медпункт, холодный градусник, таблетка, и ура — свобода на три дня.

На улице сделалось легче. Меня повело к дому Ксении, словно что-то толкало внутри. Я не пытался сопротивляться. Увидеть её, домашнюю, слабую, коснуться, обнять, чтобы тело исчезло вместе с болезнью — целебная, пленительная мысль! Родителей дома нет, мелкий вернётся из школы не раньше полудня. У нас почти два часа. Можно выпить горячего чая, свернуться рядом на тахте, укрывшись пледом. Прижаться, забыться, уснуть или, наоборот...

Громко ойкнул звонок, и сразу показалось, что за дверью — никого. Звук упал в нежилое пространство. Ещё раз. Ещё... Не может встать? Прогуливает школу? Что происходит вообще? Я вышел на холод, достал сигарету. Вкус её, кислый и горький, до тошноты отвечал настроению. Сейчас, как летящий набросок углём, белый фон оживит её силуэт. А дальше — взмах руки, улыбка изумления, поцелуй, банальная разгадка: врач, аптека. Затем возня с одеждой в коридоре, чай, тахта... Всё станет привычным, нормальным. Или стало минуту назад? Что-то неладное чудилось в этой истории. Путь домой измотал так, будто в сумке место учебных пособий занял неподъёмный взрослый мир.

Три дня я состоял из жара и озноба, телесной ломоты, медикаментов, разрешённого приятного безволия. Утро четверга обрадовало ясной головой, тоской по горячему душу и воздуху жизни извне. Меня потихоньку шатало, но то была слабость выздоровления. Удивив родителей, я потащился в школу. Очень хотелось

увидеть Ксению, посмеяться вместе над моими страхами. Над тайным чувством потери, необратимой и безнадежной.

Теснота короткой перемены. Разговоры, потасовки, смех. Девятый «А» у кабинета химии. Света и Наташа, подруги Ксении, бойкие, улыбочивые девушки в минимальных версиях школьной формы. Третьей в компании нет. Но спокойно. Спокойно. Кивнул им.

— Отойдем. Есть разговор.

Хладнокровно задал мучивший вопрос.

— Так уехала же, — Наташина улыбка сменилась гримасой досады, желая быть где-то не здесь, — в воскресенье ещё. Ты не знал, да? Она тебе не сказала...

— Ну обалдеть, вы даёте, ребята, — Света покачала головой.

— Куда? — я пытался звучать безмятежно.

— В Забайкалье, кажется. Или в Заполярье. Отца перевели куда-то срочно. Мать на прошлой неделе документы за... Слав, погоди, ты чего?

— Она письмо напишет скоро.

Я обернулся.

— Спасибо, девчонки. Проехали. Всё хорошо.

Всё обстояло далеко не хорошо. Голова моя надолго стала камерой допросов и пыток. Полумрак, человек напротив, свет лампы в глаза. «Зачем Ксения так поступила? Почему не сказала, что уезжает? Какой в этом смысл?» Дознание тянулось часами. «Может, я её чем-то обидел? Где и что пошло не так?» Наконец собеседник поднял измученный взгляд и ответил устало: «Да всё шло не так, идиот. В Ксении было не так абсолютно всё — от её появления до исчезновения. Именно это снесло тебе крышу: тайна, игра, наваждение случайного праздника. А где праздник, там и похмелье, как верно заметил классик. Но праздник-то был? Был. И пора отпустить нас обоих».

Ночами я блуждал по галереям снов. Меня впускали яркие гламурные пейзажи. Расступались синеватые шары древесных крон. Дорога через луг оранжевых цветов заканчивалась домиком с верандой, иногда — беседкой, полной радужных теней. Повсюду щебетало и вибрировало лето, растворяя формы в текучей среде, и везде меня дожидалась условно одетая Ксения. Она почти утратила лицо: то выглядела как Мишель Мерсье или Милен Демонжо, то — как Симонетта, топ-модель Флоренции, или Саломея, петербургская княжна. «Не обращай внимания, — шептала она, легонько дыша мне в ухо, — ты знаешь, что это я. Отныне мы навсегда будем вместе. Все твои романы, увлечения и симпатии теперь не обойдутся без меня». — «Но ведь ты уехала, — говорил я, — уехала и даже не сказала мне по-человечески...» — «Уехала? Глупый, — смеялась она, — кому ты поверил? Я здесь, с тобой, хочешь потрогать? Нет, лучше потрогаю я...» И далее — чистой прелести эротика, редкая гостья вне сновидений. А в книгах её вообще нет, ибо она параллельна словам. Самый чудесный момент нам, естественно, портили. Являлись друзья, родители, сон превращался в хаос. Я выползал из его трясины на берег такой же абсурдной реальности, на встречу с чем-то неведомым, которое больше меня и сильнее.

Через пару недель в коридоре школы меня окликнула Света. Одна.

— Я от Ксюхи письмо получила, там есть о тебе. Показать?

Мы отошли к подоконнику. Света расправила сложенный вчетверо лист. Закрыла ладонями верх и низ, оставив единственную строку.

— Вот здесь.

Крупный, свободный почерк. Рука человека без комплексов.

«Если увидишь Славу С., передай, что я думаю о нём».

— И это всё? — не удержался я.

— О тебе — да.

— Дай почитать целиком.

— Нет-нет, — Света быстро убрала письмо в карман, — тебе нельзя. Там девичьи секреты.

— Да ладно... Кстати, с праздником тебя.

— С каким?

— Тк-э... с женским днём.

— А, ну да. Кстати, я на выходных свободна. Если хорошо попросишь, можем сходить куда-нибудь.

— Можем. Если попрошу.

Свете ответ не понравился.

— Заодно расскажу, зачем Ксюха тебя подцепила. Тебе ведь интересно?

— Нет, — твёрдо соврал я, — неинтересно.

...Передай, что я думаю о нём...

Она, сука, думает. Кое-как нашла с десяток слов. В письме кому-то. Вскользь. Это когда я... Молчать, молчать.

...Расскажу, зачем Ксюха тебя подцепила...

Действительно, зачем? Спортивный интерес? Забава? Театр одной актрисы?

...У меня с детства было такое, знаешь... странное чувство, привычка вроде игры, но сильнее. Вообразить себя кошкой, птицей, цветком. Но чаще всего — другим человеком...

И живую куклу завести для вдохновения.

Но стоп. Кажется, я отгадал этот ребус. Актриса заигралась в одну роль. И тут — внезапный фабульный ход, другая эмоция — без подготовки и скрипта. Ксения теряется, сливает эпизод, финала нет.

С кем я встречался два месяца? С кем встречалась она?

Я шёл через парк тропинкой, зажатой в толстом, рыхлом снегу. Начало марта здесь как будто отменили. Но уже голубые тени весны залегли по сугробам и тянуло откуда-то влажным плацкартным бельём. Издалека навстречу мне двигалась фигура. Углублённый в обиду и жалость к себе, я едва зацепил её краем внимания. Человек приближался, нас разделял десяток шагов. Лицо его вдруг показалось тревожно знакомым. Через секунду я понял, кто это: Паша Былинин. Двойник. Он тоже узнал меня.

Время стало эластичным, потом остановилось.

Я листаю ветхий фотоальбом памяти. Нахожу кадры той встречи... Сходство безусловное, однако не зеркальное. Совсем другая интонация лица. Ощущение: знаешь человека, а не вспомнить. «Аляска» цвета хаки, молнии, заклёпки, шапка явно

не из кролика. Сине-зелёный мохеровый шарф. В альтернативной жизни я неслабо упакован. Ну, здравствуй, Паша. Здравствуй, Слава.

В его глазах сперва мелькнуло удивление. Затем — насмешка, вызов, интерес. Мы разошлись, почти задев друг друга. В последний момент он чуть слышно хмыкнул, я чуть заметно кивнул. Или кивнул он, а хмыкнул я.

Солнце между тем откинуло вуаль. День обновил цвета, контрасты, звуки. Сдержанный диспут ворон углублял тишину. Снег дышал предчувствием капли. Воздух наполнялся обещаниями. Небо манило прозрачные ветви берёз. Всё это взаимно проникало, складывалось в цельную, объёмную картину. И я был её частью, даже подписью. Невесомая японская «алюска» рифмовалась с лёгким шагом и свободой плеч. Статусный шарф оттенял волевой подбородок. Взгляд, имитируя шапку, стал меховым.

Лишь один элемент выпадал из общей гармонии. Ксения отступила в тень, поблёкла, растворилась. И не возвращалась тридцать лет. Все мои романы, увлечения и связи чудно обходились без неё. Я научился знакомиться трезвым, видеть плюсы открытых финалов, ценить редкий опыт измен. Я бросил искать логику в потёмках человеческой души ещё до окончания психфака МГУ. Не думаю, что образ первой девушки влиял хоть как-то на мои симпатии. Впрочем, глупо сравнивать забытое отчасти с забытым целиком. А вот двойника иногда вспоминаю. Где он? Живой ли? Похож ли сейчас на меня, или грим обстоятельств и лет изменил нас по-разному? В одном я твёрдо уверен: он не прочтёт мой рассказ. И поэтому делаю то, что хотелось многие годы. Я говорю: спасибо, Паша. И радуюсь ответной тишине, ибо спрости он «за что?», мне пришлось бы объяснять необъяснимое. Кроме того, у меня есть инсайт, что слова благодарности больше нужны говорящему, чем адресату, хотя принято думать наоборот.

Айгерим Тажи

Раздвигая материю

* * *

С кем шёл — отступили на шаг,
Потемнели лицом,
Кольшутся чайным паром ночью.

Он бормочет то ли алла, то ли отче.
И боится глаза отвести,
Не может глаза отвести,
А сердце пытается зацвести.

Бог его гладит по голове.
Растянулись в траве.
— Смотри, сынок, — очерчивает рукою небо.

Врастает в почву, чувствуя, что летит.
Смотрит: и впрямь летит.
Бог в левое ухо ласково говорит.
А правое ухо горит.

* * *

Когда Карлыгаш¹ танцевала у костра
Подняв голову закручивала звёзды по часовой
Камыш нагибался в сторону от реки
Чёрная птица поднималась и опускалась к земле
По щекам била распущенная коса

Мы смотрели украдкой — от взгляда её пекло

За прозрачные нити тянула вела в игре
Как в замедленной съёмке срывая с небес огни
Зачарованно медлили в секунде-другой
До того как взрывается сердце

Айгерим Тажи — поэт. Родилась в Актюбинске (ныне Актобе). Автор книг стихов «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004) и «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin» (Билингва, Бруклин, 2019). Публиковалась в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (2003) и др. Живёт в г. Алматы.

¹ Карлыгаш — ласточка, одно из прекрасных женских имён (*казах.*).

В золе
Создавалась Вселенная
Искры сверхновых звёзд
Рассыпались в дыхании танца жгли сухостой

Как стена в мир иной золотая живая стена
А за ней духи предков из воздуха и огня
Ближе-ближе подходят сжигающей полосой
Остановила вдруг танец свой Карлыгаш
И потухла земля
И погасло лицо

* * *

Снятся в комнате общей,
Выныривая из грёз,
В золотистой рубашке сын,
В белом платье дочь,
Дом, зачёркнутый лесом.
Луна сдвигает в тёмную сторону
Сумеречные весы.
Ночь распластывается
Под весом.
Рядом рыщет сердце,
Пульсирует и рычит —
Окружили его толпой,
Обнажили мечи,
Жгут огнём.
И ночь,
Умирая днём,
Забирает с собой
Всех, кто снова приходит,
И снова приходит,
И снова,
После того, как ушли насовсем.

* * *

Расчёсывая седые волосы,
Бабушка читает сказку,
Вплетая нас, как бусины,
В искусное полотно.

Мы выходим из леса,
Держась за руки.
Впереди камень.
Направо, налево, прямо —
Всё одно.

Правый глаз закрыт уже,
Второй — держится.
Голос вкрадчивей.

Полумесяцем
Огоньки меж ресниц.
Выбираем дорогу во сне.
Вдалеке маячит что-то прекрасное.

Она переворачивает
Последний лист.
Щупает пустоту его,
Как незрячая.

Алматы

В лепестках горной яблони,
будто в мелкую крапинку,
дремлет лошадь на привязи,
видит сны. Роща выносит
тьму потомков. И яблоки,
раздвигая материю
разрежённого воздуха,
уродятся огромными.

Небо проломлено.
Яблоки капают
внутрь ручья.
Рыбы текут
вдоль реки.
Условный дом
поставила бы сюда,
разбила бы сад,
но осколки, когда всё бросаешь,
чересчур глубоки.

* * *

Под сумеречной сетью бьётся утро.
Сползают с окон капли дождевые.
Трещат сороки, разграбляя гнёзда.
Всё, как тогда, но неудобно.

Блестят машины. Строй деревьев плотный.
В них воробьи, несыгранные ноты,
Качаются на оголённых ветках.
За стол! — кричат из кухни. Смех и топот
Стихают за порогом. Все живые.

В потоках речи глушатся слова —
Не различить. Под дверью лужа света.
Не помешать. Пусть посидят ещё,
Пока молчат часы.
Надеть пальто, уйти в промокший сад.

По капле дождь перебирает чётки,
Под нос поёт знакомую молитву.
В воде танцует клетчатая лодка
С наивным капитаном из блокнота,
И будто океаны впереди.

Артеми́й Леонтьев

Рассказы

Интроверт-рецидивист

Всю свою сознательную жизнь Мирон жил словно на глубине. Его внутренняя жизнь кипела, струилась, расцветала и благоденствовала — ему нравилось находиться наедине с собой, нравилось молчать, думать, читать книги. Нет, он не смотрел свысока на окружающих, просто любил литературу, живопись, кино, с интересом изучал историю, а для всего этого не нужны посторонние люди. Даже путешествовать Мирон любил в одиночестве, потому что так впечатления от поездки не размазывались в бескончаемых обсуждениях и восторгах, а накапливались внутри и вызревали, превращаясь во внутреннее содержание, энергию, знание и силу. Он просто не нуждался в компаниях, потому что все самые сокровенные радости, самые сильные всполохи счастья испытывал, когда никто не отвлекал его разговорами. Тем более что слишком многие люди предпочитают говорить сами с собой: о себе и своём. Всё новое и непохожее, непривычное, любая форма несогласия чаще всего вызывает у людей раздражение или даже агрессию. Встречались ещё такие, что использовали людей для собственного самоутверждения или как средство от скуки и одиночества, обожая распускать сплетни и плести интриги, или гадить на голову тем, кому ещё недавно жали руку и даже признавались в любви. Одним словом, исходя из своего опыта общения, Мирон в какой-то момент нашёл для себя именно этот уклад, жил уединённо и сосредоточенно и был счастлив, освободив свою жизнь от всего формального, отталкивающего и посредственного. Его жизнь основывалась лишь на том, что он действительно любил.

Мирон был коренным петербуржцем, то есть прям ленинградцем, даже петербуржцем-петроградцем, если можно так выразиться. Он не просто приехал в город пару лет назад и снял здесь квартиру, а потом стал всем говорить, что коренной с пристяжкой. И был даже не из тех, чьи родители перебрались сюда в 70—80-е XX века, а родился здесь и потому считает себя аборигеном. В этом городе жили его

Артеми́й Леонтьев родился в Екатеринбурге в 1991. Окончил Уральский Федеральный университет и Военный учебный центр им. Героя СССР Б.Г.Россохина. Учился в Литературном институте на Высших литературных курсах. Лауреат премии «Звёздный билет» (2019) и российско-итальянской премии Raduga (2021), финалист премии Лицей 2022 года. Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир». Автор романов «Варшава, Элохим!» и «Москва, Адонай!» («ДН», 2019, №№ 8,9). Составитель книги Анатолия Гаврилова «Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством».

бабушки-прабабушки-дедушки-прадедушки. В общем, до Мирона здесь ветвилось-гнездились множество замечательных людей, бывших ему родственниками, которые хранили этот город, любили, страдали, воевали, голодали в блокаду, дружили, роднились, ссорились, созидали... По крайней мере, фамильное древо простиралось до их дальнего предка — мелкопоместного дворянина, вероятнее всего, переехавшего сюда из Москвы в 1746 году. Так что более коренным, чем Мирон, здесь был, пожалуй, только Пётр I. Но вопреки тому, что Мирон составлял неотъемлемую часть этого города и по мере сил хранил его с самого детства, он всякий раз смотрел на него как впервые, будто только что приехал, вышел с вокзала, озираясь по сторонам. Каждый дом, каждая улица были ему знакомы в той же мере, в какой человеку знакомо собственное тело со всеми его ямками, пятнышками, шрамами и морщинками, однако всегда он ловил себя на ощущении первого раза, когда снова отправлялся погулять по центру.

В этом состояла магия его любимого города, поэтому любая проблема Петербурга воспринималась как нечто личное: когда при губернаторе Бегунове на его глазах город стал зарастать горами мусора, — Мирону казалось, что этот мусор становится частью его личного пространства, как если бы кто-нибудь вывалил в его ванную комнату помойное ведро. В планы Мирона не входило жить среди мусорных куч, и он обращался в районную администрацию, а там ему объясняли, что конкретно этот мусор находится на границе районов и поэтому его не так просто убрать, ведь надо ещё найти ответственного за конкретно этот участок, так что вам следует звонить по этому и вот этому телефонам, написать претензию вот на этом сайте, и будет вам счастье. Позвонив десяти начальникам и заместителям, двадцати секретарям и помощникам, разместив претензию на сайте, Мирон ждал около двух месяцев, но мусор не исчезал, десять заместителей и начальников вместе со своими двадцатью секретарями не могли с этим мусором справиться, поэтому Мирон взял несколько мусорных мешков, резиновые перчатки и пошёл самостоятельно собирать бутылки, банки и прочее. Так что интроверт интроверту рознь: Мирон хоть и был себе на уме и жил в своём отстранённом мире, но при необходимости мог заткнуть за пояс любого экстраверта, даже самого деятельного и болтливового высокопоставленного чиновника.

Мирон всю жизнь учился, он получил два высших образования и теперь готовился к аспирантуре. Ему нравилось учиться. Благо, работал он удалённо, практиковал по скайпу как психолог и преподавал историю в качестве репетитора, поэтому пятидневка не обгладывала его жизнь, да и любимую девушку он до сих пор не встретил, не женился, не обзавёлся семьёй, хотя было ему уже тридцать пять; он вполне твёрдо стоял на ногах, и когда как не сейчас, казалось бы? Детей он хотел, но непрактичная природа требовала привлекать к деторождению ещё одного человека, желательно противоположного пола, и Мирон оставался бездетным холостяком, перед девушками робел и, как с ними знакомиться, не имел ни малейшего представления. Зато в силу всего этого у Мирона было много свободного времени и энергии, которую он сублимировал, делая свою внутреннюю жизнь ещё более интенсивной.

Вот и сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих: утром он почитал несколько книг, потом весь день, с перерывами на перекусы, писал «Сказку про либералов, патриотов, европейцев и русских», а к вечеру засел за эссе «Основы ахимсы, по-новому сформулированные в христианстве». И всё шло как по маслу. Для полноты феншуя Мирон даже зажжёт благовония. На часах почти полночь, и вот ему звонят в дверь. Друзей, как и девушек, у Мирона не было, в магазинах он ничего не заказывал, поэтому звонок, да ещё и столь поздний, удивил.

Он глянул в окружье глазка: там шевелился внешний мир — недружелюбный и жестокий. Мужчина и молодая женщина стояли перед его дверью и чего-то страстно хотели. Оба в чёрном, оба какие-то нервные, судя по тому, как переминались с ноги на ногу. Делать нечего, надо открывать.

— Ну что, попался?!

Женщина подошла вплотную, ещё шаг — и она бы оказалась в прихожей.

Мирон выпучил на неё глаза.

— Что, простите?

— Дошвырнулся, сукин сын! У нас есть видеозапись и свидетель!

— Я вас не понимаю. Вы кто вообще?

— Мы те самые! Хозяева! Которым ты насрать хотел! Надо отдать должное твоей меткости! Прямо чётко в капот попал. Ну ты тварь...

— Я ничего не понимаю.

— Вот, сюда смотри! Сюда!

Женщина достала телефон и включила запись, судя по ракурсу, запись сделана на камеру магазина, которая висит рядом с парадной.

— Мотри-мотри, щас будет. Чичас твои яйца прилетят. Ты нам весь капот изгваздал, гадёныш.

— Что за бред? — Понимая, что у женщины истерика и она не совсем адекватна, Мирон вопросительно посмотрел на мужика. — Вы меня знаете?

— Нет.

— И я вас не знаю.

— А у вас есть машина? — спросил мужик.

Он был более спокойный и этот вопрос был единственной фразой, которую он произнёс за всё это время.

Мирон отрицательно качнул головой. Периодически он сильно комплексовал, что у него к тридцати пяти до сих пор нет авто — слишком многие люди, особенно девушки и продавцы, официанты, бармены, менеджеры и прочие часто делали особый акцент на том, есть у человека машина или нет. Отсутствие машины почему-то всегда для них означало что-то очень серьёзное и непоправимое, унижительно-непристойное. Ну как если бы, например, у человека отсутствовал нос или вместо ушей были половые губы. Вот и сейчас Мирон не стал озвучивать сей постыдный факт, а лишь ограничился кивком.

— А вас не смущает, что у меня нет мотивов кидать в ваш автомобиль яйца? Мы с вами незнакомы, конфликтов никаких не было...

— Вот мы и пришли, чтобы понять, зачем ты всё это сделал. Завтра мы идём в полицию. А сейчас зашли, чтобы для себя понимать, что ты за индюк такой... псих неадекватный!

От женщины исходило столько ненависти, она настолько близко стояла, что Мирону стало некомфортно. Он отвёл глаза, не зная, что ещё сказать этим людям. В любом случае, ощущение, что его окатили из чана с дерьмом, становилось всё более отчётливым, а заглядывать внутрь этого чана у Мирона не было ни малейшего желания.

— Вот! Вот. Что и требовалось доказать! Ты глаза отвёл! Это психология! Раз отвёл глаза, — значит, виноват!

Мирон посмотрел на женщину.

— Да просто от вас такая ненависть исходит, мне это неприятно.

— Тебе не отвертеться, ты будешь за ремонт капота платить. У нас есть видео!

— А на видео видно, что это я кидал яйца?

— Нет, конечно, но у нас есть свидетель. Он стоял на улице в этот момент и курил.

— А когда это было?

— Вчера в час ночи. И он видел, что яйца именно с твоего балкона летели.

— В час ночи? Это прекрасно. То есть какой-то левый мужик в час ночи сказал вам, что это я, и вам этого достаточно, чтобы обвинять? А вы не допускаете, что он мог ошибиться?

— Он был трезвый, он не мог ошибиться!

— Это сюр... это просто какой-то сюр. У меня нет слов. Хорошо, что он хотя бы трезвый был. Ну, по крайней мере, он вам так сказал.

— Завтра мы идём в полицию.

Мирон развёл руками.

— Это прекрасно, я очень рад за вас. Вы сейчас от меня что хотите?

— Мы просто нанесли дружеский визит.

— А, я понял. Ну круто, что... А со свидетелем я могу пообщаться?

— Зачем?

— Да так, в глаза любопытно посмотреть человеку...

— Нет, не нужно это...

Визитёры двинулись в сторону лифта, а обтекающий дерьмом Мирон стоял в распахнутых дверях, глядя им вслед, пытаясь найти какие-то слова, чтобы убедить этих людей в том, что он не виноват, но страстная убеждённость этой женщины в обратном, её ненависть, которую она испытывала к нему, — всё это обезоруживало. Будучи восприимчивым человеком, Мирон часто ловил себя на том, что практически невозможно оставаться самим собой с теми, кто к тебе враждебен, потому что любое твоё слово и действие будет искажено, ложно истолковано. Он замечал, что если в магазине охранники смотрят на него подозрительно и с вызовом, словно он что-то украл, то Мирону действительно хотелось что-нибудь украсть, чтобы не обманывать ожиданий. Вот и сейчас в нём дрожало то самое чувство. Он закрыл дверь и первое, что сделал, — подошёл к холодильнику. Открыв его, стал пересчитывать яйца: на верхней полке лежало шесть. Мирон попытался вспомнить, когда он готовил себе яичницу, — вспомнил, что сегодня утром, но вот из скольких именно яиц, он этого себе сказать не мог. В магазин Мирон ходил позавчера, это значит, что за два дня он израсходовал четыре штуки — либо это одна большая порция, либо он пожарил сегодня утром две штуки с луком и овощами, а вчера ночью — чисто теоретически — действительно мог бросить пару яиц в автомобиль этих людей.

Мирон пытался вспомнить, во сколько он вчера лёг спать. Обычно это бывало достаточно поздно. Вчерашний день не был исключением, — что-то около трёх ночи, может, даже в половине четвёртого утра, потому как проснулся поздно, почти в полдень. Мирон перебирал в памяти, чем конкретно занимался прошлой ночью, и без проблем вспомнил, что весь вечер перечитывал любимые рассказы Шукшина, Казакова, Юрия Петкевича и Шервуда Андерсона, потом слушал винил; кажется, это были пластинки польского композитора Хани Рани и один из альбомов Нильса Фрама, дальше он спустился за шавермой, которая оказалась несвежей, поэтому сблевал, после чего выпил пачку активированного угля и лёг спать. То есть до яиц дело как будто не доходило.

Мирон закрыл холодильник и стал вышагивать по квартире... Беспокойство нарастало. Ему невольно передалась уверенность женщины в том, что именно он

забросал их машину яйцами, поэтому сейчас Мирон думал, когда именно мог это сделать: во время чтения Казакова или после Нильса Фрама? А может, во время прослушивания Хани Рани? Или после рассказов Шукшина? Ну конечно... Конечно же! Шукшин был тот ещё хулиган. Определённо, Мирон мог начитаться его рассказов и устроить какое-нибудь скотство!..

— Так-так-так-так-так...

Мирон зашагал более нервно, заложив руки за спину, — он метался по квартире, как в клетке.

— Так-так-так-так-так... Вот сволочь!

Мирон резко остановился. По его восклицанию не было до конца понятно, кого он считает сволочью, — Шукшина, вдохновившего его на затею с яйцами, или себя, так безвольно поддавшегося на провокацию.

Тут Мирона передёрнуло.

— Ну это же бред! Бред!

Он схватился за голову и снова зашагал по квартире, думая, зачем ему это было нужно, как он, воспитанный и интеллигентный человек, мог взять два яйца, выйти на балкон и шурануть их в капот чужого автомобиля со своего восьмого этажа.

— Это же абсурд! Ахиня!

Мирон достал из морозилки литровую бутылку «Егермастера», налил себе рюмку и выпил. Подумал, что первая пошла очень хорошо, поэтому сразу же налил вторую. Снова выпил. Она зашла ещё лучше, в связи с чем плеснул третью, а та в свою очередь вообще оказалась магией в чистом виде, четвёртая уже немножко обманула ожидания, поэтому Мирон попробовал через пятую и шестую рюмки вернуть удовольствие первых трёх, и только на десятой понял, что свежесть алкогольного восприятия безвозвратно утрачена и теперь совсем не то, поэтому достал из шкафа стакан и тут же с горя его наполнил. Из-за того, что давно не пил, с пол-литра «егеря» его даже не развезло, ему просто шарахнуло в голову табуретом, но Мирон всё равно залпом проглотил целый стакан и понял, что будет лучше, если он всё-таки закусит. Шатаясь, подошёл к холодильнику, открыл дверку. Из еды были только яйца.

— О! Ща я себе яишенку забубеню...

Он стал набирать яйца в футболку, задрав перёд, чтобы получилось что-то вроде мешка кенгуру.

— Ща закусим...

Когда все шесть яиц оказалось у него в футболке, Мирон пошёл почему-то не к плите, как планировал изначально, а на балкон, — и, открыв окно, стал вести прицельный огонь по прохожим. И надо отдать ему должное, несмотря на сильную алкогольную качку, попадал он хорошо.

Мать

Дом стоял у пыльной дороги, со стороны казалось: вышел к ней, чтобы встретить кого-то, и всё стоит теперь — не дождётся, нетерпеливо вглядываясь в припорошенную пылью линию горизонта. Сама же дорога напоминала молчаливую степенную реку. Анастасия и Игорь Душины жили в этой простой неказистой обители уже лет двадцать, с самой ещё свадьбы. Обрасти детьми не удалось, возможно, именно поэтому в очертаниях бревенчатого одноэтажного строения было столько томительного ожидания. Раскидав всё по хозяйству, Настя обычно садилась у окна и поглаживала пустой

нерожалый живот: тянула руку к его прохладной коже, как тянутся обычно к засохшей коросте, чтобы расковырять её, или облизывают пустую лунку свежевыврванного зуба. Внимательно следила за проходившими мимо школьников: с утра, когда они, сонные, ковыляли на учёбу и смешно зевали, похожие на котят, а потом вечером возвращались, взъерошенные очередным днём своей жизни. При виде детей Настя переставала гладить живот, по лицу расплзались весёлые морщины. Когда школьники залезли к ним в сад и наклоняли крайнюю яблоню у самого забора, Настя наблюдала и радовалась, что они хрустят именно её яблоками: близкое ощущение, наверное, испытывает мать, когда младенец ёрзает на руках и лезет под майку, высвобождая кормящую грудь.

Игорь занимался грузовыми перевозками. Уезжал, бывало, на целую неделю. Из одной такой поездки и привёз Фирузу — молодую узбечку, смотревшую исподлобья. Сказал: теперь будет у них работать по хозяйству, у неё, мол, какой-то конфликт с близкими на родине, и она в России одна. Анастасия с удивлением оглядела восточную девушку, посмотрела на слишком уж старающегося не моргать мужа и опустила глаза. Зимой Фира жила вместе с хозяевами в доме, спала на кухонном топчане, а летом перебралась в деревянную баню. Рядом стоял сарай, в котором раньше держали куриц и корову, но потом от скотины как-то отохотились, подъели постепенно и продали. Сарай до сих пор полнился тёплым животным духом, хотя и сильно потускневшим. Игорь снова купил корову и куриц, а Настя постепенно свыклась с новой работницей. Тот почти угасающий запах животины, снова напитался обильными соками, густыми и жирными испарениями, стал концентрированным и горячим, как терпкий наваристый суп.

С закатом солнца Настя ревниво прислушивалась к затихшему дому, к сопящему рядом мужу, выжидая, когда он встанет и попытается прокрасться к Фирузе, но Игорь спал глубоко и прочно, а продежурив несколько ночей, так и не дождавшись измены, измотанная за день Настя стала проваливаться в сон, стоило едва коснуться подушки головой. Убедившись в верности Игоря, устыдилась своих косых взглядов, какими хлестала первое время ни в чём не повинную Фиру. Настя стала даже по-своему баловать её, пытаясь подсознательно через это оправдаться: то бусы ей подарит, то платок, то юбку.

Вскоре всё-таки проснулась в пустой постели: нервно вырвалась из сна, жадно заглатывая воздух, — приснилось, что горит дом, комнаты полны пламенем, а сама она задыхается от гари. Настя дёрнулась и вскочила, накинула поверх ночной рубашки халат. Вышла в жаркие пахучие сени, похожие на разопревший предбанник: маленькое квадратное помещение, заставленное сапогами, завешенное бушлатами и куртками, было настолько наполнено густыми запахами пота и снеди, душком старых, уставших от человека вещей, что воздух напоминал сивуху или рассол. Настя переобулась в резиновые сапоги и шагнула в прохладную ночь.

Ещё в сенях привыкшие к темноте глаза смотрели теперь по-кошачьи остро. Частое женское дыхание со стороны бани различила сразу, как вышла: эти вздохи ошпаривали. Настя остановилась у наваленных на стенку дров, рядом с которыми блестело маленькое прямоугольное окошко. Лунный свет плескался в нём, отливал вольфрамом и слоновой костью. Сиплый и влажный всполох двух трущихся друг о друга тел окружал баню громким сальным шёпотом, и от бани исходил жар, словно она была крепко запарена, а самый воздух вокруг, казалось, твердел и запекался поспевающим тестом. Заглянула внутрь: на дне окна боролись два обнажённых тела, они с силой сдавливали друг друга, терзали и ощупывали, словно пытались запомнить

вслепую и на ощупь, жадными руками хватали друг друга, как горячий печёный картофель, обжигаясь и отдёргивая пальцы, но не в силах оторваться, потом резко замерли и повернули к Насте свои тёмные лица — сразу стали походить на замурованных в куске янтаря насекомых. Настя с усилием отвела взгляд, как с гвоздя его сорвала, и ушла в сторону дома.

В эту ночь Игорь не вернулся в супружескую постель. Баня растерянно затихла. Рано утром Настя проснулась от шума захлопнувшейся двери грузовика и взревевшего двигателя: самого мужа не видела — только задние колёса и борт машины. Вскочила с постели, умылась, оделась и вышла на улицу, чтобы приступить к своим обычным домашним делам, но куда бы ни подходила, всё уже было сделано: в бочке для полива начерпана вода, грядки влажные и прибранные, саженцы подвязаны, дрова уложены возле печи, двор подметён, в сарае собран навоз да и кормушки полные. Когда столкнулись во дворе лицом к лицу, Фира виновато поджала к себе руки, обхватив грудь, смотрела на носки резиновых сапог Насти, не в силах поднять взгляд. Долго молчали, не шевелились, пытаясь преодолеть дискомфорт присутствия человека, который с сегодняшней ночи много дальше, чем просто чужой.

Настя хотела хлестнуть её по щеке, но не смогла поднять руки — казалось, тело стало грузным и неповоротливым, слепленным не по размеру, слишком большим.

«Я сама виновата! Пустота нашего дома — моя женская пустота!» — подумала Настя и ушла. Узбечка смотрела вслед, в её глазах разгоралась нотка презрения. Фируза увидела: хозяйка хотела ударить, но не ударила, а значит, испугалась. Восприняла поведение Насти как проявление слабости.

После этой встречи Фира осмелела: до этого всё утро где-то пропадала, боясь попасться на глаза, теперь спокойно вошла в дом, стала греметь кастрюлями и разогревать себе еду. Обычно не брала продуктов хозяев, во избежание попреков ела только то, что покупала сама, но сейчас намеренно взяла из половины Душиных. После завтрака Фира незаметно надела единственную дорогую вещь из гардероба хозяйки — её плащ, — а потом исчезла из дома. Этот приталенный французский плащ Настя очень берегла, его подарил супруг сразу после свадьбы, едва ли не на последние деньги выторговав у фарцовщиков в Ленинграде, куда они поехали на медовый месяц. Плащ ассоциировался у Насти с собственной молодостью и счастьем. Свадебное платье они брали тогда у знакомых, этой женской реликвии она не имела — рядилась в шкуру заёмной радости с фатой, которую пришлось вернуть подруге: так карета превращается в тыкву. Да и на фотографа тогда не нашлось денег, и нельзя сейчас полистать свадебный альбом, — один только этот плащ был у неё.

Фира вернулась под вечер вместе с Игорем. Вечернюю тишину взбудоражили бормотание и дребезг грузовика, затем визгливо скрипнули рессоры. Стоявшая у окна Настя увидела, как Фира идёт рядом с её мужем: расправив плечи, смотрит с вызовом, в её любимом плаще, и он ей к лицу точно так же, как когда-то, десять лет назад, был к лицу самой Насте. И она вдруг с ужасом поняла: её плащ и её муж гораздо больше подходят Фирузе, чем ей самой.

Когда дверь открылась, она стояла перед ними, словно пыталась заслонить дом, её лицо и пристальный взгляд заставили отпрянуть, как будто в руках у Насти было оружие. Игорь почувствовал: не она теряет его, как решил для себя с утра, понял, что сам безвозвратно утрачивает жену. Настя молча забрала у Фире плащ и ушла в комнату: не потому, что не хотелось кричать, просто чувствовала: если скажет хоть слово, разрыдается.

Стемнело. Настя закончила с домашними делами, умылась и легла в постель. Игорь долго слонялся у дома, курил в саду, сплёвывал и шаркал, снова и снова ополаскивал окно своей тенью. Наконец, в сенях рассыпалась мелкая горсть его шагов, скрип двери, и Игорь шагнул в комнату. Настя притворилась спящей. Игорь несколько выждал, потом стал освобождать своё горячее нервное тело от одежды. Осторожно улётгся рядом, не касаясь её, — казалось, ложился не в постель, а в горячую воду.

Фира потеряла аппетит, потом стала есть за двоих, часто и громко жевала, разрывая пищу своими мелкими хищными зубами. Настя посмотрела на неё изменившимся взглядом, побледнела и чуть осела, уронив руки, — Фира ответила насмешливым прищуром, в её лице отчётливо вызрело чувство превосходства и нескрываемое презрение. Настасья вышла из кухни и отправилась к постели Фиры. В предбаннике появился новый запах, он стал более резким и телесным. Настя обнюхивала комнату, как таможенная овчарка, тыкалась носом в этот отяжелевший, чуть прокисший запах жирного молока и яичного белка, принялась перетряхивать корзину с грязным бельём, сама толком не зная, что пытается найти. В предбанник ворвалась Фира, с шипением бросилась на Настю, схватила за ворот и толкнула. Настя хотела пнуть её в живот, но одёрнула себя — подумала о ребёнке, Фира стала душить Настю, и в эту минуту в предбанник вбежал Игорь, растащил...

Игорь перенёс вещи Фиры в дом: изба была однокомнатной, поэтому Настя уступила постель беременной, а сама перебралась на кухонный топчан. Теперь, когда вся работа свалилась на неё одну, Настя едва успевала по хозяйству, заканчивая затемно. Она перебралась в предбанник, стараясь оградить рано засыпавшую Фиру от лишнего шума, заходила в дом только днём: прибраться, приготовить еды. Настя избегала появляться без повода, почти всегда натываясь на жёсткий колючий взгляд Фиры.

Роды прошли легко, младенец издал в доме свой первый крик, вторгся в мир его запахов и звуков. Фира назвала малыша Юсуфом. Глядя на ребёнка, Настя радовалась, будто он был её. Единственное, о чём мечтала, — приласкать, но Фира не позволяла. Настя любовалась крохой с другого конца комнаты, пока Фира пеленала, кормила и купала. Игорь пропадал целыми днями, чтобы больше зарабатывать. Через год Фира помирилась с родителями, и те потребовали вернуться в Узбекистан. По обрывкам разговора Настя поняла, что родители простили ей связь с женатым узбеком, нашли достойного жениха и предлагают стереть позор.

В одно раннее субботнее утро Настя вошла в избу и увидела в детской кроватке спящего Юсуфа, взбаламученную постель и как-то в раз опустевшую комнату, из которой исчезли все вещи Фиры. Игорь был на заработках. Из шкафа пропали все деньги, словно Фира забрала их в обмен на оставленного ребёнка. Настя подошла к детской кроватке, заглянула в неё своим тихим радостным взглядом и не удержалась: хотя малыш ещё спал, впервые взяла уже потяжелевшего мальчика на руки. Юсуф проснулся, но не заплакал, он прижался к Насте и обнял, кутаясь в её женское грудное тепло: зевающий, сонный и умиротворённый. Всё потягивался и дёргал ножками.

— Я твоя мама, — сказала ему Настя.

Вечером вернулся Игорь. Когда узнал, нахмурился, но, поглядев на счастливую Настю, отошёл — щетинистое лицо прояснилось, глаза потеплели. Они решили назвать мальчика Олегом.

Диляра Юсупова

Три оттенка красного

Триплет рассказов

От автора

Вот уже который год не могу найти красную помаду: красных — много, красивых красных — ни одной. Не кирпичный, не лиловый, не малиновый, и даже не рубиновый. Я называю её снежной, только никто не понимает, — это рябина в снегопаде скрылась белой пеленой, бликует себе потихоньку. Джойс рассказывал, как падает снег: «Потонули под ним города, улицы и крыши — и живые, и мёртвые». Но не на ту напали, рябина об этом не знает и всё глядит, горчит и пенится.

Для каждого из нас достаточно счастья, просто маскируется оно под разные оттенки. Говорят, белый — это отсутствие цвета, чёрный — совокупность всех. А красный... красный — цвет любви и крови, опасности и рассвета. Ассоциируется он с «жаром раскалённого металла и огня, что пульс в его присутствии учащается, а сердце выпрыгивает изнутри». Что наступает потом? Потом раздражение и апатия, потом мы просто выжимаем досуха мир из капсулы в надежде насытиться горькой рябиной, когда её вообще незачем рвать, достаточно просто любоваться на то, как смешна и прекрасна наша жизнь.

Клюква в сахаре

Все рыночные палатки в лохматых 90-х были именно жёлтого цвета — выбор цвета до сих пор загадка похлеще тайны мадридского двора. Правда, уже потом, лет так через -дцать, мне говорили, что это неправда, существовали самые разные, но я-то помню только ярко-жёлтые, а значит, были только они. Напротив гастронома стояла именно такая со всякой вкусной всячиной, абсолютно бесполезной для большинства, но такой привлекательной для нас — детей. Сейчас я бы назвала этот ларёк «Маленькая Россия» — за занавеской лицом в снег, а над тобой ледяное небо и вечная

Юсупова Диляра Ильмасовна родилась в 1987 году. Окончила факультет русской филологии Казанского Государственного Педагогического Университета, Московскую Академию Медиаиндустрии, учитель русского языка и литературы. Автор сценария и режиссер х/ф «Бомж» (короткий метр). Работает корреспондентом на телеканале «Новый век». Живёт в Казани.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 12.

тоска, но там опять только леденцы да тульские пряники. Зачем мы там ошивались всё время? Ну чего мы там не видели, жалких вафель с варёной сгущёнкой? Не больно-то и хочется, но больно уж хотелось. За свою короткую жизнь мы успели попробовать немного, но больше, чем наши родители. Мы видели «Пепси», а это уже кое-что. Но среди этой ерунды была и самая заветная мечта — клюква в сахаре. Самый дорогой товар на прилавке — стоила она восемнадцать рублей (доллар тогда то ли четыре, то ли шесть), тогда как мороженое было за шестьдесят копеек—рубль, — и вот мы с сестрой клянчим на эту сладость, но всё, что мать может дать, — это два рубля, и что делать? Выбор между «кое-что» и «ничего» очевиден. Поэтому каждый день «кое-что» покупалось в палатке, а мечта просто грелась и ждала своей очереди.

В палатке работали две сестры: чёрненькая и чёрненькая. Обеим, как я сейчас понимаю, лет под тридцать, но когда деревья были большими, а люди до неба, девушка старше тебя, неважно на сколько, — тётенька. Чёрненькая и чёрненькая были близняшками — абсолютно одинаковые, но отличались: одна красивая, другая некрасивая. Объяснить этот парадокс определённо невозможно, но то был факт, и складывался он, вероятно, из личного восприятия. Одна была приветлива, мила и ослепительно счастлива, вторая — хмурая, замкнутая и носила краб. Мне кажется, что дело как раз в нём — в детских глазах собранные волосы обязательно проиграют распушенным.

Некрасивая была скупа на болтовню, не дарила жвачку просто так, сурово обдавала всех единственной фразой «брать будете?» и сухо протягивала товар. Мы хотели ей понравиться, мы честно пытались — заглядывали в глаза, предлагали угоститься, — она всегда устало отвечала: «Не надо». Без злости, сожаления и чувств. От чего ещё ты отказалась в жизни? От смысла? От веры в счастье? От знания, «отчего люди не летают так, как птицы?»

Сёстры менялись посменно, и мы, считая поодаль мелочь в кармане, так и говорили: «Сегодня красивая, поэтому завтра будет некрасивая». А это значит, завтра, скорее всего, не будет покупок. Была между ними невидимая конкуренция, которую мы поддерживали в сторону красивой — в уме считали очки и ставили, как и полагается, на распрекрасность во всех отношениях, будто на породистого скакуна, — считали, сколько покупателей были у той или иной в день, порой уговаривали прохожих не покупать у некрасивой (кто-то вёлся), жгли свечи, вызывали пиковую даму и выигрывали у самих себя.

Некрасивая не подозревала о злом коварстве и интригах за спиной. А мы думали, может, кого из них подменили? Ну, не могло быть у некрасивой такой сестры — умненькой да ровненькой. Туфли, идущие всегда рядом, но разной судьбы, потому что одна всегда жмёт; как гимназистка и проститутка: «Ты всё ещё веришь в любовь?» — «А как же!»

Однажды я всё же накопила на мечту, — можно ли на мечту накопить? Почему бы и нет, если это клюква в сахаре! И вот, я несу скомканные восемнадцать рублей, собранные с обедов, а там... некрасивая. То ли это детская жадность, мелочность или просто скудоумие, но как не хочется делиться счастьем! Я решила, что должна эту радость разделить непременно с красивой, что я и сделала спустя два дня. Всё бы хорошо, да больше некрасивую никто никогда не видел: не выходила она на смену, не появлялась при закрытии и даже не проходила мимо. Никто, впрочем, не волновался, кроме меня. Если у тебя сердце как цветок, можно вообразить что угодно, и я вообразила: я начала подозревать, что близняшка догадалась о моей жадности и уверовала в это. Но оказалось всё куда проще и трагичнее. По двору расползлись слухи,

что некрасивая померла. Так вот просто — ссохлась от злости и покинула бранный мир. Вот тогда мне стало худо — не то чтобы я слишком совестливая, скорее, тревожная: что же ты наделала, девочка бестолковая? Пожалела кусочек любви?

«Царствия ей небесного», — сказала соседка на пороге. Это так по-нашему — пороть чушь, когда не из чего достать. А в моём кармане клюква в сахаре, которая так и не дошла до правильного адресата — то ли она привиделась мне, то ли я ей. И эта глупая тётка со своим глупым «царствием» — это царапает.

Мне казалось, что это конец света, но конец концом, а жизнь по расписанию, и я, конечно, забыла о ней, как забываются сотни дорог, горьких лимонов и сладких ягод. И вот, спустя лет пятнадцать, а то и больше, я в магазине одежды в Москве на какой-то Бронной улице (я в них не очень разбираюсь) и примеряю то ли жакет, то ли блейзер (я и в них не очень разбираюсь).

— А вот этот будет жать в плечах, но точно впору, да... а этот болтается. Возьмите вот этот! Он ни то ни сё, — протягивает мне продавец.

Померила тот, что жмёт, и тот, что болтается, взяла ни то ни сё. А её я сразу узнала. Она носила краб, осталась печальной и стала красивой — не в классическом смысле, конечно, но определённо.

— Вы любите клюкву в сахаре?

Зачем я это спрашиваю? Время такое, душа моя, приходится слать письма на несуществующие адреса.

— Всегда терпеть не могла, хотите угостить?

— Хотелось бы, да того печального сада, где было, уже нет.

— Сад везде одинаково печальный.

Может, того и хотела? Быть печальной, неприбранной и забытой, как клюквенный сад? Что угодно могла я думать тогда о ней, о себе, своём грехопадении и будущем, которое так и не наступило, но только не то, что когда-нибудь в холодной Москве встречу с ней взглядом в примерочной, в собственном отражении, правда, одета она будет в ни то ни сё.

Куропаткины глаза

Один обычный человек очень хотел стать необычным. Для заветной цели он много спал, мало брился и мечтал о великом, правда, мечты иногда прерывал Дед, с которым приходилось жить в маленьком доме

— Если завтра тебя смоем цунами, в мире сократится число парниковых газов, а больше не произойдет ни-че-го, — так Дед нарушал обычный уклад обычного человека.

Обычный человек сердился, но от мечты не отказывался. Когда ему исполнилось восемнадцать, Дед пришёл и сказал:

— Я старый солдат, не знаю слов любви. Поэтому свою любовь к тебе, внук, выражаю в виде своего дома, который ты обретёшь, как только я умру. Однако ждать придётся долго. Я ещё весел, могуч и не ссусь под себя. Травить меня бесполезно, — я два раза ел твою солянку.

Дед обещание сдержал. Прошло три года, а он был всё так же бодр, весел и могуч, да к тому же настырен. Однажды обычный человек проиграл деньги на ставках, за это Дед избил его поленом.

— Займись прямым делом: огород вскопай или там борщ свари.

Обычный человек умел варить только отравленную солянку, а работать не умел. Поэтому, чтобы стать ближе к своей мечте, устроился в коворкинг. Коворкинг — звук засорённого слива кухонной раковины, но не так страшно слово, как явление: площадь в пять квадратных метров, куда помещаются только жопа и ноутбук. Там десятилетиями перекаладывают папки с одной полки на другую, спят на совещаниях и соревнуются между собой, кто лучше сделает никому не нужную фигню. Обычный человек тоже мечтал из низера делать большое прекрасное низера, чтобы потом возглавить какой-нибудь департамент и орать: «Я здесь власть!» Такой человек, впрочем, здесь был — начальник отдела — Хипстер: галстук, рубашка, букли на голове, тоннели в ушах. Кожа — как у фарфоровой статуэтки, эмоциональный интеллект — как у покойника.

Изначально, будучи всего лишь шестёркой у клоунов, обычному человеку полагалось просто со значительным видом пить смузи и курить электронную сигарету. Человек был хоть и обычный, но сообразительный, поэтому с первой задачей справился.

Но однажды он получил настоящее задание. Начальству приспичило поменять интерьер, а именно — закупить новые стулья. Чтобы ещё больше подчеркнуть свою индивидуальность, требовалось чуть меньше для необычного человека и чуть больше — для обычного. Наш герой ещё не успел сменить статус, поэтому задание воспринял тяжело, но с улыбкой — как полагается для команды коворкинга.

— Семнадцать человек — семнадцать стульев. Пойди подбери материал, найди людей, я уже выбрал цвет. Будет прям лаундж, — это было кодовое слово, намекающее на решительную серьёзность мероприятия, — вот этот! — И тыкает в одну из бесполезных папок. — Называется «Куропаткины глаза»¹, найди такой. Найдёшь?

— Постараюсь.

— Но чтобы прям вот этот. Ты видишь, какой это цвет?

— Красный?..

— Ну какой же это красный! Посмотри внимательно! Ну?

— Сильно красный?..

Хипстеру явно поплохело, но он себя не выдал — в коворкинге не принято хамить, в коворкинге френдли атмосфера.

— Это смесь кораллового и пудрового, я бы даже сказал, что это сочетание багрового с капелькой серого и капелькой цвета испуганной мыши.

Всё стало ещё более решительно непонятно, но обычный человек лишь кивнул:

— Понял.

— Не ошибись, я хочу, чтобы здесь царил дух олд мани.

Вставлять иностранные словечки в скудную речь — золотое правило коворкинга.

Следующая неделя ушла на то, что обычный человек мониторил, анализировал, искал. Он узнал много нового: оказалось, что существует более тринадцати оттенков красного, и ещё десяток оттенков розового, несмотря на то, что розовый — это даже не самостоятельный цвет. Он побывал в «Мире стульев» в двенадцати интерпретациях, — ему предлагали стулья на двух ногах, с тройной спинкой, с пультом управления и вентиляцией жопы. Он расклеил объявления, привлёк Деда, тот привлёк коммунистов, сутками смотрел кабельное «Все радости интерьера» — это самая скучная передача в мире. Но «Куропаткины глаза» так и не взглянули

¹ Куропаткины глаза — цвет светло-красный. Считается, что он похож на радужку обездвиженного века птицы.

на него. Никто, решительно никто не имел в наличии стульев такого цвета. Тогда он пошёл другим путём: решил купить краску — даже дешевле выйдет. Талантами обычный человек не обладал — ему бы начать с куба или шара, а тут целые стулья! На помощь пришли профессиональные колористы, но, видимо, оказались не совсем уж и профессионалами — добиться нужного оттенка так и не удалось никому. И вот однажды, когда, в очередной раз просматривая «Все радости интерьера» и удерживая веки пальцами, обычный человек уже было настроился на самоубийство, произошло чудо. Позвонил знакомый и сообщил, что есть-таки, определённо с таким цветом — даже думать не надо — точно таким. Там прямо так и указано для сомневающихся — цвет «Куропаткин глаз».

Правда, была загвоздка, стулья продавались на заграничном сайте, такой вариант наш герой не рассматривал, а зря. Эти-то знают толк в креативе! «Разберёмся», — решил обычный человек и набрал длинный номер заокеанского края.

— Грандхомистаблшменткорпорейшнкомпани, кэн ай хелп ю?

Эту фразу обычный человек знал, а вот ответ на неё — задача другого порядка.

— Бу-бу-бу, — сказала трубка.

— Бе-бе-бе, — ответил обычный человек и оборвал звонок.

Он решил написать иностранным торговцам электронное письмо — слава Интернету! С писаниной он как-нибудь справится — гугл-переводчик видел и не такое. И действительно, справился. Иностранцы всё поняли, однако перед подписанием договора предложили встречу — онлайн, конечно. Мол, обсудим детали, посмотрим в глаза друг другу, покажем товар лицом и, может, договоримся на будущее сотрудничество. Отказывать иностранцам — последнее дело, и обычный человек сказал: «Йес». Кроме «йес», он мало что помнил из школьной программы, и это удручало. Тогда он решил пойти на поклон к своему начальнику отдела, рассказал душераздирающую историю о заграничных партнёрах, перспективах развития и в целом, какой он дартаньян — такую крупную рыбу на крючок поймал, как эти полезные люди, и теперь их хотят. Немного приврал. А в конце резюмировал:

— Нужен переводчик.

— Переводчик? А сам? У тебя в резюме написано «аппер интермедиа»¹.

Обычный человек опустил голову, и хипстер всё понял.

— Ладно, попробуем найти переводчика.

— Но вы же... вы-то знаете английский!

Хипстер замялся, стало очевидно, что и у него в резюме написано «аппер интермедиа».

— Нас семнадцать человек, кто-то по-любому спикает на англише.

В последующий час выяснилось, что ни один пентюх в офисе не знает языка. История с переговорами в общем-то закончилась позитивно, беседу провёл сам обычный человек: иностранцы были вежливы, корректны, не теряли лица и даже предложили пост-оплату — книжная фраза «утром — деньги, вечером — стулья» приобрела обратное значение. Обычный человек не верил в свою удачу, он — красавчик, умничка и почти необычный. Как ему это удалось, он и сам не понял: не иначе святые снизошли, но с тех пор он поверил в тайные силы мозга, который достаёт из запасов забытую информацию в период стресса.

¹ Уровень Upper-Intermediate (B2) — это продвинутый уровень владения английским языком. Люди с таким уровнем знания языка могут свободно общаться на различные темы, понимать сложные тексты и выражать свои мысли на высоком уровне.

В коворкинг обычный человек вернулся победителем. Ему аплодировали, героически подбрасывали в воздух, расстелили ковровую дорожку и осыпали рисом. Обычный человек был доволен.

Но история не была бы смешной без комедийной развязки. Стулья приехали через три недели аккуратно к коворкингу. Первая партия вызвала радость, третья — недоумение, пятую Хипстер останавливал грудью. Оказалось, разница между севентин и севенти — одна буква и пятьдесят три лишних кресла.

Начальник отдела был в бешенстве — капризный дядька, я считаю. Напоминаем, дело происходит в коворкинге, куда умещается лишь очко и карандаш. Начальнику отдела предъявили счёт за семьдесят стульев плюс доставка, разумеется. Он хотел было отказаться, мол, забирайте взад, господа, ошибочка вышла — нам столько не надо! Но доставщики — народ упрямый: «Всё по договору, хозяин, обратной дороги нет — заграница дело такое, чай, не за углом, да и дорого выйдет — придётся почку продавать». Хипстер, понимая, что на радостях подписал бумаги не глядя, согласился через губу: кидать зарубежных торговцев — жди суда, кидать русских грузчиков — жди беды.

Закончилось всё хорошо и даже без трупa. Лишнее отправили обычному человеку на адрес Деда. За его счёт, конечно (обычного человека — не Деда). Оштрафовали, заставили отработать и отпустили с миром, то есть безвозвратно уволили.

Обычный человек вернулся к Деду и занялся прямым делом: огород копать, ну и борщ варить. Огород теперь копать было затруднительно — всё завалено до самой малины креслами цвета багрового с капелькой серого и капелькой... Ну, вы помните. Дед даже бровью не повёл, только ржал, как конь, от сего артахуса и в конце концов сделал оглушительный вывод: внук — тупица, цвет — говно.

— Ты не понимаешь, этот цвет называется «Куропаткины глаза».

— В молодости я этих куропаток голыми руками душил и смотрел им в глаза — это не они. — А потом добавил: — Ничего. Продадим, пристроим, найдём применение. Да сними ты этот галстук, идиот. И берись за навоз.

Дед считал, что навоз — ключ к жизни, навоз — всему голова: «Все мы оттуда», — говорил он. Обычный человек не считал, что произошёл из навоза. Но всё же из чего? Откуда всё это? Из чего сделано это очарование? Он подумал, что хоть на капельку багрового и капельку серого он стал ближе к своей мечте. Всё-таки галстук и Дед с папиросой, восседающий на троне из «Куропаткиных глаз» посреди навоза, грязи и любви, — это весьма необычно.

Кровь с молоком

Моя несовершеннолетняя дочь, татарка по происхождению, на каждую Пасху ходит по селу и стучится в двери к незнакомым людям с репликой: «Христос воскрес». Делается это исключительно в прагматичных целях — ради наживы. Улов выходит добротный: мешок сладостей, куличей и яиц. Ну что, ты варёных яиц не ела? Мне за неё радостно и стыдно: скорее всего, когда-нибудь её вернут домой подзатыльником, а у меня даже ружья нет. Она звала меня с собой, я ей предложила позориться до конца самостоятельно — не настолько экстравагантная я личность. Обычно я остаюсь в городе — в Пасху я мою окна — солнце светлое, а земля уже голая, будто к чему-то готовится. К расцвету? К дождю?

Летали когда-нибудь таким огромным «Боингом» в три ряда, где в каждом — мест по пять штук? Вот и я летала в далёком 2016-м из Крыма в Москву. Летела

в «приятной» во всех отношениях компании: справа хлипкий мужичок — из тех, у кого «фляга свистит» ежеминутно — ну, правда, в самолете пить нельзя, но он умудрялся глотать из баклажки то ли настойку, то ли дешёвый портвейн. После него — молодая с орущим младенцем, — хрестоматийная классика полётов. Бедный, бедный... Подумалось, что когда он вырастет и превратится в красивого приличного парня, меня уже не будет. Придётся запомнить его таким — сопливым, немощным и неприятным. Лететь два часа и можно было бы уже отчаяться, но слева от меня сидел священник — в рясе и с крестом во всё пузо — всё как полагается. Честное пионерское, я заприметила его ещё в аэропорту, и вот тебе: справа ад, слева — охрана Господня — вся суть мироздания Ницше в одном воздушном ряду.

— Вы тоже готовы придушить этого младенца? — спрашивает мужик с бутылкой.

— Не стесняйтесь, придушите, — сразу отпели бы.

Мужик смеётся, священник хмурится, а мне как-то неловко за мою чёрную шутку.

— Мамаша, да сделайте что-то с этим! Отец, помолитесь хоть вы за спасение душ наших!

— Уже, сын мой, уже. Я всегда молюсь перед Пасхой.

— Вы держите пост?

— Конечно.

— По вам и не скажешь.

— Почему?

— Ну, вы такой... кровь с молоком, как вам это удалось?

— А как вам удалось пронести алкоголь на борт?

— Я знаю маленький секрет. Но вы меня не осуждайте. Не суди, да... или как там?

Я медленно сглотнула слюну — наконец-то я приму участие в перестрелке. Но не случилось. Меж тем избавиться от мужика с флягой отныне я желала больше, чем от плачущего ребёнка.

— Вы знаете, моя мать мне всегда говорила: вера — это исцеление. И всё протирала свои иконки, жуткое зрелище. Она померла от рака, исцелили её иконки? Вот вам и ответ. Говорят, что люди, которые умирают на Пасху, непременно наследуют Царствие Божие. Кто это может проверить? Она, конечно, верила, что попадёт в рай. Кто б ей сказал, что ничего этого не существует? Вы верите в ад?

Он требовал ответа, прижал к стенке. Самое трудное в беседе — объяснить, что ты в ней не нуждаешься.

— Сейчас уже немного верю.

— Так вот, — мужик не унимался, — если бы это всё было, разве дети бы орали так в самолётах? Ведь мы в небе, а значит, ближе к тому самому. Вот вам и ответ, вот вам и ответ!

Алкоголь действовал стремительно. Я немного чувствовала себя барменом, которому по правилам поведения следует рассказывать жизнь. И он стал рассказывать, хоть я и не просила. Я приготовилась к киношным фразам: «Судьба есть судьба», «Такова любовь, бро», — но сказала только:

— В нём бесы, такую теорию вы не рассматривали? — Жалкая попытка поддержать дискуссию. Зря я это затеяла.

— Тогда у меня каждый выходной бесы, — деля очередной глоток, хихикнул мужик, — но я же не ору. И самое интересное, мама в моём детстве пила по-чёрному, то есть, получается, в детстве никакого Бога не было?

«Это неувидительно, — подумала я, — вокруг лежал Советский Союз, хлеборобы выполняли пятилетний план, какое уж тут “чистое сияние”?»

— А потом — бац — и что получается? Нет бога, но его можно придумать. И вот уже ты не опустившаяся женщина трудной судьбы, а милая старушка — божий одуван. Но я-то видел её, я-то знаю её секрет!

Он-то знает. Зачем же ты тратишь сердце понапрасну, глупый, ничтожный человек?

— Она думала, что я без неё не смогу, что помру без неё. Всё причитала, как же ты останешься без меня. Иконы свои совала. Мучилась очень, страдала, а я — нет. Я освободился, понимаешь? Города не опустели, андроиды не перестали обновляться, мир не схлопнулся. И когда я умру, солнце будет существовать, даже когда я не буду на него смотреть. Вот вам и ответ.

Этот точно меня переживёт. И он продолжил свой монолог, как русский бунт — бессмысленный и беспощадный.

— И знаешь, что она сказала перед смертью? Ты только послушай. Она сказала: «Сынок, помни, вера в твоём сердце, слушай его». То есть был какой-то Всевышний — там, а тут вдруг — в сердце. Ты представляешь?

Клянусь, я почти слышала, как заиграло «Боже, царя храни».

— Представляю.

Дальше всё как в тумане: мы попали в довольно сильную турбулентность, и тут я поверила в Божий суд, потому что мужик замолк. Но ненадолго. Младенец перешёл на ультразвук, а священник начал молиться: «Всё простим, покатаемся цветным яичком на середину комнаты и, если повезёт, не разобьёмся — пути Господни неисповедимы». Это было роковой ошибкой. Наш пьяный атеист психанул окончательно.

— Не в то вы верите, батюшка. Уж лучше в Марию Магдалину верить, а вы в Иисуса Христа. Вот послушайте, с чего вы взяли, что Христос — сын Божий? И как это вообще возможно? И где это ваша рука Господа, где его хвалёное благословение в этот мир, вот дитё орёт уже два часа, мы все охрипли, разве это справедливо?

И тут священник заговорил — густым таким, распевным басом:

— Послушай, сын мой! Я ведь не католик и не протестант. Я православный, могу и в морду дать.

Так обыкновенно по-русски наличие Бога было доказано окончательно. Остальное время летели молча.

Приземлились плавно, собирались медленно. Зачем люди выстраиваются в очередь, когда мы ещё не подъехали к трапу? Чего они боятся? Не успеть? За чемоданом, который крутится в центрифуге, ожидая хозяина? Они будут бежать к нему, затем к выходу и не смотреть по сторонам. Они всерьёз уверены, что если не смотреть, можно бестрепетно пройти почти до конца, а там врачи обколют морфином и всё как-нибудь обойдётся?

Мужчина с флягой тоже торопился, только напоследок шепнул:

— А как его слушать-то, сердце это? Я его не слышу. Страшно.

Всё, что осталось, — «страшно» и редкие всхлипывания младенца — румяный, кровь с молоком. Прости, милое дитя, никто за тебя не сможет пройти этот путь. Ты действительно думаешь, что вот это — самое страшное в жизни? Всё только начинается. Иногда слёзы — это единственное, что в наших силах. Так что плачь, мальчик, плачь.

Михаил Малышев

Заказ

Рассказ

Мы встретились в холле отеля. Я посмотрел на Розу с некоторым сомнением. Высокая и грузная, на вид — лет за семьдесят. Под очками — зелёные глаза.

— Вы правда этого хотите? — спросил я. — Как говорится, любой каприз за ваши деньги, но хватит ли у вас сил на три часа?

— Уверена, как раз хватит, — сказала Роза твёрдо. — Вы понимаете, я так долго... Наверное, лет тридцать не была в Ростове. Хочу, чтобы вы его показали, а потом сфотографировали меня рядом с одним домом. Если, конечно, мы его найдём.

— Обязательно найдём. Я прекрасно знаю город.

— Мне даже не столько фотограф нужен, сколько провожатый. Я, как вы, наверное, заметили, уже немолода и ходить одна просто боюсь.

— То есть вам нужен универсальный проводник, — улыбнулся я. — Что ж, вы по адресу. Не волнуйтесь, мне всё объяснили.

Позавчера её дочь, Зоя, нашла меня в сети. Мы беседовали с ней почти час, пока не обговорили все детали. Это был необычный заказ, ведь, как правило, я снимаю портреты и репортажи.

Мы вышли из отеля и медленно пошли к автобусной остановке. Идти быстро Роза просто не могла. Я предложил взять такси, но нет, она стояла на своём: хочу пройти, и всё тут. Пошли по теневой стороне — был самый разгар лета, и утром солнце уже припекало.

По дороге Роза рассказала мне свою историю.

Она выросла в Ростове, а точнее, в его районе — Нахичевани. После школы уехала в Москву, поток жизни закрутил её, как лепесток, понёс на север. Вернулась в Ростов только в девяностых, буквально на пару дней — хоронила отца.

Мы шли по городу.

— Вот здесь же был магазин со смешным названием «Масло-сыр», — сказала Роза. — Я помню, когда-то здесь были восхитительные молочные коктейли.

— Да, их взбивали в больших алюминиевых стаканах, — улыбнулся я.

Михаил Малышев — фотограф-портретист. Родился в 1975 году в Ленинграде. Автор книги «Считай и богатей. Финансовые аксиомы предпринимателей» в соавторстве с Ириной Екимовских (2023). Участник проектов АСПИР. Живёт в Ростове-на-Дону. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— На другой стороне был когда-то кинотеатр «Буревестник». Там частенько крутили вестерны.

Лучше не ловить прошлое за хвост, но люди всегда хотят это сделать. Почему — никогда не понимал, даже когда бежал за этим хвостом сам.

Иногда импульс такой мощный, что противиться просто нет сил.

Себя я считал человеком разумным и рациональным, к ностальгии не склонным. Но однажды под Новый год отправился в другой город, чтобы найти девочку, с которой дружил в пионерском лагере. В двенадцать лет я даже в неё влюбился. На что я рассчитывал двадцать лет спустя? Все эти годы я ни разу её не видел, не перекинулся с ней ни словом. Наша переписка, как это часто бывает, заглохла сама собой. Но каким-то чудом в памяти всплыл её адрес, имя — Лена, и я поехал. Это был странный поступок. Но ведь поехал же?

Что-то похожее, видимо, случилось и с Розой. Но не совсем.

Мы шли по Ростову и вспоминали, каким тот был в советское время. Конечно, говорили мы о двух разных городах. Ростов её детства жил в шестидесятые, годы оттепели и достатка. Мой — в середине восьмидесятых. Тогда здесь уже не жировали. В продуктовых магазинах — шаром покати.

Для Розы молочный коктейль был чем-то привычным. Для меня — лакомством.

Общим было то, что оба этих города, увы, безвозвратно исчезли.

Нахичевань всегда казался отдельной вселенной. Когда-то её основали армяне-переселенцы. Сначала это был город, который вырос прямо под боком у Ростова. В 1929 году их объединили, Нахичевань стала частью города. Здесь до сих пор много маленьких, почти деревенских домов.

— Дом, который мы ищем, небольшой, но добротный, построил ещё мой прадед-ассириец, — рассказала Роза по дороге. — Я не знаю, чем он занимался до революции, наверное, был мелким торговцем. После смерти папы мы продали дом, удивительно, что его не снесли. Знаете, это же просто чудо: мы с дочкой смотрели по картам в сети, и вот он, на месте! Я так обрадовалась, ведь вместо него запросто могли влечь какую-нибудь многоэтажку.

Вот что её подтолкнуло, подумал я.

Мы неспешно шли по тихой тенистой улочке. Тротуар был залит асфальтом, и время оставило на нём кратеры. Иногда Роза спотыкалась, и я поддерживал её за локоть. Когда-то здесь были окраины старой Нахичевани. Теперь — почти центр города, и его заполняли уютные домики. Трёхэтажка здесь смотрелась небоскрёбом. На многих домах сохранилась лепнина, мускулистые атланты поддерживали маленькие балкончики. Стены оплетал дикий виноград.

Роза радовалась этим домам, как старым знакомым.

— А вот в эту школу я ходила, — сказала она, когда мы шли мимо жёлтого здания. — Мама работала здесь учительницей. Я родилась, а через месяц она уже вышла на работу. Но мне, как учительской дочке, в школе никаких скидок мне не делали.

Она помолчала немного.

— В одном дворе со мной жила армяночка, Офелия. Не знаю, почему её так называли, вряд ли её папа читал Шекспира, — продолжила Роза. — Мы и в классе одном учились. Когда она поступала в институт, там на подкурсах был один кубинец, красивейший парень. Он в неё влюбился, позвал замуж. А отец Офы был приёмщик стеклотары. Семья свой достаток тщательно скрывала, в шестидесятые высовываться

было чревато. Но они были зажиточными. И отец Офелии твёрдо сказал: никакой свадьбы. Она, бедная девочка, конечно, плакала, терзалась, но потом вышла за мальчика из богатой семьи. Кого ей папа привёл, за того и вышла.

— А где вы встретили мужа?

— Я ведь уехала поступать в Москву. Когда закончила, то по распределению попала в Мурманск. Вот там с мужем и познакомилась. Он у меня был человек активный. Мы ездили на Кавказ каждое лето, и в горы с ним ходили, и по рекам сплавливались. Жалко, год назад умер. Вирус проклятый. Я тогда подумала — сколько ещё мне жизнь отмерила? И решила сюда приехать.

Судя по номерам домов, мы находились уже где-то близко.

— О, вот же он, — сказала Роза. — Я его узнала.

Это был частный дом, в один этаж и не сильно широкий. На улицу выходили три окна. Кладка была старая, кирпич не советский бодро-оранжевый, а цвета варёной сгущёнки. Пространство под окнами было выложено замысловато-узорчато.

Вход во двор — закрыт зелёными железными воротами.

— Раньше во дворе стояли ещё два домика, — сказала Роза. — Флигель, в нём жил Николай Филимонович... И ещё один домишко, тоже прадед строил, его продали когда-то семье Офелии. Они же потом наш дом и купили в начале девяностых.

Я достал камеру и сначала снял сам дом, а потом сделал пару кадров с Розой.

— Этого железного забора здесь раньше не было, — сказала она. — Жаль, мы внутрь не попадём.

— Почему это не попадём? — возразил я. — Сейчас всё устроим!

Репортёры — наглые ребята. Без этого в нашем деле никуда. Хотя по мне и не скажешь, я тоже немного наглый. Подошёл к двери. Звонок был допотопный. Кнопка испачкана в зелёной краске. Я позвонил. Постучал пару раз в окно.

Во дворе послышались шаги. Засов заскрипел. Дверь осторожно приоткрылась, и мы увидели мужчину. Примерно моих лет, худой, горбоносый, чёрные волосы почти до плеч. Расстёгнутая рубашка с коротким рукавом открывала впалую шерстистую грудь. Мужчина выглянул в щель между крашеным металлом, тонкая вертикальная картина в зелёной раме.

— Бог в помощь, — начал я.

— Вы что, Свидетели Иеговы? — скривился он и начал прикрывать дверь. Щель моментально сузилась.

— Нет, что вы. Тут такое дело: это — Роза, раньше она жила в этом доме. Тридцать лет не была в Ростове. Сейчас здесь проездом, вот и решила заглянуть. Можно нам ненадолго во двор зайти? Просто посмотреть.

Мужчина решил, что старушки можно не бояться, и впустил нас. Кроме рубашки на нём красовалось заношенное трико, как в старых советских фильмах, с растянутыми коленями.

Он, наверное, из особенных, подумал я, потому что в лице его была какая-то едва уловимая странность, по которой сразу вычисляешь божьих людей. Мне понравилась его расслабленность.

Той зимой, когда я приехал к Лене, её соседи встретили меня довольно сурово. Трёхэтажка барачного типа стояла рядом с заводом. Раньше в таких домах селили рабочих, чтобы были всегда под рукой.

Я с трудом вытянул из соседей, что Лена с семьёй здесь не живут уже лет как пять. Куда они переехали, никто не знал. На моё счастье бабулька с первого этажа оказалась

местным почтальоном, она рассказала, что Лена перебралась в посёлок километрах в тридцати отсюда, и дала мне адрес.

Двор, в котором раньше жила Роза, был метров пятнадцать в глубину. Вдоль стены дома тянулась узкая полоска земли. На ней, буквально из-под фундамента, росли высокие розовые кусты. Видимо, когда-то во дворе был маленький сад, но потом его закатали в асфальт.

Я сделал несколько снимков. Меня радовало, что камера мужчину не смущала. Ростовчане обычно нервничают, когда их дома фотографируют.

Роза прошла по двору.

— Вот здесь, — она подошла к кустам, — мать Офелии однажды спрятала деньги.

— Деньги? — раздался голос из глубины дома.

Двери открылись, и на пороге появилась невысокая женщина в домашнем халате.

— Да вы что? — оживился мужчина. — Вы знали тётю Офу?

Но Роза не успела и рта раскрыть.

— Лука, это что за гости? Вы вообще кто? — Женщина насторожённо смотрела на нас.

Я ещё раз объяснил ситуацию. Взгляд женщины стал мягче.

— Да, я помню прежних хозяев. Мы у них дом купили, лет двадцать пять назад. А что вы там насчёт денег говорили?

— Я рассказывала, как мама Офелии, бог знает уж, правда, по какой причине, однажды вот здесь, под домом, деньги спрятала. Целую пачку осенью закопала. А когда в январе решила их достать, оказалось, что мыши эти деньги сгрызли. Одна труха осталась. О, как она кричала! — Роза рассмеялась.

— Какой ужас! — скривилась женщина (её звали Ануш). И добавила: — Офелию я помню, и родителей её тоже. Мы дом у них и купили. Все бумаги, если что, у меня есть.

Я понял, что Ануш опасается, как бы Роза не предъявила права на дом. А то как потребует аннулировать сделку!

Роза смотрела на Луку и думала, наверное, что после нашего ухода его будет ждать неприятный разговор: зачем пустил чужих? Розе было чуждо коварство. Она на другой волне, сентиментальной. Ануш и Луке эти сантименты были не очень понятны.

— Я, когда жила в Москве, очень по дому скучала, — сказала Роза. — Не по близким, хотя иногда, конечно, тоже. Не по городу, а вот именно что по самому дому. Знаете, как говорят, — «по родным стенам».

Ануш недоверчиво посмотрела на неё.

— Вы там, наверное, в общежитии жили? — спросила Ануш.

У неё не укладывалось в голове, как, живя в столице, где так много красивых зданий — Кремль только чего стоит! — можно было скучать по этому маленькому, почти сельскому дому.

— Да, я жила в общежитии, но дело не в условиях. В этом доме есть что-то уютное. Вот здесь, в конце двора, раньше росло ореховое дерево. Огромное, его ещё мой прадед посадил. Мы с Офой всё детство по нему лазили.

— Да, я помню, — сказала Ануш. — Мы его спилили несколько лет назад. Там сейчас сарайчик, видите?

— Вижу...

Роза вздохнула и продолжила плыть в потоке воспоминаний.

— А вот в том флигеле раньше жил Николай Филимонович, капитан. Он водил «Ракету» по Дону, до Багаевки, через Старочеркасск. Иногда на выходных брал меня с собой. В рубке было так интересно! Кстати, а вы не знаете, где сейчас Офелия? Я слышала, что она вышла замуж.

Ануш бросила на меня косой взгляд.

— Да, вышла. Вы, наверное, слышали, что за ней ухаживал кубинец, Рауль — сказала она. — Ну, он, конечно, горевал, когда она вышла замуж за другого. Но что он мог ей предложить? Бедный студент, не знающий ни слова по-армянски. Он потом уехал к себе на Кубу.

Ануш рассказала, что у Офелии появились дети. Это была хорошая жизнь. Горя не знала, была женой уважаемого человека. В девяностые семья отлично себя чувствовала, денег было много, тогда они и купили дом у матери Розы, чтобы родители Офы не ютились во флигеле. Прошло несколько лет, и вдруг в Ростов вернулся кубинец. На своём острове он успел стать большим человеком.

Я представил себе, как они встретились. Рауль, с бородой, как у Фиделя, дымя сигарой и с гитарой в руках, пришёл к институту, где работала Офелия, и спел ей серенату, или что там они поют на Кубе? Сердце Офы дрогнуло, оказалось, что чувства ещё живы, и, поколебавшись немного, она уехала с ним.

— Да вы что, Офа с мужем развелась? — всплеснула руками Роза.

Ануш пожала плечами. Ну, развелась, и что? Такое бывает.

Муж, конечно, удара не перенёс, через год умер. Родителей Офа с Раулем забрали на Кубу. Почему, собственно, дом и продали — по сходной цене — семье Ануш. Зато теперь все счастливы.

Я подошёл к Луке и тихо сказал:

— А сколько одна роза стоит? Хочу подарок сделать.

— Зачем сразу «стоит»? Берите так! А это ваша мама?

— Нет, тётушка.

Лука зашёл в дом и вернулся с ножницами. Аккуратно, почти нежно он срезал розу. Я спрятал её за спиной. Потом посмотрел на часы. Нам надо уже идти.

Ануш была достаточно вежлива, чтобы не гнать со двора, но не настолько гостеприимна, чтобы звать на чай. И на том спасибо, подумал я. Постепенно, беседуя с Розой, Ануш двигалась к калитке. Я делал то же самое. Роза поняла намёк. Пора и честь знать. Она попрощалась, и мы вышли за ворота.

Я догадывался, что это ещё не всё, и был прав.

— Здесь недалеко жила ещё одна моя подруга детства, Алёна. Вроде бы в квартале отсюда, — сказала Роза. — Хочу к ней зайти. Может, она ещё жива?

— Хорошо, — согласился я. — Давайте зайдём.

Потом отдал ей розу и сказал:

— Роза, это вам. Вы, как в отель приедете, положите её в книжку. Высушите, как в детстве для гербария. Пусть напоминает вам об этом доме. Она же выросла в этом дворе.

— Как и я... Спасибо, это очень мило, — сказала Роза.

Мы прошли до конца квартала и свернули направо.

— Здесь были маленькие дома, — вспоминала Роза. — Смотрите, теперь на этом месте белая девятиэтажка. Даже не знаю, сохранился ли дом Алёны?

— Уверен, что да, — сказал я.

Время пощадило и этот дом. Он был двухэтажным, во двор нужно было заходить через арку.

Роза остановилась у входа и посмотрела на другую сторону улицы.

— В доме напротив жила моя первая любовь, мальчик по имени Павлик, — сказала она грустно.

— Хотите, мы туда тоже заглянем?

Роза задумалась.

— Нет, знаете, я не хочу, — сказала она. — Лучше зайдём во двор, к Алёне. Кажется, что этот дом совсем не изменился.

— Хорошо! — пожал я плечами.

Когда-то здесь был особняк. При большевиках его разбили на квартирки. Вдоль всего второго этажа шла галерея. На ступеньках железной лестницы сидел какой-то бритый бугай, голый по пояс и в наколках. Думаю, в этот момент Роза порадовалась, что была не одна.

— Что ищем? — спросил бугай, не вставая.

Я коротко рассказал, зачем мы здесь.

— Пётр Иванович! — крикнул бугай. — Эй! Пётр Иванович!

Из окна на втором этаже выглянуло сухое лицо. Это был тот самый Пётр.

— Чего орёшь-то? — спросил он.

— Тут вас ищут. Да не бойтесь, не менты. Я бы вас палить не стал.

Потом этот горластый парниша пояснил Розе, что Иваныч — последний из могикан. А больше старожилов и не осталось: кто помер, а кто уехал.

Пётр Иванович спустился к нам минут через пять. Видимо, наводил марафет, потому как был в пиджаке и отутюженных брюках. Я вот уже и забыл, как делать такие стрелки.

— Тут жила одна девочка, Алёна, — сказала Роза. — У неё папы и мамы не было, с бабушкой в одной комнатухе ютилась. Кажется, вот тут, под лестницей, на первом этаже.

— Так и есть, — сказал Иваныч. — Жила.

— А что с ней стало, вы не знаете?

Иваныч посмотрел на цветок, который Роза так и держала в руках, потом на меня.

— Её бабушка, Зинаида, всю жизнь шитьём занималась, и когда Алёна подросла, обучила её ремеслу.

— Да, я помню, у неё зингеровская машинка была, на полкомнаты, — сказала Роза. — Нужно было ещё ногой на педаль жать постоянно.

Во двор зашла пожилая женщина и остановилась рядом.

— Это жена моя, Галина, — сказал Иваныч.

Почему-то Галина мне с первого взгляда не понравилась. Лицо у неё было какое-то вредное. Глазки маленькие и красные, как у морской свинки.

— Когда Зинаида Богу душу отдала, шитьё к Алёне перешло, — продолжал Иваныч. — Полрайона обшивала. Познакомилась потом с военным. Вышла замуж и уехала на Дальний Восток. В Хабаровск, что ли. Раз-другой она кому-то из соседей писала. А потом ей, видимо, не до писем стало. В последний раз я о ней слышал в девяносто третьем...

— Это, что ли, тогда... — начала было Галина, но я потянул её за руку и быстро отвёл в сторону. Мы коротко поговорили. Потом она поднялась к себе домой, а я вернулся к Розе и Петру.

— Я же толком-то её и не знал, — продолжал Пётр. — Всё-таки она была лет на десять старше... Вы извините, у меня дела ещё...

— Это вы простите, что я в вас так вцепилась, — сказала Роза.

Мы вышли из двора, и я вздохнул. Всё, теперь обратно в отель.

Когда мы возвращались, Роза сказала:

— Так приятно знать, что у тех, с кем дружила в детстве, жизнь сложилась хорошо и они счастливы. Я рада, что решилась навестить эти места. Я и сама сейчас чувствую себя счастливой.

Она улыбнулась. Посмотрела на розу.

Я улыбнулся в ответ.

И вспомнил, как в ту зиму ехал к Лене на такси. Водитель был не рад заказу. Уже вечер. Темно, холодно, снежинки летят в лобовое стекло. Несколько раз мы застревали на дороге, но, немного побуксовав, двигались дальше.

— Как ты обратно поедешь-то? — поинтересовался таксист. — Машину в такую глушь будет вызвать сложновато.

— Ох, я об этом как-то и не подумал даже, — сказал я.

— Ну вот, подумай, пока время есть.

Мы договорились, что водитель меня подождёт. Я не знал, долгой ли будет встреча. Я уже и сам не понимал, зачем это затеял.

Наконец, приехали.

Я помнил Лену рыжей девчонкой с тонкими чертами лица и был уверен, что легко её узнаю. Лена жила в частном доме, калитка была открыта. К счастью, собаку здесь не держали. Я постучал в дверь дома. Мне открыла женщина в летах, как оказалось, это была мама Лены. Объяснил, кто я.

— Проходите, раздевайтесь, садитесь за стол. — Она потащила в зал и слышать не хотела мои отговорки. Для приличия я поупирался. Горячий чай был весьма кстати. За столом уже сидели люди, брат и сестра Лены. И только я сел рядом с ними, как в зал вошла женщина.

— Ой, не может быть! Витя! — сказала она.

Это была Лена.

Как же она изменилась! Ещё бы, мы не виделись почти двадцать лет. Лена осталась рыжей, но теперь это была крепко сбитая и довольно объёмная дамочка. Лицо расплылось. Чуда не произошло, вздохнул я.

Мы поговорили — все эти банальные «кто кем стал». Я стал не бог весть кем, фотокором в местной газете. Лена занималась ремонтами и довольно успешно штукатурила стены, клеила обои и белила потолки.

Мы из разных миров, подумал я и, как обычно, польстил себе. Как и она, я был всего лишь обслугой. В общем-то, мы оба имели дело с бумагой. Только у меня это были гламурные отпечатки, а у Лены — рулоны обоев. Они иногда тоже бывают гламурными.

Как хорошо, что водитель ждёт, подумал я.

— Я, к сожалению, совсем ненадолго... Тут машина... — сказал я минут через двадцать. Мы обменялись телефонами, и я уехал. Знаете, когда я позвонил Лене? Правильно, никогда.

Сейчас же я улыбался и был искренне рад за Розу.

— Спасибо вам, — сказала она и пожала мне руку.

Потом, видимо, подумала, что этого мало, и обняла.

— Любой каприз за ваши деньги, — улыбнулся я. — С вами было приятно. Приезжайте ещё!

Я оставил Розу в отеле. Шёл по городу и думал: хорошо, что она никогда не узнает правды.

«Мама тяжело больна, понимаете? — сказала мне тогда Зоя. — Она хочет попрощаться с городом своего детства. Навестить пару друзей. И если их нет, всякое бывает — уехали, например, то было бы здорово, если бы ей сказали, что с ними всё хорошо. Мама не должна расстроиться. Это может её убить».

Мы договорились, что я заранее проеду по точкам и всё решу.

А решать пришлось много, скажу я вам. Ануш, например, сначала наотрез не хотела ни с кем говорить. Но, в конце концов, мы это уладили, и тогда Офелия, которая на самом деле умерла с тоски от жизни в несчастливом браке, уехала на Кубу.

— Пусть всё будет натурально, — инструктировал я Ануш. — Вы не кидайтесь к нам с распростёртыми объятиями. Ведите себя как обычно.

Петра Ивановича устроили две бутылки хорошей водки. В конце концов, делов-то. Просто не нужно было рассказывать, что бедная Алёна сгорела в Хабаровске.

Грустнее всего было Павлу Ефимовичу. Этот глуховатый, но довольно бодрый пенсионер был тем мальчиком, по которому когда-то сохла Роза. Надеюсь, бутылка коньяка облегчила его душевные страдания. Согласен, обидно, когда твоя первая любовь не хочет тебя видеть. Но, как я уже говорил, иногда лучше не ловить прошлое за хвост.

«Свой обретая взмах»

*Участники Мастерской АСПИР в Нижневартовске (2024)
на страницах «ДН»*

Максим Сергеев

И всё вокруг живое

* * *

Сияние. Так трудно отпустить
Мгновение восторга и озноба.
Душа и дух соединили оба
Намеренья: и умереть, и жить.

Так просто и так страшно. Говори,
Я буду слушать и молчать, покуда
Не возродится тишина внутри
От сопричастности к рождению чуда.

* * *

Здесь тишина и снег
Из тучек переменчивых.
Здесь слово — человек —
Звучит совсем застенчиво.

Курумник и ветра.
И кто-то смотрит сбоку,
Как есть, сама гора —
Седло немого бога.

Он гость, он приживал
Среди камней и хвои.
Здесь не раздуть чувал,
И всё вокруг живое:

Захочет говорить,
Тогда буран и стужа.
И радость, изнутри
Летящая наружу.

* * *

Звёзды на небе и на воде,
Трётся вода о мостки.
Я в этой тьме — везде и нигде,

На расстояньи руки
От этих звёзд и своей немоты
Точкою с красной строки

Вызревшей. Так остаются следы
На этом Млечном Пути
Жизни и света среди темноты.

* * *

Падает снег на снег
Д. Мурзин

Я вышел слушать снег —
Молчит холодный снег,
Лежит холодный снег,
И нет ему предела.

И падает, кружит,
Летит холодный снег,
Звенит холодный снег,
Окутывает тело.

Лежу или стою?
Молчу или кричу?
Летит холодный снег,
Лечу ли я сквозь время
Что есть силы?

Я вышел слушать снег
В отцовом зипуне —
Четырнадцать лет
Верзила.

Екатерина Калугина

ЕДИНЫМ СТЕЖКОМ

* * *

Тянусь к тебе,
Как тянутся к корням
Сухие ветки
И пылинки к коже.
Все скошенные травы впору нам:
Мы оживим их соком, станем тоже
Конечными, а значит, не умрём.
А значит, наши лица станут мхом
И будут по ночам водить губами,
Ощупывая сонно влажный холм.

* * *

Поболит-поболит и пройдёт, —
Это кто-то сказал на досуге,
У кого были связаны руки
От житейских невзгод.

Всё проходит: и сон, и зима.
Скоро станция, где молча сходят
Белой стаей по небу — по году —
(Птичьим крестиком, пущенным в воздух)
То один, то другой.

Обернёшься, а ты не один:
Все мы вшиты надёжно и крепко
Рядом пуговиц на жилетке
И единым стежком.

* * *

Заучить твоё имя по нежному творогу сна,
Через марлю отжать дымку первого воздуха-тока.
Пусть утонет бороздками шпал горемыка-вокзал —
На ладонях останется белое крошево смога.

Калугина Екатерина Романовна — родилась в 1995 году в г. Екатеринбурге. Филолог, журналист. Пишет стихи. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Аврора» и др. Победитель литературных конкурсов. Участница Мастерской АСПИР (Нижевартовск, 2024) и др. Живёт в г. Екатеринбурге.

Беглой прописью встать и стоять на стене — Я. Л. Ю.
Рядом в голос работу и дом мужики распивали.
Седина убаюкает память, но я не смогу
Перестать повторять. Бормотать одержимо едва ли

Смогу перестать. Если в воду концы,
То и те — не потонут, две баночки мы жестяные,
Водомерки колючие, одинокие близнецы.
Так и снимся друг другу по имени, как живые.

* * *

Вернуться в рай игрушечный, бумажный,
Где воздух — сахарный и крошится от жажды.

Где на верхушке мира — на ветвях
Качаешься, свой обретая взмах.

Небоходимый маленький и юркий —
На маминых дрожжах, на папиных слезах.

Мария Александрова

Поодиночке

* * *

Всё, что мы с тобой делали, — славили Бога
И Его бесконечную жизнь.
Смотрели друг на друга, а видели Его величие:
Нежную наготу проступившей смолы,
Спокойное торжество туманного холма,
Тихое блаженство заброшенного моста в лесу.

Теперь тоже славим, только поодиночке.

Александрова Мария Александровна — родилась в Челябинске. Пишет стихи и прозу. Работает копирайтером. Участница Школы писательского мастерства Фонда СЭИП (2022), Литературной резиденции АСПИР (2022, 2023), семинара АСПИР в Нижневартовске (2024) и др. Финалистка международной поэтической премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2023). Живёт в г. Челябинске.

* * *

И привидится рядом твоя щека,
Невозможная в кухонной этой пустыне.
Сначала потереть, как запотевшее стекло,
Только потом поцеловать.
И привидится здесь же твоё плечо —
Так вот куда клонится моя голова.
А я думала, просто падает в никуда.

* * *

Люблю, когда в храм
Приходят те мужчины, крепкого возраста и вида,
Которых каждый день видишь в автобусе, —
И не подумаешь, что едут в церковь —
И встают между служительницей храма
И старушкой, знающей каждую икону.
Сжимают тёмные шапки,
А сами светлеют на глазах.
Лица их обманчивы:
Такие можно увидеть и на стенде «Их разыскивает...»,
И в заметке «Ценой жизни спас человека».
Они — те, кто забирает из роддома,
Кто кладёт доску посередь лужи.
Они тащат больше своего веса,
Иногда мечтая всё бросить.
В них столько мощи, что как бы не занесло,
Узнай они о ней.
Но стоят здесь, обнажив головы
Перед силой, которая выше.
Потом снова надвинут шапки
И уйдут в ноябрьскую стынь
На свою извечную пахоту.

* * *

Хочу нырнуть в советскую мозаику.
Занять маленькое место рядом с космонавтом,
Касаясь его квадратного плеча.
И, стоя лицом к толчее улицы,
Видеть только вечность.

Тонино Гуэрра

Пепел

С итальянского. Перевод Алёны Панфиловой

От переводчика

Так случилось, что в тот памятный день, день 11 сентября 2001 года, я пришла к Тонино Гуэрре. Увидев меня, он закричал: «Елена, скорее иди, переводи, что они говорят», — схватил меня за руку и потащил к телевизору. На экране раз за разом самолеты врезались в нью-йоркские небоскребы. Не один час, не веря своим глазам, мы не могли оторваться от зрелища оседающих башен-близнецов, бегущих в панике людей, негритянки, кричащей «*My God!*».

Когда я уходила, Тонино Гуэрра подарил мне свою книгу *Senere* («Пепел»). И только прочитав ее, я поняла чувства автора, предвидевшего последствия подобного безумия. Эта небольшая книга рассказывает о мире, пережившем атомный Апокалипсис; это история возрождения человечества и жизни после чудовищного катарсиса, возвращения от тьмы к свету.

Своими стихами и прозой Т.Гуэрра неоднократно пытался убедить читателей, что сама мысль о войне преступна, в том числе и в романе «Параллельный человек» (1968), в основу которого легли впечатления от его поездки в Америку с М.Антониони для съемок фильма «Забриски поинт»; герой романа видит «чудовищный котлован, на дне которого воздвигали фундамент Торгового центра».

Однажды Тонино Гуэрра сказал, что наша земля сказочно прекрасна и если мы дадим ей погибнуть в атомной войне, нам этого никогда не простят (если только будет кому не прощать). «Пепел» был написан в 1990 году — в течение десятилетия эта возможность выглядела маловероятной. Но теперь, после целого ряда чудовищных терактов, опасность стала вполне реальной. И «Пепел», к сожалению, звучит актуально.

«Пепел» — это короткая трилогия, произведение необычного, оригинальнейшего жанра, сплав прозы, поэзии и киносценария. Мы видим перед собой неутешительную картину: вся земля покрыта радиоактивным пеплом, видны лишь вершины пирамид, купола Василия Блаженного да шпили небоскребов. Однако глубоко внизу, на нижних этажах небоскребов, погребенных под громадным слоем пепла, осталась в живых кучка людей. Тонино Гуэрра пишет о том, что им помогает выжить в этих невыносимых условиях: цветение вишни, полет бабочки, звуки музыки, стремление увидеть закат солнца...

Рассказ первый

Планета пепельного цвета

Планета Земля — это шар, покрытый пеплом и обломками. Она совершает свое непрерывное путешествие, окруженная безутешными голосами, которые звучат то на русском языке, то на американском. Возможно, это астронавты, затерянные в пространствах, которые не знают, где и как приземлиться. Эти люди единственные, кто видел, как горели леса Амазонки и как воды от растаявших льдов обоих полюсов хлынули на континенты, протаскивая между небоскребами Нью-Йорка китов и увлекая слонов в открытое море. Потом всё стало паром, и голубизна воды растворилась в небе, а прах животных и городов превратился в пыльные осадки.

Небо пересекла старинная колесница, запряжённая лошадьми. Ею правил молодой человек, окружённый друзьями. Они неслись по небу на этой светящейся колеснице. Один из молодых людей повернулся, чтобы крикнуть другим: «Слишком близко... Мы прошли слишком близко!» — «Не бойся, Фазтон. Аполлон даже не заметит». — «Я попросил у него колесницу Солнца на один день и за один день сжёг леса, города и высушил все моря Земли». — «Твой отец простит тебя».

Колесница исчезает в небе, крики на греческом языке растворяются в воздухе, и вновь слышны голоса русских и американских астронавтов, которые не знают, где теперь приземляться, потому что Земля погибла от атомных взрывов.

Высохший океан

Перед нашими глазами громадное пространство земли, покрытой тёмным шлаком и ракушечной пылью. В неё наполовину погружён деформированный остов трансатлантического корабля, с которого доносятся скрип и скрежет от качающихся якорей и кусков жести, свисающих с палуб.

В океане грязной земли виднеются мачты и других погребённых кораблей, на которых кривые реи безнадёжно размахивают флагами...

...Москва — это огромная площадь, красная от раздробленных кирпичей, над которой возвышаются только купола собора Василия Блаженного. Тут и там плавают осколки белого мрамора...

...Африку можно узнать по вершинам пирамид, торчащих из земли, на которую пролился дождём шлак и черепки посуды из терракоты и керамики...

...Из моря сухого растрескавшегося ила выглядывают последние этажи самых высоких небоскрёбов Нью-Йорка. На поверхности земли, ровной и затвердевшей, валяются два рваных шерстяных носка: один чёрный, другой красный. Кажется, что они смотрят друг на друга издали.

Три старые фотографии

Увлекаемые легким ветерком, который, однако, не может поднять пыли, три карточки катятся по бесконечно большому песчаному пространству. Это, конечно, пустыня. Только эта часть мира осталась такой же, какой и была, несмотря на жар воздуха тех дней, когда цепь атомных взрывов погасила растительную и животную жизнь. Песок сохранил свой обычный цвет и вид. Открытки продолжают своё движение. Мы понимаем, что это старые фотографии, которые ветер принёс Бог знает откуда.

Осколки

На песчаных барханах вокруг вершин пирамид, торчащих над поверхностью земли, валяются черепки посуды, которые, на первый взгляд, вызывают ощущение вечной неподвижности, но затем они, то ли потому что соскальзывают по склону, то ли потому что, притягиваются своей магнетической силой, сближаются, чтобы соединиться друг с другом.

В какой-то момент, хотя и не ясно, и не точно, но в определённом ракурсе мы видим почти восстановленное блюдо из терракоты...

...А вокруг куполов Василия Блаженного, которые возвышаются на Красной площади, скапливаются осколки мрамора, составляя нечто, похожее на капитель.

Любовное свидание в Нью-Йорке

На просторах сухого ила, рядом с макушками нью-йоркских небоскрёбов, два рваных носка, подталкиваемые ветром, кажется, хотят коснуться друг друга, но вместо этого проходят мимо и останавливаются на некотором расстоянии.

Нитка чёрной шерсти, торчащая из носка, движется по земле, стремясь добраться до красной нитки, которая ползёт ей навстречу. Когда две нитки сближаются, они встают на дыбы, как змеи, которые готовятся к атаке. Они смотрят с вызовом, но сразу же падают без сил на землю, разочарованные встречей. Потом снова гордо поднимаются, чтобы посмотреть друг на друга. Кончики ниток едва соприкасаются и тут же расходятся. И так не один раз. В общем, они имитируют любовное свидание со всеми присущими ему играми, намёками и неперенными ласками. Затем обе нитки сплетаются и движутся, как будто танцуют под один из многих исчезнувших мотивов и ритмов. Они танцуют до тех пор, пока постепенно не останавливаются и не замирают в желанной неподвижности.

Буря

Неистовые вихри ураганного ветра поднимают в воздух пепел, превращаясь в пыльную бурю. Кое-где в густой пыли, которая поднимается вплоть до стратосферы, видны лоскуты тканей, извлечённые из земли или появившиеся Бог знает откуда. Это клочки американских, русских, французских, японских и других флагов, они продолжают свой бесполезный и отчаянный праздник, как будто машут в приветствии пальцами, оторванными от множества рук, их сопровождает мешанина звуков национальных гимнов, рассеянных в гуле урагана. Иногда прорываются крики «ура!», «кругом марш!», военные команды, голоса людей, которые заглушаются свистом ветра.

Затем пепел и шлак, поднятые ветром, возвращаются, чтобы осесть на поверхности земли, исковерканной землетрясением, покрытой буграми и провалами. Появляются новые, скрытые раньше, предметы, на которые лёг слой пыли, это придаёт пейзажу новый вид. Большие капли дождя ныряют в рыхлую почву и омывают покорёженное железо. То, что кажется стеклом, плохо вставленным в выбитую раму, оказывается длинным зеркалом, прикреплённым к створке шкафа, которая наполовину вогнана в землю.

В зеркале появляются образы, сохранившиеся в памяти этой старой вещи, служившей нескольким поколениям людей. Появляются размытые лица и фигуры

в костюмах второй половины девятнадцатого и двадцатого веков. Появляется даже бабочка, случайно залетевшая в комнату. Эти образы возвращаются, чтобы потом исчезнуть в глубине зеркала. В нём отражается лишь пустынный пейзаж, только что созданный ураганным ветром.

Океанский теплоход

Долгий звук дерева и скрежет ржавого железа с океанского теплохода. Но спустя много дней они начинают казаться более благозвучными. Они похожи на рисунок ветра, переданный в ритме, на тайное желание каркаса океанского теплохода; шумы превращаются в звуки, и звуки располагаются так, что передают ощущение игры расстроенного музыкального инструмента, который стремится выразить себя.

Это похоже на танго. Вдоль палубы тянется длинная череда дверей, они то медленно открываются, то закрываются. В шезлонгах и пустых креслах, кажется, отдыхают прозрачные тела. Единственное, что имеет материальную оболочку, — это туфли и шляпы различной формы, принадлежавшие дамам последнего круиза.

По прогулочной палубе передвигаются офицеры в белых одеяниях из прозрачного покрывала. Этот мир вовлекается в танец под мотив, который постепенно слабеет и становится еле слышным. Так продолжается до тех пор, пока свежий ветерок не достигает океанского лайнера, севшего на мель, и не развеивает эти тела, состоящие, главным образом, из покрывал и перьев, и не заставляет шляпы падать вниз на песок безводного океана.

Луна

Перед нами снова руины, над которыми пронёсся ураган.

Зеркало, прикреплённое к створке сломанного шкафа, отражает этот мёртвый мир. Спотыкаясь, скользя, перекатываясь, появляются три фотографии, которые мы уже видели. Что их сюда толкает? Ветер или чьё-то желание? Та, которая сейчас ближе к зеркалу, поднимается и идёт посмотреть на себя. В нём возникает ребёнок, сидящий на песке, который задумчиво смотрит в цинковый таз. Когда эта фотография удаляется, к зеркалу подходит вторая карточка, на ней группа азиатских детей в поношенных велюровых спортивных куртках. Третья фотография приближается к зеркалу застенчиво, почти боязливо. В зеркале отражается лицо и туловище пухлого растрёпанного ребёнка, который смотрит миндалевидными глазами с нахальным, даже наглым вызовом и, в то же время, с явным недоверием человека, который не получил от мира того, что действительно ему принадлежало, или того, что он желал получить. Он медленно оборачивается, чтобы прочитать слова, написанные его ученическим почерком: «Я ХОЧУ ЛУНУ!» Открыв нам его желание, фотография удаляется, и мы продолжаем смотреть на пейзаж, отражающийся в зеркале. Мы видим, как восходит луна, и всё погружается в темноту, даже несмотря на то, что млечный луч света льётся на развалины.

Тени

Снег падает на весь этот безлюдный мир: на океанский теплоход, севший на мель, на зеркало, на вершины небоскрёбов и пирамид, на купола собора Василия Блаженного, которые похожи на арабские тюрбаны, скатившиеся с голов, на нитки шерсти, обвивающие друг друга в полном изнеможении, — снег падает

на равнину, но не всё становится белым: остаются места, где снег тает на чёрном пепле. Если хорошенько присмотреться, ближайшее пятно имеет форму распростёртого человека. Это плоский образ того, кто, умирая, оставил нам только свою тень.

И таких теней очень много.

Рассказ второй

Воздух

В большой, погребённый под пеплом, кафедральный собор воздух поступает сквозь трещины, идущие от купола до пола по стенам, на которых проступают только гвозди, паутина и пятна плесени. Свод держит груз пепла, который после взрывов накрыл города и деревни, опустошив мир.

Под центральным нефом расположился огород — два маленьких коврика, где всходят белые листочки салата, серая зелень и другие овощи, чей цвет говорит о нехватке хлорофилла. В этом мире, освещённом тут и там свечами и факелами, которые коптят стены, двигаются старики в запачканных фартуках из грубошерстной ткани; очертания их лиц настолько размыты, что кажутся одинаковыми овалами с трещинами морщин. На коже, там, где не растёт борода, большие красноватые пятна. Старые потрёпанные, мятые шляпы прикрывают головы, а часто даже и лица до самой шеи. Эти странные субъекты, главным образом из-за нехватки кислорода, ходят медленно, да и возраст диктует им с осторожностью двигать руками и онемелыми ногами. Они часто поднимают лица к своду купола, чтобы вдохнуть воздух, который льётся сверху, просачиваясь в трещины из бесконечного пространства над толстым слоем пепла и обломков. Иногда они приближаются к расщелинам стен и дышат прохладой, струящейся из узких извилистых подземных ходов.

Свечи

В двух старых ваннах, заполненных землёй вперемешку со строительным мусором, стоят свечи — освещать центральный неф кафедрального собора. Свечи сплетены из бечёвки и прочных стеблей сорной травы и смочены соком маслянистых корней, благодаря которому они горят, давая зеленоватый свет.

Двести свечей стоят в песке, насыпанном в большой круглый бак, освещая вишню, единственное фруктовое дерево, выращенное на кучке земли в центре бокового нефа. У листочков вишни естественный зелёный цвет, в то время как другие растения на огороде белёсые, словно покрытые плесенью. Чтобы вишня лучше росла, один монах установил в стороне зеркало, которое направляет отражённый свет на листья, не получающие его напрямую.

Инструмент

Инструмент, созданный монахом-музыкантом, состоит из толстых металлических листов, ржавых железных банок, досок и верёвок, протянутых от одной стены библиотеки до другой. В первые два года огонь поддерживали с помощью книг, потом монахи принялись разбивать книжные полки и столы. Священнослужитель, страстно увлеченный музыкой, обучил других братьев, создал хор и теперь упражняется, выискивая гармонию в звуках, которые он производит, стуча по этим случайным предметам, составляющим его музыкальный инструмент. Поэтому иногда тишина

кафедрального собора наполняется приглушёнными голосами и неприятными звуками ударов по жестяным банкам, и к этой звуковой основе присоединяется рваный мотив, издаваемый четырьмя струнами из железной проволоки, прикрепленной к гвоздям на двери.

Время

В большом зале, где остались белёсые пятна от мебели из ризницы, сожжённой в первые годы конца света, монах поднимается по приставной лестнице, чтобы нарисовать рядом с маленьким розовым кругом такой же, но чёрный. Штукатурка коридоров и стен ризницы усеяна этими повторяющимися значками так, что стала похожа на примитивную ткань. Розовые кружочки показывают, что наверху, над пеплом и обломками, которые погребли под собой кафедральный собор, наступил день, чёрные же символизируют ночь. Монах, который только что нарисовал последнюю чёрную точку, спускается с лестницы, и до тех пор, пока его голос не достигнет по извилистым коридорам огорода, кричит: «Ночь! Ночь!»

Дортуар

Монахи лежат под одним громадным одеялом, величиной с комнату, на подстилках из травы и мелко нарезанной соломы, которая похрустывает под весом распростёртых на ней тел. Только головы высовываются из семи отверстий, сделанных в покрывале, сшитом из кусочков разной материи. Головы, укутанные тканью, как мягкой гильотиной, кажутся сморщенными кочанами капусты на грядках в огороде. Уставшие тела расслабились, и монахи уже готовы погрузиться в объятия сна. Большая комната освещается толстой свечёй, которая горит в нише над входной дверью.

Внезапно головы содргаются от крика. Возможно, это общий сон. Монахи с трудом встают на ноги, приподнимая огромное покрывало. Они пристально смотрят на проём, за которым угадывается тёмный коридор, как будто ждут, испуганные, что кто-то появится оттуда. Они сбиваются в кучу, и их головы похожи на букет протуберанцев, лежащий на сукне, который скрывает тела, как плащ. Затем полусонные монахи, склонив головы, тихо-тихо возвращаются на свои места. Головы засыпающих поворачиваются вправо и опускаются на солому.

Молитва

Утром и вечером монахи подходят к стенам кафедрального собора, испещрённым трещинами, и припадают к ним губами. В тишине этого погребённого мира раздаются слабые старческие крики, которые летят сквозь расщелины ввысь: «Боже, помоги нам! Мы здесь!»

Слова, повторяемые с настойчивой периодичностью, превращаются в песню с простым негритянским ритмом. Монахи отходят от стен и какое-то время продолжают петь хором, сопровождая молитву деревянными движениями простейшего танца.

Игра

Монахи выстраиваются в ряд, прячась один за спиной другого так, что виден только один человек. Потом, стоя неподвижно, они взмахивают вразнобой руками, изображая гигантское насекомое, которое шевелит щупальцами или лапами. Это выглядит забавно.

Позади стоит ведро с голубоватой водой. Один монах опускает туда тонкую трубочку и выдувает мыльные пузыри. Остальные должны поймать их прежде, чем те закружатся в танце под потолком. Многие пузыри ускользают от монахов, и эта игра развлекает братьев.

Зеркало

Монах-огородник, который выкапывает руками клубни картофеля, подходит к просторному полуподвалу и отдаёт их на хранение брату-ремесленнику. Тот моет клубни по одному до тех пор, пока не покажется серебристая кожица. Потом он срезает ножом кожуру, которую приклеивает к створке старого сломанного шкафа. Закончив эту работу, он поднимает блестящую доску и переносит её в боковой неф собора. Он ставит её рядом с зеркалом, которое установил другой монах, чтобы отражённый свет от свечей был направлен на ту часть кроны вишни, которая в тени. Деревце быстро растёт, как будто освещенное и согретое солнцем.

Похороны

В полумраке, освещаемом лишь кое-где дрожащими лучами света, видны коридоры и помещения, которые сначала кажутся нам заброшенными. Вода, постоянно сочащаяся из каменного свода, медленно, но непрерывно и настойчиво капает в глубокий колодец в скале. Слышится шарканье ног по сухому земляному полу, говорящее о приближении монахов, и действительно, они входят, понутив головы и держа тонкие свечи в руках. Монахи проходят в комнату с глубокой нишей в полукруглой стене, измазанной светлой, но грязной штукатуркой. Они поют на разные голоса погребальную ораторию. На полу, на разостланном покрывале, лежит тело одного из монахов, обмотанное до головы полосками ткани.

Монах-музыкант заставляя ожить свой инструмент, с трудом натягивая железные струны и ударяя по подвешенным жестянкам. Траурная мелодия достигает места, где монахи собрались для погребального ритуала. Монахи поднимают останки умершего товарища и идут по коридору, вслед им несутся беспорядочные звуки, немного напоминающие военный марш.

Бабочка

Монах, которого мы недавно видели, возвещает, что настал новый день, зажигая одну за другой многочисленные свечи, стоящие в большом баке с песком около вишни. Темнота поначалу заполняется светящимися точками, большая часть тени прячется в расщелинах и за различными предметами, свернувшись клубочком. Когда монах оборачивается, в его глазах появляется удивление. Он торопится изо всех сил в дортуар. Вскоре появляются другие братья, они приближаются к вишне, покрытой цветами так, что кажется, будто она светится. Один за другим, с благоговением,

с почтительными поклонами и радостью, они приветствуют это подземное волшебство. Но вдруг они замечают лепесток, который отделяется от цветка и уносится потоками воздуха вверх. Затем он начинает спускаться и словно танцует вокруг деревца. Кто-то тихо шепчет: «Бабочка!» Трепет белых крылышек увлекает за собой монахов, они наслаждаются этим живым и необычным созданием. Бабочка часто садится отдохнуть на стене у самого края трещин. Монахами овладевает страх, что насекомое будет втянуто внутрь тёмных расщелин. И, действительно, бабочка на время исчезает. Братья ждут, затаив дыхание, до тех пор, пока она вновь не появляется и не перелетает на другую стену, чтобы отдохнуть. Монахи встречают её появление, хлопая в ладоши. Бабочка машет крылышками, как будто тоже разделяет их радость. Один из монахов неожиданно бросает в неё тряпку, но промахивается, и испуганное насекомое исчезает. Братья её преследуют, стараясь раздавить её палками и трубами. Пространство собора наполняется внезапно проявившейся злобой. Бабочка пытается спрятаться на дереве среди цветов. Монахи бросаются к вишне и яростно трясут её ветки. Лепестки опадают на пол, полностью покрывая его. Братья, обессиленные, опускаются на этот белый ковер, пытаясь прижать маленькое существо к земле. Свечи погасли, и всё окутал полумрак. Кто-то говорит: «Это была не бабочка!» Другой продолжает: «Это был лепесток!» Затем в воздухе раздаётся взволнованный голос самого старого монаха: «Это был Бог! Он пришёл проведать нас!» Монахи лежат, распостёртые на земле, уткнувшись лицом в пол, и в раскаянии шепчут молитвы о прощении.

Рассказ третий

Небоскрёб

Большая группа людей поднимается по лестнице. Лестничные пролёты похожи один на другой. Пятьдесят ступеней и потом широкая площадка, где можно передохнуть. У этих людей пёстрые маски или яркие полоски и пятна на лицах. Одежды на них почти нет, чаще всего — повязка из мешковины. Ноги босые. Они продолжают подниматься и пока ещё не проявляют признаков усталости. Возможно, ритм и темп делают коллективный подъём более лёгким. Но постепенно дыхание становится всё более тяжёлым. Движения теряют точность и ритм. Возникают первые стычки. Один молодой человек останавливается и садится, обессиленный. Отставшая девушка присоединяется к нему. Это Дато и Нанули. Начинается любовная игра. Девушка ложится на землю, а парень поворачивается спиной к свету и закрывает её своей тенью. Их тела дрожат, охваченные экстазом. Остальные продолжают подниматься, пробираясь вперёд и цепляясь за одежду. Но кто они? И куда идут?

В фундаменте небоскрёба, погребённого под морем сухого ила, который заполнил Нью-Йорк во время высоких приливов и отливов, вызванных атомными взрывами, возник подземный город, где живёт человечество, которое медленно налаживает жизнь. Одно из самых заветных желаний молодёжи — это подняться на восьмидесятый этаж и с высоты последней площадки посмотреть на закат солнца. Даже если бы было восстановлено освещение и подача электроэнергии, лифты не смогли бы подняться на семьдесят семь этажей, потому что конструкции небоскрёба были повреждены. Путешествие пешком разделяется на этапы и может длиться даже неделю. Через каждые тридцать этажей путешественники останавливаются, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. На привалах выступают актёры и музыканты разных возрастов, тут также обитают лентяи, застрявшие здесь, они не хотят ни спускаться, ни подниматься. Живут, просто подбирая то, что бросили поднимающиеся наверх, те, кто мечтает во что бы то ни стало увидеть закат. Многие совершили это восхождение, по крайней мере, десять раз, утешаясь этим, так сказать, спектаклем в разные времена

года. Ирландец Макдональд — абсолютный чемпион этих походов: он видел сорок два заката. И сейчас, в свои восемьдесят лет, он снова в группе молодых людей, которые поднимаются в первый раз. Кажется, он гомосексуалист и пользуется любой возможностью украсть маленькую радость у тех, кто измучен и кому нужен минимум комфорта. Некоторые предпочитают присутствовать при чарующем зрелище небес, освещённых солнцем, которое рождается, а не умирает. В любом случае, оказаться на открытом воздухе после многих лет жизни в подземелье — это всегда огромное удовольствие.

Скрипач

На первом привале в течение тридцати лет даёт концерты скрипач, русский по происхождению. Это очень высокий и худой человек. Он прижимает скрипку подбородком так крепко, что не нужно поддерживать её левой рукой. Иногда звучит романтическая мелодия цыганской песни. В это время восторженные зрители следят за музыкантом и вслед за ним повторяют движения его тела, которое изгибается и извивается в необычном акробатическом упражнении, которое, казалось бы, невозможно выполнить. Под конец, когда плач скрипки ослабевает и угасает, тело скрипача сворачивается на земле, словно это верёвка или змея. И это вызывает бурю аплодисментов.

Группа скалолазов продолжает поход. Они помогают себе ритмичными возгласами. Они преодолевают ступеньку за ступенькой, и даже утомительный подъём кажется развлечением. Дата и Нанули идут впереди и держатся за руки. Постепенно бессмысленные крики, которые управляли движением, превращаются в слова. Слова меняются. Сначала скандируют числа: один, два, три, четыре. Потом — ругательства. Нанули замолкает. Команды прекращаются. Марш вновь становится беспорядочным. Шаги замедляются, слышно тяжёлое дыхание.

Китайцы

Во второй и уже последний раз скалолазы останавливаются на привал на шестидесятом этаже и отдыхают, глядя на представление группы китайских карликов, ростом около сорока сантиметров, которые выполняют цирковой номер на прямоугольном настиле. Китайцы играют с большим львом. Они ходят по его спине, спускаются, чтобы пробежать под его поднятой правой лапой. Животное заставляет делать пируэты и подпрыгивать, как мячики жонглёров, семерых карликов. Они переворачиваются в воздухе, подсакивая на его лапах, шее и хвосте, и, в конце концов, один за другим падают в пасть льва, который их глотает, а затем заставляет появиться вновь таинственным способом. Восторженная публика собирается вокруг подмостков, чтобы поприветствовать царя зверей, который всем подаёт лапу.

Жертва

Оставив группу скалолазов наслаждаться представлением китайских циркачей, мы следуем за стариком, который медленно поднимается по лестнице, опираясь правой рукой о стену. Время от времени он останавливается, чтобы отдышаться. Группа спускающихся людей уступает ему дорогу. Старик останавливает молодого человека, чтобы спросить его: «Сколько ещё ступенек?» Юноша останавливается и пытается мысленно сосчитать: «Около сорока... Это великолепно». — «Что?» —

спрашивает старик. «Закат!» — восклицает юноша, изумлённый вопросом. Старик прислоняется спиной к стене: «Я не хочу его видеть». — «Для чего тогда все эти усилия?» — «Необходимо уметь отказываться, особенно от тех вещей, которые больше всего нравятся». Юноша стоит какое-то время в задумчивости, размышляя над этой жертвой старика, потом начинает быстро спускаться, чтобы догнать друзей.

Колокольчик

Скалолазы теперь поднимаются беспорядочно. Усталость ощущается всем телом. Люди грубят, пинают друг друга, бурно жестикулируют, и вдруг кто-то кричит, что ему нужно срочно помочиться. Понемногу это желание охватывает всех, и отправление физиологической необходимости происходит коллективно. Лестница покрывается вавью мочи, которая, становясь всё больше и плотнее, спускается сверху вниз. Между тем, всё в большем беспорядке скалолазы продолжают свой путь вверх, по-прежнему оскорбляя друг друга. Кое-кто цепляется за соседа или за идущего впереди. Порванная одежда, ругань, удары кулаком, взрывы смеха и слёзы. И так до тех пор, пока не звенит колокольчик, который заставляет замолчать весь этот сброд. Голос кричит: «Всё! Вы пришли!» Скалолазы умолкают, взволнованные люди стараются встать поближе друг к другу. Над их головами виднеется широко распахнутая дверь, которая ведет на большую площадку погребённого небоскрёба на открытом воздухе. Люди постепенно скрываются за этой дверью. На последней ступеньке недалеко от выхода сидит старик, который решил совершить это печальное жертвоприношение.

Закат

Солнце появляется и исчезает за розовыми облаками, которые растянулись на тысячи вёрст. Скалолазы любят зрелищем, затаив дыхание. Необъятная равнина с вершинами других мёртвых небоскрёбов непрерывно меняет цвет. То она кажется блестящей, отполированной пластиной расплавленного золота, то сразу же после этого — дрожащей серо-голубой поверхностью чаши океана. Облака то рассеиваются, то стужаются, иногда набегают на солнце, которое, однако, заставляет окрестности сиять. Потом вдруг лучи света падают на равнину затвердевшего ила и согревают его так, что начинают подниматься испарения, застилающие горизонт. На тёмных небоскрёбах поблёскивают отражённым светом осколки стёкол, которые не были расплавлены чудовищным жаром в дни тотальной катастрофы. А может быть, это действительно вспышки света в далёких окнах, Дато и Нанули кричат, что они заметили сигналы. Они приходят в восторг и отважно решают пересечь бескрайнюю пустыню песка. Надо сказать, что уже многие соблазнились идеей достичь горизонта. Но никто не вернулся назад, и ни один иностранец никогда не появлялся в нашем небоскрёбе.

Дато и Нанули спускаются по тросам, оставленным их предшественниками с наружной стороны небоскрёба, с высоты трёх этажей. За плечами у них два тощих рюкзака. Кое-кто непрерывно машет платками им вслед до тех пор, пока все окрестности не скрываются в темноте. Но и в ночи двух разведчиков сопровождают оклики, на которые Дато и Нанули отвечают еле слышными криками прощания. На рассвете кому-то удаётся рассмотреть очень далеко решительных молодых людей, отправившихся на поиски тех, кто ещё выжил в этой катастрофе. И всё.

Мухамметгулы Амансахатов

Единение со Вселенной

300-летний юбилей великого туркменского поэта Магтымгулы Пырагы (Махтумкули) внесён в Список знаменательных дат 2023—2024 годов для совместного празднования с ЮНЕСКО и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). ЮНЕСКО включила в Международный Реестр «Память мира» коллекцию рукописей Магтымгулы Пырагы, представленных Туркменистаном.

2024 год назван по стихотворению Председателя Народного совета Туркменистана, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Кладёзь разума — Магтымгулы Пырагы».

Поэзия великого Магтымгулы Пырагы (Фраги) — драгоценное духовное достояние туркменского народа. Пырагы — как в России Пушкин, родившийся на полвека позже, и как его современники в Европе — Гёте, Байрон и Гюго, — основоположник национальной литературы на Востоке. Его мудрые стихи, понятные и простым чабанам, и академикам, волнуют до сих пор.

Магтымгулы Пырагы — поэт, философ, суфий — родился в селе Хаджыговшан, расположенном в предгорьях Копетдага, в долине реки Гурген. О дате его рождения и смерти спорят до сих пор. По уточнённым сведениям поэт жил в 1724—1807 годах, и все юбилейные торжества в Туркменистане ориентируются на эти даты. Большую часть жизни Пырагы провёл в Этреке, Гургене, Гаррыгале (ныне село Магтымгулы). В стихотворении «Друзья! У меня любимая есть, живёт она вдали...» есть точные данные о его происхождении и родных местах:

А дни идут, и пройдёт весна, а мне не расторгнуть сна;
Хочу я глаза открыть, увы, свинцом они затекли.
Коль спросят путники про меня, скажите, лицо клоня:
«Гоклен он родом, с Атрека он, а имя — Магтымгулы».

(Перевод Георгия Шенгели)

Воспитание и начальное образование Магтымгулы получил дома и в сельской школе (мектебе), где преподавал его отец, поэт и мыслитель Довлетмаммет Азади, чьи стихи из книги «Вагзы-Азат» сын знал наизусть. По книгам из домашней библиотеки Магтымгулы научился читать по-персидски и по-арабски, знал наизусть народные сказки и песни, притчи и газели. Овладел ремёслами: шорным, кузнечным и ювелирным.

В 1754 году Магтымгулы продолжил образование в Бухаре, в медресе Гогелдаш. Там он познакомился и сблизился с образованным туркменом из Сирии по имени Нури-Казым ибн Бахар, носившим духовный сан мавлана — толкователя законов шариата. Они вместе путешествовали по странам Средней Азии, пересекли Афганистан и дошли до северной Индии.

Много позже полюбивший странствия Магтымгулы посетил полуостров Мангышлак и Астрахань, где жил подолгу в селе Фунтово.

В 1757 году он прибыл в Хиву, чтобы продолжить образование в знаменитом медресе Ширгази, где учились юноши, отмеченные ханской милостью.

В 1760 году, проучившись три года, Магтымгулы вынужден был вернуться домой — умер отец:

Тобой воспитанный, тобою просвещён,
Я собираюсь в путь, печалью удручён:
Отца я потерял — Каабы я лишён.
Прощай, науки дом, прекрасный Ширгази!

(Перевод Льва Пеньковского)

На родине юношу не обошли и другие трагические потери: двое старших братьев попали в плен и погибли, а любимую девушку Менгли выдали замуж за богача. Скорбь по братьям, тоска по любимой не отпускали поэта, написавшего в эти годы много прекрасных стихов.

В мире есть красавица одна,
Словно двухнедельная луна;
Родинка её насурьмлена, —
Кто с моей избранницей сравнится?

На земле моя Менгли жила,
Обожгла мне сердце и ушла.
У меня в груди её стрела.
Где она? Какой звезды царица?

(Перевод Арсения Тарковского)

Магтымгулы писал под псевдонимом Пырагы (Фраги). Псевдонимы отца и сына — Азади и Пырагы — близки по смыслу: *azade* с фарси — свободный, *парыг* с арабского — разлучённый, подразумевая разлуку с любимой Менгли. Личная жизнь поэта не сложилась: несчастливый брак, смерть двух любимых сыновей.

Магтымгулы всё глубже погружается в поэзию и всё чаще обращается к Всевышнему. Главная идея суфизма, владевшая умами средневековых философов и поэтов, — очиститься от всех грехов бренного мира, стать свободным и соединиться с Абсолютом. Пырагы любил читать свои стихи — бейты, газели, рубаи и касыды —

в народных собраниях и на свадьбах. Широта тематики и высокое поэтическое мастерство создают трудности в определении: какие стихи и в каком возрасте были написаны Пырагы. Он много пишет о Родине, о своём героическом, трудолюбивом и терпеливом туркменском народе.

Единой семьёю живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна,
Высокая доля отчизне дана,
И тает гранит пред войсками Туркмении.
Здесь братство — обычай и дружба — закон
Для славных родов и могучих племён,
И если на битву народ ополчён,
Трепещут враги пред сынами Туркмении.

(Перевод Арсения Тарковского)

Вместе с талантливыми современниками, среди которых поэты Довлетмамнат Азади, Нурмухаммет Андалып, Гурбаналы Магруппы, Абдылла Шабенде, Шейдаиы, Магтымгулы создал литературную школу Пырагы. Вместо традиционной арабо-персидской метрики он обратился к силлабической системе.

В XIX веке дело Пырагы продолжили младшие поэты: Молланепес, Мамметвели Кемине, Гурбандурды Зелили, Сейитназар Сейди и Аннагылыч Матаджи — яркое созвездие имён, вспыхнувшее на туркменском небе.

Магтымгулы, прожив долгую и плодотворную жизнь, умер в возрасте восьмидесяти трёх лет. Его похоронили рядом с отцом в Голестане (Иран).

Большая часть поэтического наследия Магтымгулы не сохранилась. В нашем распоряжении находится около 600 стихов и — ни одного рукописного оригинала.

Известный русский ориенталист академик В.В.Бартольд утверждает: «Среди тюркских народов с таким национальным поэтом, как Магтымгулы, только туркмены».

Знаменитый киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов прославлял Магтымгулы восторженными словами: «Я говорю *наш Магтымгулы*... именно на туркменской земле возник и возвысился в Средней Азии гений туркменской литературы, свет которого освещает нас — соседние братские народы. В этом смысле XVIII век в Туркестане — это век поэзии Магтымгулы».

Поэт говорил на языке, близком к разговорному и понятном не только туркменам разных племён, но и другим тюркоязычным народам. Язык Магтымгулы — эталон чистоты и выразительности, что гарантирует туркменам сохранность национальной идентичности. И современные туркмены часто ссылаются на мудрость Магтымгулы: «Как говорил отец наш Магтымгулы...»

Что больше всего волновало Магтымгулы? — Справедливое государство и справедливый правитель — вот главные проблемы Востока. Туркмены были в отчаянии от того, что сильно разобщены и собраться всем за одним дастарханом невозможно.

Фраги недугом истомлён:
Объединителя племён
Прихода благостного он,
В Туркмению влюблён, желает.

(Перевод Арсения Тарковского)

Мечты и чаяния превращались в реальность только в стихах Магтымгулы.

Несокрушимое

Знай: то, что в главном создал я, то вечно, как луна,
 Навеки вольная моя туркменская страна.
 Покой забудем, если враг к нам стукнет в ворота,
 Туркменов крепость — это, знай, из стали крепость та.
 Сам Сулейман, Рустем, Джемшид грозили ей мечом,
 Сто тысяч шах слал каждый день бойцов — всё нипочём.
 Она пример горам, когда подымет воин щит,
 И каждый взмах её меча ей удалцов родит.
 Теке, йомуд, языр, гоклен с ахалом встанут в ряд,
 Пойдут в поход — в садах цветы восторженно горят.
 Иранцев сбросили с хребтов на дно скалистых ям,
 И день, и ночь их жалкий стон оттуда слышен нам.
 Не страшен враг нам, пусть стоит у самых наших стен,
 Нас в плен не взять, — туркмена сын не знает слова «плен».
 Когда бы гости ни пришли, всегда готов им той,
 Туркмена речь всегда пряма, нет лжи в ней никакой.
 Так говорит Магтымгулы — нет на душе пятна,
 Бог на него направил взор — цветёт его страна!

(Перевод Николая Тихонова)

Кроме поэта Николая Тихонова, который перевёл на русский язык большинство стихов Магтымгулы, его лирику переводили многие блистательные русские поэты и переводчики: А.Тарковский, М.Тарловский, Е.Гордиенко, Е.Нейман, Г.Шенгели, Н.Лебедев, Н.Гребнев, Е.Валич, А.Старостин, Т.Стрешнева, Т.Спендияров, С.Иванов, А.Ревич, А.Кронгауз, Б.Голубев, С.Ботвинник, Л.Вдовин, А.Зырин. Особую известность и популярность получили переводы Арсения Тарковского, удостоенного за них Государственной премии имени Магтымгулы. Именно через русский язык пришло мировое признание поэзии Магтымгулы. И первый сборник его стихов был издан в России, в Астрахани в 1912 году.

Во время празднования 300-летнего юбилея Пырагы хочется вспомнить имена исследователей его жизни и творчества. Пионерами в изучении его наследия были европейцы: польский поэт, дипломат и ориенталист А.Ходзько-Борейко, венгерский тюрколог и этнолог А.Вамбери и русские академики-востоковеды А.С.Самойлович и Е.Э.Бертельс, объявившие Пырагы «общетуркменским наставником».

Литературное наследие великого Магтымгулы Пырагы занимает достойное место: произведения Магтымгулы бережно хранят в Восточном рукописном фонде РАН, в Азиатском музее и в архиве Санкт-Петербургского института Востоковедения. Произведения Пырагы изучают в Москве в МГУ имени М.В.Ломоносова, в институте Азии и Африки читают курс лекций «История Туркменистана». Этот институт совместно с Московским обществом туркменской культуры и посольством

Туркменистана в России каждый год проводит культурные мероприятия, посвящённые памяти великого поэта.

Стоит отметить труды английского учёного и переводчика Брайана Олдиса, — в его книге «Песни из степей Средней Азии: Магтымгулы Пырагы» напечатано около сорока стихотворений.

Всё сказанное о великом Магтымгулы Пырагы создаёт портрет национального мыслителя, пророка и поэта Туркменистана, для которого главным направлением в творчестве была линия ышк — одна из определяющих в суфийской литературе: любовь к человеку и человечеству, к жизни и миру во Вселенной, любовь к Абсолюту, а Он существует везде и в каждом.

МАГТЫМГУЛЫ ПЫРАГЫ (Махтумкули Фраги)

К трёхсотлетию великого туркменского поэта)



Айхан Хаджиев. Портрет Махтумкули. 1947.

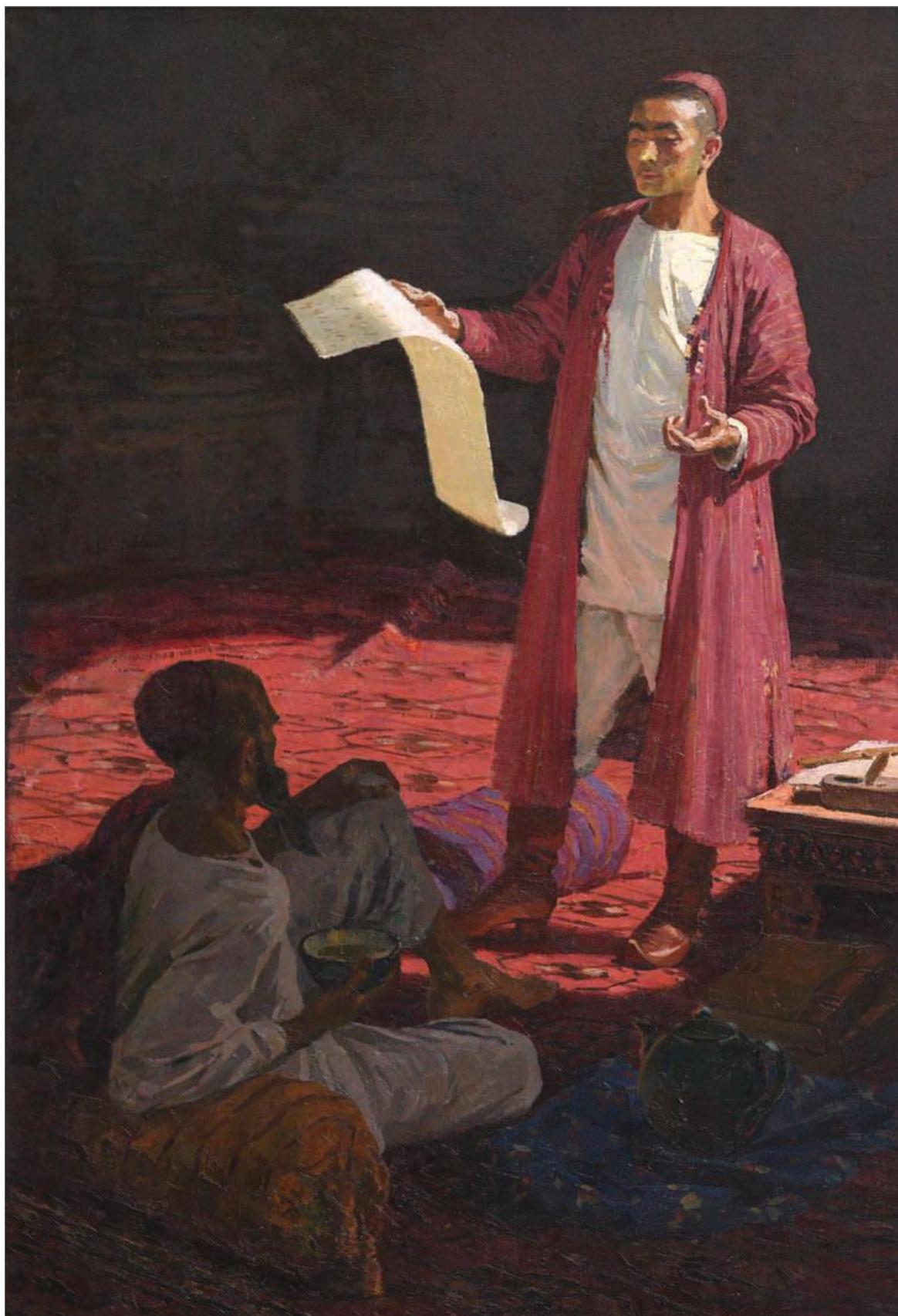
Холст, масло, 144x109



Алламурат Мухаммедов. Азади и Фраги. 2014.
Холст, масло. 100х150



Ярлы Байрамов. Махтумкули–Фраги. 1983.
Холст, масло. 160х220



Чары Амангельдыев. Молодой Махтумкули читает свои стихи отцу Азади. 1959.
Холст, масло. 151x100



Халлы Аначарыев. Махтумкули в медресе Ширгази. 1938.
Холст, масло. 200x170



Бяшим Нурали. Портрет Махтумкули. 1959.
Холст, масло. 200x170



Виктор Попов.
Памятник классику туркменской литературы XVIII века Махтумкули.
1967, Ашхабад



Сарагт Бабаев. Памятник Махтумкули Фраги.
2009, Астрахань



Сарагт Бабаев. Монумент Махтумкули.
2024, Ашхабад

Светлана Васильева

Речь о поэте

Владимир Салимон — дар искренности нам всем. Слово, в данном случае означающее не открытость самовыражения. Оно от «искры», которая Божья. Искра Божья как выражение мира. И поэтическая техника, и разнообразие душевных состояний в лирическом хозяйстве Салимона только служба для того, чтобы обнаружить «внутренность» этого мира: его чувствовали.

Но чего-чего мы только ни слышали о поэте, какие сравнительные характеристики ни предлагались: от Саши Чёрного до обэриутов и даже *нашего* Кафки. Странно и диковато поглядывал из нарочитой простоватости более ранних книг Салимона мир русского абсурда. Сам же автор, поменяв ударение, недавно стал в сетях вдруг не Салимоном, а Салимоном. Чего не бывает в несчастном сознании растревоженного читателя?!

Однако, если в зеркале почитателей и мелькают кривые тени, то сама поэзия никакой кривизны не терпит. Выталкивает её из своего «дискурса», потому что имеет свой центр, свою иерархию и своего читателя. В подобном сосуществовании бывают допустимы и близорукость, и ошибка зрения, и слезящийся глаз от ветра или набежавшего пейзажа за окном поезда, который мчит тебя неизвестно куда. Всё это, как говорится, человеческое, *слишком человеческое*.

И всё-таки, что более всего проявляется в этой поэзии в настоящий момент, создавая её масштаб? Не рискну заявлять, что это стихи пушкинского плана. Но они явно вылетевшие из пушкинского гнезда. Нет, это не про то, что «весь я не умру» и «душа в заветное лире/ мой прах переживёт...» У иных на ходу бронзовеющих поэтов тут возьмёт да и вылезет подпольный двойник вроде достоевского Фомы Опискина: «Я знаю Россию, и Россия знает меня». Знает ли Салимон Россию? Наверняка. Но узнаёт ли его Россия? Поучиться б ей, нынешней, описывающей свои поэтические сны без особых усилий и знаков препинания, этой по-салимоновски сотворяющей зоркости. У поэта — всё в порядке и с поэтической дикцией, и с синтаксисом, и с «цитатой-цикадой». Ведь именно в этой просодии и её разветвлённом музыкальном древе живёт звук сущего.

Парки бабье лепетанье,
Сонной ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня.
Что тревожишь ты меня?..

Васильева Светлана Анатольевна — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась и живёт в Москве. Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы-студии МХАТ. Автор четырёх поэтических книг, романа «Превосходные люди» и многочисленных статей в периодике.

«...Я понять тебя хочу,/ Смысла я в тебе ищу». «Хочу» и «ищу» — оппозиция сегодняшнего Салимона. И его настоящее мужество.

Он выслушивает утренние новости, а сообщает нам вести. На исхоженной улице выстраивает греческий амфитеатр с героями, битвами и жертвоприношениями.

Дозорный видит чёрный дым,
Что значит — Троя пала.
Дым нам невидим. Дым незрим,
Но свет небесный тьма застлала.

Жизнь во временном разрезе. Но за узнаваемым бытом окраинной, несчастливой Москвы и благодатной глубинки Чехова и Фета не сразу догадаешься, что речь идёт о подлинном действе с его трагической *перипетией* — переменой судьбы, ожидающей за углом. В книге «Дозорный видит дым» соучаствует вся видимая наличность. Все сущности движутся и взаимодействуют: московский дворик и писающий ослик, сигналившая электричка и бьющий луч солнца, ночной призрак и яркие всполохи рябины. Чернильная сирень расплетает косы. Волосы любимой разметало по подушке, как детские кудряшки-игрушки... Читатель не смыслы «считывает», а присутствует на некоем чудесном сеансе. Неслучайно встретится на страницах книги посвящение другу и мастеру магического неореализма Вадиму Абдрашитову. В том ответственном, отечественном кинематографе нашего недавнего времени никакие симулякры и двойники не отменяют движение по общему кругу «царство света — царство тьмы...» На этом провидческом переходе у поэта наготове свой «лирический жест» — простой и сочувствующий. Предостерегающий и спасающий.

Бог весть, вы, верно, замечали,
у нас — и в радости поют,
поют и в горе, и в печали,
поют, когда на казнь идут.

И те, кто ехали по полю,
в машине крытой, за борта
держась, натуре давши волю,
весь путь не закрывали рта.

Скакал грузовичок военный
на кочках, уносясь во тьму.
Зря на звонок велосипедный
я жал и жал вослед ему.

Я умолял, я звал вернуться
сидящих в кузове назад,
скорей одуматься, очнуться
под ноль остриженных ребят.

Такое вот кино. Но в стихотворной музыке — реальная перспектива нашего поэтического неореализма, да и не только его.

Диана Светличная

Страна фей и драконов

1

Дорога Бишкек — Алматы зимней ночью — это аттракцион для тех, кто любит погорячее. Погружение в молочный кисель начинается с пограничного пункта Кордай. Сонный мальчишка тонет в бушлате, с неба сыплется колючая дрянь. Рыжая овчарка, пытаюсь сохранить тепло своего организма, старается держать язык за зубами и по-щенячьи вертит головой. Милый зверь, у нас с тобой столько общего.

Разделяющая Казахстан и Кыргызстан река Чу бурлит. Проходя над ней по мосту, я останавливаюсь и смотрю в кипящий бульон. «Бух в котел — и там сварился!» Расчихлю классику и закашливаюсь. Весь декабрь я кашляю: кашляю, читая новости, кашляю, отвечая на письма, кашляю, думая о завтрашнем дне. Я устала от этого кашля.

«Машина сразу на выходе, — кричит из телефона водитель. — Я включил аварийку». Сквозь мутное ледяное месиво нам подмигивает покрытый инеем автомобиль, мы с мужем и детьми мчимся к нему, как персонажи фильма-катастрофы (скучный по нынешним меркам жанр).

В машине тепло, звучит убаюкивающая музыка, за окном бушует ураган, видимость нулевая, трассу в любой момент могут перекрыть, мы несемся на всех парусах. Наши стальные паруса рубят мелованную бумагу, текст пушкинской «Вольности» крошится и разлетается буквами над казахской степью. «Хочу воспеть Свободу миру», — удалите лишнее слово.

«Вы из России?» — спрашивает таксист. Я закашливаюсь, утыкаюсь носом в толстый шарф, смотрю в белую стену тумана за окном. Муж удовлетворяет интерес таксиста, они находят общих знакомых, шутят над тем, что понятно только местным, — едем *абдан*¹ ништяк.

Года два назад меня пригласили соведущей в прямой эфир. За час до начала программы. У нас так бывает. У штатной ведущей случился какой-то форс-мажор, и нужно было срочно ее заменить. Даже если ты уже сто лет не работаешь на телевидении, тебе могут позвонить и по-свойски попросить о помощи. Это нормально.

Диана Светличная (Юлия Горяйнова) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподаёт в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете Международных отношений. Лауреат премии «ДН». Живёт в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 9.

¹ Абдан — очень, в полной мере (*кирг.*).

По дороге в студию все, что я успеваю узнать, — это тему эфира и имена гостей. В студию мы влетаем практически одновременно с гостями, на грим и внешний вид всем плевать. Три, два, один — начинаем! Тема программы — права человека и новый законопроект, гости: юрист, правозащитник, активист. Дискуссия набирает обороты, звучат высокие ноты, произносятся заготовленные речи, программа отрывается от земли и несется в открытый космос. Когда ты только что вернулся из отдаленных регионов, космический ландшафт бьет по глазам и кружит голову. «Простите, — прерываю я речь очень хорошего, действительно хорошего, юриста и пытаюсь задать вопрос, который часто слышу в селах. Задача ведущего регулировать направление движения космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной. — Можно я задам вопрос от лица народа?» — говорю я громче обычного, и в студии повисает тишина. Тишина в прямом эфире — зло. В прямом эфире можно кричать, стонать, драться, говорить глупости, но только не молчать. Спустя неприличное количество секунд тишины уважаемый юрист растерянно спрашивает, от лица какого народа задаю я свой вопрос. Я поясняю, что от лица кыргызского народа. В эфире снова повисает тишина. Не-а, никому нет дела, что я достаю из широких штанин. Бьют же, как известно, по лицу, а не по паспорту. Хотя...

Литературный фестиваль в Москве. Горят огни, открыты двери. Это было недавно, это было давно. Пять лет назад — другая эра. Сколько любимых лиц с той встречи храню я в сердце. Сколько там было солнца, сколько тепла. Счастье — находиться рядом с людьми, которые тебя понимают. «А кто ты по национальности? Киргизка?» — спрашивает меня участница фестиваля из Минска и фотографирует на свою профессиональную фотокамеру.

У меня нет претензий ни к таксисту, ни к юристу, ни к писательнице из Минска. Потому что не бывает плохих или злых вопросов, не бывает вопросов, на которые нельзя найти ответа.

«Мы же можем ехать чуть-чуть медленнее», — подаю голос, испортив таксисту настроение. Таксисты из Казахстана менее безбашенные, чем таксисты из Кыргызстана, но предложение ехать медленнее в нашем регионе оскорбительнее поиска ремня безопасности для всех. Таксист сбавляет скорость, заметить это можно, только поравнявшись с выброшенной с трассы маршруткой, она мигает аварийными огнями и разбавляет белую гуашь, в которую погрузился мир.

Трасса Бишкек — Алматы осенью усыпана птенцами: не научились определять опасность; зимой пестрит перевернутыми легковушками — не помолились водители на выезде. Вот и «Алматының түндері-ай»¹, как поет Нюша: горящие проспекты никогда не спящей столицы Казахстана.

«Горжусь своей южной столицей», — внезапно сообщает нам таксист. «У вас отличная южная столица», — поддерживаем мы. Я мысленно благодарю всех казахских богов за то, что мы доехали.

2

В алматинском аэропорту — как на рынке: грязь, давка, духота. В переполненных залах плохо одетые люди с некрасивыми лицами. Одни слишком толстые, другие слишком худые, третьи очень хотели быть красивыми и переборщили с губами и ресницами. Родители издерганны, дети испуганны, люди помоложе не отрываются

¹ «Алматының түндері-ай» — душевная песня о городе Алматы, которую сочинила и записала семейная пара из Германии Пауль Фридрих и Ольга Каспер, некогда уехавшие из Казахстана; позднее ее перепели дуэтом Кайрат Нуртас и российская певица Нюша.

от гаджетов, люди постарше смотрят в пустоту. «Бедные мы, несчастные», — говорю мужу, имея в виду человечество, но он понимает это на свой лад и возвращается с бутылкой шампанского.

«За прошлый год», — говорит муж, и мы пьем из пластиковых стаканчиков, не чокаясь. Шампанское не смягчает обстановку вокруг. Фокус моей оптики сбит начисто. Кусок стекла не вытащить из глаза.

3

Лоукостер — это всегда приключение. Народу в самолете тьма. Младенцев и детей крикливого возраста — как на утреннике. Все-таки это предновогодний рейс. Сидящая перед нами пара шикает на своего ребенка и разливает по стаканам виски. Ребенок, шепелявя, спрашивает отца, долго ли придется сидеть, отец откидывается на спинку кресла и ничего не отвечает. «Саша, тебя сын спрашивает», — с укором обращается к мужчине женщина с большими губами и ресницами. Речь ее невнятна, одни звуки долго тянутся, другие быстро проскакивают, что тому виной — виски или неудобные губы — не нашего ума дело. «Саша, ответь ребенку, не веди себя как скотина», — громким шепотом говорит женщина. «Зая, спи», — отвечает ей Саша, и, несмотря на то, что у него обычные мужские губы, в его коротком ответе звучит та же тоновая система. Сидящие за нами девушки — три сестры в хиджабах — заливаются смехом и записывают короткие видео на телефон. Через слово хвалят Аллаха, вспоминают какого-то Алика и пощипывают друг друга за плечи. «Ты дурочка, убери эту фотографию, я здесь толстая», — требует одна девушка. «Наоборот, ты там такая лапочка. Совсем, что ли, того — убирать?» — убеждает ее другая. «Давайте вот так, все вместе посмотрим в кадр, че вы как эти...» — смеется третья. От их веселого трепа веет покоем. Может, все дело в их приятных голосах. Под них не страшно засыпать.

«Если я сяду, ты ляжешь», — бодрящее предупреждение рассеивает мой сон. Саша стоит в проходе, чуть покачиваясь и едва не касаясь макушкой потолка. В проходе у первого ряда стоят двое таких же крупных мужчин и соревнуются с Сашей в каком-то специальном виде спорта. Саша похож на разбуженного медведя, по выражению его лица невозможно предугадать дальнейшие действия. «Я тебя просто попросил проявить уважение, — говорит Саша, в одних местах растягивая, в других комкая звуки, — ты по-хорошему не понял, значит, будет по-плохому». Саша делает шаг в сторону первого ряда, и салон самолета ахает, я понимаю, что проспала прелюдию. К Саше подбегают маленькие шуплые бортпроводники и тут же разлетаются в стороны, на Сашу кричат девушки в хиджабах, Сашу пытается пристыдить пожилая женщина. Саша идет к первому ряду, как Годзилла. Коренастый аксакал с круглым животиком выходит из второго ряда слишком легко, обнимает Сашу слишком неожиданно. А дальше наш полет превращается в мастер-класс по эффективным коммуникациям. В какой-то момент урок дипломатии перетекает в сеанс психотерапии, в ходе которого пациент демонстрирует нам все стадии проработки своих детских травм. Салон узнает о детстве, юности и взрослой жизни Саши, о ценностях его родного Усть-Каменогорска, о людях, которых там уважают, о людях, которые там больше не живут. В какой-то момент эта затяжная информационная кампания начинает походиться на рекламу нового туристического направления. Лично мне действительно становится интересно побывать в этом шахтерском городе с ясными установками и понятными правилами. Учитывая тот факт, что большую часть тамошнего населения я теперь знаю неплохо, думаю, если выдастся случай, махну.

Аксакал усыпляет бдительность Саши, я засыпаю сама. Мне снится море, в нем тонет чайка. Чайка выныривает, вскрикивает и снова скрывается под водой. На очередном ее вскрике я просыпаюсь и понимаю, что кричит сидящая за мной

девушка. «Держите его, кто-нибудь! Женщина, успокойте своего мужа, почему вы его не успокаиваете?» В первых рядах происходит какая-то возня, Саша стоит, придавив двоих пассажиров своим огромным телом, пассажиры болтают ногами, дергают руками, хрипят. Саша требует от них извинений. В какой-то момент он приподнимает одного из пассажиров и бросает в проход, самолет как будто вздрагивает, несколько женщин взвизгивают. Стюард говорит по громкой связи, его английский звучит, как китайский, разобрать ничего невозможно, соседи предполагают экстренную посадку в Китае, девушки в хиджабах ругаются отборным русским матом. Увидев аксакала, бегущего по проходу из другого конца самолета, Саша отбрасывает позеленевшего пассажира и идет на свое место.

«Вот же тварь ты какая, — обрушивается на Сашу аксакал. Он больше не выбирает слов и не регулирует громкость своего голоса. Дипломатия закончилась. — Я же весь полет тебе посвятил, тварина ты неумытая, неужели мне и поссать сходить нельзя, а?» На этих словах он отвечает Саше подзатыльник, и Саша ничего ему не отвечает. Остаток пути мы летим в тишине. Сквозь гул реактивных двигателей я слышу, как Саша шмыгает носом.

4

В Камрани нас встречает эдакий Ивашка из Дворца пионеров — улыбчивый вьетнамец с саратовским образованием и патриотическим настроем. «Мое имя До, но зовите меня Андрей», — говорит он при знакомстве. «Почему мы должны звать вас чужим именем?» — интересуемся мы. «Ну, вам так будет удобнее», — поясняет До. По дороге в нашу деревушку До рассказывает нам краткую историю своей страны, перечисляет brave дела вьетнамского народа, с придыханием славит власть, демонстрирует понимание своей миссии и приверженность марксизму-ленинизму и идеологии Хо Ши Мина.

«Не-не-не, если вы называете наше море Южно-Китайским, вы соглашаетесь с агрессивной политикой Китая, — предупреждает нас До. — Это наше море, — говорит он с чувством. — Оно всегда было нашим». «Так как же нам его называть?» — спрашиваем мы. «Это Южно-Восточное море, запомните раз и навсегда», — программирует нас До.

Южно-Восточное море игриво и прекрасно, легкая дымка над водой утром и розовые блики вечером, волны сбивают с ног, трясут за плечи, выбивают дурь. Если перестать сопротивляться стихии, она принимает тебя как свое дитя, качает, баюкает, гладит.

Я дышу полной грудью, не читаю новости, не проверяю почту, не беру телефон, я больше не кашляю.

5

Наш отель с домиками под тростниковыми крышами говорит на всех языках, сияет всеми оттенками кожи, щурится всеми разрезами глаз.

Французы гоняют мяч, ходят отрядом из шести человек: три прозрачные балерины, два лохматых сердцеда и одно чудовище со сломанным носом. Вокруг чудовища крутится Земля. Его гнусавый басок вызывает всеобщий смех, его все хотят обнять, он задает тон беседам, решает, когда уходить с пляжа. Французам около тридцати, но выглядят и ведут они себя как наши подростки. От них исходит легкость, дурашливость, непринужденность. Загорелые девушки круглые сутки в коротких шортах, свободных майках, сланцах; ноль макияжа, ноль манерности — свобода,

равенство, братство. За завтраком они сбиваются в стайку у столика на четверых, трутся друг о друга локтями, коленями, хором смеются, без умолку говорят. С ними рядом нет времени, нет горя, нет войны.

Пара из Кёльна рассказывает нам про свой запутанный маршрут: чтобы встретиться здесь, они по отдельности проехали через Камбоджу и Лаос, летели, ехали, плыли, писали друг другу письма, ужинали и завтракали, включив камеру телефона. Впереди у них много солнца и чуть более соленый, чем у других, воздух. Они поочередно мажутся кремом и пьют кокосы. Этой паре не нужно рассказывать про их другую жизнь, она проходит глубоким шрамом через их лица, таится в сдержанных улыбках, в морщинках вокруг глаз. Он неуверенно держит ее за руку, она уверенно рассказывает про немецкий автопром. У нее синие глаза и черные волосы, у него рыжая борода и натруженные ноги. Они ходят по кромке моря, не позволяя пене подняться выше лодыжек, плавают в бассейне, не снимая шляп. От них веет пресыщенностью, поиском смысла.

Днем на пляже над шезлонгами развеваются белые паруса навесов, вечером тут горят сотни желтых, как светлячки, огней. Море шумит, грозит приливом, захлестывает волной. Вдали перемигиваются фонарями рыбацкие лодки.

«Только туда и обратно», — уговариваю мужа пройти мимо столика, подсвеченного десятками зажженных свечей. «Люди хотели уединиться», — сопротивляется он. «Когда хотят уединиться, не заказывают столик, окруженный свечами», — не сдаюсь я.

Муж вздыхает, и мы проходим мимо пожилой пары, сидящей за столиком в круге огня. Седовласая леди улыбается нам щедрой красивой улыбкой и по-королевски машет рукой. От нее исходит сияние, оно заливает пустой пляж, накрывает куполом море. Я машу ей в ответ и ощущаю прилив нечаянной радости. Кто вы, такие сморщенные и такие прекрасные мужчина и женщина? Что вы празднуете? Рождение? Жизнь? Любовь? Хотя какая разница. Любовь, рождение, жизнь — все одно.

Семья из Петербурга старается разговаривать только на английском, даже между собой. Подбадривая плавающих в бассейне сыновей, отец кричит им высоким голосом: «Great! Okey! Super!» Но когда мальчики заигрываются и норовят обрызгать лежащих на шезлонгах людей, регистр отца понижается, и он гулко спрашивает: «Че вы творите?» Мальчики тут же втягивают головы в плечи, а их мать становится похожа на птицу, готовую кинуться на защиту потомства. Мы при встрече перебрасываемся приветствиями и искусственными улыбками, дальше этого наше общение не заходит. В лице женщины я вижу тревогу, разочарование, грусть.

6

Жизнь во Вьетнаме начинается с восходом солнца и заканчивается с его закатом. В три часа ночи в море выходят рыбаки, в пять просыпаются возделыватели земли, в шесть все остальные. С шести вечера береговая линия — под неусыпным контролем службы безопасности. В городах это береговая охрана, в сельской местности — охрана отелей. Войти в Южно-Восточное море после шести вечера практически невозможно, тебе будут светить в глаза мощными фонарями, предупреждать об опасности в громкоговорители, показывать таблички и белые зубы столько, сколько понадобится. Здесь никто никуда не торопится. «Пожалуйста, мадам», — скажут вам в конце концов очень сдержанно, и вы почему-то вспомните фильмы про вьетнамскую войну.

Музей жертв войны в Сайгоне — место хранения доказательств военных преступлений американской армии против мирного вьетнамского населения. Он возникает в любом разговоре об истории Вьетнама. «Вы должны увидеть, что они с нами делали», — убеждает нас Чунг — гид, с которым мы носимся по дюнам, кокосовым и кофейным плантациям, зоопаркам, змеиным и крокодиловым фермам.

«Смотрите, как отличить настоящую крокодиловую кожу от подделки, — учит он нас. — Кожа крокодила при постукивании не дает звука, она его поглощает из-за толщины и структуры, это отличный материал для бронежилета. — Чунг эмоционален и говорлив, в прошлом он военный, учился, как и все русскоговорящие гиды, в России. — А теперь посмотрите, как выглядит подделка. По внешнему виду не отличишь, а постучите по ней. Поняли? Все ненастоящее — оно пустое, я вас уверяю», — заходитесь в эмоциях Чунг.

На крокодиловой ферме тихо. Крокодилы не очень шумные животные. Десятки и сотни обладателей пуленепробиваемых тел лежат в небольших резервуарах за железными сетками, смотрят на двуногих без особого интереса. Рядом с резервуаром торговая лавка с сумками, ремнями и обувью из крокодиловых собратьев. «Зам за», — пытается привлечь туристов скидкой продавец. Пока никто не видит, я стучу себя по животу. Звук получается звонкий, такой, как если бы я была подделкой.

7

Наконец я собираюсь с духом, и мы с семьей едем в музей жертв вьетнамской войны, или, как он назывался при открытии в 1975-м, «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама». Во дворе музея стоит трофейная техника: вертолеты, танки, орудия убийства. На их фоне фотографируются улыбчивые туристы, шумят высокие деревья.

К собственному удивлению, я не испытываю никаких эмоций ни в залах документальной фотографии, ни в камерах пыток с клетками для политических заключенных. Я иду от одной экспозиции к другой и пытаюсь нащупать внутри себя хоть что-то похожее на боль или сочувствие к людям в видеохронике, к детям на фотографиях. Но ничего, напоминающего сопереживание, внутри меня будто нет. Я чувствую усталость в ногах, зуд от комариного укуса, легкий голод. Мне даже больше не нужно стучать по себе. Я — подделка, внутри меня пусто.

На выходе из музея сын подзывает меня к витрине со значками стран, выступавших против войны во Вьетнаме. «Мама, я хотел купить что-нибудь друзьям, может быть, в этом музее есть магазин с чем-то похожим?» — говорит он.

Среди множества мелких сувениров на антивоенную тему за стеклом мне бросается в глаза неприметный белый значок с текстом: «War is good business, invest your son»¹. Я закашливаюсь до слез, мы уходим из музея.

8

Вьетнамский Диснейленд и каноэ в джунглях, ночной Сайгон и дома на воде, корабли-рестораны и экзотические блюда — попытка развлечь и удивить мир, стоящий на краю обрыва. «Того, что есть у нас, вы не увидите больше нигде», — повторяли заученную фразу наши гиды и без конца хвалили руководство своей страны, понижали

¹ «Война — хороший бизнес, инвестируйте в нее своего сына» — один из саркастических антивоенных лозунгов времен вьетнамской войны.

голос при обсуждении проблем, с нескрываемой ненавистью говорили о своих ближайших соседях.

Любая страна — это, конечно, люди. Я запомнила нескольких. Девяностолетнюю старуху, переправлявшую нас на каноэ через джунгли. На ее лице было не меньше сотни морщин, ее сухая сморщенная ладонь за годы превратилась в продолжение весла. Старуха была похожа на мумию и, возможно, помнила того самого Хо Ши Мина. Сходя на берег, я вложила в ее ладонь купюру и поклонилась, она посмотрела на меня ясным взглядом, и в ее глазах блеснуло что-то вроде усмешки.

Я запомнила мужчину, который всю свою жизнь провел в плавучем доме. В доме две комнаты, в одной живет семья мужчины, в другой обрабатывают рыбу и креветок. Под домом — креветочная ферма. Ноги мужчины покрыты коростой, на среднем пальце правой руки сверкает перстень. Мужчина мыл в реке рис, в это же время в эту реку мочился его сын.

И третий человек, которого я никогда не забуду, — маленькая девочка. Мы сидели в баре на Сайгонском Бродвее, была полночь, никогда не спящий Буи Вьен¹ гремел музыкой, сверкал огнями, предлагал все на свете за ваши деньги. Толпящиеся туристы танцевали, выпивали, знакомились. Вьетнамцы веселили, удивляли, обслуживали. Неизвестно откуда у нашего столика появилась крошечная вьетнамская девочка с веером. Девочке было не больше трех, ее черные блестящие волосы были собраны в хвостики и смешно торчали в разные стороны. «Где твоя мама?» — спросила я девочку и осеклась. Девочка посмотрела на меня очень уставшими взрослыми глазами, в них не было ничего детского. В них были злость, пустота, отчаяние. Девочка ударила меня по ноге своим красивым веером и побежала к стоявшей на обочине маме. Им с мамой предстояло продать еще много вееров.

9

Новый год мы встречали на берегу моря. Украшенные столы, белые скатерти, роскошь, изобилие. Для нас пели феи и танцевали драконы, нас убеждали в том, что новый год будет лучше прежнего. В последние секунды уходящего года небо взорвалось фейерверком, а рядом с водой зажглись огромные цифры «2024». Они долго горели синим пламенем, и море не могло с ними справиться.

¹ Буи Вьен — самый оживленный квартал в туристическом районе Хошимина.

Двадцать пять бумажных писем

Валентин КУРБАТОВ — Дмитрию ШЕВАРОВУ

Далеко до Сайгатки

Горн играл что-то очень знакомое.
Вот сейчас подует ветер, распахнется светлая занавеска на окне, и старшая пионервожатая крикнет: «Ребята, вставать, побудка!..» С крайней кровати спрыгнет дежурная в голубой майке и трусах и побежит вдоль одинаковых, с блестящими шишечками, кроватей; будет сдергивать с сонных девочек одеяла, щекотать пятки... А горн заиграет ещё звонче и радостнее: «Вставай, вставай!..»

А.Перфильева. «Далеко ли до Сайгатки?»

Когда Валентина Яковлевича спрашивали о любимых книгах детства, он неизменно называл повесть Анастасии Перфильевой «Далеко ли до Сайгатки?». Это была первая книга, которую первоклассник Валя Курбатов взял в Чусовской библиотеке имени Пушкина.

О книге он помнил лишь то, что на обложке была нарисована девочка. Как её звали и что с ней происходило — забылось.

Однажды я нахожу книжку Перфильевой у нас на даче, в деревне. Сильно потрёпанная, пожелтевшая, но та самая. Правда, издание не послевоенное, а 1972 года.

Я тут же звоню Валентину Яковлевичу и радостно сообщаю, что при первой оказии могу передать ему заветную книжку.

К моему удивлению, он со вздохом отказывается. Потом я догадываюсь — почему. Память о девочке с обложки была так свежа и горяча, что даже имя её стало лишней подробностью.

А девочку из повести звали Варей.

Давно проверены горькими утратами ахматовские строки:

Шеваров Дмитрий Геннадьевич родился в 1962 году в Барнауле. Окончил Уральский государственный университет им. А.М.Горького. Автор книг для взрослых и детей. Лауреат литературных премий «Ясная Поляна», Горьковской, им. Александра Невского, поэтической премии Antologia журнала «Новый мир» и др.

Курбатов Валентин Яковлевич (1939—2021) — советский и российский литературный критик, литературовед, прозаик. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии РФ.

Редакция «ДН» благодарит Сергея Биговчего и издательство «Красный пароход», где выходит книга Валентина Курбатова «Среди писателей: Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания», за предоставленную возможность опубликовать корпус писем к Дмитрию Шеварову.

Когда человек умирает,
 Изменяются его портреты.
 По-другому глаза глядят, и губы
 Улыбаются другой улыбкой...

Да, изменяются, и ещё как изменяются. Но что изменяются слова, книги, письма — об этом я, кажется, раньше не знал. Увидел это лишь после ухода Валентина Яковлевича.

Те же слова, на тех же страницах — а читаются как впервые. Может быть, беда меняет наше зрение, останавливает взгляд на тех строках, которые раньше мы легко и снисходительно пробегали. Спадает пелена.

А может, это несчастная особенность нашего русского чтения. Чтение начинается у нас после ухода автора, будто автор своим живым присутствием чем-то мешал нам вникнуть, вчитаться, заслонял нам свой же текст.

Так ведь было и с Пушкиным. У нас всех читают *потом*.

* * *

Пишу о Валентине Яковлевиче в дни, которые про себя называю «курбатовскими», — конец сентября, бабье лето, листопад такой, что кажется, само солнце шелестящими ручьями стекает на землю.

Таким обычно был день его рождения — 29 сентября.

Появившись на свет в зените тёплой осени, он всю жизнь раздавал свет и тепло.

Многие считали, что исток его неистощимой светлости, приветливости и весёлости — в его природном актёрском даре.

Не думаю, что это так. Можно сыграть храбреца, богача и даже мудреца, но нельзя сыграть счастье. Нельзя притвориться влюблённым или милосердным.

И не так уж часто он сыпал шутками. И не всегда был вдохновенным и общительным.

Я видел его и в глубокой печали, и в тяжёлых раздумьях, и в горе. Наверное, поэтому сейчас, читая воспоминания о Курбатове его коллег, я не всегда узнаю его. В том нет вины вспоминающих. Просто я знал другого Курбатова — застенчивого, грустного, умеющего беседовать в молчании.

Таким он был со мной, быть может, потому, что нас более связывали потери, чем обретения. Особенно нас сблизил внезапный и ранний уход Гены Сапронова¹.

Очень благодарен Валентину Яковлевичу, что со мной он был именно таким: сосредоточенным, серьёзным. Он откуда-то знал, чувствовал, что слишком смелая шутка может меня оттолкнуть.

Каждый, кто прочитает его «Дневник», почувствует, как одинок был человек, казавшийся кому-то из собратьев-литераторов чуть ли не балагуром.

* * *

Отношения наши были счастливо ровные, а с моей стороны поначалу ученические, робкие. Долго я не решался к нему приблизиться. Мешало не только бесконечное почтение, которое я к нему испытывал и испытываю по сей день, но и само время (конец девяностых и начало 2000-х), которое будто взялось оборвать все былые связи между людьми и не дать состояться новым: взрывы домов, «Норд-Ост» и другие ужасы.

Так что мы переписывались с Валентином Яковлевичем уже года три-четыре, а всё не виделись ни разу. Вот и моя жена Наташа с ним познакомилась, а я, получалось, уклонялся от встречи, опасаясь, что нам не дадут поговорить, что,

¹ Сапронов Геннадий (1952—2009) — иркутский журналист, друг и издатель книг В.Астафьева, В.Распутина и многих других писателей (книжная марка «Издатель Сапронов»).

познакомившись заочно, в письмах, мы не узнаем друг друга при встрече. Думалось, что вот на бумаге-то, в письмах, я ещё могу быть интересен Курбатову, а в живой-то беседе непременно разочарую.

Но оказалось, что умной беседы от меня он вовсе и не ждал. Не через слова он сходил с людьми, а как-то иначе: через рукопожатие, глаза, интонацию, в которой он прочитывал что-то родное себе и близкое.

В ту первую встречу нам удалось лишь обняться, и мы сказали друг другу всего по несколько фраз, а потом началось какое-то собрание, и мы лишь изредка переглядывались. Валентин Яковлевич ободряюще посматривал на меня.

Так мы и сошлись — лишь переписываясь, а потом заговорщицки переглядываясь в редкие встречи, которые были на людях, часто в обширных залах. А заговора-то никакого, конечно, не было. Было зарождавшееся дружество, наша солидарность в каком-то важном деле, которое таинственно свершалось.

Взгляды иногда говорят о взаимопонимании больше, чем разговоры по душам до утра. Ведь и слова устают быть словами.

* * *

А знакомство наше началось зимой 1996—1997 годов с моей заметки в «Комсомолке» — ещё в той, где не было полуголых красоток, но которую читали почти в каждой семье. Заметка была о новинках толстых журналов: о рассказах Валентина Распутина и Бориса Екимова, статьях Валентина Курбатова.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» Газетная заметка в какие-то сто строк подарила мне встречи и с Екимовым, и с Курбатовым, а потом и с Распутиным. Вскоре после выхода газеты я получил от них неожиданные весточки.

Все трое писателей были тогда выброшены из литературной жизни. О них редко вспоминали, хоронили заживо. Особенно доставалось Валентину Григорьевичу Распутину. Вслед за ним и Курбатов с Екимовым попали в разряд «противников демократических перемен». Вот почему упоминание их имён в центральной газете (и в самом положительном контексте) стало в ту пору, смею думать, маленькой радостью для гонимых писателей.

На адрес редакции пришли посылка с книжкой и письмом от Бориса Петровича Екимова. Потом письмо от Валентина Яковлевича Курбатова. Он пригласил меня в Псков. Мы условились, что я приеду в майские праздники, но что-то помешало мне вырваться.

А вскоре от Курбатова пришла бандероль. Там была книга Валентина Яковлевича о его заветном друге художнике-графике Юрии Селивёрстове. На титульном листе я прочитал: «Пошли Бог сил и Вам, Дмитрий, послужить отечественной мысли, как герой этой книжки — с той же любовью и ответственностью. Вал. Курбатов. 29 ноября 1997 г.»

Той осенью я ушёл из «Комсомолки», потеряв должность обозревателя, высшую для пишущего журналиста. Поступок, очевидно, мальчишеский, несолидный для тридцатитрёхлетнего человека, но иного способа протеста против того, что происходило в родных стенах редакции, я не нашёл. Запальчиво думал: попробую начать жизнь с чистого листа. Таким чистым листом для меня стала газета «Первое сентября» (первое в России негосударственное педагогическое издание, созданное Симоном Соловейчиком).

Конечно, от былого материального благополучия, хотя бы и относительного, не осталось и следа. Последние сбережения испарились после дефолта. Семья бедствовала. Впереди были ещё многие годы балансирования между бедностью и нищетой.

Рассказываю обо всем лишь потому, что без этих подробностей не понять, в какой момент появился в жизни нашей семьи Валентин Яковлевич и почему такой

вдохновляющей поддержкой было для меня его благословение «послужить отечественной мысли».

На примере Курбатова я вскоре понял, каково это — служить отечественной мысли.

За свою независимость от сильных мира сего и незапятнанную честь Курбатов расплачивался бедностью. Помню, как, приезжая в Москву, Валентин Яковлевич обегал издательства и редакции, которые со скрипом печатали его предисловия, очерки и статьи, но вот гонораров не торопились платить. Это был мучительный и унижительный марафон.

А ведь до Москвы ещё надо было добраться. В какой-то момент автобус из Пскова стал дешевле плацкарта, и Валентин Яковлевич поехал на нём. Позже он — как всегда с юмором — рассказывал, что утром псковский автобус на подъезде к столице уткнулся на МКАДе в бесконечную пробку. Автобус тащился как черепаха, а потом и вовсе встал. Тогда Валентин Яковлевич попрощался с попутчиками и пошёл в Москву пешком. Шёл несколько часов вдоль дышащей бензиновым смрадом трассы, пока не добрался до станции метро.

Вот оно, служение отечественной мысли. О многом передумаешь на таком пути.

Тут к месту вспомнить, что понятие *отечественной мысли* намного шире понятия *философии*. У нас это всякое глубокое думание, размышление, которое ставит себе задачей поиск истины (но вовсе не обязательно — прикладной пользы или национальной выгоды). Мысль отечественная — значит родившаяся здесь, в Отечестве, выстрадавшая на поездах и вокзалах, на просёлках и грядках, в лесных скитах и в суеде городов.

За мысль у нас приходится страдать, особенно когда государство никак не может приспособить её к своим интересам, а общество за барабанной дробью пропаганды не способно расслышать флейту одинокой думы.

То, что гуманитарные науки стали сегодня служанками в администрации президента, унижительно переживать стране, которая дала миру Чаадаева и Герцена, Хомякова и Ивана Аксакова, Достоевского и Толстого, Флоренского и Семёна Франка...

К счастью, мысль нельзя запереть в кладовке — она как Дух Божий, всегда дышит, где и когда хочет. И русская мысль, как и русская литература, потому-то так и любима человечеством, что наши мыслители чувствовали себя не только детьми своего земного отечества, но и сынами отечества Небесного.

Простите за это отступление, но оно имеет прямое отношение к судьбе Валентина Курбатова. По складу ума, дивно разностороннего, пронизательного и тонкого, Валентин Яковлевич был мыслителем, причём на редкость универсальным и открытым. Он прекрасно разбирался в широчайшей палитре как русской, так и европейской философии, литературы, богословия. Искал и находил переклички. Сближал имена, которые мог сблизить только он.

Это разноязыкое и разномысленное интеллектуальное богатство он старался поверить твёрдым, неуступчивым христианством. Валентин Яковлевич всегда помнил, что за яркостью обложки может скрываться соблазн. Ему важно было понять, какого духа то или иное произведение.

И если книга не проходила этой проверки, он старался не писать о ней, а чтобы не писать, — уклонялся от просьб издателей и редакций. Говорил просто: извините, не по сердцу мне эта книга.

Роль арбитра даже в литературных спорах он никогда на себя не брал. Его мнение, его тон всегда были примиряющими.

А это самое трудное в России — примирять непримиримых. Всегда проще примкнуть к одной из противоборствующих сторон. И не так уж важно, с кем ты — с белыми или красными, нигилистами или консерваторами, с демократами или патриотами, — важно, что ты не один.

А если один? Если ты не согласен и с согласными, и с несогласными? Если ты «свой среди чужих и чужой среди своих»?..

Не раз мне доводилось слышать о том, что у Курбатова «нет принципиальной позиции», что он «и нашим и вашим», что он «экуменист и либерал». Много глупостей говорил, а он терпел и с теми, кто так говорил, не ругался.

Валентин Яковлевич ведь не только в литературе, но и в жизни вечно кого-то примирял, увещевал, кого-то перед кем-то защищал, оправдывал, умолял простить.

Какой трудной была его дружба с Астафьевым! Виктор Петрович часто рубил с плеча, обижая подчас невиновных, близких ему людей.

Валентин Яковлевич был, мне кажется, единственным, кроме Марии Семёновны, кто столько претерпел от Виктора Петровича, но при этом любил его, а потому прощал бесконечно.

Вообще распри между близкими ему писателями приносили Курбатову много огорчений и боли. Каждый ведь стоял на своём, считал себя абсолютно правым, а свои эмоции сбрасывал на Курбатова. И Валентин Яковлевич, вместо того чтобы сказать «чума на оба ваши дома» или что-нибудь в этом роде, — упрямо продолжал убеждать противников примириться.

* * *

...И всё-таки Валентин Яковлевич был счастливым человеком.

Он застал эпоху, когда люди читали не только книги, но и *о книгах*. Вокруг тех или иных любимых книг складывались человеческие привязанности, симпатии, а то и дружбы. И великая плеяда пишущих о книгах была известна всей стране: Андрей Турков, Игорь Золотусский, Лев Аннинский, Игорь Дедков и, конечно, Валентин Курбатов.

От своих собратьев по цеху, литературных критиков, Курбатов прежде всего отличался стилем. Округлый, густой, с лёгкой сердечной задышкой, стиль Курбатова всегда узнаваем и без подписи. Не так важно было, о чём он писал — о писателях, о художниках, о древних монастырях и новых течениях в кино, — читали *Курбатова*.

После ухода Валентина Яковлевича в память о нём открылась «Школа литературной критики имени В.Я.Курбатова». На самом деле такая школа возникла сама собой ещё лет сорок назад.

Помню, как в Вологде мы с моим другом и коллегой Андреем Смолиным забегали перед работой на главпочтамт, где в абонентском ящике № 12 нас ждал ворох газет и журналов, выписываемых редакцией нашей «молодежки». Андрей всегда особенно ждал свежего номера журнала «Москва». Однажды я, куда больше ценивший «Новый мир», спросил: «А что там такого?» — «Курбатов!» — коротко и многозначительно ответил мой начитанный товарищ.

Тогда, в середине 1980-х, у Курбатова появилась в «Москве» своя рубрика, которая и стала для многих будущих литераторов первой школой. Через десять лет Андрей Смолин окончил Высшие литературные курсы и вырос в одного из лучших на Русском Севере литературных критиков.

В 1980-х нам, конечно, было неведомо, что столь очаровавший нас курбатовский стиль — то суровый и строгий, то величавый и цветистый — был результатом долгой жизни Валентина Яковлевича в Церкви, плодом послушания чтеца, которое он много лет нёс в разных храмах Пскова.

* * *

О чём бы ни писал Курбатов, он всегда оставлял место для тайны. Не всё должно быть объяснено и разложено по полочкам. Читатель лишь тогда полюбит книгу и потом возьмётся её перечитывать, если он выйдет из неё с ощущением непостижимости тайны творения.

Курбатов пытался увлечь читателя этим детским чувством. Так он обнимал их вместе — книгу, автора и читателя. За полвека такого душевного труда интуиция его развилась до провиденциальной, до той опасной черты, к которой Господь допускает лишь самых верных своих детей.

Наши последние телефонные разговоры были горше некуда. Не буду говорить о личных бедах, которые занимали тогда наши сердца и мысли, но кроме горестей домашних Валентина Яковлевича одолевали предчувствия, которые не назовешь иначе как апокалиптическими.

В одном из последних разговоров Валентин Яковлевич посоветовал мне непременно прочитать «Записки сельского священника» Жоржа Бернаноса.

Я, к стыду своему, застрял на десятой странице этой книги...

* * *

Память непоследовательна. Она посылает нам только какие-то вспышки. Они на мгновение что-то осветят — причём не всегда главное, — а потом опять сумерки.

Вот первая наша встреча. Идёт собрание книгоиздателей. Предоставляют слово Курбатову. После шуток и приветствий странно видеть его глубоко сосредоточенным, почти отрешённым. И говорит вдруг он странные слова, совсем не относящиеся, казалось, к «повестке дня». За окном безумная Москва, где смешались машины, люди, огни реклам, а Валентин Яковлевич произносит собранно, чётко, но будто размышляя наедине с самим собой: «Нынче подступают такие сроки и такой возраст, что надобно бы только просить у Бога о безболезненной, непостыдной и мирной кончине...»

Всё, что он говорил дальше, было уже возвращением к мирской «повестке дня» и в памяти стёрлось.

Остались только первые слова, первая минута, когда все вокруг притихли. Одни, наверное, досадовали: зачем и к чему светскую беседу начинать с напоминания о смерти, не лучше ли такие вещи оставить церкви. А кто-то — такие, как я, неопиты, — вдруг как впервые услышали эти пронизанные светом слова из просительной ектении, где возносится: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим».

Не уверен, что на литургии в храме я бы так был пронзён этими словами. Скорее всего, я бы упустил их, ведь рассеяние, увы, часто настигает нас именно там, где надо ловить каждое слово.

С тех пор, когда заслышу на литургии «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...», ум мой просыпается, и я с каким-то радостным предвкушением жду тех самых слов о безболезненной, непостыдной и мирной кончине, которые поселил во мне четверть века назад Валентин Курбатов.

А каким замечательным прошением завершается эта молитва: «Даждь и мне пред кончиною моею видети вокруг себя отраду сердца моего: в детях, в знаемых, в ближних...»

* * *

Очень жалею, что Валентин Яковлевич не побывал у нас дома, не выбрался. Наш дом он однажды увидел только из иллюминатора самолета. Как-то ясной осенью, когда с нашего восьмого этажа видно далеко окрест, мне позвонил Гена Сапронов. Я услышал на дальнем плане стук колёс. Гена сказал:

— Подойди к окну. Видишь электричку?

Как раз в эту минуту электричка яркой гусеницей проползала на горизонте.

— Видел электричку?

— Видел, а что?

— А то, что в ней мы с Валентином Яковлевичем. Вот он, рядом. Едем в Шереметьево, улетаем в Иркутск.

* * *

Сон. Валентин Яковлевич — изящный, высокий, весёлый. Мы в Вологде. Я ишу ему подарок на память о Вологде. В Доме книги на улице Мира (его там давно нет) — букинистический отдел. Выбираю и не могу выбрать — какую же книжку подарить. Вдруг вижу старинный кожаный портфель. Он тоже почему-то там продаётся. И тут оказывается, что Валентин Яковлевич опаздывает на теплоход; я покупаю портфель, и мы бежим к пристани. Теплоход уже отошёл и на наших глазах скрывается за поворотом реки. Мы бросаемся за теплоходом в погоню на моторке. Брызги в лицо. И через весь сон — азарт, свет, музыка, ускользящая радость.

* * *

Я имел счастье быть рядом с Валентином Яковлевичем в дни его 80-летнего юбилея. Видел, как любят его в городе, как собираются вокруг него сотни людей, как они греются рядом с ним. Я понял, что никакого дружеского преувеличения не было в словах Саввы Васильевича Ямщикова: «Курбатов — стержень, на котором в значительной степени держится культурная жизнь Пскова».

Собираясь к Валентину Яковлевичу, я положил в чемодан нашу давнюю с ним работу — маленькую, как молитвенник, антологию русской поэзии «Тихая пристань» (я эту книжку составлял, а он написал к ней предисловие). Думаю: наверняка мой соавтор давно раздал свои экземпляры и у него такой книги не осталось. Так и оказалось.

Уже дома я получил от Валентина Яковлевича письмо: «Смешно, что я, оказывается, и забыл, что писал предисловие к “Тихой пристани”. Перелистнул первые страницы, увидел подпись “Дмитрий Шеваров” и взялся читать и только кричал: Господи, неужели мы так похожи мыслью и словом, и я, и я бы думал так же и чуть не теми же словами — и завидовал, что не моё. А дочитав, увидел свою подпись, а Ваше шло потом “От составителя”, — это я просто сначала не там пролистнул. И ещё раз улыбнулся, что у нас одно сердце...»

* * *

А теперь оставлю вас наедине с письмами Валентина Яковлевича. В них он выразил себя наиболее полно и прежде всего как верный друг, заботливый старший брат по русской словесности.

Помню, как Савва Васильевич Ямщиков поведал такую историю. «Почти десять лет я пролежал лицом к стене в страшной депрессии, врачи на меня уже рукой махнули. Многие приятели тоже. Редко кто звонил, и ящик почтовый часто пустовал. А Валя все эти крошечные годы навещал меня и, главное, — писал мне письма. Писал, годами не получая ответа. И я встал от одра болезни!..»

Вот какая сила у курбатовских писем.

Ограничусь теми, что написаны по старинке, — на бумаге (иногда на открытках). Валентин Яковлевич так это любил — жёлтый круг от лампы, а в этом кругу — листочки особенной почтовой бумаги, конверты, карандаши и ручки — и сумерки за окном.

До последнего часа ему казалось, что посылать человеку электронное письмо неучтиво, а в дружбе и вовсе обидно для адресата. Поэтому уже в компьютерной переписке Валентин Яковлевич часто извинялся, что вот не устоял, соблазнился скоростью и простотой. И параллельно с электронными письмами продолжал писать

бумажные, от руки. В какой-то момент в моду вошли гелевые ручки, и несколько лет Валентин Яковлевич писал ими, не ожидая подвоха. Сейчас эти письма разобрать труднее, чем рукописи XIX века: гелевые чернила испарились, оставив лишь слабые контуры букв. Спасибо, что на помощь мне пришла монахиня Софрония (Алексеева) из Ермолинского монастыря (Ивановская область), давний читатель и почитатель Валентина Курбатова. Матушка Софрония помогла и разобрать, и набрать столь драгоценные для меня послания.

Валентин Яковлевич знал, как роднит нас с Пушкиным бумага: бумажные рукописи, бумажные книги, бумажные письма.

Всё на свете менялось, а бумага оставалась. Теперь вот и эпоха бумажных писем ушла.

Неужели навсегда?

Дмитрий ШЕВАРОВ

«У нас одно сердце...»

Письма Валентина Курбатова Дмитрию Шеварову

...Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдёт, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью...

А.С.Пушкин

I

Псков

17 мая 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Хорошо, что Вы не приехали в начале мая. В первый день Пасхи, в свой день Ангела, у меня умерла мама, которая была для меня всем светом и утешением. На Радоницу было девять дней. Всё это не дало бы мне возможности увидеть Вас как следует.

Спасибо за статьи, которые я прочитал с острым чувством нежности, благодарности, духовного родства, почти братства и тонким чувством печали, что сам не решался быть таким открытым и не знал такой чистоты слога и бесстрашия перед расчётливым нынешним читателем!

Братство было в ледоходах, гербариях, желании быть с детьми — «ниже травы», даже в наших, наверно, повсеместных провинциальных детских планерах, которые тоже не очень давались мне. И есть у меня карточка, где я классе в третьем как раз в таком кружке.

Теперь мне будет легче ждать Вашего приезда, хотя летом время обыкновенно бестолково. Сейчас я уеду на три дня в Петербург, оттуда на минуту в Москву, а там, м.б., в Оренбург, чтобы вернуться в Псков к Пушкинскому празднику — первого июня. А потом пока никаких планов. Пошли Господь скорого поправления Вашему папе!

Что до «Сельского учителя»¹, то дело это прекрасное, учителя ухватятся, ибо они и правда брошены всеми на свете (часто даже учениками, влекущимися к совсем не деревенским и даже не русским ценностям). Чем могу, буду стараться помочь.

Храни Вас Бог, Дмитрий! Надо удержать в себе «Митину любовь»² во что бы то ни стало, — это теперь дело потяжелее других.

По-братски обнимаю Вас.

Ваш В.Курбатов

¹ «Сельский учитель» — несостоявшийся проект газеты, приложения к «Первому сентября».

² «Митина любовь» — авторская страница Д.Шеварова в «Комсомольской правде» в 1995—1997 годах.

2

Псков

6 июня 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Меня беспокоит, что там с Серёжей Поповым?¹ Я не удосужился узнать его домашний адрес и даже не могу написать. Коли увидите, скажите, что я молюсь за него и надеюсь, что он скоро выберется и мы сойдемся не для одних деловых разговоров. А про приложение к «Первому сентября» Вы вдруг замолчали. Сорвалось? Или нашлись другие предложения? «Общая газета» не худшее из них, тем более что там, как я знаю, не надо каждый день быть на работе.

Тут главное не пропустить критической отметки, а то дома-то сидеть оно очень отраднo. Втягиваешься, как я, грешный, с 1978 года, и уж ни в какие казённые оглобли не загонишь, а денег-то и нет, а зарабатывать, кроме тебя, некому. Нет, уж лучше впрягаться да ехать, пока ритм не потерял и пока силы есть. Сейчас я бы уж вот и рад где-нибудь послужить, а уж сил нет, казённое чутье утеряно, и душа уже сама по себе вольничает и не знает управы.

Поклон милой Вологде, когда поедете, а в ней Романову, Ширикову, Оботурову и Белову², которые в сердце и памяти и которых люблю.

Обнимаю Вас.

Еще раз поклон Сергею Попову.

Ваш В.Курбатов

¹ Сергей Степанович Попов, ответственный секретарь журнала «Смена», в тот год тяжело болел. Публикуя очерки и статьи Валентина Курбатова, Попов тем самым поддерживал его в самые трудные годы.

² А.Романов, В.Шириков, В.Оботуров и В.Белов — вологодские писатели.

3

Псков

5 августа 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Где-то идет потихоньку жизнь, проводятся «чтения» — Шаламова вот поминали. На Валдае будут поминать М.О.Меньшикова и С.А.Нилуса. Везде бы поспеть,

потому что везде собираются добрые люди, но какое уж поспевание, когда, как писал Ваш земляк, «стукнул по карману — не звенит, стукнул по другому — не слышать»... Хорошо вот выпала оказия побывать в недалних Горках, где жил покойный публицист Васильев и где будет работать с этого года мой окончивший институт сын-биолог. А потом подвернулась оказия в Михайловское. И хоть бываю там не менее раза в месяц, а то и побольше, а всё не наглядеться и всё привыкнуть нельзя — ходишь не находишься, пока не наткнешься на кого-нибудь из сотрудников. Ну, а уж тут сразу раздражение, речи о погибели, взаимные обвинения и плохо скрытая внутренняя истерика, — одно слово — «Заповедник».

Осень обещается быть непоседливой. Распутин зовет в Иркутск, в октябре предполагается Екатеринбург, в ноябре — Пермь, но всё, конечно, вилами на воде (почему это непременно вилами? — не пойму). А уж сил-то, даже если все приглашения придут, немного, и уже начинаешь искать повода уклониться: глазами-то бы всё «съел», а как до дела дойдет — лень до вокзала идти. И от работы стал уставать — всё меньше остается желанного, чтобы «руки чесались». Всё через силу, хотя «чужих» и противных сердцу авторов не беру (тут я вовсе никакой не критик, потому что ругать, кажется, вообще никого не ругал, предпочитая нечистое сочинение обойти молчанием, а говорить только о тех, которые милы душе, — и не от трусости, а от сознательного выбора света, которого недостает душе).

А вот теперь и об утешительных говорить не хочется. Тянешь из себя слова, тянешь, а они всё не те, всё какая-то мякинная приблизительность. Вот от этого и усталость.

С работой всё устоялось? Остаетесь в «Комсомолке»? Ну и хорошо, перемены всегда что-то отнимают.

Кланяйтесь Серёже Попову.

Ваш В.Курбатов

4

Псков

13 сентября 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Спасибо и за «...архив»¹, и за Мелихово. Сам я для «...архива» навряд что найду, но посмотрю по «Псковской правде», где мелькают домашние «истории рода», — авось что из тамошних историй окажется близко.

Ездил в Ясную Поляну на «Встречи», которые второй год проводит Владимир Ильич Толстой. Пытается «умирить стихии», скликая, как сейчас, — Распутина, Бородина, Бондаренко и Кима, Маканина, Алешковского, чтобы, гуляя по яснополянскому «прошпекту» — в сияющих березах или в любимых Львом Николаевичем «Клинах», — изживали потихоньку раздражение друг на друга. Проку не много, но всё не без пользы.

Меня же пленило Поленово — духом дома, духом места, такое всё родное.

А для Вас какая была бы славная тема — нынешнее поколение Толстых. Наших, русских. У них у всех как-то разом поумирали отцы и лежат сейчас в Кочаках, на родовом кладбище, под одинаковыми бедными крестами. Кончились правнуки, пошли праправнуки. И вот они-то все Вашего возраста, хоть те, что были в эти дни в Ясной — Илья Ильич, Владимир Ильич, Пётр Олегович, — чудно родные и ласковые друг к другу («братец!») и могли стать героями простого рассказа «Братья».

Веет в них какая-то отчётливая, светлая, ясная надёжность. Подлинно — их «сиятельства», — так светло с ними.

В Москве я был чуть больше половины дня, бегал по редакциям, выпрашивал заработанные деньги и насилу что-то выклянчил, звонил Серёже Попову уже на ходу из автомата.

Теперь уж я точно знаю, что в Москве повидаться нельзя — всё на бегу.

Будем надеяться на встречу здесь.

Спасибо, Дмитрий!

Сердечно Ваш В.Курбатов

¹ «Домашний архив» — авторская страница Д.Шеварова в газете «Первое сентября», выходящая в свет с 1997 по 2014 год.

5

Псков

29 ноября 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Вот вышла вдруг (именно вдруг, потому что я всеми силами отнекивался и, казалось, склонял издателей отказать) моя давно и безнадежно опоздавшая книжечка о Ю.И.Селивёрстове¹.

Такие книжки ещё имеют смысл тотчас по написании, а уж потом торопливое время, меняясь ежеминутно, отнимет у них правду и необходимость. Так что я более расстроился, чем обрадовался, хотя такая нарядная у меня эта книжка первая.

Оправдываюсь тем, что авось кто-то внимательнее взглянет на Юру, на его дело и тем ещё подержит память его на Земле, потому что он этой памяти стоит.

Серёже не посылаю книжку, потому что надеюсь привезти сам (хотя и не знаю когда). Я не знаю его домашнего адреса (потерял по рассеянности), а на редакцию посылать неловко, словно в чужие руки отдавать.

Только что вернулся из Омска, с пленума Союза писателей России. Всё было обыкновенно: разговоры, пиры да балы. Губернатор закатил приём, какого, вероятно, и Колчаку не устраивали, — в огромном Дворце бракосочетаний (кого с кем?). Наяривал свиридовскую «Метель» ансамбль скрипачей, полсотни голоплечих девиц в длинных белых платьях прямились с одной стороны, полсотни юношей во фраках — с другой. Гардеробные отроки были в треуголках, камзолах и белых перчатках, так что нам было неловко подавать им наши рубища.

А уж что ели и пили, и сказать не могу. Слов не знаю. И юноши с девушками танцевали полонез и мазурку, и пели разные певцы, а за окном стояла ночь и оскудение, и два храма на миллионный город, и хлопали дверями брошенные коровники вдоль дорог, и дымился полыньями обмелевший, перехваченный в Казахстане плотинами Иртыш, и разбивались лесовозы на разбитых дорогах...

В общем, всё было как везде — будни и будни...

Обнимаю Вас.

Ваш В.Курбатов

¹ *Курбатов В.* Юрий Селивёрстов: судьба мысли и мысль судьбы. — Псков : Отчина, 1997.

6

Псков

18 декабря 1997 г.

Дорогой Дмитрий!

Спасибо за как всегда чудно доверчивые и светлые страницы «Домашнего архива», — так бы и вставил туда милые письма ко мне В.Д.Берестова, где всё полно светом, и любовью, и детской улыбкой. Или письма сибирского, туруханского, молодого Тарковского о ледоставе на Енисее, о тайге, одиночестве. Но ведь это письма, и надо советоваться с адресатами, а им будет неловко.

Что до «месяца в деревне», то я спрошу тут в одном месте неподалеку от Пскова, у директора сельской школы, который живет один и, Бог даст, будет рад живой душе рядом. Село бедное и красотой, и хозяйством, но тем, может, как раз и необходимо для разговора. А хозяин уж так любит слово и так чувствует красоту, что и его душе — утешение. В общем — спрошу. Есть и ещё один дом, но там лучше бы Вам постучаться самому — слышал-де, нельзя ли погостить. Это на севере области в Плюсском районе, где жила писательница Ал.Алтаев и многие иные добрые люди; дому 200 лет, там музей, а возглавляют его святые и ещё молодые по нашему времени люди — 40 лет. У него было 20 операций, и он годы провел в больницах, он директор музея, а она — выпускница Тартуского университета. Живут уж скоро 20 лет, спасли и музей, и церковь рядом — сами в ней всегда пели и читали со своими детьми.

Сам бы написал о них, да они друзья, неловко. А материалу на светлую книгу. Вот адрес:

181023 Псковская область

Плюсский район

п/о Лосица, дер. Лог

музей Ал. Алтаева

Виктор Алексеевич Лукьянов

Татьяна Николаевна Степанова

10 января должно быть «5-е колесо» по 2-й программе. Они там будут. Вот-де, мол, поглядел — заинтересовался. Про меня ни гу-гу, будто и не знаете.

Там всё будет для Вас праздник, и радость душе, и утешение сердцу.

С Новым годом! Света Вам и покоя.

Ваш В.Курбатов

7

Псков

9 марта 1998 г.

Спасибо, Дмитрий!

За Свиридова, за Башлачёва. Последнего мне понять уже труднее, хотя умом я вполне слышу его и на пластинке, которая у меня есть, и в стихах, но уже только умом. Восьмидесятники с их срывом, ожесточением, горьким неверием и тоской по вере — это уже непостижимая ветвь нашей традиции. Мы-то худо-бедно как-то успели зацепиться за почву и могли и в совершенной пустыне устоять даже и на этом тончайшем слое, а тут уже земли совсем нет — только знание, что она должна быть, и оттого это бессилие.

Если соберёте книжку и необходимость в предисловии не отпадёт, я с радостью напишу, как умею, спасаясь мыслью о том, что это всё равно никто не читает¹. Странный жанр: столько требует сил, а уходит в песок. Я уж вон сколько писал — к Нагибину, Окуджаве, к Личутину, несколько раз к Астафьеву и Распутину, и всё это полегло в совершенной немоте и ненужности. А я, дурак, ещё и пишу их так, что напрямую связываю их с книгой, так что отдельно их не напечатаешь, и тогда, грешный человек, вздыхаю и жалею, потому что были среди них и хорошие: к последнему незаконченному собранию сочинений Астафьева в «Молодой гвардии», к окуджавовскому «Путешествию дилетантов», к личутинским «Скитальцам».

Да оно так, всё ушло в песок без следа, как последняя книжечка о Ю.И.Селивёрстове. Вроде разошлась, а, кажется, как всё теперь, положили на полку и позабыли. Мы теперь с большинством книг так: брать-то берем, а читать забываем — потом как-нибудь, как будто не знаем, что никакого «потом» не бывает.

Я за это время съездил в Тюмень, поглядел, как строят «духовность» богатые нефтяные дяди и что они под этим понимают. Оказалось — обыкновенную салонную пошлость, как на изломе века. Ряженье и имитация. Только и было утешения, что снега и морозы.

Ваш В.Курбатов

¹ Книга Д.Шеварова «Жители травы» с предисловием В.Курбатова вышла в 2000 году в московском издательстве «Воскресение».

8

Псков

23 июля 1998 г.

Дорогой Дмитрий!

Кажется, я уже не могу вернуться к предисловию. Во всяком случае сейчас. Разом, кажется, без причины потемнела душа. Вы, наверное, тоже знаете это состояние, когда тёмные тексты невыносимы, а светлые смущают, как подлог и обман. Такие дни лучше перемолчать, выходить в полях, перестоять в церкви (где тоже душа обыкновенно закрыта, но хотя бы обережена от излишней досады).

Изо всех сил желаю Вашей книге выхода, потому что тьма всё настойчивее заливаает землю, и это уже нестерпимо. Сегодня позвонили из «Дружбы народов» (я писал им, по их просьбе, о книгах И.Клеха, О.Павлова и Ю.Буйды) и сетуют: «Жестковато как-то. Боимся обидеть». То, что авторы не просто обижают, а оскорбляют читателя, журнал находит естественным, а мое право адекватно защищаться от оскорбления — обидным для тонкой душевной организации авторов. Так, очевидно, и будет продолжаться: господа Приговы, Сорокины, Гандлевские будут бесчестить нас, а мы будем корректно говорить, что они «недостаточно тактичны»¹.

Простите, что-то не думается и не говорится — душа молчит.

Ваш В.Курбатов

Журнал напечатал связку рецензий Валентина Курбатова «Дорога в объезд» в № 9 за 1999 год в авторском варианте, сопроводив комментарием от редакции: «Нам показалось интересным опубликовать в этом же номере ответы И.Клеха, О.Павлова и Ю.Буйды на анкету А.П.Николаева “XX век: вехи истории — вехи судьбы”. Возможно, при таком чтении какие-то оценки критика будут подтверждены или опровергнуты, какие-то наблюдения — скорректированы или дополнены, и — уж безусловно — у читателя появится возможность для новых размышлений». — *Прим. ред.*

9

Псков

20 августа 1998 г.

Дорогой Дмитрий Геннадьевич!

Возможно, это совсем не то, чего Вы ждали. В таком случае Вы можете без всякой неловкости заказать предисловие другому автору. Слишком важна первая книжка, чтобы что-то в ней было случайно. Я же, Бог даст, доживу до выхода книжки, и тогда этот текст при небольшой коррекции может стать рецензией — так что работа не пропадет. Поэтому несколько не смущайтесь.

Если же не устроят только какие-то малые частности, смело вымарывайте их. Я боюсь только, когда вставляют свои слова (они и при совершенной красоте иногда оказываются чужими контексту), а сокращения — дело обыкновенное. Тем более что я, кажется, и правда написал многовато.

Жалко, что наше свидание всё откладывается, но зато в сентябре Вы уже, очевидно, можете взять командировку в газете, и мы найдем здесь какое-нибудь её оправдание.

Поправляйтесь и простите, коли что не так, — как-то бесповодно устал за лето, и душа не болит, а скучно томится, что хуже всякой острой боли.

Ваш Вал.Курбатов

10

10 октября 1998 г.

Дорогой Дмитрий!

Буду рад Вам, когда соберётесь. Планов у меня дальних никаких. Вот только обещает Толстой вызвать в Ясную Поляну для вручения премии. Но это будет зависеть от денег, которых у них пока нет. Предполагали в начале ноября, но кто знает. Одним словом, перед отъездом позвоните, и всё будет ясно.

Спасибо за вырезки. Я ни одной из этих газет не видел. Вообще не знаю, писали кто об Ясной и об Овсянке. Тяжело читать себя с магнитофонной записи — этот сбой дыхания, этот сор устной речи. Тут, конечно, вернее иметь основу своих мыслей записанными и отдавать стенографисткам, чтобы не краснеть потом за этот лепет. Читатель-то не знает, что это с магнитофона, а ленивый корреспондент не хочет вмешаться, чтобы убрать все «как бы», «значит» и иные устные неизбежности.

Особенное спасибо за Вашего «Пушкина». Это очень изящный ход — поглядеть письма соответствующих месяцев. Мне жалко будет пропустить остальные. Я хочу отдать их в деревенскую школу чтобы сельские учителя почитали детям, — они там совсем ничего не получают. Так что, если у Вас найдется возможность послать и последующие выпуски «Пушкина», буду очень признателен. Я подобным образом хочу напечатать в местной газете стихи, написанные в Михайловском, чтобы как-то держать «тему» в праздник.

Ваши смущения в «Предисловии» вполне приемлемы — вступление действительно нельзя раздувать. Я думаю, издатель все-таки найдется — потребность в добре день ото дня настоятельнее.

Я пока душой в Овсянке — пишу небольшую статью для «Современника», и опять там, в золотой тайге, на Енисее. Виктор Петрович просил остаться, а я давно

не был дома и отказался. Теперь жалею: когда ещё смогу собраться, а он сейчас посветлее, чем обычно. Закончил собрание сочинений и всюду отдыхает — самое время для простых житейских разговоров. Но одновременно говорить как будто и не о чем. Он сам о себе на все лады переговорил. И о мире тоже. У него ведь другого объекта, кроме себя, нет. Слава Богу, здоров — пусть отдыхает от нашего брата.

А вот Василия Ивановича¹ жаль. Я не знаю его теперешнего вологодского адреса. Надо позвонить Заболоцкому², а там и написать. Все мы редко находим возможность постучаться друг к другу в одинокий час. А художник — он и обидчивее, и чувствительнее, как ни храбрится. И Вы напишите, Дмитрий, — от нас, дальних, слово приветия иногда дороже, чем от близких. Сердечно обнимаю Вас.

Ваш В.Курбатов

¹ Белов Василий Иванович.

² Заболоцкий Анатолий Дмитриевич — кинооператор, друг В.И.Белова.

11

Псков

29 декабря 1998 г.

Дорогой Дмитрий!

С какой радостью я нёс домой Вашу бандероль с чудными сургучными печатями, почти наверняка зная, что там Паустовский. И даже засмеялся, когда открыл и увидел, что это и правда так. И сразу с головой в журнал, в фотографии, в родные лица. Вы там, Александр Михайлович Борщаговский, Галина Корнилова... Она-то, конечно, совсем не помнит меня, а я так очень хорошо помню наши молодые с Ю.Н.Курановым дни, и она меж нами в разговорах. А однажды мы даже ездили вместе в Белоруссию...

И Юра Куранов — какой бородой завесился! И не узнаешь! Как странно развела нас жизнь, словно в параллельных мирах живем, — ни в журнале не пересечься, ни в организации, всё равно что умерли друг для друга.

В этом, наверное, самое большое преступление нашего бесстыдного и бесчеловечного времени, которое оставило свои добрые чувства только для текстов, для презентаций и поздравлений, а уж простое письмо посередине недели — и не жди. Спасибо хоть иногда увидишь вот такое «параллельное» издание и увидишь, что прежние друзья живы и даже работают и пишут как встарь, но в наших текстах начинает проступать такая же чуждость, требующая перевода. Замечали ли Вы, что мы смотрим журналы друг друга («Русскую провинцию», «Ясную Поляну», красноярскую «День и ночь») с таким же изумлением, как смотрели бы журналы Новой Гвинеи, — другая жизнь, другие мысли, другое миропонимание и даже, кажется, разный народ.

Бог знает почему — у меня от этого болит сердце. И я уже не привыкну к этому. Не по-людски это и не по-русски...

С Рождеством Христовым, дорогой Дмитрий!

Слава Богу, оно не имеет отношения к прыгающим числительным напрасно сменяющих друг друга годов.

Рождество — всегда свет, молодая вечность, неизменное детство. Христос на Земле — ВОЗНОСИТЕСЯ. Возноситесь, Дмитрий!

Любви Вам и света.

Ваш В.Курбатов

12

Псков

23 января 1999 г.

Дорогой Дмитрий!

Как всегда при получении «Первого сентября», глаза разбегаются и хочется прочесть всё сразу — и Вашего Дельвига, и Ростову светлую девочку — и ответить на анкету Тарковского (мне она уже не по силам — на некоторые вопросы я могу ответить только на исповеди, но для внутренней проверки она очень хороша).

Если что-то из моего михайловского цикла подойдет Вашей пушкинской полосе — на здоровье. Это было напечатано в «Псковской правде» тиражом в 4 тысячи, так что и в Пскове-то этого никто не видел, не то что на километр дальше. Только боюсь, что у меня это немного угрюмо для Вашей светлой газеты. Впрочем, смотрите сами.

Сейчас я пишу угрюмое (говорят, у Пушкина это слово употреблялось всего один раз — «но ты останься твёрд, спокоен и угрюм», тогда как, к примеру, восклицание, благословляющий союз О! — 400 раз) сочинение на тему «Поэт и чернь», из которого у меня почему-то выходит, что поэт был один, а дальше... только великая литература, всё время ходившая с чернью в опасной близости. Да и не статья это будет, а выступление у нас на театральном фестивале в феврале. Уже предвижу дружный хор сопротивления ожидаемых В.Непомнящего, С.Рассадины, С.Фомичёва и т.д., которые всякий год с изумлением слушают этот провинциальный лепет и ждут, когда же я умру от стыда. Сам умру — без их возражений, потому что «много чести». И который год я клянусь себе никогда больше при них не разевать рот, но устроители так же который год, словно в насмешку, требуют моего участия, и я не смею отказать, потому что это будет выглядеть кокетством. Значит, надо готовиться погибать в очередной раз.

Вероятно, до начала мая я буду в Пскове, и, если Вы надумаете вернуть из Царского, будет чудо и утешение или, как в этих случаях всегда восклицала Ахматова чужим стихом,

И лобзания, и слёзы, и заря, заря!..

Будет возможность умыкнуть в редакции ещё номер-другой «Первого сентября», оно бы хорошо. Дети у меня вырывают из рук и немедленно везут в деревню, а выписать — кошелёк тош. Ну, это я так — простите.

Ваш В.Курбатов

13

Псков

13 марта 1999 г.

Спасибо, Дмитрий!

За лицей, за мою няню, за Юру Роста, за Бажова. Какую живую и нежную газету Вы делаете — один уж, наверное, посреди общего нынешнего безумия. Теперь уж с удивлением глядишь на то, что добрые люди вопреки всему не переводятся, а продолжают думать и жить с прежней беззащитностью.

А я перепечатаваю для псковского издательства письма Семёна Степановича Гейченко своему товарищу — питерскому художнику В.М.Звонцову за 30 лет.

И не перестаю дивиться их свету, озорству, неустанности переписки — иногда по два письма в день. И не наспех, а с шалостью, изобретательностью, иллюстрациями, игрою жанров — послания, нотабены, доношения, рескрипты, жалобы. И то уставом, как какой-нибудь Мисюрь Мунехин, то летучими завитками, как Акакий Акакиевич в минуту вдохновения! Что будет за книжка! Послал бы только Господь сил допечатать её до конца, потому что добрые друзья продали мне за 100 \$ в рассрочку старый компьютер, и я мучаюсь с ним, учась и погибая.

Закончу, буду предисловие писать; авось что и в Ваш «...архив» выберется — как образец дружества и понимания, что дружба — это счастливый труд, но труд и ответственный.

Выбрался на день в Петербург, навестил могилу Валерия Гаврилина, который после смерти Свиридова уже не мог жить и только твердил в мои редкие приезды: «Утешьте меня! Утешьте меня!» С ним ушел, вероятно, последний «избяной» композитор. Остались одни «блочные» и «коттеджные». Как чудесно на его поминках пели его «Русскую тетрадь» и «Военные письма». И как счастливо вспоминали!..

Иногда кажется, что нам уже так не дружить и не светить друг другу, будто мир выстудился и высох.

Спасибо Вам.

Ваш В.Курбатов

14

Псков

6 ноября 1999 г.

Спасибо, Дмитрий, за повесть, за Феллини и Пиросмани. Ах, как я любил писать такие мелодии, выбирая предмет по сердцу! Увы, теперь загнал себя в разные обязательства и сто лет не пишу ничего по движению сердца, а только по человеческим поручениям. Не научился вовремя отказываться, а теперь уж и думать нечего — только поворачивайся.

Сейчас вот пишу предисловие к Марии Семёновне Астафьевой, к её 80-летию. И всякое слово через силу. А потом надо будет писать статью о Т.М.Глушковой (к её 60-летию), а там и вовсе как по минным полям надо идти. 35 лет мы знакомы, и каждое её письмо вызывает во мне смятение своей безжалостной построенностью. Что-то написано курсивом, что-то подчеркнуто, что-то вразрядку — думай только и единственно так: шаг влево-вправо — стреляет на поражение, в чём сумели убедиться бывшие прежде её друзьями, а потом беспощадно вскрытые на глазах читателя Д.Самойлов, В.Кузнецов, С.Куняев, В.Кожин, И.Шафаревич. Она не знает и не приемлет компромисса не в тексте даже, а хоть в тайной мысли. И готова остаться совсем одна, но русского слова не уступит, хотя бы ей отказали все. Да уж и осталась одна газета «День», которая ещё предоставляет ей слово.

Прекрасный урок мужества, но, Господи, какой неподъёмный для моего нехраброго сердца.

А потом Серёже Попову отчет о поездке на Урал по командировке «Смены». Хотел-то сначала в Иркутск лететь на Вампиловский фестиваль и уж билет пошел покупать, а он в один конец стоит 2800 рублей. И хотя обещали заплатить, да тут-то кто мне найдет одновременно такую сумму? И потом, почему-то показалось нехорошо за такие деньги ехать на другой край страны для пустого красноречия перед актёрами, которые никого не слышат, кроме себя. А это красноречие будет пустым, это уж и Распутин предупреждал, хотя он как раз ждал меня там (не на фестивале, а так повидаться).

Вот вместо этого съездил в Чусовой, отвёз землю с маминой могилы на могилу отца и привёз его землю сюда. Это слабое утешение и иллюзорное воссоединение рода, но всё-таки как-то и поспокойнее.

Теперь уж, наверное, буду домоседствовать до самого Рождества, хотя загадывать по нынешним временам трудно — мало мы себе принадлежим.

В Перми улыбнулся надписи на доме: «Ельцин — дурак, а Цой бессмертен». Ну что ж, не поспоришь: глас народа — глас Божий.

Ваш В.Курбатов

15

Псков

31 марта 2000 г.

И слава Богу, Дмитрий, что книжка выходит! Сегодня потребность в человеческом слове особенно остра. Всё так ожесточилось и потемнело, что иногда уж и сомневаться начинаешь, нужно ли вообще кому-нибудь обыкновенное живое чувство и можно ли о нем говорить.

Я вот сейчас писал предисловие к книге В.Д.Пришвиной для ЖЗЛ, так нарочно в деревню уехал, где ни газет, ни телевидения, чтобы можно было писать слово «любовь» без неловкости. Книжка-то вся о том, что у нее, у В.Д., было одно призвание, один дар — любить, и какой он оказался мукой и каким горем и для нее, и для окружающих, пока не пришел М.М.Пришвин. Книга о даре детства и о том, как близко он от церковного порога, от монашества.

Вроде управился. Но как ещё издательство поглядит. Они не по деревням сидят, и у них о любви вполне издательское представление: как поцветистее продать.

В Москве я намереваюсь быть 4 мая на вручении Солженицынской премии В.Г.Распутину. Почему-то мне кажется, что Александр Исаевич позовет меня. Во всяком случае в прошлом году на присуждение такой премии Инне Лиснянской он меня звал, хотя я к поэтессе не имел никакого отношения, а о В.Г. много писал. Вот коли бы к тому времени Ваша книга вышла, то было бы очень славно. А нет, так я оттуда собираюсь к Виктору Петровичу в Красноярск съездить (тоже издатели зовут) и буду возвращаться уже в десятых числах мая. Может, тогда?

Но, как бы ни было, будем ждать и надеяться, что всё выйдет в срок и книжка начнет жить, к утешению читательского сердца.

Пошли Вам Бог света и света! Так его не хватает душе.

Ваш В.Курбатов

16

Псков

28 июля 2000 г.

Дорогой Дмитрий, не поздравил с книгой тотчас только потому, что Вы сказали о своей долгой поездке.

Бог даст, теперь уже скоро вернётесь и письмецо встретит Вас.

Какая же славная вышла книжка и какая похожая в своей нежной чистоте на своё содержание. Скажите художнику самые высокие слова благодарности. Книжек-то нарядных нынче много, но вот таких согласных духом и лицом по-прежнему единицы.

У меня уж их обе читают. Одну я назначил областной библиотеке, да боюсь, исчитают всю ещё до того, как доберется до библиотеки. И слава Богу — пусть греются в её свете.

А я собираюсь в Красноярск. Исполняется 80 лет жене Виктора Петровича Астафьева Марии Семёновне. Она выпустила толстенное своё избранное (800 стр.) с моим предисловием и просит, чтобы я представил книжку в их библиотеке. А билет-то в один конец стоит пять тыщ триста, что при моих 530 р. пенсии как раз на десять месяцев складывания в копилку. И хоть говорит, что заплатит, а я всё равно не понимаю. У них что, своих рядом никого нету, кто бы мог сказать о её добром даре соответственные слова, что надо «выписывать» из такой дали? Хотя, конечно, и рад возможности повидать и её, и Виктора Петровича, и Енисей, к которому за многие годы привязался, и Овсянку. А потом уже надо думать о Толстом, потому что в начале сентября очередные «Встречи в Ясной Поляне». И хотя проку от них немного и всё яснее, что первоначальная задача собрать разбегающуюся литературу утопична (никого уж теперь не соберёшь), а всё-таки еду, и с радостью.

Разбегаться-то разбегаются, а всё же и приглядываются друг к другу и хоть не бесчестят на каждом углу. Как в глаза друг другу под толстовским взглядом посмотришь, так, глядишь, и в слова становишься поразборчивее, и в сердце поопрятнее.

А дожди... дожди. Оно, может, для письма-то и хорошо, да для сена и картошки плохо, и уже хочется, чтобы кто-то завернул наконец кран «под кропильницей псковского неба» (А.Пушкин). Он, видно, тоже тут дождей навиделся.

Ещё раз поздравляю Вас, Дмитрий, с чудесной книгой!

Сердечно Ваш Вал.Курбатов

17

Псков

11 октября 2000 г.

Дорогой Дмитрий!

Не поблагодарил Вас за книги и за славные статьи, потому что развернул их уже по дороге в Михайловское, где сидел без почт и телеграфов. Книги отдал в библиотеку Берёзовки. Вы меня раззадорили — уже захотелось как-нибудь повспоминать.

У меня есть драгоценные его¹ письма, и они так прекрасны — хоть каждое печатай. Вот всё и думал как-нибудь соединить свою память с этими письмами. Да только несчастная погоня за куском хлеба не даёт заняться милыми сердцу предметами. Пишу чего просят. Чаше предисловия — к В.Д.Пришвиной, А.Варламову, В.П.Астафьеву... Хотя все мы знаем, что нет жанра обреченнее предисловия.

А Михайловское было прекрасно, небесно, ненаглядно. И я надеялся написать то и это, а кончил тем, что неделю ходил с утра до вечера и глядел, глядел...

Да беседовал понемногу с моим тамошним товарищем — питерским писателем Б.Н.Сергуненковым, который «занимается молчанием» как главным писательским делом. «В то время когда все говорят и расточают Слово, — говорит он, — кто-то должен сидеть в разных углах России и молчать, как молчаливые русские отшельники, и тем возвращать Слово полноте значения, отстаивать его от мутных взвесей, чтобы, когда придет искренне чувствующий и глубокий человек, он нашёл слово не вытертым, не погубленным другими контекстами».

Бедный Солженицын сочиняет «Словарь расширения русского языка» — в нём говорит тот же страх за слово. Но насильно язык не расширишь. А вот сохранить и укрепить молчанием можно. Так мы и ходили с добрым Борисом Николаевичем и глядели налево да направо и преотлично помалкивали, чувствуя полноту и радость такого общения.

К тому же писать-то и томительно — рука у меня болит: брякнулся в Ясной Поляне и, оказалось, сломал уже стариковскую плечевую кость. И она вот уж месяц болит скучно и ровно и не пускает додумывать слишком длинные периоды.

Покойной Вам осени, Дмитрий, и хорошей работоспособности. Ваше светлое сердце очень нужно сейчас, когда зло становится нормой.

Ваш В.Курбатов

¹ Очевидно, речь идет о письмах Валентина Берестова.

18

Псков

16 декабря 2000 г.

Дорогой Дмитрий!

Сердечное Вам спасибо за чудесный новогодний подарок! Я уж и не ждал. И безобидно не ждал никаких гонораров — довольно было и книг. Зато теперь я встречу и Новый год, и Рождество по-людски. Спасибо.

И как печально-нежно письмо, которое Вы прилагаете. Я тоже иногда получал такие. Добрые больные люди врачуют нас, здоровых, глубиной и светом сердца.

А я ещё раз съездил в Турцию (меня свозили) на установку памятника Святителю Николаю в Мирах Ликийских. Я был частично связан с ним — идеей, хлопотами в Патриархии, писанием разных бумаг, и вот всё получилось. И памятник стоит — и даже не стоит, а медленно поворачивается, благословляя все стороны света. Этого пока не осознали и сами турки, да и мы, грешные. Впервые в мусульманской стране ставят памятник православному Святому. Значит, мир ещё не совсем потерял голову и есть надежда, что мы проживем третье тысячелетие (в детях и внуках своих) помилосерднее и поумнее, чем жили в наше тысячелетие. И Бог даст, начнут слушать друг друга (а не только корить и обвинять) мировые религии.

С нежностью и благодарностью поздравляю Вас с Новым годом и скорым за ним Рождеством Христовым. Пока Христос не устаёт рождаться, всё остается надежда на Воскресение.

Пошли Вам Господь ровного душевного света и прежнего чистого сердца, чтобы продолжать Вашу прекрасную любящую работу, которая согревает столько усталых людей.

Счастья Вам, дорогой Дмитрий.

С любовью Ваш В.Курбатов

19

Псков

1 марта 2001 г.

Простите, Дмитрий, сразу не ответил на Ваши вопросы: выпало суетное время, поневоле широкая масленица, потом канон Андрея Критского, и вот сегодня по окончании канона можно вздохнуть. Вероятно, я уж с ответами-то и опоздал. Ну, однако, что надумал, то сказал.

Февраль был занят чтением разных разностей для премии «Национальный бестселлер»: впечатление печальное. Из десятка прочитанных мною книг ничего бы

с легким сердцем не «благословил». А большинство вообще выставляют рукописи, которых ещё и не читал никто, а уж они уверены — бестселлер! Вот как нынче с писательским самолюбием обстоит. Я бы и не рассматривал, но вот поди ты, и именно сами себя выставляют — вот чудо!

Видно, я уже чего-то не понимаю. Пора вон со сцены. И не в «зрительный зал», а вообще вон — в «отъезжие поля», в деревню, в тётку, в глушь, в Саратов, как, бывало, шутил П.Г.Антокольский. Да вот жаль, ещё свое честолюбие не угасло и ещё подталкивает к бумаге и множит пустяки. Да и заказы ещё разные мелкие сыплются дождем (или зимой надо говорить — снегом?), и среди них есть близкие сердцу: Виктор Петрович вот Астафьев хвалится, что совершенно новую книгу рассказов и затесей написал, и говорит, что издатели без конвоя не пускают, а поскольку уж я конвоировал его семя и овамо¹, то он просит и ещё раз. И Лихоносов приготовил работу, а ему я отказать вовеки не мог — так нежно люблю его. Так оно всё и идет.

Простите, Дмитрий.

Обнимаю Вас.

Ваш В.Курбатов

¹ Туда и сюда (архаические наречия).

20

Псков

10 декабря 2001 г.

Дорогой Дмитрий!

Спасибо за уроки нежности и света! За Вологду Вашу, за Даля.

А я всё бегаю и в беготне ожесточаюсь. Опять в Турцию ездил с московскими учителями, умничал про православие, был хором и чтением при священнике, мучительно уставал. А вернулся — оказалось, надо ехать на Урал, где 20 лет музею, в котором я «экспонат».

28 [ноября] звонил Виктору Петровичу в Красноярск. Он уже не отвечал. Говорила Мария Семёновна: «Плохо. Но уж устала и привыкла, что плохо. Найдёшь минуту — приезжай».

А приехал в Чусовой в ночь на 30, меня прямо на вокзале встретили вестью, что всё... И не улететь — нет из Перми самолетов на Красноярск. Обратное надо в Москву, а его уж на завтра хоронят. Утешал себя тем, что встретил эту весть не в Пскове, не в Москве, не в Турции, а именно в Чусовом, где мы прожили на соседних улицах полтора десятка лет. И что вокруг люди, знавшие его, дружившие с ним, и есть с кем разделить печаль. Теперь вот ищу возможность собраться на сороковины, дать Марье Семёновне выговориться.

И уже не представляю, что Овсянка пуста, что мне уже не живать с ним под одной крышей, не слушать его ворчания, не ездить с ним по старым больным родственникам, где он тратил остатки своего сердца.

А останутся от него «Последний поклон», «Пастушка» и «Звездопад», как от Свиридова «Метель», и неизвестно — заблуждение ли это судьбы и памяти или назидание нам, что мир стоит светом и любовью. Он это знал сам, но знал, что нельзя не сказать и страшно и невыносимо, за что не только не поблагодарят, а осудят (и осудят самые близкие), знал, а говорил, чтобы мир не закрывал глаз на свое худшее и не обманывал себя.

Пошли ему, Господи, покоя хоть ТАМ. И дорогих людей вокруг! И утешения!

Спасибо Вам, Дмитрий.

Ваш В.Курбатов

21

Псков

25 июня 2002 г.

Дорогой Дмитрий!

Поздравляю Вас с Союзом [писателей]! Жалко, что с «ненашим» или не с «нашим», хотя я давно не различаю их и печалюсь только, что их так много и что почему-то стыдно.

Перед читателем стыдно. Мы, бывало, вели овсянские «Встречи» у Виктора Петровича с Михаилом Николаевичем Кураевым, и я по окончании предлагал узнать, который из нас какого Союза секретарь. Слава Богу, это заставляло задуматься хоть на минуту, но мы уж теперь, как католики и православные, при условии объединения будем настаивать, чтобы присоединились к «нам», к «нашей правде». И чем дальше, тем это будет хуже. Да, впрочем, и сейчас уже кажется всё необратимо.

Разделяться всегда необычайно легко, а возвращаться трудно. Самолюбие на ногах гирей виснет и постепенно обрастает догматикой, как это было и с церквями, которые в результате из утешения и спасения стали бичом разделения, поводом к крови и источником ожесточения. Сейчас на фоне приезда папы римского¹ это особенно очевидно.

На «Золотом Витязе» я посмел сказать ему похвальное слово, что старый человек на пороге кончины думает о предстоянии Богу и о вине своей церкви и ездит просить прощения у евреев, у греков, у румын, даже зная, что может быть встречен, как в Греции, плевками в лицо. Но он едет и терпит поношения, именно потому что христианин и понимает меру своей ответственности. О, что тут началось! Первым вылетел батюшка из Патриархии и сказал, что «старым шутам надо сидеть дома, а не юродствовать» (дословно), а мне не забывать крест на груди и учиться на фестивале у настоящих православных картин, как «Небесная рота» (бедный батюшка не знал, что по иронии судьбы назвал именно мой фильм). Ну уж «коллеги» потом просто свистели в четыре пальца и обходили, как зачумленного.

Вот и с союзами у нас то же. В «Дне» мне не могут простить, что печаталось в «Знамени», а в «Знамени» — что печаталось в «Дне». Бедные...

Впрочем, Бог с ними. Моя кожа давно задубела. Да у меня есть и небесная церковь (и в своем приходе, и просто в храме), так что уж говорил, то и буду.

Спасибо Вам за извлечения из С.С.Гейченко и вообще за номера газет, где так много чистоты и света.

Сегодня получил от Н.И.Александрова дивный подарок — двухтомник В.Д.Берестова и его же «Застенчивого трубача». Вот уж чудо так чудо! Жалко, что я, наверное, не смогу поехать на «чтения» в декабре, потому что в ту же пору буду, наверное, открывать памятник апостолу Павлу в турецком Тарсе, где он родился. Разохотились мои товарищи. Поставили памятник Николаю Чудотворцу в Мирах Ликийских. Понравилось. Теперь вот апостола Павла подавай!

Каково Ваши «невелички» съездили в Михайловское? Боюсь, что всё время лили дожди и они больше прятались, чем ходили по рощам паркам. Хотя там во всякое время хорошо, да ведь и Пушкин в лете красном не любил, когда «зной, да пыль, да комары, да мухи»... А дождичек ему был по сердцу.

Обнимаю Вас и ещё раз поздравляю с Союзом — теперь Вы писатель «по паспорту».

Ваш В.Курбатов

¹ Речь идет об Иоанне Павле II.

22

*Псков**13 сентября 2002 г.*

Здравствуйте, Дмитрий!

Воротился из Ясной Поляны и нашел Вашу весточку с рассказом (нежным, родным — из небывалого времени навсегда счастливой юности) и с интервью с Шиловым¹. Спасибо!

У меня из сочинений только таинственный журнал «Истина и жизнь», 8 номер «Дружбы народов» (письма В.П.Астафьева ко мне) да последнее — «Литературная Россия» с Толстым. Ничего, кроме «Истины и жизни», не видел, потому что в редакциях не был. Да и вообще отношусь к уже вышедшим сочинениям небрежно и храню в доме едва ли треть из них. Всё оттого, что никак к званию «писателя» не привыкну, всё жду, что вот-вот выгонят, и потому не признаюсь и работ своих никому не показываю. Видно, так это до конца дней и останется — переход из сословия в сословие, оказывается, труден.

А в Ясной были очередные «писательские встречи». Звали великих (Распутина, Белова, Бородина, Г.Матевосяна, Ч.Амирэджиби, М.Павича), приехали поменьше и хорошие неведомые писатели Норвегии, Британии, Южной Африки. Было по-разному. Умно и серьезно, глупо и зло. Как в жизни. Хочется надеяться, что перевесит добро.

А лучшие часы были на дачке, в тишине, сочинении домашних стихов, просто сочинительстве и вечерних поливах малого огорода.

И сейчас бы удрал, да там отключили свет из-за пожаров, а вечера уже долги, да и без горячего чая мысль не в мысль.

А уж Вам вот, оказывается, тоже сорок! Подумать только, как скоро мы растём и догоняем отцов, хотя сами в душе ещё совершенные дети!

Я не знаю, отчего это, — может быть, от не слишком мужественного времени, которое своим ребячьим задором и злым озорством удерживает в нас юность, то ли оттого, что мы сами всеми способами норовим уклониться от «возраста ответственности».

А у Вас вот уж дочь выпускница, а у меня — внучка, возведшая меня в достоинство «деда» — звание, к которому я тоже пока никак не привыкну.

Спасибо за рассказ, за интервью, за свет сердца, всегда укрепляющий меня в Ваших письмах.

Ваш В.Курбатов

¹ Шилов Лев Алексеевич (1932—2004) — литературовед, звукоархивист.

23

*Псков**29 октября 2002 г.*

Спасибо, Дмитрий!

За слово о Решетове¹, за мемуар о Нохрине². Поэт действительно замечательный. Эта беззащитная жесткость, такая общая в поколении, у него открытее и прямее других. Так маются, когда не знают, кому выкрикнуть упрек. Мы в этом страна тумана — никак в своё место не попадешь, всё как-то вместо опоры будешь в воздух попадать.

Я пока книжки не видел, хотя составитель обещал мне прислать её. Надо бы самому в Москве расстараться, но я был один день (на вечере Татьяны Глушковой) и, как всегда, на этот день накопил пропасть всего и не успел позвонить маме Ильи Тюрина³, которая могла передать мне книгу.

Жду из печати нашу переписку с В.П.Астафьевым и боюсь её. Особенно тяжело думать о её грядущем представлении в Пскове, Москве, Красноярске. Надо будет сидеть с каким-то специальным лицом и чувствовать постоянный выговариваемый или тайный укор в самозванстве: ишь к кому подсел! ловок!

Вот и буду платить за своё слабодушие, за то, что не сумел отговориться от настойчивого издателя. Да ещё при тираже в пять тысяч, который равен ста советским тысячам. Ну да как-нибудь. Как это наша бесхитростная поговорка гласит, «стыд не дым, глаза не выест». Может, выест душу, но кто же её видит?

Обнимаю Вас.

Ваш В.Курбатов

¹ Решетов Алексей Леонидович (1937—2002) — поэт.

² Нохрин Сергей Назарович (1958—2001) — поэт, бард.

³ Тюрин Илья Николаевич (1980—1999) — поэт.

24

Псков

28 марта 2003 г.

Спасибо, Дмитрий!

За весточку, за чудесную Тутунджан¹. Я и сам когда-то почти невольно записывал чудесную речь псковских старух. Хотя есть в этом что-то грустное: мы записываем родное как этнографию, словно Миклухо-Маклай Новую Гвинею. Будто это уже не наше, кровное, а вполне отдельное, что можно выслушивать с гастрономическим интересом, не заплакав оттого, что это больше не твоё.

Теперь я уже не записываю. Да и какие старухи, когда сам старше. Не зря Валентин Григорьевич Распутин в рассказе «Изба» говорил, что от нас не останется «старины» и «почвы», что мы будем унесены ветром и наши дети не поблагодарят нас за эту свободу от земной правды. Нам уже не быть «простыми», теми дорогими детьми природы, которые держат жизнь.

Почему и войны стали так легки, «посторонни сознанию», вроде политических представлений, словно и люди гибнут не впервой и кровь льётся не настоящая.

Вообще жизнь как-то выходит «на поверхность» и делается «легче», пустее.

От этого всё чаще чувствуешь странную усталость и необъяснимое отчаяние. Весной это чувствуется острее всего, словно вся нечистота мира вытаскивает из-под снега.

Простите мне этот мрак и не весеннюю тьму.

Поклон Наташе.

Ваш В.Курбатов

¹ Тутунджан Джанна Таджатовна — народный художник России. Жила в Вологде.

25

Псков

24 апреля 2003 г.

Христос воскрес, Дмитрий!

Спасибо за весточки, за чудесные Ваши статьи о Чарской и «Капитанской дочке». И как горько было читать Ваше Переделкино. Я любил его, любил Дом творчества, куда ездил последний раз году в 79-м, любил беседы с М.С.Шагинян, с А.А.Тарковским.

Глядел, как в поднебесную высь, на Н.Тихонова, М.Турсун-заде. Какая даль! Зги нет!

А более всего любил там слушать в чудном храме, куда мы бегали с поэтессой Ириной Пивоваровой, больной, светлой, горько-счастливой, несчастной.

— Старая лестница, что ж ты не спишь?
Что ты всё время скрипишь и скрипишь?
— Милый мой мальчик, когда же мне спать?
Надо людей провожать и встречать.
Чтоб не устали, чтоб не упали,
Надо перила им подавать...

И вот их никого нет... Я знаю, что теперь там всё по-другому, и не хочу видеть нового, чтобы не спугнуть давних воспоминаний.

Вообще стал ловить себя на стариковском желании остановить время, остаться там и не принимать нового, которое требует иной души.

А профессия подталкивает: нечего, нечего, поспевай давай. Куда от постмодернистов денешься. Сначала почитай, потом брюзжи. А то, может, там чудеса и сокровища, а ты и сам отворачиваешься, и других стараешься отворотить.

Вы спрашиваете, за какие книжки в детстве держался? За «Чука и Гека», за «РВС», «Судьбу барабанщика», Майн Рида. Как все. Из «не всех» почему-то с нежностью вспоминаю книжку неведомого автора, да и неведомого содержания «Далеко ли до Сайгатки?», а вот застряла в памяти, и всё. И увижу — не решусь раскрыть. Видите, и так бывает: ничего не помню, кроме имени и обложки, где девочка в зимней шапке с опущенными ушами глядит, очевидно, в сторону этой таинственной Сайгатки как счастья и чуда.

Какой Вы счастливый — у Вас мама, бабушка! Здоровья им и покоя.

Поклон низкий.

Ваш В.Курбатов

Вместо эпилога

Из книги Анастасии Перфильевой «Далеко ли до Сайгатки?»:

...Она сидела в палате на подоконнике около кровати Вадима, обхватив колени руками, и смотрела в окно.

В больничном саду, оставляя крестики следов, гуляли вороны. Большие голые кусты боярышника стали как будто ниже от нависающего снега. Солнце яркое, но холодное пронизывало воздух, не нагревая его.

— Давай лучше о будущем, — сказала Варя. — Ведь не всё же — война!

— Давай о будущем, — слабо откликнулся Вадим...

Александр Чанцев

Разведчики безнадежности

В этой рубрике всего две и довольно герметичные книги. Философа и его переводчицы. Сказать, что оба фигуранта уникальны — значит, быть крайне лапидарным, утаить всё. Колумбиец Николас Гомес Давила — наследник Монтеня и Паскаля, из когорты-компании философов вида и калибра Юнгера и Чорана. Потрясающий эрудит (библиотека в 40 тысяч томов), стилист, он выстраивал свою систему на такой жесткой критике современности, что за ним не угнаться, а апеллировал — к чему-то такому утонченному и благородному, что сейчас явно не в чести. Аристократ, убежденный реакционер, яркий мизантроп, отшельник — список его характеристик можно длить, благо, он к ним вряд ли в итоге сводим. Переводчица его книг Елена Косилова, конечно же, не просто перелagательница текстов, а во многом под стать своему объекту и совершенно точно очень любопытный самостоятельный мыслитель, настоящий философ наших серых и железных дней.

Метафизическое желание не жаждет возврата, поскольку это тоска по стране, чуждой всей нашей природе, по стране, где мы никогда не жили и куда нам никогда не попасть. Метафизическое желание не основывается ни на каком предварительном сходстве. Это — желание, которое никогда не удовлетворить.

*Эмманюэль Левинас.
Избранное: Тотальность и Бесконечность.*

Ясная формулировка нашей безнадежности

Николас ГОМЕС ДАВИЛА. Схолии к имплицитному тексту / Пер. с исп. Е.Косиловой под ред. В.Дворецкого. Сер. Памятники философской мысли. — М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. 896 с.

Специально сейчас не искал, но наверняка Николаса Гомеса Давилу¹ кто-нибудь да назвал Монтенем XX века². Учитывая гигантский объём его основного произведения (произведений — об этом чуть дальше), потаенность его фигуры и неприкрытое выражение весьма специфических, совершенно не конвенциональных для нашего времени взглядов, определение нужно было бы скорректировать. Темный гипер-Монтень, как-то так? Даже не знаю. При столкновении с Гомесом Давилой — его миром, мирами, ведь это тот случай, что в пору породить выражения вроде «мир Толкина» и «Вселенная Диснея» — вопросов, недоумения и прочих трудно

артикулируемых эмоций вообще всегда больше, чем подходящих схем, определений и ответов.

Николас Гомес Давила (1913—1994) выпадает из определений уже сразу: не обладает тем, что есть вроде бы у всех, — биографией. Ее у него почти нет³. Происходил из такого аристократического рода, что это даже слишком, — легко прослеживается до XIII века, Педро Ариас Давила был первым конкистадором в Новом Свете⁴, основал несколько колоний. Род, как ни странно, не обеднел и влияния не утратил — отец Гомеса Давилы был владельцем много чего. Гомес Давила получил прекрасное образование в Париже, шлифовал его в Англии и родную Колумбию и Боготу не шибко жаловал (переехать в Европу, можно бы предположить, помешала его антипатия к внешним жизненным движениям и слишком комфортная жизнь). Обучался классическим языкам — большинство европейских также знал (датский выучил для чтения Кьеркегора, русский — ради нашей литературы). Как и полагается такого рода психотипу, тяжело переболел в детстве (пневмония с осложнениями) и рано подсел на наркотик по имени книжная пыль.

Вообще, знал ли его Набоков, но позавидовал бы страшно. Идеальный эстет, эрудит и анахорет, которому история — и это в XX-то веке — позволила ни разу в жизни не носиться в поисках заработка, не убегать от тех или иных всемирных бедств... «Самое точное и краткое определение истинной цивилизации я нахожу у Тревельяна: “Праздник класс с большими и изученными библиотеками в загородных селениях”». Гомес Давила так и жил. Рано и счастливо женился (видимо, чтобы закрыть этот вопрос на всю жизнь). Поработал всего ничего — раз в неделю приезжал на наследную фабрику на десять минут, но, получив её от отца, быстренько передал сыну. Чуть попрожигал жизнь в качестве светского льва — да неудачно зажег сигару, занимаясь конным спортом, и из-за травмы оставил эту суету сует. Яркого представителя колумбийской элиты, его пытались рекрутировать в свои ряды местные политики того или иного толка. Но, как и Юнгер в самые кровавые и военные годы Германии (в Колумбии тоже было неспокойно, традиционно бузили), Гомес Давила хорошо умел проходить между струй дождя — что-то там консультировал (основал один университет), но «не был, не состоял, не привлекался». *I'd rather not*, по известному девизу.

А всю свою долгую жизнь просидел в имении в библиотеке. Чтение и иногда ужины-беседы с узким кругом друзей — опять же так жил Юнгер. И это есть идеал жизни книжного отшельника, настоящего интеллектуала и аристократа духа? Или же неизбежная мера в наше неуютное время? Об «Уходе в Лес» в очередной раз рассуждать не будем, но с Юнгером Гомеса Давилу роднит и самообразование. Как про Юнгера шутили, что нет смысла даже проверять, кого из авторов тот цитирует, всё равно эти книги никто не читал⁵, так и у Гомеса Давилы была библиотека под 40 000 томов. В ней он и отлетел к книжным ангелам.

Не склонный к любви ко многим современным писателям, и Юнгер ценил Гомеса Давилу. Тут можно было бы пофантазировать о степени потаенности писателей. Всемирно известный Борхес приезжал с поклоном к Юнгеру. Весьма всё же известный (но отнюдь не мейнстримный) Юнгер, возможно, навестил бы и насладился беседой с Гомесом Давилой за вином и сигарой во время одного из своих путешествий. Гомес Давила же — не хотел издаваться вовсе, попросту не видел в этом смысла. Зачем — он пишет об этом в «Схолиях» — ведь идеальный текст недоступен, его заметки — лишь некоторое очень далекое приближение к нему, записанное в минуту досуга (читай — всей жизни) для друзей. По настоянию их и брата Гомес Давила всё же что-то издал.

Минимальным тиражом, с абсолютным нулём усилий по продвижению текста и снискания им славы.

Слава, как и полагается, пришла посмертно, скорее в Европе, чем на родине, и, конечно же, в весьма узких кругах. Не то что маргиналов, эстетов и эрудитов, а хотя бы тех, кто может прочесть все его «Схолии». Как кто-то когда-то написал у меня в бложьей ленте, я держу том Гомеса Давилы на подоконнике и читаю по несколько его афоризмов в день. Я хотел было прокомментировать — а ещё по нему можно гадать, как по «Книге перемен» / чтения хватит на несколько жизней (при его объемах и суггестивной густоте).

«Схолии» — новые схолии, их тома — в принципе, объединяют его ранние работы и представляют всё его творчество. Их — см. объём этого пусть и билингвального издания — достаточно. Их всего — чуть больше 10 000. Учитывая то, что в каждую — а Гомес Давила крайне редко писал объёмом больше хайку, одно, пара, реже несколько предложений, уж совсем редко небольшой абзац — можно долго вчитываться...

Их, полного собрания этих схолий, может и быть слишком много. Они — даже могут вызвать что-то вроде интоксикации, перегрузки системы. Возможно, были правы в ленте о чтении по несколько их в день. Иначе — эффект, будто за раз прочли пять томов Чорана. Тошнит от тошноты от мира, что ли.

Есть ли какое-то развитие, различия в первых и «последующих» схолиях? Нет. Гомес Давила в них самих пишет о том, что — да и не тот он был человек, чтобы менять свои взгляды, от чего-то там отречься, таких людей он попросту в грош не ставил — всю жизнь мыслил и писал об одном, ходил кругами, возвращался, добавлял пару штрихов, новые оттенки и обертоны мысли. Чуть ещё копал лунку для посадки того идеального дерева, что никогда не будет посажено.

Схолии к имплицитному тексту построены концентрически, как критское линейное письмо А, найденное на дне минойской чаши. Воистину многожды *implicitus*, сплетенные из ничего ответы на несуществующие (но существенные) вопросы на языке, которого нет (и не может быть, слишком уж он красив, строг и ясен⁶ по нынешним временам). Как при письме бустрофедон, как тот самый бык на поле, Гомес Давила отходит и возвращается постоянно к своим темам. Сделать тёмное ясным. И здесь можно поразмышлять о композиции схолий как совокупности иерархических контуров в кибернетике⁷ или строении Вселенной по Аристотелю, или даже в изображении ангельских иерархий на «Успении Богородицы» Франческо Боттичини. Аксиологическая картина Гомеса Давилы за счет такой структуры расходящихся и сходящихся тропок предстает одновременной дискретной (смирение) и монолитной (твердость веры).

С проблематикой же его воззрений — опять же не проверяю, но не запрещают ли его книги какие-нибудь особо прогрессивные вокисты и благостные левые? Явно не изучают на кафедрах всего одобренного, в этом можно быть уверенным — по нашим временам сложно. Ибо был он убежденным реакционером, противником какого-либо прогресса, осуждал современную цивилизацию в хвост и гриву, идеологию, культуру и науку наших дней попросту презирал. Отдельно — и постоянно, даже не ехидства, а тотального разочарования ему хватало — он троллил левых, коммунистов, демократов и сторонников прогресса. Правым, впрочем, тоже доставалось. Он был, да, реакционером, в том смысле, что охранял, пытался охранять даже не идеалы из достойного прошлого, а интенцию возврата к чему-то благородному. Всё достойное, писал он, появилось пару тысячелетий назад, последующим временем —

что не породило ничего достойного — проверялось на прочность. «Идеалом реакционера является не райское общество. Им является общество, напоминающее то, которое существовало в мирный период старого европейского порядка, Алтеюгора, — до демографической, промышленной и демократической катастрофы».

Предупредив и предупредив, сначала, возможно, стоит что-то сказать о жанре. Схолии, по словарному определению, это небольшие заметки на полях или между строк классического произведения. Тут верно, справедливо абсолютно всё. И Гомес Давила читал больше классику или же (точь-в-точь как Юнгер) каких-то редчайших, всеми упущенных авторов прошлого. И писал он — один большой комментарий. Как «Бесконечный тупик» Галковского — это гигантский комментарий к крошечному на его фоне тексту, так и тут — еще больше (а самого комментируемого текста и нет). «Схолии» Гомеса Давилы — это комментарий к несуществующему. К несуществующему дважды. И нет этого идеального текста. И не может быть, автор умён и отнюдь не субъективен. А ещё — эта тема проскальзывает у Гомеса Давилы, и она очень интересна — как и все реакционеры, сторонники невозможного, неосуществимого, он апеллирует к чему-то, что не просто не может осуществиться в нынешних условиях нашего порушенного убогого века, но и вообще выбивается из всех его оснований и разумений, нарушает глубинные людские конвенции⁸, не на периферии даже, а за гранью. Это — обреченная надежда, что мы «научимся различать за слишком прекрасными словами то, что не позволяет себя выразить, да и не может быть выражено»⁹, по формулировке Дефоре. Это — образ из воздуха сейчас совершенно — как описывать колибри над танковой колонной. И выводить законы не просто эстетические и этические, но политические и юридические из геометрии полета птицы, из пёрышка, слетевшего под гусеницы железного века. Ибо в веке золотом было как-то так, а всему последующему не верить.

На что всё это похоже? На просто афоризмы. Изысканные и скупые, тонкие и горькие, сухие и коварные. «Элегантность, достоинство, благородство — вот единственные ценности, которые жизни не удастся обесценить». Самое последнее дело сравнивать в рецензии текст с напитком, этакий кулинарный изыск второй свежести, но каждый его афоризм — это глоток виски или коньяка безумных, столько не живут, лет выдержки. Остальная современная литература там — отрывочкой вчерашнего разбавленного пива в пабе после потасовок футбольных фанатов. «Те, кто объявляют, что реакционер бесплоден, забывают о том, какую благородную функцию выполняет ясная формулировка нашего отвращения».

Стиль этот — ещё одну банальность скажу — идеального афоризма. И вот тут, про стиль, интересно. При всей сверхоригинальности взглядов (кто ещё будет говорить в наш демократический век, что он за аристократию, феодализм, иерархию-кастовость, а вся современная культура — балаган смердов?) и стиля, Гомес Давила скорее — вот именно что идеальный афорист, наподобие и на уровне Георга Кристофа Лихтенберга или Карла Крауса. Дать, как при дегустации бокала с закрытыми глазами и непоказанной бутылкой, кому-то, так назовет Паскаля или Ривароля, потеряется между Шопенгауэром и Шамфором, или, может, это забытая строка из Кьеркегора, дневников Кафки?

Хотя, возможно, и волюнтаристски, я бы сравнил Гомеса Давилу с греком Е.Х.Гонатасом. Происходивший также из богатой семьи, библиофил, отдающий предпочтение древней литературе, эстет (сам печатал свои книги с изысканными шрифтами и иллюстрациями и тоже далеко не миллионными тиражами), бежавший мирской славы, живший похоже в своем большом удаленном доме, он не только

жизненными стратегиями напоминает нашего колумбийского гения-маргинала. Странное, меж жанров — начать с того, проза это, поэзия, стихопроба? — письмо его в несколько строк, часто в одно предложение, а рассказы-сказки-сны в абзац¹⁰, живет где-то в области той же сгущенной суггестивности и облачено в те же вериги скромности (не весь вечер у микрофона, дорвавшись, а пара предложений максимум), что и Гомеса Давилы. Для обоих и тишина выступает как точка сборки (эпиграф из Манделштама у греческого писателя «отчего так мало музыки и такая тишина?» — вот ещё и «русская тема» в копилку общего), опора и платформа в этом порушенном мире войн и деградации, хотя и пути к/от этой общей платформы несколько разнятся. Гомес Давила видит в тишине более совершенную вербальную, звуковую форму, тишина как высшая форма развития слова и мысли. У Е.Х.Гонатаса же музыка следует за тишиной, выступает как путь к музыке сфер, то есть своего рода медитация перед принесением жертвы Аполлону. Суть различий может быть связана с эстетическими аспектами веры обоих авторов — замешенной на опаре античного великолепия, но чуть более холодной стилистики католицизма у Гомеса Давилы и более полнокровной греческой веры, приправленной надеждой на возможности прогресса, у Е.Х.Гонатаса. Но, конечно, подобные аналогии — дело вкуса, и вообще не обязательны, как мы помним из Валери, уподобления для уникальности.

Здесь же мне видится опять же сознательная интенция, особенности самоощущения. Он, Гомес Давила, пишет всего лишь схолии, какие-то трактовки к великим текстам века классики. Да и вообще — вчера была интересная беседа в библиотеке, что-то удалось нащупать, друзья настоятельно просили доформулировать на бумаге.

Посему — да, конечно, можно выводить особенности стиля Гомеса Давилы (кто-то, кто не испугается объема, еще привлечет компьютеры с ИИ, подсчитает, расставит по полочкам, да, тут так и вспоминаются наши семиотики с их любовью к статистике, словарям и прочему). Например, как он не только всё время возвращается к одним и тем же темам, но и — ведь мы помним о его скромном правиле не быть длиннее короткого абзаца — часто нанизывает афоризм на афоризм, делает такие рэнга, сцепку отдельных стихотворений.

А можно даже не определить его относительно других таких же редких авторов, а просто почувствовать их по ходу чтения. (Расписавшись в своем критическом бессилии? Что ж, Гомес Давила — занятно, что его интересовала такая мелкая тема, но о критиках он пишет часто, эта одна из его вечно возвращающихся тем — сказал же, что «для критика важен анализ и ослеплённость», так вот второе.)

И иногда в тексте видишь Юнгера (зависимость можно было бы нафантазировать, Юнгер ориентировался на Гомеса Давилу? Вряд ли, это скорее было несколько людей, кто так писал, как те тайные праведники, что держат мир). «Умный и культурный человек — это тот, кто, как старые девы-сплетницы, интересуется вещами, которые не касаются его шкуры». И — следующий афоризм, вот тот случай сцеплений, идут паровозиком — «Изменить мир: занятие каторжника, смирившегося со своей судьбой».

Но здесь же, в оттенках вкуса, и какие-то нотки утонченного пессимизма Чорана, разве нет? «Нищие был единственным благородным жителем брошенного мира. Только его выбор мог бы быть без стыда представлен перед воскрешением Божьим».

«Оригинальный мыслитель труден, но не тёмный», а «писатель, безразличный к популярности, стремится быть современником не писателям своего времени, а тем писателям, которыми он восхищается».

Строчки, что легко можно было атрибутировать Чорану или Юнгеру, будут попадаться здесь и там. А вот вдруг не что-то ли хайдеггерианско-витгенштейновское в «Слова не передают: они напоминают»? Или неожиданная прямолинейность Уэльбека забрезжит: «Либертианские притязания современного гражданина ограничиваются заявлением права без оков сношаться в тюрьме, куда он заключен».

И Гомес Давила — который, вот уж неожиданность для эстета, и о сексе пишет, но, разумеется, со всем скепсисом и интеллектуальным ядом-кислотой — может быть очень разным. Лиричным — «улыбка существа, которое мы любим, является единственным эффективным средством против скуки». Циничным — о, гораздо чаще — как тот же Шатобриан (о котором он и рассуждает несколько раз): «Буржуа отдает власть, чтобы спасти деньги, потом отдает деньги, чтобы спасти шкуру, а потом его убивают» (да, очень много потеряли политики, которым не удалось переманить в свои ряды Гомеса Давилу!). Он легко может быть барочным: «Поэзия вечного — это аромат трупа смерти». Или же просто сказать, что «Бог — хозяин тишины».

И пример. Как Гомес Давила жесток в провозглашении своих взглядов, но при этом ох как далёк от какой-либо однозначности (от морализаторства и ригоризма — ещё дальше). О Боге, религии, теологии, отдельных религиозных мыслителях он пишет более чем часто. Убежденный католик, он не мыслит — тут речь о себе уже скорее, не массах — свою жизнь вне старого доброго (и не очень) католичества. Он взывает к Богу на каждой странице, хотел бы видеть и современную цивилизацию не в лоне церкви, но в настоящей вере, она поможет. «Я говорю о Боге не для того, чтобы кого-то обратить, а потому, что это единственная тема, о которой стоит говорить». Но при этом подход его к религиозно-церковным вопросам не только нюансирован, но и даже может показаться противоречивым на сторонний взгляд. «Религия ничего не объясняет, а всё усложняет»; «Или Бог, или случайность: любой другой термин маскирует или то, или другое»; «Смертельный враг Бога — уважительный неверующий»; «Адаптировавшись к “современной ментальности”, христианство стало учением, придерживаясь которого ни трудно, ни интересно». Всё это — и очень многое другое, я лишь взял сейчас несколько цитат из самого начала — говорит глубоко верующий человек. И очень, очень умный и трезвый человек. «Защищать христианство надо не от “аргументов” вчерашнего и сегодняшнего “сциентизма”, а от гностического яда». Защищать, сказал бы он далее, и не надо. Надо оживлять. Тем ядом тончайшего и незашоренного анализа, что и есть лекарство. Фармакон.

Как и сам Гомес Давила, что-то превозносящий, но при этом отрицающий большую часть того, что составляет цивилизационный ареал современного Запада. Футуристам, сюрреалистам, анархистам, панкам и революционерам-нигилистам всех мастей стоило бы, право, пролистать колумбийского библиотечного затворника, чтобы понять, что их негация — лишь детский лепет укорененных в системе. Молодость? «Молодые люди яростно трясут головой, чтобы лучше приспособить свою шею к яму». Секс? «Эротизм — это бешеный ресурс агонизирующих душ и эпох». Кредит веры в современность? «Грехи современного мира смердят меньше, чем его добродетели». История? «История переходит от одной темы к другой, как беседа дурака». Революция? «Глупость — это топливо революции. Революция, чего бы она ни хотела, заканчивается засорением канализации». Левые и правые? Да они «просто спорят, кто будет властвовать индустриальным обществом. Реакционер жаждет его смерти». Демократия? «Присутствие толпы в политике всегда заканчивается адским апокалипсисом. Наша цивилизация — это дворец в стиле барокко, в который вторглись растрепанные толпы». Может быть, наука? «Тюрьмой является все, конструируемое

по науке»¹¹. Прогресс в целом? «Наш век медленно погружается в болото спермы и дерьма. Имея дело с нынешними событиями, будущий историк должен будет надеть перчатки». Или, в конце концов, свобода? В феодальном, иерархическом понимании, в том, где церковь — не служанка государства, а государство и церковь — теократические ступени к возделыванию себя и вознесению к небесному, парусии и Царству: «Когда мы забываем, что быть свободным означает иметь возможность найти того господина, которому мы будем служить, свобода превращается в полную противоположность того, что нами будет командовать самый гнусный из господ».

Да, тут гораздо больше вопросов, чем ответов, ведь «философствовать — это не решать проблемы, а проживать их на определенном уровне».

По сути, Гомес Давила, как и Эвола, поднимал своё — очень личное и интровертное — восстание против современного мира. «Современность разрушает больше, когда строит, чем когда разрушает». И да, его называют реакционером, религиозным мыслителем, мистиком даже, но с интегральным традиционализмом у Гомеса Давилы находится много значимых пересечений. Иерархия, за которую он выступает, «происходит с небес. В аду все равны», — утверждает он. И если «современный человек более всего ощущает себя личностью тогда, когда он делает то же самое, что и все остальные», то современный мир — ад. Но и это, как любая политика, идеология и вообще движение группы людей во имя чего-то, суета, тщета и пагуба.

Может ли он, при таких-то взглядах, надеяться на какую-либо толику победы? Нет, разумеется. Это обреченное рыцарское служение, сродни тому, как Кант определял красоту целесообразностью без цели. И он поёт гимн побежденным. Возможно, ещё и потому, что столь мерзок современный мир, что как-то связываться — лишь пачкаться. Ведал ли он (всё же он был сильно погружен исключительно в европейскую цивилизацию) про такой концепт средневековой японской культуры, как красота благородного поражения, я не знаю¹², но разделит бы его — точно. «Будем всегда держаться с теми, кто проигрывает, чтобы не стыдиться того, что делает тот, кто выигрывает». Аминь и почитаем его, ведь «умный рассказ о поражении — это тонкая победа побежденного».

Более чем очевидно уже, что никаких призывов у колумбийского мудреца нет и быть не может. Ведь и «скептицизм — смирение ума». Есть, возможно, слабая надежда. Чаяние. Не погребенное в выгребной яме современного, не разъеденное кислотой скептического ума. «Всякое утверждение, которое не мучит тайная боль, является простой бесцеремонностью». Надежда на веру. И вера в ум и культуру. «Во мраке зла интеллект — последнее отражение Бога, отражение, которое нас упрямо преследует, отражение, которое погаснет лишь на последней границе». Ибо «культура призвана дать душе прекрасный аромат», а «целью жизни является рождение чего-нибудь благородного». В такую тончайшую линию, проходящую где-то на окраинах глухой и грубой современности, в эту схолию к ненаписанному, он, кажется, верит. Или же просто в тишину — «богоявление происходит только в тишине леса. Или в тишине души».

Разведчик растущей пустыни

Елена КОСИЛОВА. На пути к философии. Путевые размышления. — СПб.: Алетейя, 2022. 296 с.

Совсем без Юнгера мы не обойдемся и вспомним всё же ещё раз «Уход в Лес» (тем более что и автор-герой следующей книги любит прогулки за городом и в лесу¹³): «Впрочем, разные иные политические идеи мало нас занимают. Всё дело, напротив, в опасностях и страхах, подстерегающих одиночку. Всё те же противоречия раздирают его. Сама по себе его жизнь наполнена желанием посвятить себя своей профессии и своей семье, к чему и лежат его наклонности. Но вот эпоха предъявляет свои требования — бывает, что условия потихоньку ухудшаются, а бывает, что он вдруг видит себя атакованным с неожиданной стороны»¹⁴.

Рассуждений о страхах одиночки, о пути философа в мире будет много в книге Е.Косиловой, переводчицы Гомеса Давила. Автор — настоящий философ, в двойной, удвоенной, что ли, степени. Не только потому, что им и работает, преподает в МГУ, активно участвует (статьи, сборники, конференции) в научной жизни, но и потому что философ — действительно по призванию. Уходя с работы, а потом из дома (от одиночества не может там сидеть, мыслить лучше в динамике), она — думает, работает мыслью, осмысляет и рассуждает. Постоянно почти. Это то, что называется призванием, вот именно оно (и закончив, как пишет автор, биофак, она к нему стремилась и пришла).

Так всю жизнь работал Гомес Давила над своими схолиями? Так оба они работают над мыслью. Рабочая смена мышления не заканчивается с заводским гудком.

Гомес Давила, кстати, так или иначе освещает начальные страницы — да и саму структуру книги. «Эта книга не имеет никакой сквозной темы. Это собрание размышлений, которые я писала в последние годы, обычно в транспорте, в Ворде на мобильном телефоне, одним пальцем. Это путевые заметки на моём пути к философии». То есть опять же — схолия, комментарий к чему-то главному, темы на подступах к теме.

Является Гомес Давила и собственной персоной на следующей странице (но, сразу скажем, это не тот случай, когда при каждом удобном и неудобном случае переводчик будет вспоминать свой подвиг — затем Гомес Давила корректно откланяется и покинет сцену): «Я однажды перевела с испанского Н.Гомеса Давилу¹⁵, анахорета, который принципиально писал не более чем для ста человек И не хотел публиковаться, его с трудом уговорили, и тираж был крошечный А он очень интересный Так вот, я не анахоретка В анахоретстве, конечно, есть своя правда Я целую статью пару лет назад написала про то, что субъект — это тот, кто говорит “Нет”, причем это Нет обычно направлено против коллектива и социальности».

От социальности, между тем, Е.Косилова буквальным образом уходит. Ибо если говорить непременно в рецензии о жанровом, то «На пути к философии» — травелог чаще всего, результирующий в рассуждениях (по авторскому определению, «медитации», и это хорошо, стыдно всё о себе, но и как отсутствие точек, термин этот я активно использую, он ведь, конечно, больше о ноосферном, чем о зале для йоги).

«Мне досталось проверить 65 работ Устала Тегера еду гулять по Калуге, хочу там вытряхнуть все из головы и загрузить голову, наконец, Гуссерлем и проблемой

конституирования объективного времени В перерывах между экзаменами я читала по-немецки поздние тексты Гуссерля, нелегкое было занятие, он много повторяется, и чувствуется, что это писалось не для публикации». Так вот вся книга и будет. Дневниковое (а коренится все это в постах для «ЖЖ» и ныне запрещенной соцсети), травелогическое и философическое. Пропорции разные, но неизменные. Может напомнить книги Дмитрия Данилова — в последних «Пустых поездах» он так же ездит и думает, как любит, по ее признанию, размышлять автор в подмосковных поездах. Разница лишь в том, что Данилов фиксирует реальность, даже протоколирует, описывает. А для Косиловой реальность это всего лишь фон. Главное для неё — это сосредоточенность на мыслях. Отличие не столь разительно, потому что и у Данилова, разумеется, окружающее становится кормом для мысли, возможно, не столь явно артикулированной, ибо он надел на себя вериги коренящейся в религиозности скромности мышления (здесь можно было бы сказать, начинает он, но окорачивает себя — впрочем, не буду, зачем). Главное у обоих — мысль, законным пейзажем порождаемая. В нём лучше, чем в городе, себя чувствующая. Как есть человек в пейзаже (Битов), так тут — мысль в пейзаже.

«Он (всё тот же ещё Гуссерль. — А.Ч.) имманентист Ему главное описать имманентную временность Всякое внешнее он называет трансцендентным и рассуждает так, как будто оно строго вторично <...> Если есть всеобъемлющее время, то почему одновременность относительна, вот чего я не очень понимаю Электричка едет около Нары Мне бы надо поразмыслить над теорией относительности, как в ней обстоят дела со временем».

А иногда текст может напомнить травелогические пассажи из книг Ольги Балла (например, ее многотомного проекта «Дикоросль»), где та примеряет к себе города, себя к городам, анализирует ощущения от них, их психогеографические особенности. Здесь так о Петербурге, Нижнем Новгороде и любимых малых городах и деревнях Подмосковья. «Нижний Новгород очень понравился, я в нем как-то хорошо себя чувствовала. Хотелось ходить».

Впрочем, речь сейчас совершенно не о том, кто на кого похож. Похожи они в одном главном, общем — мышлении. Постоянном. Принципиально не ограничивающем себя — вот на работе поработал, а в поезде отключусь и подремлю, — никогда. И ничем. Ибо — а это уже даже не философская, а религиозная мысль, но и тут нет смысла делить на направления и кафедры, всё едино в пределе — смысл есть везде.

Как для Розанова. Хотя и сравнение любого неформализованного нарратива с ним меня самого сильно раздражает. Так что пусть — для Гачева.

И не только, конечно, в самой философии, которой — некий читатель и сломается, возможно, — будет весьма много. Вот от Гуссерля и Хайдеггера примерно до самых последних имен (их, континентальных и нет, я совсем не знаю, Мейясу там единственный знакомец).

И сие, кстати, ценно. Как сейчас любые неутилитарные вещи пытаются наделить, определить практической ценностью (посмотрев эту презентацию, вы узнаете десять способов прокачать скиллы своих вайбов!), так и тут — столько имен для первоначального знакомства и последующего изучения.

Но, конечно же, кроме анализа чьих-то философских воззрений на математику (автора сейчас волнует эта тема) и сопутствующих импликаций, интересны собственно авторские взгляды. «Конечно, многие философы этот спор с собой скрывают Делают

уверенное лицо Витгенштейн велик тем, что он уверенного лица не делал, по крайней мере, в поздних записях».

Вообще ничего, кажется, не скрывает о себе и Е.Косилова, настолько, что можно вспомнить остроумный и сверхактульный жанр автофикшена (почему, кстати, не немецкого или японского эго-романа?). Полное семейное одиночество («сейчас никого нет Мать умерла 4 года назад Я уже не боюсь быть одна») и неуверенность в своем призвании к преподаванию, опыты с алкоголем (вспоминаются откровенности дневников Т.Горичевой) и приближающаяся старость — обо всем и все, до полного обнажения. «Я много думала о профессии преподавателя философии Я, конечно, люблю философию, но по большому счету мое ли это место? Нет, по большому счету — нет <...> Что было бы мое? Я не знаю Раньше писала романы и повести, считала это своим Но сейчас писать не о чем Передо мной пустыня Раньше любила религию, размышляла о религиозном экзистенциализме, но сейчас все ушло Люблю религию только чужой любовью, для меня там нет ничего Пустыня и темнота Но похоже, что как бы ни было пусто и темно впереди, пустыня-то как раз это мое <...> Мы не обязательно наилучшие исполнители своей функции Так сложилось И надо идти в эту пустыню и быть разведчиком».

«Поэтому я и катаюсь, в поездке как-то забываются личные проблемы. Но они есть, есть». И Е.Косилова поет им(и) песнь побежденных. Мы же помним Гомеса Давилу и вообще многих очень умных и очень проигравших — в общечеловеческом забеге — людей? «...Моя тоска — это мое достояние и мой инструмент работы Это откровение сущего, как говорил Хайдеггер В тоске открывается подлинное лицо сущего, не заслоненное и не замутненное проектами Чтобы отследить конституирование смысла, надо его остановить, рассмотреть Надо, чтобы временно все стало бессмысленным Это операция без наркоза, потому что ты проводишь ее сам».

И это дает повод порассуждать об очень многом. Как Гомес Давила, возвращаясь — там пересадка или от поезда на автобусе домой — к тем мыслям и темам, с которыми назначено свидание. О старости, либидо, Витгенштейне, смерти, мире без письма, юдофилии, церкви, мистиках («я сама мистик немного») и атеизме. О многом и частном, на ходу и глубоко.

А ещё в книге много интересной музыки, от Олега Медведева до Эрика Бёрдона.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ При том, что в русской традиции официально полагающееся поименование двумя фамилиями (отцовская Гомес и материнская Давила, в данном случае) как-то исторически не прижилось и чаще всего усекается до одной (и Гарсия Маркес становится просто Маркесом, а Сервантес обходится без Сааведры), будем придерживаться — имея дело с весьма голубыми кровями — этикета и церемониала. Тем более что короткие ФИО, не в десяток имен (как у тех же Дали и Пикассо), позволяют. При этом будем готовы к любым вариантам — к Гомесу Давиле и просто Гомесу в предисловиях к этой книге (сокращение до отцовской фамилии легитимно, хотя тут случай, примерно как с Толстым, — фамилия Гомес редкостью не отличается, но если все собеседники понимают, что речь именно о том самом...), любым в русской традиции (впрочем, для пересчета источников тут хватит пальцев одной руки), Гомесу Давиле в англоязычной, просто Давиле в немецкой...

² «Мои святые покровители: Монтень и Буркхард».

³ И тут любопытно, что, скажем, статья, посвященная Гомесу Давиле в англоязычной Википедии (https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolás_Gómez_Dávila), — это сама по себе схолия, буквально страничка с грошами. И еще любопытно, что в нашей стране, где по переводам

Юнгера мы уже успешно опережаем весь англоязычный мир, текста всё же больше. Хотя какая в принципе разница — жизненных фактов всё равно крайне мало, они и повторяются везде.

⁴ А происходил род, как пишет в своём предисловии В.Дворецкий, «из известного исторического города в окрестностях испанской столицы Авила, одной из резиденций королевского двора средневековой Кастилии, центра католической мистики и места упокоения великого инквизитора Томаса Торквемады». Под лупой мистицизма Давилу также можно рассмотреть, многое любопытное обнаружится.

⁵ «Историки литературы описывают множество посредственных романов и не замечают великую ученую литературу (например, Целлер, Роде, Пёльман, Шюрер, Виламовиц, Гарнак, Норден и т.д.)».

⁶ То, что современность тяготеет к крайнему упрощению (презентация вместо дипломной работы или доклада, видео блогера вместо статьи эксперта и прочая «расскажем в карточках») не должно вводить в заблуждение — путанность сознания явлена тут едва ли не больше.

⁷ О структурах (от атомов до планет) — называемых планктеонами — имеющих сферическую структуру, см.: *Гринченко С.* Пространство и время с позиции кибернетики // Киберленинка (<https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-s-pozitsii-kibernetiki-chast-1/viewer>). Процесс эволюции в данном случае понимается как перманентное нарастание числа ярусов в иерархии, а повышение эффективности в контурах оптимизации прямо связано с понижением устойчивости системы живого. Посему, увы, нам всё дальше предстоит удалиться от «гармонии сфер» Пифагора.

⁸ Он это не формулирует — в конце концов, он пишет схолии и только схолии, а не, Боже упаси, трактат и манифест. Но вот просто маленький намёк на то, что его логика и мысль отклоняются, в мелочах, но не хотят коррелировать с общепринятым. Связка из четырех афоризмов, которые и для экономии места в том числе я не буду разбивать: «Ни христианство, ни язычество не проповедуют альтруистическую этику. Как христианская, так и языческая мораль — это виды этического индивидуализма, которые вменяют общественные обязанности только в качестве средства для нашего земного усовершенствования или нашего загадочного спасения. К счастью, в любую эпоху есть дураки, бесконечно способные на очевидное. Этическая норма запрещает нам видеть людей как средства и Человека как цель. Человек полагает, что его немощь — мера вещей».

⁹ *Дефоре Л.-Р.* *Ostinato*. Пер. с фр. М. Гринберга // *Ostinato*. Стихотворения Самозёла Вуда. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. С. 265.

¹⁰ Е.Х.Гонатас: «Рассказ — это томография реальности, срез реальности. Рассказу необходима ещё одна вещь, ему нужна более искусная рука, он ближе к поэзии, поскольку он сжатый, маленький, в нём нет места головотяпству. Только искусный писатель может сочинить качественную новеллу». *Абадзопулу Ф.* Гонатас — Россия // Гонатас Е.Х. *Гостеприимный кардинал* / Пер. с греч. К.Климовой. — М.: ОГИ, 2019. С. 20. Так, кажется, мыслил своё письмо и Гомес Давила.

¹¹ К хайдеггеровскому «наука не мыслит» Гомес Давила вообще мог бы добавить с дюжину инвектив сциентизму — и людским упованиям на его счет.

¹² Так же вряд ли знал он о такой идее Бенямина, как «исторически побеждённые», а уж подавно знать не мог о совсем недавнем философском направлении «слабая мысль» (*pensiero debole*).

¹³ «И ни с кем не говорю, а молча иду по лесу» Отсутствие точек — особенность авторского стиля. Восходящая, возможно, к этому самому набиванию текстов в смартфоне. Не знаю, вполне возможно, и к чему-то другому. Но сам я где-то с год назад тоже отказался от точек и пр. в конце предложений в мэйлах. И так ведь ясно. И как-то скромнее. Да и опыт общения с другими языками (например, японским, где нет ни заглавных букв, ни пробелов между словами, ни родов) показывает, что «без многого легко можно обойтись».

¹⁴ *Юнгер Э.* *Уход в Лес* / Пер. с нем. А. Климентова. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2022. С. 60.

¹⁵ А посвящена эта книга тому же В.Дворецкому, под редакцией которого выполнен перевод колумбийца и чье предисловие открывает предыдущий том.

Ольга Балла

Ens philosophans

Весь этот обзор обязан своим существованием самой первой его книге. В ней важно даже не то, что она — о чтении. Чтением как таковым внимание автора на самом деле не ограничивается и захватывает также и такие лишь внешне прикосновенные к нему области, как коллекционирование книг — причём и в качестве бумажных объектов, и, что, наверное, реже, но зато ближе к основной теме, — самого факта их прочитанности (то есть независимо от того, на бумаге ли, с монитора ли прочитана книга и остаётся ли она при этом у прочитавшего). Самое же интересное — то, что чтение рассматривается в ней в качестве *философской практики*.

Вот! вот оно!! — воскликнул внутри себя автор этих строк, поразившись неожиданности такой постановки вопроса, но более всего — богатым возможностям концепта «философская практика».

То есть можно было бы — как вообще-то вначале и замышлялось — сделать обзор книг, посвящённых чтению (как культурной форме; тому, что оно делает с человеком на разных уровнях от социальных связей до процессов в мозгу и т.п. Всё-таки мы это непременно сделаем, потому что стоит только придумать тему, и книги собираются вокруг неё сами. Только чуть позже). Но оказалось, что куда интереснее и плодотворнее задаться вопросом: а какие ещё мыслимы философские практики (помимо, разумеется, такой очевидной, как занятия философией в академических рамках и за их пределами)? Какую практику вообще стоит считать философской и как она при этом устроена?

Как и следовало ожидать: стоило задаться вопросом, как книги немедленно начали предлагать свои ответы на них — только лови и осмысливай. Послушаем же, что они отвечают.

Роберт ПИРСИ. Чтение как философская практика / Перевод с английского Анны Васильевой. — Ереван: Fortis Press, 2024. — 208 с.

Роберт Пирси — философ профессиональный и академический: профессор философии Кэмпбелл-колледжа Реджайнского университета в Канаде, редактор журнала *Philosophy in Review*, автор по меньшей мере двух академичнейше философских книг: об использовании прошлого от Хайдеггера до Рорти и о кризисе в континентальной философии (по крайней мере это сообщает нам о нём аннотация; иные его труды, похоже, на русский не переводились), — предпринял нетривиальную (во всяком случае, на взгляд неспециалиста) попытку увидеть философскими глазами и осмыслить в философских категориях простое бытовое, ради удовольствия и отдыха

предпринимаемое чтение. Ладно бы ещё работу с текстами коллег-интеллектуалов или чтение философских трудов! А то вон ведь что.

«Моя цель в этой книге, — говорит автор, — изучить опыт обыкновенного читателя. Я не буду рассматривать только те виды чтения, которыми занимаются ученые. Напротив, я сосредоточусь на тех видах чтения, которые лучше всего знакомы большинству людей, — повседневном чтении в удовольствие, — и на опыте, который люди, читая, получают. Я уделю особое внимание головоломкам и парадоксам, связанным с этими переживаниями, и воспользуюсь инструментами академической философии, чтобы попытаться разобраться в некоторых из этих головоломок и парадоксов».

На что тут важно обратить внимание? Думается, ключевых слова ко всему этому два: опыт и парадокс. Исследуется в книге, во-первых, структура опыта, во-вторых — коренная, неустранимая его парадоксальность. А простое бытовое чтение, оказывается, даёт для этого очень много интересного материала.

(Ещё не лишним, пожалуй, будет понять, что автор понимает под практикой. Практику он, вслед за американским философом Аласдером Макинтайром, определяет как «любую последовательную и сложную форму социально учреждённой кооперативной человеческой деятельности, через которую блага, внутренние по отношению к этой форме деятельности, реализуются в ходе попыток применения тех стандартов превосходств, которые подходят для этой формы деятельности и частично определяют её с тем результатом, что систематически расширяются человеческие силы в достижении превосходства, а также соответствующие концепции целей и благ». Мы же, вольные неспециалисты, расширим и упростим это определение для собственных целей следующим образом: будем считать практикой любую хоть сколько-то систематическую и регулярную деятельность с некоторым минимумом правил. Философская практика — это такая, посредством которой человек проясняет для себя нечто самое коренное, относящееся к нему самому, к миру и к способу своего существования в нём.)

Автор обильно ссылается на коллег-теоретиков, включая и таких, которых наши собратья по языку и культуре в большинстве своём вряд ли читали, на каких-то англоязычных теоретиков и колумнистов англоязычной периодики, соглашается с ними, спорит с ними (но и на Аристотеля, допустим, и на Вальтера Беньямина, и на Вирджинию Вулф он тоже ссылается, так что мы тут не совсем в тёмном лесу). Свою книгу он адресует в первую очередь философам и философски подготовленным читателям. Но через некоторую — впрочем, не избыточную — терминологическую сложность её есть смысл продаться и тем, кто к таковым себя не причисляет, поскольку речь идёт в конечном счёте о предметах совершенно общечеловеческих.

Чтение, говорит Пирси, способствует самоосознанию человека, выявлению им в себе самого себя: и помимо приносимых им знаний, доставляемого им развлечения, и с помощью всего этого, но прежде всего — в силу самого своего устройства, вследствие типа прилагаемых человеком при этом усилий (а усилия прилагаются всегда, даже когда речь идёт о развлекательном чтении). Это, показывает он, — человекообразующая деятельность.

Он подробно рассматривает устройство читательского опыта: разные тактики и модели чтения, принятие читательских решений: «...Когда обыкновенные читатели размышляют о том, насколько чтение важно для них, они имеют в виду множество разных видов деятельности, и время, которое они тратят, пробегая глазами по странице, это лишь одна из них. Бывают решения о том, что читать и как: начать ли мне снова “Моби Дика”, хотя Мелвилл никогда по-настоящему меня не захватывал? Сколько попыток прочесть эту книгу я должен предпринять? Сколько мне прочесть,

прежде чем снова отложить её? Бывают решения относительно разных целей, которые я привношу в моё чтение: сколько я могу посвятить чтению, чтобы просто развеяться, а сколько книгам (если таковые имеются), которые, как я надеюсь, послужат мне назиданием? Сколько художественной литературы и сколько нехудожественной? Бывают решения по поводу перечитывания: отпуск мне лучше провести с классикой, которую я никогда не открывал, или перечитать любимую книгу, которую я уже читал дважды? Сколько раз можно перечитать любимую книгу, прежде чем она начнёт терять для меня своё очарование? Сколько ещё книг я смогу прочитать прежде, чем умру, и что мне с этим делать, и делать ли что-то? И бывают вопросы о влиянии чтения на мой характер: должен ли я чувствовать вину за то, что наслаждаюсь “Лолитой”?»

То есть самопроблематизация человека в отношении чтения вообще-то неминуема, даже если человек не отдаёт себе в этом особенного отчёта — он всё равно её проживает.

В книге три проблемных области — и, соответственно этому, три формально не выделенных части: влияние чтения на личность, этика чтения и — самое удивительное для неспециалиста — онтология: чтение и бытие.

После того, как в самой первой из глав автор анализирует самую идею философствования о чтении, две главы — «Читающее Я» и «Жизнь читателя» — он посвящает связям между чтением и, как Пирси это называет, самостью.

Также две главы выделяет он на обсуждение этических аспектов чтения — что совершенно не удивительно, поскольку этика и есть совокупность принципов отношений с другим / другими, а тем самым, вследствие этого, и с самим собой. Книги же — и как информация, в них содержащаяся, и как материальные объекты, и даже как идея — это полноценное Другое (организованное иначе, чем читатель, по определению не подвластное ему целиком и никогда не известное ему полностью, Другое как вызов, ограничение и стимул), в отношениях с которым, да, приходится выстраивать поведение. Тем более что мы это Другое ещё и впускаем в себя... Приходится заново устраивать свои внутренние пространства.

Пирси говорит о разных стратегиях понимания обязанностей читателя (перед кем? — отдельный вопрос; этим вопросом он тоже занимается). Он не конструирует эти обязанности, не придумывает их, а именно что вылавливает из воздуха своей культуры, в котором разлиты соответствующие представления разной степени осознанности. Небольшой спойлер: он полагает, что такие обязанности читатели чувствуют и перед текстом тоже! «Многие обыкновенные читатели сказали бы, что мои обязанности как читателя выходят за рамки этих личных желаний и нужд. Я чем-то обязан тому, что прочитал, и, если я не справляюсь, значит, я делаю что-то не так».

«Онтологическая» глава всего одна. Тут читатель, ищущий анализ именно читательского опыта, пожалуй, рискует быть разочарованным: на этих страницах автор всё-таки покидает тематическое поле чтения в его прямом смысле, то есть усвоения текстов, и переходит к обсуждению отношений человека с книгами как материальными объектами, а также с виртуальными телами электронных книг (а понятие «книга», в свою очередь, именно здесь расширяет до всего читаемого вообще). Он, правда, называет это «чтением вещей», но слово «чтение» тут явно звучит метафорически. Впрочем, это всё равно интересно.

И, наконец, последняя из глав посвящена прогнозам о будущем «обыкновенного читателя» в ситуации нарастания объёма цифрового чтения (опять-таки нет сил удержаться от спойлера: автор, что не слишком типично, смотрит на него оптимистически!).

Типичных читательских стратегий, то есть подходов к читаемому и в свете его — к самому себе, Пирси выделяет три. В соответствии с подходом «деонтологическим», наиболее обязывающим, «когда мы читаем, мы находимся в присутствии чего-то, обладающего особой ценностью, которая предъявляет к нам особые требования. <...> Книга может потребовать определённого критического отклика лишь потому, что она этого заслуживает». Подход, название которого переведено как «несхожий» (нет уверенности в удачности этого перевода, звучит довольно неуклюже), подразумевает внимание к «инаковости других» — соответственно, и текста тоже: не подгонять, значит, текст под свои ожидания, не сводить его «к способу своего бытия». Наконец, подход «эвдемонистический», как следует из его греческого имени, означает, попросту говоря, чтение в своё удовольствие. У каждого из этих подходов, даже у последнего, преследующего, казалось бы, исключительно гедонистические цели, есть, по словам автора, свои проблемы и трудности. И возможно, утверждает он, не только осознавать и все эти трудности и сам тип собственного чтения, но и менять эти типы по собственному произволу. Даже прямо даёт советы, как это делать.

То есть, хотя книга Пирси по основному своему замыслу и не практическое руководство, — в этом качестве она тоже способна пригодиться. Слава Богу, стратегий чтения много!

Михаил ЭПШТЕЙН. Память тела: рассказы о любви. — USA: Franc Tireur, 2024. — 283 с.

Философу, филологу, теоретику культуры, эссеисту Михаилу Эпштейну, уже не раз — в нескольких, всякий раз дополняемых и перерабатываемых изданиях — высказывавшемуся о любви в привычном для него эссеистическом, по существу исследовательском формате¹, теперь захотелось испытать возможности художественного высказывания о том же предмете — причём возможности именно философские, смыслопорождающие. Теперь он пишет рассказы — чтобы тем яснее увидеть любовь, неразделимо телесно-душевную, как — да, именно как философскую практику (нужды нет, что сам автор этого — прекрасного — термина не использует; мы-то уже знаем, о чём идёт речь).

Разумеется, Эпштейн и тут — чистейший исследователь (и совершенно неспроста в предупреждении к книге он именуется её не чем-нибудь, а именно «энциклопедией» — любовных коллизий, сюжетов, ситуаций — «от игровых и иронических до трагических и фатальных». И то, что тут, как совершенно справедливо говорит автор, «интеллектуальная проза скрещивается с эротической» (что исчезающе-редко для русской литературы), не должно вводить нас ни в смущение, ни в заблуждение: всё-таки эротическая проза — один из самых адекватных языков описания интересующего нас состояния.

Важно же тут на самом деле то, что «одержимые жаждой познания и самовыражения, персонажи переживают телесную близость как вызов, риск, экзистенциальное испытание». Вот, вот оно! (воскликает опять же читатель.) Любовь, на самом деле, делает то, что и (вполне бесстрастно смоделированное Робертом Пирси)

¹ Sola Amore: Любовь в пяти измерениях. — М.: Эксмо 2011; Любовь. — М.: Рипол-Классик (серия «Философия жизни»), 2018; и третье издание, в 2-х томах: Т.1. Эрос: между любовью и сексуальностью. — М.: Рипол Классик, 2021; т.2. Прав ли Фрейд? Языки любви. — М.: Рипол Классик, 2021. Это три разных облика одной книги, которая постепенно разрасталась.

чтение: она проблематизирует границы человека. Она ставит его перед лично проживаемой проблемой и тайной «своего» и «чужого» в их взаимоотношенности, взаимопроницаемости, взаимослиянии, взаимонедоступности... Только это всё отвлечённые слова, а Эпштейн-прозаик даёт пережить это на живых примерах. Ну и пусть выдуманных: что мы, настоящего, что ли, не выдумываем? Пуше того: события многих рассказов — уж не всех ли, по большому-то счёту? — происходят в значительной мере в воображении героев. Но что это меняет? — скорее, не меняет, а усиливает: воображение, как показывает нам автор, — реальность пореальнее осязаемой.

(Так что перед нами — ещё и рефлексия о природе и устройстве так называемой реальности.)

Чтобы опять-таки расширить возможности высказывания и добавить объёмности собственному взгляду, свои рассказы о многообразии любовных ситуаций и состояний Эпштейн — вполне прозрачно именуя себя «публикатором», именно так, в кавычках, — пишет от имени даже не одного гетеронима, а целых двух, с продуманными — по крайней мере, в основных чертах — биографиями, а значит, и жизненными, и литературными позициями (правду сказать, на стилистике текстов это не так чтобы сказалось, — стилизаторскими задачами Эпштейн явно не задавался, ему важно было как можно точнее смоделировать и описать ситуации — и да, это ему удалось): Степана Фёдоровича Калачова (1899—1974), уже знакомого внимательному читателю по книге «Любовь»¹, и сына его Евгения Степановича (1948—2023). «Исследователям ещё предстоит разобраться, — пишет публикатор, — с вопросом, кому в точности принадлежат некоторые рассказы — отцу или сыну, — а какие, возможно, написаны ими совместно или завершены сыном по наброскам отца. Следует допустить участие и других представителей литературного круга, сложившегося вокруг них в 1970—1980-е гг. Более того, не исключено, что миграция текстов по разным поколениям и странам открыла возможность для мистификаций, для перевоплощения авторских личностей. Понятие авторства давно стало предметом вопрошания и игры...»

Да и не только, добавим мы, авторства. Любовное влечение во всех его вариантах тут тоже стало таким предметом — не только игры, но и вопрошания.

Вот как, например, рассуждают герои одного из рассказов Эпштейна... ой, то есть кого-то из Калачовых, — герои, правда, в данном случае философы, — по поводу того, что одежда волнующей женщины была «достаточно свободной, чтобы обрисовывать движение груди, но не её форму». Это, разумеется, лишь «усиливало её притяжение» и провоцировало созерцающих недоступное на следующие соображения: «У неё таинственная грудь <...> Мы как агностики перед загадкой божества: не можем ни утверждать, ни отрицать его свойства и даже само его существование»; «Нам дано воспринимать её энергию, но не сущность». Повествователь комментирует так: «Если сущность недоступна для прямого познания, то энергия воспринимается непосредственно, то есть воспламеняет. И действительно, при движении там проступала динамика пространства, которое жило, дышало, перемещалось, сминало ткань, играло складками, но своей сложной топологией ускользало от простых геометрических решений». А «один философ предположил, что женская грудь существует в двух состояниях: как материя, которая замкнута своей формой, — и как энтелехия, которая сама формирует своё пространство. И только во втором случае, у редких женщин, свободный покрыв даёт ощущение подвижной наполненности».

¹ Эпштейн М. Любовь. — М.: Рипол-Классик (серия «Философия жизни»), 2018. С. 348—381 (глава «Корпус Х. Марксистская эротическая утопия»).

Но это, конечно, в своём роде экстремальный случай (практического) философствования; да и автор вместе с повествователем и обоими своими гетеронимами столь же серьёзен, сколько и играет, — тут не разделить, в том и прелесть эпштейновского повествования.

А кроме того, обсуждаемая практика даёт автору, от чьего бы имени он ни говорил, особенные возможности для рассмотрения устройства человеческой природы и коренной её парадоксальности. Примеры — почти наугад: «“Холодный эрос” — это взрывчатая смесь: эротическая одержимость сочетается с эмоциональным отчуждением. В отличие от животной сексуальности, человеческий эрос растягивает наслаждение, превращая его в бесконечную игру притяжения и отталкивания <...> максимум жизненности — это именно контраст огня и холода». Ещё: «...Есть особая прелесть в этой развилке чувств, когда одна часть любимой — твоя, а другая остаётся недоступной». Конечно, всё это говорят персонажи, каждый из которых представляет собой, как персонажам и положено, лишь часть личности автора со всеми его возможными взглядами, а то даже и маску его, но тем не менее в каждой маске есть лишь доля маски. Человеку же, в практику вовлечённому, она даёт незаменимую возможность эту парадоксальность проявить и если не осмыслить систематически — не всякому такого хочется, — то, во всяком случае, тщательно прочувствовать, — и тут самое время вспомнить о том, что тот же Эпштейн писал о *философских чувствах*, — та практика, о которой тут идёт речь, вызывает, на самом деле, чувства именно что философского, антропологического порядка.

Эпштейн (вместе с обоими Калачовыми) здесь не только философ, он и психолог тоже, — тут есть такая вполне самоценная психологическая линия: линия наблюдений за душевными и умственными движениями людей, вовлечённых в любовное взаимодействие, — такими, которые не совсем (чаще совсем не) укладываются в их собственное понимание, опережают его — и всё-таки управляют ими. Вот героиня одного из рассказов, упорно противостоявшая упорным же попыткам героя сблизиться с нею, говорит ему: «Господи, <...> я-то думала, что встретила своего человека. Что мы будем видеться в Москве. Как-нибудь устроимся (она так и сказала, поскольку была замужем). Я уже придумала маршрут, по которому мы будем ходить друг к другу. А теперь вы всё разрушили своим нетерпением или, правильнее сказать, бесчувственностью. Нам надо было лучше узнать, войти в доверие, ощутить друг друга. Тогда получилось бы и всё остальное. Вы сами всё разрушили».

Тут-то герою и открывается: «В этот момент я понял, что, да, сам разрушил наше прекрасное будущее в Москве, но — сознательно. Я был столь настойчив именно потому, что не хотел заводить отношения с замужней женщиной. Такой у меня был, как говорится, бзик: можно всё что угодно, но не это. В то же время у меня был долг “вести себя по-мужски”, оценить по достоинству её прелесть, наряд, весеннее платье... и меня действительно влекло к её коленкам. Получилась распялка чувств: желая этого, я этого не желал. Стараясь поспешно завязать узел этой связи, я одновременно разрубал его <...> У меня не было сил отказаться от влечения к этой женщине, но хотелось сделать так, чтобы она сама отказала мне, — переложить на нее ответственность за нашу не-встречу». (Пусть того, позже герой догадался, что и она сделала то же самое.)

Это не только о парадоксальности, не в первую очередь о ней, хотя, казалось бы, она тут на каждом шагу. Это каждый раз — каждый, какова бы ни была любовная ситуация, а их тут великое многообразие — о границах человека, об их подтверждении, проблематизации, прослеживании, защите, изменении их формы, прорыве (ведь любовь оспаривает эту заветную черту, которую не перейти влюблённости и страсти, так отчаянно, как, может быть, ничто другое).

Ну то есть, в самом общем виде говоря, — о том, до каких пор человек остаётся самим собой.

Среди любовных рассказов Эпштейна есть и фантастические, им отведён специальный раздел «Волшебство» (как будто в других разделах волшебства было мало, ей-богу!): «Голоса из будущего», «Оргия, или Боковая ветвь мироздания», «Полёты во сне и наяву». Рассказ «Комната» в том же разделе — просто о волшебстве, не нуждающемся ни в каких фантастических допущениях; а «Мумуха» — скорее уж сказка, и да, тоже о любви, о настоящей, которая вот прямо до смерти, только о такой, в которой, однако — удивительно ли? — телесного компонента нет вообще. Во-первых, потому, что это любовь к мухе (а человеческая женщина тут всё только непоправимо портит). А в ещё-более-первых... может быть, всё-таки — при всех великолепных, как будто даже незаменимых возможностях тела — не в нём тут дело? Оно в конечном счёте (без мухи с её трагической историей мы бы, пожалуй, и не догадались), — всего-навсего инструмент.

(А кстати: ведь и само писание текстов от лица другого автора — устроенного иначе, чем, так сказать, автор «исходный», — ещё какая философская практика: выход за собственные пределы — и вхождение в другие пределы, иначе очерченные, а значит — осознание и самих этих пределов, и их — по крайней мере до некоторой степени — преодолимости, проницаемости.)

Михаил ЭПШТЕЙН, Сергей ЮРЬЕНЕН. Кульминации: О превратностях жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 288 с.: ил. — (Критика и эссеистика)

Совместная, соавторская книга Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена автобиографична (а в случае глав, написанных Эпштейном, — ещё и автофилософична), подобно предыдущей их совместной книге — «Энциклопедия юности»¹, разве что внимание в ней организовано принципиально иным образом: если «Энциклопедия...» строилась по словарному принципу — в алфавитном порядке и каждая из её словарных статей посвящена была одному из ключевых понятий или слов, связанных с юностью (авторов), то эта, новая, посвящена пиковым, самым-самым сильным — а потому и ключевым — переживаниям чего бы то ни было: преступного намерения (так!), алкогольного опьянения, спонтанности, иностранности, младенчества... Важно: тут, как говорят соавторы в предисловии, описываются переживания не просто наиболее сильные, но те из них, что достигают в своей силе «концептуальной чистоты» и означают вследствие этого поворотные моменты жизни, после которых та — в каком бы то ни было отношении — уже не могла оставаться прежней. Точки смыслопорождения. Что интересно и особенно: не само смыслопорождение, но то, что делает его возможным — а то даже и необходимым.

Значит — речь идёт о предприятии, по существу, философском: об осмыслении устройства человеческого опыта. Опыта вообще, любого.

(Отнести книгу к философии будет, однако, огрублением: в той же — неминуемо неполной — мере она должна быть отнесена и к художественной словесности, и к нонфикшну, — самое же правильное, кажется, причислить её ко всему этому одновременно, ухватившись за спасительное слово «эссеистика».)

Авторы, конечно, выстроили выявленные ими кульминации в систему, в соответствии с которой и разбили книгу на разделы. Такое устройство книги выглядит

¹ Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен. Энциклопедия юности. — М.: Эксмо, 2018.

более проблематичным, чем безотказное алфавитное (зато в самом этом делении уже есть антропологическая концепция, от которой алфавит свободен): согласно этой системе, кульминации мыслимы «роковые», «экзистенциальные», «романтические», «моральные», «идейные», «народные», «исторические», «религиозные», «символические», «литературные», «креативные» и, наконец, «финальные». Понятно, что тут возможно власть спорить о тонкой дифференциации, например, между «роковым» и «экзистенциальным»; но во всяком случае понятно, на какие смысловые области авторы делят человеческое существование. В иерархию эти области в данном случае почти не выстроены (нет никаких поддающихся чёткой формулировке причин тому, что, скажем, «идейные» кульминации оказываются впереди «религиозных» и «символических», а «романтические» опережают «моральные»; но есть некоторая логика в том, что открывается этот список кульминациями «роковыми»: они, кажется, — кульминации, то есть переломные точки *par excellence*; а замыкают его кульминации, названные «финальными»). Кстати, конкретные кульминации, по крайней мере, некоторые из них, тоже могут быть без особенного сопротивления перемещаемы из одной ячейки в другую или, скажем, размещены в нескольких сразу. По всей вероятности, так устроено хотя бы уже затем, чтобы не давить живое системой. Но не только: такая нестрогость открывает возможности доработки предложенной системы, разрачивания её в разные стороны (кстати, сразу же приходит на ум эпштейновская — здесь же, в «Кульминации замысла» среди «креативных», описанная! — Книга книг, «расширяющаяся вселенная мысли». Это вообще любимая модель его мыслеображения; по этой модели Эпштейн выстроил и «Проективный словарь гуманитарных наук»¹, где, по собственным его словам, более четырёх сотен созданных им самим понятий «в разных дисциплинах» образуют такую вселенную, «пересекаясь и перекликаясь». Здесь ведь происходит нечто очень родственное: только в данном случае стоило бы, пожалуй, говорить о расширяющейся вселенной человеческого опыта).

С «Энциклопедией юности» эту книгу роднит не только автобиографичность и автофилософичность (это, в конце концов, родство вполне поверхностное), но именно открытость: каждая из здешних ячеек растяжима, подобно алфавитной, до бесконечности и способна бесконечно же заполняться. Они и так-то заполнены неплотно: каждый из авторов (а заполняют каждую ячейку они всегда оба) то всего-то две кульминации туда положит: скажем, в «идейные» Юрьенен — только кульминации «обиды» и «одиночества» (читатель сразу думает: уж обиду-то и одиночество не отнести к кульминациям экзистенциальным? — а это всё потому, что и ячейки подвижны, и содержание их), а то вдруг все шесть! — Эпштейн среди «символических» размещает кульминации и жизнестойкости, и владения собой, и веры в государство (а её — отчего бы не в «идейные?»), и цвета, и спортивных страстей, и сладости (а Юрьенен в той же смысловой нише опять обходится двумя: нумизматической и кульминацией боя). Но это всё для того, чтобы возможно было заполнять снова, и снова, и снова...

Не говоря уже о том, что сам список предложенных типов кульминаций наверняка тоже не исчерпывающий и взывает к доработке и расширению. Во всяком случае — это не только превесьма захватывающее чтение. Да, это можно читать и как просто литературу — художественную, особенно те части, что написаны Юрьененом, у него очень сильна беллетристическая компонента, практически лишь она одна и есть — да разве ещё автобиографическая рефлексия; ему интересен — да, во многих типических чертах, продиктованных временем, средой, социальной ситуацией,

¹ Проективный словарь гуманитарных наук. — М: Новое литературное обозрение, 2017.

собственным темпераментом, наконец, — один-единственный случай: свой собственный, сфокусировавший в себе много-много пронизывающих его время и среду лучей — и всё-таки резчайше-индивидуальный. Эпштейн же — что и называю я автофилософичностью — посредством собственного, никак не менее индивидуального случая стремится выявить общечеловеческие черты, устройство человека как такового, увидеть свою единственную жизнь как путь к пониманию этого устройства. Это ещё и надёжно сплетённая сеть, пригодная для накидывания её каждым читателем на свою жизнь и выявления таким образом собственных её смыслов, которые так или иначе в предложенные ячейки помещаются. Это инструмент, тяготеющий к универсальности.

По полному же прочтении книги понимаешь ещё и то, что она наводит на очень важную мысль, бросающую свет на всё ныне обозреваемое троекнижие в целом, — и некоторая намеренная читательская безответственность даже позволяет эту мысль сформулировать. Вот она: очень похоже на то, что любая практика — но и не обязательно систематическая практика, это может быть и единичное, пиковое, «кульминационное» состояние — способна быть понятой — и осуществляемой — как философская. То есть — как концентрирующая человека вокруг самых главных вопросов, предшествующих всем его персональным координатам (пол, возраст, этнос, социальный статус...) и помогающая если и не найти на них ответы (тем более — окончательные, уж это вряд ли), то, во всяком случае, с некоторых незаменимых, только изнутри этой практики доступных сторон к этим ответам приблизиться. Ну, по крайней мере, увидеть сами вопросы (как, например, границы и взаимоотношения между «своим» и «чужим» в случае читательской практики). О переживаниях же кульминационных мы вправе сказать, что они резко и тем более властно ставят человека перед такими вопросами, заставляют их увидеть — и отпускают его уже с новыми ответами. По крайней мере — с возможностью их.

Практики — и состояния, достойные названия философских, — это то, что проблематизирует, ставит под вопрос человека как такового. То, что с помощью единственных, незаменимых жизненных обстоятельств человека показывает ему надындивидуальное, общезначимое.

Однако не то же ли относится и к (практикуемой человеком) жизни в целом? Она это тоже умеет.

Человек — *ens philosophans*, существо философствующее, и философствует он не головой только (это — частный, особенный и, может быть, не такой уж важный случай), но — всем собой в целом (и телом, да, как мы читали у Эпштейна). А сделает он из этого философию в её академическом или вообще так или иначе культурно устроенном варианте или нет — совершенно неважно.

Борис Минаев

Похороны режиссёра

Несколько лет назад московский Театр.doc представил зрителю спектакль по пьесе Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В то время, как мне кажется, это была не самая громкая премьера театра. Она была успешной, но... Просто пьеса довольно сильно отличалась от формата Doc. В ней не использовался документальный материал (а драматургия Verbatim, то есть пьесы, написанные по мотивам реальных интервью и жизненных историй, была важнейшей идеей театра).

По большому счету, ее нельзя было назвать в прямом смысле социальной — а ведь именно такие пьесы о проблемах общества (нищета, социальное расслоение, положение мигрантов, социальные предрассудки, пропасть невежества, насилие) были фирменным знаком театра. Тут я могу вспомнить знаменитых «Соколов», о которых недавно писал в «Дружбе народов», «Синего слесаря», и относительно недавнюю пьесу Дмитрия Данилова «Что вы делали прошлым вечером?», и «Язычников», и многое, многое другое.

Пожалуй, единственным, что роднило спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», так сказать, с основным корпусом репертуара Театра.doc, был юмор. Юмор довольно едкий.

Некий провинциальный театр собирается поставить пьесу о последних днях сталинской эпохи. Прогон нового спектакля приурочен к юбилею главного режиссера. Всё очень торжественно. После первой сцены (а это, кстати, разговор охранников, который очевидным образом пародирует первую сцену из «Гамлета») — выходит режиссер и произносит монолог «для прессы» о том, какой смелый спектакль театр собирается показать. «Да, мы отдаем себе отчет, что пьеса не устроит ни правых, ни левых, ни тех, ни других, но нас это не остановит...» И так далее.

Интонация узнаваемая — сказать много и не сказать ничего.

Чиновник из министерства культуры, бесцветный человек в костюме, выходит с красной папочкой зачитывать «телеграмму от губернатора».

Но вот дальше начинается самое интересное. Пьесой заинтересовалось «первое лицо».

Был такой спектакль по пьесе (а вернее, даже по стихотворению) Юлия Кима — «Капнист туда и обратно» театра «Эрмитаж». Там пьесу драматурга восемнадцатого века смотрит Павел Первый — и по ходу того, как он смотрит, меняется судьба Василия Капниста, то его заковывают в кандалы, то, наоборот, награждают, но там был представленный театром «исторический анекдот», который пришелся ко времени,

тогда — в начале двухтысячных, а вот тут уже — совсем не анекдот. И совсем не исторический.

Пьесу об Иосифе Виссарионовиче «во время обеда» смотрит первое лицо государства («не волнуйтесь, трансляция уже идет», говорит бесцветный гусь в костюме) — и в зависимости от его выражения лица, от того, доел ли он десерт, от сдвига бровей и положения уголков рта — тут у нас, в нашем театре, меняется практически всё: и состав действующих лиц, и конфигурация ролей, и сам текст, и, так сказать, общая концепция.

Как говорится, история повторяется.

Признаюсь, я смотрел на сцену (а Театр.doc теперь по иронии судьбы располагается рядом, дверь в дверь, с «музеем подпольной типографии газеты “Искра”») какими-то совершенно другими глазами, чем, наверное, смотрел бы ее раньше.

То, что раньше казалось смешным, теперь стало страшным.

То, что вызывало легкую улыбку, — вызывает злой гомерический хохот.

Легкость и юмор уступили место тяжести. Она стала главным компонентом спектакля.

Тяжесть узнавания, понимания, я бы сказал, тяжесть *пребывания* в этих, столь знакомых обстоятельствах всеобщего умолчания, вынужденного компромисса, общей усталости и какой-то невероятной, сошедшей с ума реальности.

Понятное дело, изменение общей концепции («Президент не доел десерт! Телеграмма губернатора отозвана и уничтожена! Премьеры в этом виде не будет!») — главному режиссёру нужно начинать с самой пьесы.

Возникает даже такой вопрос: а почему главный герой умирает, зачем вообще «нам» нужна эта тема смерти?

Впрочем, цензурные изъятия, споры о сталинизме и прочее, и прочее — не более чем театральные приемы автора. Все «сцены из пьесы» — не более чем шутка, обманка, театральные капусташки.

Главное в спектакле — сам театр. Режиссер, актеры, отношения внутри труппы, борьба самолюбий, истерики и интриги.

Внутренняя, так сказать, жизнь.

Конечно, далеко не вся публика, присутствующая в зале Театра.doc, в полном объеме представляет себе, насколько сейчас ужесточилась «внутривидовая» борьба внутри театральных коллективов, насколько острым стал выбор для каждого театрального человека: режиссера, худрука, драматурга и актера.

Да, театр — организм творческий, но при этом и социальный. Он стал очень зависим в последние годы от того, что происходит «снаружи». Зависим как никогда.

Исчезают театры, которые существовали десятки лет, они меняют названия, из них делают своеобразный «конструктор», присоединяя один к другому. С афиш убирают фамилии, придают совершенно иное направление репертуару: то, что было обращено к современности, становится площадкой для водевиля, легкой комедии, абстрактного бурлеска.

Исчезают даже фамилии создателей (последний пример — театр Виктюка), то есть, коротко говоря, исчезает привычный театральные ландшафт и вместо него появляется какой-то другой.

...Мы в итоге так и не узнаем, что в конце концов стало с пьесой об Иосифе Виссарионовиче, какой Сталин там показан и будет ли там хоть что-то о его смерти.

Но зато мы подробнейшим образом изучим саму механику «сдачи в плен», капитуляции и компромисса.

«**Сталин.** (*Обходит Терентия, сидящего на стуле.*) Блестящая пьеса, Терентий! Великолепная! Но надо сократить в три раза и написать другое начало. И всё! (*Терентий порывается бежать, Хрущёв и Берия его останавливают.*) До премьеры три недели. А до них было два года работы, ожиданий, мечтаний... Терентий, ты что, предашь два года своей жизни? Ты же разумный человек. Издашь ты свою пьесу в полном виде. Я предисловие напишу. Поставишь в другом театре в полном виде — я помогу. А здесь... Как человека даровитого хочу тебя спросить: почему в пьесе столько всего есть, а сцены с мамой нету?»

Сталин — это, понятное дело, главный режиссер, он же исполнитель главной роли (актер Александр Калугин). В режиссуре Юрия Муравицкого — это ключевой персонаж, воплощение и всей современной культуры, да, пожалуй, и в целом — воплощение главенствующего ныне человеческого типажа. Человек подвижный, эмоциональный, яркий, умеющий перевоплощаться (то, как он по ходу пьесы перевоплощается в «вождя народов» — основной фокус и основной театральный аттракцион), но самое главное — *человек приспособляемый*.

Нет, не homo soveticus, и нет, не раб потребления, раб желудка или привычек, нет, не раб каких-то прежних стереотипов, напротив, — Вольдемар Аркадьевич, он же Сталин — абсолютно сегодняшняя, сугубо творческая, интуитивная, почти гениальная личность. И спасает он не свою презренную шкуру — нет, он спасает Дело с большой буквы, спасает работу, спасает традицию, спасает культуру, спасает Смысл с большой буквы, спасает театр, он ведь жить без него не может!

...В последнее время я довольно часто говорю с разными людьми про то, что помогает им жить. Ответ почти всегда один — работа. Профессия. Творческие, научные, профессиональные задачи, которые не зависят от сегодняшней конъюнктуры.

Уйти в работу. Сделать нечто стоящее. Посеять в очередной раз семена разумного, доброго, вечного. Работать для будущих поколений. Делать добро. Заниматься просвещением. Ну и так далее. А иначе зачем жить здесь и сейчас?

Пьеса Артура Соломонова в постановке Юрия Муравицкого (актеры Александр Калугин, Ефим Михайлов, Анастасия Лебедева, Владимир Гасанов, Антон Ильин, Марина Ганах, Виктор Кузин, Алексей Губкин, Михаил Руденко, художник по костюмам Александр Петлюра) — довольно понятно и ненавязчиво рассказывает о том, что и в этой привычной для всех нас моральной максиме есть свой, мягко говоря, изъян. Своя ловушка. Своя дорога в ад, вымощенная благими намерениями.

Что от этого мира — никуда нам не деться.

Что он придет и возьмет свое.

То, что эта непростая философская задача решается с помощью комедии, фарса, водевиля, — делает ее решение еще более изящным и эстетически цельным. Я бы сказал, необратимым.

Режиссер становится Сталиным, выкидывает из пьесы персонажей, перекраивает текст, стравливает актеров и особенно актрис, запирает драматурга в театре, на чердаке, практически в нечеловеческих условиях, устраивает осадное положение, отчаянно пытается спасти премьеру, но главное не в этом.

Главное в том, что к концу представления он и сам не понимает (и мы вместе с ним) — а ради чего?

Ради чего жертвовать репутацией?

Ради чего уступать под прессом невнятной цензуры и непонятных ограничений?

Ради чего *всё это*?

Что мы спасаем? Какой театр? Какое дело?

«Хрущёв. Мы так мечтали об этих ролях...

Сталин (с грузинской интонацией). Театр — это империя. Что такое одна маленькая актёрская судьба в сравнении с судьбой целого театра? Решение принято. Ваши таланты понадобятся в будущем. Сейчас не время».

...Кстати, в этой моральной максиме есть ответы, которые меня лично вполне устроили бы: компромисс может быть просто ради спасения жизни, ради зарплаты (то есть хлеба насущного), ради крыши над головой, ради здоровья близких.

Но спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — он совсем о другом. О безудержности наших творческих амбиций. О неумении честно оценить себя, отнестись с юмором к грандиозности своих планов.

О трезвости и честном взгляде на мир. И в этом смысле он совсем не устарел. Скорее, наоборот.

Evgenij Kaminskij. The Piglet, the Cockerel and All This Horror

On his way to the Black Sea resort one eminent metropolitan writer with his wife stayed with her brother in some Kuban stanitsa and to his astonishment discovered that the local people not only didn't read the books of the glorifier of the Russian Land but even didn't hear his name. To crown this disgrace the host's cockerel attacks him with satanic cock-a-doodling. Offended by the villagers who do not need his reasoning about the role of culture in their lives the writer harbors the plan of revenge. But essentially the story is not about this. It's about the conscience, involuntary betrayal and responsibility – at least to the pets taken to the house to escape from loneliness.

Poetry

Andrey Famitskij is meditating over the pain points of the modern life and about the compassion. In **Igor Kasko's** poems there is the same concern for the future of humanity but also the hope that “maybe tomorrow the black star will fade, the light will flare up again and the world will revive”. The lyrics of **Varvara Zabortseva** is dedicated to the Russian North with which the author is bound by spiritual and blood relationships. The Kazakh poet **Aygerim Taji's** verses are about her love to her native city Almaty and her childhood.

Twenty Five Paper Letters from Valentin Kurbatov to Dmitrij Shevarov

“We'll never be *simple* again, we'll never be those dear children of Nature who kept the life. That's why the wars have become so easy, *alien to the conscience* – like if the humans are perishing not for the first time and the floods of blood are not real. The life in general becomes more superficial, lighter and hollower”. Under the heading “The Life in the Literature” we present selected letters from V. Kurbatov to D. Shevarov.

The Golden Pages of “DN”. Tonino Guerra. The Ashes

...Prayer. Game. Candles. The flight of the butterfly. A cherry tree in blossom. The screeching of the rusty iron. The sounds of the violin. The mirror in which the shadows of the killed world are reflecting... “The Earth planet is a balloon covered with the ashes and debris” after the nuclear explosions. Those who have survived are settling in the undergrounds of the late skyscrapers. This little masterpiece of Tonino Guerra presents a chain of miniatures: the ancient epic, poems and films encased into inhale and exhale.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России — ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «Фаланстер»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездниковского переулка)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



По страницам «ДН»

... Говорилось так: «Мы должны сначала победить. Сейчас не время для полной правды. Мы займёмся ею позже, когда выиграем войну, ибо тогда необходимо будет гарантировать мир». Таким образом, ведение войны тщательно отделяется от победы в ней, завершение войны — от заключения мира... И лишь потом общество собирается перейти к тому, чтобы гарантировать мир. При этом упускают из виду, что именно во время войны разворачиваются те глубокие социальные потрясения, которые сметают старые институты, изменяют людей, и тем самым в опустошении войны созревают зачатки мира. Стремление людей к миру никогда не бывает столь сильным, как во время войны. Ни в каком другом состоянии общество не подаёт столь мощные импульсы к изменению отношений, приведших к войне. Человек научился строить плотины, страдая от наводнений. Мир может быть построен только в ходе войны, сейчас и сразу...

**Вильгельм Райх.
«Неспособность к свободе».**

Глава из книги «Массовая психология фашизма» (1933).
С немецкого. Перевод Владимира Закса.

«ДН», 1994, №10

